9.1976

Иностранная литература

Б. Прабха. Девушка из Шантала

На цветных иллюстрациях номера работы современных художников Индии

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

1976

9 СЕНТЯБРЬ

Содержание

Молодые поэты Анголы

НИКОЛАУ СПЕНСЕР, МУТОМБО НЕГРО, ГАРСИА БИРЕШ, РУЙ ДЕ МАТОШ, ГАЗМИН РОДРИГИШ *(Переводы с португальского О. Чугай, Н. Григорьевой, В. Краско. Вступление Евг. Долматовского)* 3

Рассказы писателей ГДР

ВОЛЬФГАНГ МЮЛЛЕР, ФРИЦ РУДОЛЬФ ФРИЗ, ХЕЛЬГА ШУБЕРТ, ИОАХИМ НОВОТНЫЙ *(Переводы с немецкого Е. Вильмонт, И. А. Горкиной, Э. Львовой, И. Щербаковой)* 8

ПАСКАЛЬ ЛЭНЕ — Кружевница *(Повесть. Перевод с французского Нины Кудрявцевой. Послесловие Л. Зониной)* 60

Молодые поэты Японии

ФУДЭ ФУДЗИБАРА, ТОСИО ТИКАНО *(Перевод с японского А. Долина)* 114

Рассказы португальских писателей

ВЕРЖИЛИУ ФЕРРЕЙРА, ФЕРНАНДУ НАМОРА, ЖОЗЕ ГОМЕШ ФЕРРЕЙРА, МАРИУ ДИОНИЗИУ *(Переводы с португальского Лилианы Бреверн и Инны Тыняновой)* 116

ЮХАН БОРГЕН — Рассказы *(Переводы с норвежского Юрия Нагибина и В. Смородского. Вступление Юрия Нагибина)* 147

Литературные иллюстрации

КОБО АБЭ — Человек-ящик *(Роман. Окончание. Перевод с японского В. Гривнина)* 165

Литературное наследие

Вьетнамская поэзия X—XIV веков *(Перевод с вьетнамского (ханвана) и послесловие Л. Эйдлина. Вступление профессора Данг Тхай Мая)* 192

Критика

Ю. БАРАБАШ, Ю. СУРОВЦЕВ — Критика в современном мире (На международном конгрессе МАЛК) 204

К конференции молодых писателей стран Азии и Африки

МИХАИЛ КУРГАНЦЕВ — Время совершеннолетия 213

ИМЕ ИККИДЕ — Африканская литература и проблема поколений *(Перевод с английского В. Рамзеса)* 217

Интервью

ЭРИХ КОШ — «Это проклятое писательское ремесло...» *(Перевод с сербско-хорватского Т. Вирты)* 221

Культура и современность

Заметки на полях

К.— Кризис политики — кризис культуры. Б. Гиленсон — «Черный бум»: искусство и стереотипы 225

Публицистика

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Опошление свободы *(Перевод с английского Г. И.)* 233

К. СЕЛЕЗНЕВ — К штыку приравняв перо... (Немецкие писатели-антифашисты в годы войны) 236

Наши гости

А. Гугнин — Стефан Хермлин (ГДР) 254

Среди книг

Издано в СССР

Лев Озеров — Бунин-переводчик. П. Балашов — Панорама ирландского рассказа. А. Тишков — «...Вдохновенье не будет временем сметено!...» 256

Издано за рубежом

Анна Буковска — Три поколения Ковалей. ◇ Франция: премии года. Лев Токарев — Две притчи о современности. Андре Стиль — «Отверженные». Ален Боске — Призрачный свет Жана Жубера. ◇ К. Кямилев — Турецкий театр за 50 лет 261

Из месяца в месяц 269

Авторы этого номера 284

На обложке: АМРИТА ШЕРГИЛ (Индия). Верблюды.

© «Иностранная литература», 1976.

Молодые поэты Анголы

■

С португальского

Тысячи и тысячи километров между Москвой и Луандой, между русскими рощами и ангольскими джунглями.

История веков и международная обстановка последних десятилетий ставили крутые препятствия связям между нашими народами. Но основная тенденция современности берет верх. Борьба за свободу и независимость объединяет людей; преодолевая расстояния, сближаются континенты и страны.

Несмотря на барьеры и трудности, мы много узнали об Анголе. В партизанских отрядах, объединившихся во всеобщее народное движение, сражалась поэзия. Может быть, именно поэзия стала первой линией нашей связи.

Из душной тюрьмы пробились и долетели до нас еще в 60-х годах стихи Агостиньо Нето. В свои стихи, написанные на португальском, он вставлял строки на языке кимбунду. Я переводил их. Помню, с трудом удалось найти в Москве человека, способного расшифровать строку на этом языке Африки. Она гласила: «Земля наша, брат. Стойкость. Когда-нибудь они падут на колени. Мужество».

Поэзия Анголы все эти годы была поэзией борьбы, поэзией сражающейся. Победы ангольского народа приближены и беззаветностью воинов, и их страстными стихами.

Не случайно и то, что ныне в Народной Республике Анголе поэты двуедино продолжают свою деятельность — поднимая и созидая свою страну и творя стихи в редкие часы передышки.

Со старыми, закаленными бойцами рядом становятся и молодые поэты. Они тоже прошли по дорогам и тропинкам сражений в рядах МПЛА, а ныне заняты строительством своей освобожденной Родины. Стихи — неотъемлемая часть их деятельности. Они продолжают поэзию старших.

Когда-то в тюрьме Агостиньо Нето писал:

Творить,
Смеясь над пытками и злобой,
Воспитывая твердость в слабых
И пробуждая силу против силы
И стойкость в неуверенной крови.—
Творить,
Творить с сухими глазами.

Ему отвечает младший товарищ по борьбе и поэзии Газмин Родригиш:

...я верю
в победу человечества над злом.
И потому я не умею плакать.

Здравствуйте, товарищи! — говорим мы молодым поэтам Анголы.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

НИКОЛАУ СПЕНСЕР

Когда

Когда
прояснится чело
и ты во сне улыбнешься?

Когда?

Когда,
наконец, исчезнут голод и холод,
бессонница и тоска?
Когда
наступит конец
мучительным:
«Быть или не быть?»,
«Иметь или не иметь?»
Когда?

Когда же наступит
покой
и молодая сила
переполнит наши сердца,
раскроется,
словно первая почка
под первым дождем —
когда?
Старость,
помолодев
от прилива надежды,
вновь научится верить —
когда?

Одному не узнать, когда...
Знаю только:
борьба превыше всего,
превыше наших собственных планов.
Только Ангола
(а значит — мы!)
решит — когда!

Перевод О. ЧУГАЙ

МУТОМБО НЕГРО

Что делать

О милая, о нищая моя,
Земля моя, что делать, научи,
Чтоб цепи сбить с твоих усталых ног?

Напасть на губернаторский дворец
И на хозяина его — марионетку?
(Едва ли что изменится вокруг.)

А может, долг мой убивать детей?
Детей плантаторов,
Чьи белые отцы
Над пахарями черными глумятся?

А может быть, дворец Белемский сжечь,
Чтоб стон камней и битых стекол звон
Покрыл предсмертный Каэтано крик?
(Другой палач налоги соберет.)

А может, хлеба скудного куском
С голодным братом поделиться мне?
Но здесь, в Анголе, голоден любой.
И братом мне приходится любой.

Плантации повытоптать? Взорвать
Плотины, шахты, села, города?
Назло слепым и алчным чужакам?
(Но ведь поля и города — мои.)

Я не сожгу старинного дворца.
Не вытопчу возделанных полей,
Я белого ребенка не убью,
Я ничего не стану разрушать.

Голодная Ангола, мы спасем
Тебя в открытой праведной борьбе.
Земля моя, ты мне принадлежишь,
И вырву я тебя из рук чужих!

Перевод Н. ГРИГОРЬЕВОЙ

ГАРСИА БИРЕШ

Повстанцам Четвертого февраля

Это было в те дни февраля,
Когда ветер принес на спине
Пыльцу безымянных цветов и безымянную кровь.
И кровь пропитала пески побережья,
Окрасила спящее море
И винограда чеканные листья.
НЕ БУДЕМ ОПЛАКИВАТЬ МЕРТВЫХ!

Это было в те дни, когда воля людей,
Их дела,
И решимость,
И вера
Изменили привычный ход событий.
МЫ ПОЙДЕМ ЗА ВАМИ, ТОВАРИЩИ!

Стала багровой земля,
Окрасилась в цвет заходящего солнца,
В сознанье людей окрепла решимость,
А в мускулах — сила.
ПОБЕДА БЫЛА ЗА НАМИ!

Кровь затопила дороги,
Она струилась вдоль улиц,
Из этой крови выросли новые жизни, —
СВОБОДА РОДИНЫ КУПЛЕНА КРОВЬЮ!

Перевод О. ЧУГАЙ

РУЙ ДЕ МАТОШ

Война

Проклятая, налетающая
на мир вороньём гудящим,
напалмовым языком
все слизывающая, оглушающая
визгом бомб леденящим
и грохотом —
во веки веков
будь проклята!

Проклятая, превращающая Человека
в скота, в робота —
будь проклята!

Проклятая, оставляющая от зелени серый пепел,
мглою могил глотающая
имена —
будь тысячу раз проклято
имя твое, война!

Ты, рожденная властью
голода,
местью неутоленной жажды...

Ты, вспоенная кровью
веры, любви, надежды,
будь проклята ты —
проклятая —
тысячу раз, война!

Но —
благословенна
война,
если она —
Мать Мира,
Мать Свободы.

Перевод В. КРАСКО

ГАЗМИН РОДРИГИШ

Я не умею плакать

Я не умею лгать. Не овладел
искусством орошать долины зла
холодными, бесплодными словами,
рожденными в жестоких алтарях.

Я для молитвы не могу сложить
от вечной боли скорченные пальцы —
еще стволы орудий не остыли,
испепелившие моих любимых.

Я не умею плакальщиком быть,
я не хочу напрасными слезами
в безумии бессильном заливать
покинутое жизнью пепелище.

Но я могу бестрепетно смотреть
на черный прах, которым стало тело
убитого товарища — я верю
в победу человечества над злом.

И потому я не умею плакать.

Коль нету дороги...

О как одиноко холодное тело дороги
которую ноги босые в ночи не ласкают
она извивается следуя памяти зыбкой
всей пылью своею старается снова изведать
касание тел отлетевших в пространство и время

Но тот кто идет если даже вокруг бездорожье
ходьбою своею дорогу себе пролагает
Мачадо Антонио так говорил и хотя он
ни разу здесь не был
но тяжкие наши дороги
сумел угадать он во мраке бесплодной пустыни
сумел он сквозь реквием вечно звучащий над нами
прорваться как клич отдаленный
вперед устремленный к рассвету
застывшее время пошло свои стрелки сверяя
с часами того кто шагал по дорогам свободы

Коль нету дороги
ходьбою ее проложите
пускай от ушибов покроются язвами ноги
пусть потом кровавым окрасятся острые камни
но гордую голову буря согнуть не сумеет
ведь только попутным бывает доверия ветер.

Перевод Н. ГРИГОРЬЕВОЙ

■

С немецкого

ВОЛЬФГАНГ МЮЛЛЕР

Прошел!

1

Отто Шайдель знал реку как собственную жену. А может, и лучше, потому что с рекой был знаком намного дольше. Дольше на двадцать лет. Река полоскала еще пеленки Отто.

Теперь Шайделю минуло шестьдесят, у него была жена, которая выглядела моложе его, была река, возраст которой не определишь по виду, да корабли вдобавок.

Все они доставляли Шайделю немало хлопот, и со всеми он справлялся. С женой, с рекой, с кораблями. И всем им хранил верность, потому что не мог без них жить. Без каждого в свое время. До войны, в войну, после войны. Во времена относительно мирные и во времена наполовину военные.

Река не менялась. Каждый год была другой, но неизменной. Всегда. Шестьдесят лет — полая и малая вода, ил и лед, шестьдесят лет — свежий камыш, шестьдесят лет — починка старых заколов.

Только отмели под водой менялись от случая к случаю. Одни регулярно, точно по графику, другие — как бы скачками. Но всегда к худшему. Тот, кто в этом разбирается, знает, как они должны меняться. Где были отмели двадцать лет назад, где они будут через тридцать лет.

© VEB Hinstorff Verlag, Rostock, 1974.

И все же река, доступная людскому взгляду, всегда одинакова, всегда была одинаковой, коровы ли пили из нее или раненые солдаты.

Шайдель разбирался в своей реке лучше, чем в себе самом, только не знал этого.

Может, потому, что никогда не смотрел в зеркало на свое морщинистое лицо, с которого не сходил загар. Оно выглядело увядшим, но отнюдь не дряблым, даже если он пропьянствовал ночь напролет. Он не любил смотреть на собственные морщины, знать их не хотел и потому не терпел зеркал. И на свой узкий рот с впалыми губами тоже не любил смотреть. Этот рот, казалось, всегда говорил: вот я вам покажу, сорванцы! Меня никому из вас не надуть! Хотя бы мне все шестьдесят пять стукнуло! Где уж вам!

Не любил он смотреть и на свой длинный тонкий нос, крылья которого раздувались при каждом вдохе. Нет, Отто не нуждался в зеркале, даже для бритья.

И смех этот, присущий ему колючий смех, которым он часто разражался, был как длинное острое копье. Такой смех ни одному зеркалу не пришелся бы по нраву.

Отто мог скалиться сколько угодно, зубы у него были еще на месте. Тесно посаженные мышиные зубы, по-прежнему блестящие, несточенные. И когда он скалился, с его лица все равно не сходило выражение: вот я вам покажу! Держите ухо востро, ребята!

Его черные, пронзительные, как у ласки, глаза всегда смотрели далеко вперед. Далеко-далеко вперед. Туда, куда Шайдель еще никак не мог поспеть на своих коротких кривоватых ногах. «Кривые штаны», называла его жена, а Отто хохотал до упаду — целая связка копий.

Пусть у меня кривые ноги, но не думайте, что вам удастся от меня удрать!

Так это было. Взгляд его скользящий, но все схватывающий на лету. Вроде бы небрежный, но безошибочный. Иной раз, когда Шайдель в тумане смотрел на реку, он походил на старого орла. Согнутого охотничьей страстью. На орла, который выискивает овцу, овцу посильнее, чтобы могла оказать сопротивление. А еще лучше целую отару. Не потому, что он голоден, нет. Просто ради борьбы. У Отто были глаза капитана пиратского судна.

Кое-кто называл его «бойцовым петухом» или «зудой». Но эти люди его не знали. А тот, кто не знал Отто с давних времен, не понимал его. Если он смеялся, это вовсе не значило, что ему весело, если же ругался — значит, был в отличном настроении. Как здорово, если есть возможность выругаться! Те, с кем Отто мог постоянно браниться и кто не оставался у него в долгу, были его друзьями, для них он был готов на все. Разумеется, не без проклятий, но тем не менее...

Многие считали его старым кривоногим хрычом, который вечно на всех ворчит без толку. Которому неймется, если он не может к кому-нибудь придраться.

Разговор с речниками Отто обычно начинал так: «Эй вы, дурачье! Скука вас одолела? Может, дать вам работки?» Если кто-то обиженно фырчал в ответ, Отто счастливо ухмылялся, так что каждая морщина на его лбу, казалось, сияла, и задиристо щелкал пальцами в карманах брюк.

Ну ты, дурья башка!

Вот только жену ему никогда не удавалось застать врасплох. Она хорошо знала Отто, хотя за сорок лет они виделись совсем немного, так как Отто почти всегда был в плавании. Бертль просто его не

слушала. Она знала: если он бранится, значит, хочет сказать что-то нежное.

А Отто говорил с нею как нормальный человек, смеялся, когда ему бывало весело, и ворчал, когда она сообщала ему неприятные новости. И даже когда приходил кто-то третий, Отто над ним не подшучивал. Подле жены он чувствовал себя уверенно. А значит, ему не надо было демонстрировать, какой он непобедимый. Ей Отто не должен был доказывать, что он капитан. Бертль все сама знала. Знала, откуда у Отто морщины. Откуда та и откуда эта. Много у него было морщин. И все разные. Только чужому человеку они казались просто морщинами. Длинные, глубоко врезанные и совсем тоненькие, заметные, лишь когда лицо Отто не было спокойно. Когда он бранился или смеялся. А многие морщины были у него в душе. Их не увидишь, но Бертль и о них все знала.

О деревне под Бреслау. О паршивых домишках речников. Их никогда не красили, потому что мужчины только на зиму возвращались домой. И об узкой там, в верховьях, реке знала она. О десяти детях, сидевших вокруг стола. Каждый год после зимы на свет появлялся еще один ребенок, а одним становилось меньше, когда кто-то из детей поступал юнгой на судно, которое уходило далеко-далеко, и он уже не сидел за семейным столом. Во всяком случае, пока не становился боцманом и не приносил чего-нибудь в дом.

Все это Бертль знала, хотя никогда не была на маленьком суденышке, где из выносливого мальчишки делали боцмана. При помощи колотушек и картошки в мундире. А с тех пор как кайзер проиграл войну — одних только колотушек.

Крепкие мускулы были у Отто, когда она с ним познакомилась. Крепкие мускулы, какие и нужны боцману, чтобы в канале часами отталкивать свою посудину шестом, потому что шкипер хочет сэкономить плату за буксир. Но морщины у него уже и тогда были. И на лбу, и на шее, только под глазами их не было. Они пролегли позже, точно сеть, вытащенная из воды. Пустая сеть. Они возникли в предрассветных сумерках каюты. Серых и мрачных после недолгой ночи. Койка имела в ширину только семьдесят сантиметров, так что Отто, когда они были вместе с Бертль, приходилось спать на полу. Ведь старое деревянное суденышко уходило в рейс на долгие месяцы. Кто знает, может, когда им опять доведется свидеться, у каждого будут новые морщинки. В то время Отто ругался только утром, когда, уходя с катера, Бертль скрывалась за пеленой тумана. Но она это слышала.

Потом ночи стали еще короче, а морщины — глубже, потому что по ночам боцман Отто Шайдель зубрил правила движения по водным путям, расположение бакенов и буев. Сигналы и нормы. Размеры шлюзов и способы предупреждения аварий.

Много чего должно было уместиться в маленькой голове Отто за время от девяти часов вечера и до подъема якоря на заре или еще раньше. Штурман должен знать все, что капитаны уже давно забыли. Потом настало время без морщин. Прекрасное время со свадьбой и собственной комнатой вблизи порта. Регулярно, каждые две недели, ночь в самолично купленной двуспальной кровати; потому что Отто стал штурманом, у него теперь было свидетельство со свеженьким еще штемпелем, он носил форму пароходной компании и ходил в определенные рейсы. Линейная служба от Бреслау до Штеттина. Ровно в пять утра, но никогда ни минутой раньше, на щегольском буксире начинала греметь якорная лебедка. Порядок царил в пароходной компании. К этому порядку относилось и то, что новоиспеченный штурман поначалу исполнял обязанности

боцмана, дабы доказать, что он достоин носить звание штурмана, второго, разумеется. Компания была не какая-нибудь! Подумаешь, велика важность, что у него опыт и штурманское свидетельство. Всего каких-то десять лет ходит по реке и уже хочет вести судно. Видано ли такое на немецком пароходе?

Начищать медь, начищать медь! Цепи чернить, цепи чернить! Палубу драить, палубу драить! Лишь бы не стоять без дела и не коситься на штурвал. Штурвал не для желторотых!

После того как палубу вымоют, капитан надевал на правую руку белую перчатку. Не дай бог, если перчатка запачкается о перила лестницы, ведущей в машинное отделение, о трубу или якорную лебедку. Тогда только успевай поворачиваться, все надо начинать сначала. Немецкий пароход на немецкой реке должен сверкать! Не может быть угольной пыли на углевозе. Хочет стать штурманом, а убирать как следует не умеет. Порядок — прежде всего!

Потом старик уносил перчатку вниз, так как руки у него обычно потели и карманы внутри были не слишком чистыми. Когда он снова поднимался наверх — очень редко, как правило, после инспекционного обхода он спал, — если он снова поднимался наверх, то обрушивал град вопросов на голову запасного штурмана. Где находится сто тринадцатый километр? Как высоко поднимается судно в шлюзе Луновиц?

Через восемь лет Шайдель знал уже каждую заклепку на пароходе, каждый закол на реке, каждое слово в инструкциях. Он вел судно, только когда капитан и первый штурман сидели в своих каютах перед дребезжащими ящиками, содержимое которых после каждого рейса пополнялось в штеттинской вольной гавани. Беспошлинно, разумеется.

Хотя в служебной книжке Отто значилось «второй штурман», он стал капитаном, когда компания объявила ему об увольнении, потому что тогда всех вторых штурманов при увольнении производили в капитаны. В Бреслау началась волна увольнений — каждый день новые увольнения. Морщины набегали, морщины разглаживались. Теперь Отто каждый день бывал дома, каждый вечер ложился в двуспальную кровать, которую через год купил кто-то другой. Тут уж им обоим пришлось спать на полу.

Отто по-прежнему клял все на свете, а Бертль лежала рядом с ним. Он перестал отмечаться на бирже труда, начал сам искать работу и нашел. У одного австрияка, ходившего по Дунаю от Линца до Будапешта.

Пароходы там были больше, а белая перчатка сильнее накрахмалена, но Отто стал третьим штурманом, при этом половину своего жалованья отдавал первому. Значит, и на Дунае вести корабль ему не удалось. У них был рулевой. И в Бреслау Отто вернулся только к зиме, когда стала река между Линцем и Будапештом. Впрочем, это бывало не каждую зиму. А вот новая морщина появлялась каждый год. С надеждой стать капитаном, как «старик», стоять на мостике, не спускать глаз с боцмана, когда тот распоряжается матросами, подгонять машинистов — с этой надеждой Отто давно распрощался.

Но все-таки он стал главным на корабле, и даже раньше, чем ему того хотелось. На корабле, где только его слово что-то значило. Там было двадцать человек, не слишком много, но все-таки, ведь походное снаряжение тоже весило немало. Но зато это было быстроходное судно. Для штурмана с буксира потрясающе быстроходное. Никакой паровой машины, никакого угля, никаких десяти километров в час. Нет, десантный катер делал не меньше шестидесяти в час, а при отступлении — и того больше. Трудно поверить, что немецкий

десантный катер на это способен. А сколько еще людей, висящих за бортом, тащит он, потому что внутри хватает места лишь для тридцати раненых. Трудно поверить. Да никто и не верит. А какие глубокие морщины появляются, если ты капитан! Капитан десантного катера. Если ты должен говорить, должен кричать: «Ты, ты и еще ты, остальные убирайтесь, иначе все потонут. Убирайтесь или буду стрелять!» А Иван уже шпарит из-за горы. Или, отчаливая, говорить: «Я сделаю еще один рейс», когда точно знаешь, что этот — уже последний, так как горючего не хватит на долгие зигзаги по раздробленному, дымящемуся льду. Тут уже не хочешь быть капитаном, да куда денешься. На Дону, на Донце, на Днепре, на Висле, Варте и снова на Одере. Только там можно было выйти в отставку, и Отто опять стал штурманом.

Нет, Отто был доволен жизнью на ветхом суденышке во Франкфурте, которое не обстреливалось с другого берега. Оно шло и шло в настоящем одерском тумане, а не в самодельном тумане рвущихся снарядов, когда дышать можно разве что в противогазе. Его не смущало, что в каюте, собственно, не было пола, зима-то стояла холодная и доски рассыхались. Это опять было время без морщин, с хлебом из отрубей, с рыбой, выловленной собственными руками, и с уверенностью, что скоро он и вправду увидится с Бертль. У знакомого крестьянина в Лаузице, где еды, можно сказать, почти что вдоволь.

Потом они снова жили в комнате, у них снова была двуспальная кровать, а Отто стал штурманом на самоходной барже. Главным там был молодой парень родом с Рейна, застрявший на канале Шпрее. Отто был доволен этим обстоятельством. И карточкой рабочего, занятого на особо тяжелых работах, и большими деньгами, которые он зарабатывал, так как они ходили в Гамбург и даже в Роттердам. В качестве штурмана он был сам себе хозяин, и никогда еще ему так хорошо не жилось. Никакой белой перчатки, никто к тебе не пристает. Три человека на судне, и каждый делает то, что лучше всего умеет.

Все шло хорошо. Вот только канал был мертвый, и это было плохо. Плохо, что в нем текла мертвая вода. Что течение было едва заметно при закрытых шлюзах. Что все шло своим чередом, по прямому руслу канала, что ничего другого быть не могло, что ничего не менялось и не могло измениться. Всегда один и тот же уровень воды, одни и те же стоянки в свободные вечера, одна и та же скорость, как на конвейере, и узкий горизонт.

Все это осталось без изменений и когда Отто стал зваться капитаном на своей самоходной барже. Молодой парень снова подался на Рейн. А Отто по-прежнему ходил по каналу. Каждые две недели возвращался в свою квартиру в новом доме и о том, что он капитан, никогда больше не думал. Разве что изредка о реке, так, между прочим, вскользь. О ветре, долетавшем с мокрых лугов, когда на заре он открывал окна рубки. О цаплях, что ловят рыбу в пойменных озерах. О запахе затопленной травы. О тихом буксирном караване, по ночам стоявшем на якоре возле парохода. Обо всем этом он хоть и думал изредка, но сразу же на память ему приходил запах масла для чистки, и тогда он уже ни о чем больше не думал, а просто-напросто уходил в рейс по переходному каналу, по водному пути Рейн — Херне или в Роттердам.

Он уже смирился с мыслью, что капитанского мостика на реке у него никогда не будет. Да и зачем? Он ведь и так был капитаном. Холодильник в каюте, радар в рубке. Для низовьев Рейна.

Но однажды ему вдруг стукнуло шестьдесят. Приняв это к сведению, он отправился в пароходство и заявил:

— Я по каналу больше ходить не буду. Дайте мне другой участок, а иначе — до свидания.

Больше он ничего не сказал, только оперся о стол своими кривыми руками — ни дать ни взять старый пират.

— По каналу я больше не хожу, — сообщил он дома, стоя перед дверью с огромным чемоданом. — Мне уже шестьдесят. Я получу другой участок.

— Хорошо, — сказала Бертль, — ты вполне можешь этого требовать. Это твое право.

2

Все как будто уже осталось позади, но только как будто — ведь что-то из пережитого обязательно тащится за человеком всю его жизнь. Прошлое не отпускало Шайделя, когда он принимал «Амур». Ему дали другой маршрут. С Шайделем, старым горлопаном, лучше не связываться, в пароходстве это отлично знали. Но Отто Шайдель был хороший человек, и это там тоже знали. Поэтому он имел право кое-что требовать.

Отто, конечно, был не хуже «Амура», который ему дали. Такой же старый, но не такой проржавевший. «Амур» считался самым мощным буксиром на Одере. Таким он был, еще когда Отто служил на нем боцманом. Каждая его досочка была знакома Отто. Драить, драить! Чистить, чистить! Вести судно? С ума сойти! Как, спрашивается? Где ж это видано? Теперь Отто добился своего. Теперь, наконец, это стало возможно. «Амур» достался во владение Отто, и, перед тем как выйти в первый короткий рейс от дока до буксирной гавани, он тайком начистил якорный колпак, так что медь заблестела до боли в глазах. Потом прокрался в рубку и, ухмыльнувшись, зарычал:

— Встать, ленивые собаки! Думаете, если новому капитану шестьдесят, то можно дрыхнуть до шести? Эй вы, лежебоки, живо!

И он включил гудок, который ревел, покуда все не выскочили на палубу.

— Живей, живей! — кричал он, высунув в окно рубки свою маленькую голову.— Я вам сейчас помогу! Давай, давай! Где это видано — при свете дня на глазах у капитана бить баклуши? Пора сниматься с якоря, слабаки!

Он приказал поднять одновременно оба якоря, подготовить машину, как следует ее прогреть, машинисту стоять наготове у регулятора, кранцы наружу и шесты приготовить на всякий случай. Живей, живей! Он умело развернул судно на месте. «Амур» и он — одно целое. И все это — перед мостом, не уменьшая скорости.

— Эй вы, слабаки! Поворачивайтесь скорее! Раз-два — взяли! Только не канителиться, ребята, ведь капитан на вас смотрит! Живей, живей!

Несмотря на столь бодрое начало, по утрам палубная команда и при Отто работала с прохладцей. Медные части закрасили краской и мыли буксир, лишь когда он был уже грязен донельзя.

— Драить, драить! — ревел Отто каждую среду после завтрака. Отныне буксир бывал грязным только по средам, а не как прежде — каждое утро, да еще после полудня. Если в среду шел дождь, «Амур» считался чистым целых две недели.

— Если я, капитан, говорю тебе, что судно чистое,— ворчал он на штурмана, молодого немца, который горой стоял за лак и мастику,— так вот, если я тебе это говорю, я, твой капитан, значит, оно чистое,

ясно? — Ни дать, ни взять пират: орлиный нос, кулаки в карманах и лицо, изрытое морщинами.

— Что еще? Что тебе еще от меня нужно? Ты ведь все можешь раздобыть! Нет? Тогда я даю тебе задание, штурман, первый штурман колесного буксира «Амур», возьми-ка себе бутылочку пива, чтобы поднять настроение. Хорошее настроение входит в служебные обязанности. Я настаиваю на этом, штурман. А когда выпьешь, можешь вести судно. Баста!

После «баста» он всегда вздергивал подбородок, прибавлял еще: «Так точно!» — и шаркал левой ногой, как будто хотел удостовериться, что плашкоут еше здесь, что он стоит на нем. Свой буксир он называл плашкоутом. Железный плашкоут, на котором он был капитаном. Он, Отто Шайдель. Железный. Так точно!

Все это относится к первым рейсам, когда Отто еще только захватывал власть. Над своим плашкоутом, над капитанским мостиком, над командой и над рекой. Десять человек — команда. Старый плашкоут — корабль. Плашкоут, который сродни этой реке так же, как мутное половодье весной. Плашкоут не мог ходить по каналу, он был слишком силен и буквально сносил откосы водоворотом, образующимся у его мощных колес. Плашкоут был под стать Отто, так же как оба они были под стать реке. Но в противоположность команде плашкоуту трудновато приходилось с Отто.

От своего плашкоута я могу кое-что требовать. Это лучший буксир на реке, пусть попыхтит!

Из старой железяки Отто выжимал все до основания. Не оставлял ей никакой свободы, эксплуатировал свою железяку на всю катушку. Он не щадил машину, как ее щадили раньше, потому что тогда люди были дешевле коленчатых валов. Он заставлял плашкоут трудиться.

Пусть выбивается из сил, на то он и плашкоут.

— Эй, ребята, поддайте ему еще жару! — кричал Отто кочегарам с капитанского мостика, если считал, что судно двигается недостаточно быстро.

— Не валяй дурака,— шипел он в переговорную трубу на несговорчивого машиниста, не желавшего давать полный ход.— Так не годится. Тебе это раз плюнуть, а мы все раньше добрались бы до места.

И своего первого штурмана, который не любил обгонять, предпочитая всегда плестись у кого-нибудь в хвосте, Отто разносил в пух и прах:

— Заячья душонка, пусти меня к рулю. Приготовиться к обгону! Живо!

А когда благоразумный штурман говорил:

— Потише, Отто. Хорошенький вид мы будем иметь, если твой номер не пройдет. У нас и так одна баржа лишняя. Вверх по течению разрешается только восемь груженых... Будь осторожен!

Отто, весело ухмыляясь, отвечал:

— Пустобрех ты. Я все это знал, еще когда ты под стол пешком ходил. Поди возьми себе бутылку пива в моем холодильнике.

И кричал вслед обиженному парню:

— Что ж, по-твоему, я должен бросить эту баржу болтаться целую неделю тут внизу до следующего рейса только потому, что есть такая инструкция, а? После войны, после этой вонючей войны мы таскали по двенадцать, а то и по пятнадцать посудин. Ты, небось, думаешь, как здорово ходить одному. Но это ж уметь надо! Возьми себе лучше две бутылки, так оно вернее будет.

Затем он резко повернул к другому берегу, где, согласно предупредительным знакам, должна быть отмель. Но Отто знал, что песок ушел в сторону метров эдак на тысячу. Уже лет тридцать по меньшей мере. Так он наполовину сокращал путь каравана.

Только увидев, что караван точно следует за ним, он сел на скамейку. Но долго Отто никогда не мог усидеть. Скоро он опять вскочил, высунул голову наружу, выругался, потому что на душе у него было хорошо, окинул взглядом воду вокруг судна, ища новый путь, пока не обозначенный бакенами. Быстрый его взор мерил глубину, определял силу течения.

У любой глубины — свой цвет. В солнечный день и в пасмурный. Весной и осенью. И на любой глубине вода течет по-своему. В тени и на свету. В дождь и в ветер. Различать глубину можно, только если умеешь видеть так, как видел Отто. Он лишь изредка мерил ее с помощью полосатой палки и никогда не садился на мель.

Только теперь, водя свой буксир по своей реке, Отто понял, что живет правильно. Правильно живет. Каждое утро, когда солнце всходило над сверкающими лугами, он снова стоял на мостике, руки на мокром релинге, глаза устремлены на бурливую реку. Все вокруг было близким и добрым. Даже как-то смахивало на счастье. Каждое утро, когда всходило солнце. Как-то смахивало. Но Отто об этом не думал. Просто у него было такое чувство. Собственно, думал он о том впервые за тридцать лет, и каждое утро приходилось ему об этом думать,— что чего-то ему недостает в восходе солнца над рекой. Хорошо бы, думал он, если бы Бертль была здесь, каждое утро. Хотя бы только утро.

— Да,— сказал он,— вот до чего доходишь! — и почесал себе спину. Хорошо! И пошел будить остальных.

3

Те, кто не знал Отто по буксиру, а только видел его свирепое лицо, слышал его проклятия и воинственный смех, говорили:

— Да, являются такие типы, дерут глотку, дайте мне, мол, пароход. И ему ведь дали, дали колесный пароход, водить который под силу только стреляным воробьям. Где ж это видано? На этом самом пароходе он раньше ходил штурманом, ничего, с него и канала бы хватило. Когда он служил в пароходной компании, он был всего-навсего боцманом, и то его потом вышвырнули. Да.

Он просто пролез на судно и рычит, и придирается без всякого понятия, а ведет его как бог на душу положит. Сроду не был капитаном на реке. Подумаешь, канал! По каналу любой может ходить. Даже штурман откуда-нибудь из венгерской глуши или из Валахии. Кто знает, как это ему удалось? Третий штурман. Об этом здесь и не слыхивали. И не видывали. А раньше он ходил в Роттердам. Лакомый кусочек, этот рейс. Он и пикнуть не успел, как получил «Амур». Странная какая-то махинация!

А как он обходится с судном!.. Можно подумать, он что-то смыслит в этом деле. А вид у его буксира... Никаких белых релингов, никакой меди. Как на польском буксире, все черным закрашено. Ничего, он еще узнает! Тут ведь не канал. Тут, на реке, пока что царит порядок.

Этот палач, видно, хочет доконать прекрасное судно. Если так и дальше пойдет, он нам собьет все нормы. А все, чтобы люди при нем оставались. При этом старом «бойцовом петухе». Он же быстро обо-

рачивается взад-вперед. Выколачивает для начальства тонно-километры. Покуда нормы вверх не полезут. Тогда мы все попляшем! Поганец окаянный!

Отто знал, что́ о нем говорили. Это было легко заметить по тому молчанию, которым его обычно встречали, когда он подходил к стоявшим группами речникам в буксирной гавани и окликал их: «Эй вы, безработные!» Это было легко заметить и по своеобразным приветствиям с судна на судно, когда они встречались на реке.

Да пропади они пропадом, это дурачье, думал Отто и, вынув руки из карманов брюк, сдвигал фуражку на затылок. Пропади они пропадом. Это просто зависть. А мне плевать. У меня есть все, что нужно, так хорошо мне еще никогда не жилось.

И он говорил без передышки, как всегда не заботясь, какое впечатление произведут его слова. Увереннее, чем когда бы то ни было раньше. У него и вправду было все, что нужно.

Но потом, на реке, глядя на караван или на дым, вьющийся над ним, смолистый, серо-черный каменноугольный дым, который так хорошо пахнет, Отто забывал молчание речников, слушал нескончаемый шум воды у колес, грозный гул машины, и даже тихое журчание далеко-далеко позади, у носа первой баржи, в добрых двухстах метрах, различал его слух, хотя никто другой не мог бы этого расслышать.

А когда он снова смотрел вперед, один в своей рубке, он ничего не забывал, все снова вставало в его памяти. Он думал: они не прощают мне «Амура». Не хотят признать, что я могу ходить на нем. А почему, собственно? Им-то какое дело? У них ведь есть свои суда. Хотя тому, с «Селенги», пожалуй, есть дело. Он еще раньше, в пароходной компании, каждому старался подгадить. Я его знаю, сукиного сына. Дураку вообще нельзя быть капитаном, со страху помрешь, когда такой тип командует судном. Тут толку не будет. Зануда эдакий! А тоже, разевает пасть! Раньше он гнул горб перед каждым капитаном, чтоб и самому потом в капитаны вылезти. Горб у него так и остался. Дурья башка. И толстый Клемке с «Оки» тоже не лучше. Обожравшийся боров! Если он еще хоть немного пробудет капитаном, то непременно лопнет. Каждый день заставлять людей скоблить судно, стращать их, это они умеют. Может, так и надо. Но подтащить баржу к шлюзу, когда они порожняком идут в угольную гавань, это, видите ли, не для них. Это, мол, работа буксира. Баржа должна на месте стоять, пока не почернеет. А вы, обезьяны эдакие, порожняком ходите? Речной пароход буксировкой не занимается, от веку так заведено. Нынче все как и прежде. А я новая метла, вот они и бесятся. А раньше как было? Раньше они не смели беситься.

Шайдель усмехнулся и одной рукой слегка повернул штурвал, заставил судно сделать небольшой крюк. Не потому, что это было необходимо, а потому, что ему захотелось. Просто так, шутки ради. Он имел на это право, в конце концов, он капитан. Потом он вновь повел его по прямой. Вздернул подбородок, подумал: «Баста!», топнул ногой и стал высматривать впереди излучину поудобнее.

Все не так, как раньше, думал он, и ему показалось, что он произнес это вслух. Все не так, как раньше. Теперь я капитан.

А на вас мне начхать. Я уж давно не глупее вашего. Я всех вас припру к стенке. Мне все удается, если я на коне. А сейчас я на коне. И могу требовать все, что мне причитается. Он вдруг вспомнил: смешно, ведь Бертль то же самое говорила.

Он наклонился над переговорной трубой, ведущей в машинное отделение:

— Франц! Если ты поднажмешь, мы еще сегодня протащим баржи

через шлюз. Ты ведь не даешь полный ход, меня тебе не надуть. Давай поднажми!

Он позабыл сказать: живей, старый дурак!

4

В августе, в самую жару, заварилась каша. Закрыли границу. Шайделю это пришлось по душе, он знал Гамбург и Роттердам. Он был доволен, что может остаться дома, и, кроме того, понимал, что на Рейне он никогда не смог бы стать капитаном. Рейнских капитанов он навидался.

После закрытия границы похолодало. Баржи с коксом со средней Эльбы теперь не тащили по каналам до Берлина, а, минуя Берлин, вверх по Одеру и обратно. Буксиры ходили и при луне, и в туман, если он был не слишком густым. О правилах движения по внутренним водным магистралям все и думать забыли.

Шайдель не оставил, как обычно, караван на реке, а взял три баржи и через узкий входной канал оттащил их во внутренние воды. По инструкции буксир каждую баржу по отдельности доставляет в гавань. Колесным пароходам тут буксировать не положено.

На следующее утро в рейс не вышел ни один пароход, потому что вечером должно было состояться собрание. В комнате отдыха не включали телевизор. На собрании выступал представитель дирекции, тощий, усталый, охрипший, с покрасневшими веками. Он говорил о скоплении грузов в пакгаузах, о трудностях со снабжением, о гарантиях, выпил много кофе, повеселел, заговорил о резервах, о соревновании, о программе борьбы и об оплеухе реваншизму.

Только когда кофе в его кофейнике кончился, он сердито отодвинул кофейник в сторону, достал из папки бумагу и зачитал обязательство по соревнованию.

Все порешили и дальше делать то, что делали в последние две недели.

Когда речники уже вновь расселись по местам, Шайдель сказал:

— Надо бы обмозговать, почему образовались заторы на водных путях, и еще надо бы обмозговать, не могут ли и речные буксиры тут помочь, когда они порожняком идут в гавань... Одни портовые буксиры уже не справляются.

Речники перестали двигать стульями. Бормотанье сделалось громче, кто-то зашикал на Шайделя.

Тот вздернул подбородок и положил обе руки на спинку стоявшего перед ним стула. Он знал, какое больное место затронул. Он посягнул на старое право речных буксиров буксировать баржи только по реке. Только по реке, и нигде больше. Если нет портового буксира, баржи остаются на месте.

Отто опять сбивал цены.

Тощий и усталый представитель дирекции перестал складывать бумаги, поднял узкие брови, спросил:

— А это возможно? — и еще: — Ведь это и вправду проблема — с буксирами. Отсюда и большая часть заторов.

— Конечно,— отвечал Отто,— возможно. Ясное дело, возможно. Надо только постараться.— Он чуть было не добавил «баста» и не топнул ногой.

Это «баста» заметили все, хотя никто его не слышал. Ясное дело, возможно, и точка. Кому еще что-нибудь непонятно? Пусть придет ко мне, дурачина. Я ему покажу. Хоть мне уже шестьдесят один стукнуло и ноги у меня кривые. А все-таки я капитан. Баста.

— Я считаю, надо попробовать, а что дело пойдет, я и так знаю,— сказал Отто.

— Да ты чокнутый!

— Ерунда!

— Ну да, как же!

Речники закурили сигареты. Зашаркали ногами. Один из них ушел. На подмостках, где сидел тощий из дирекции и еще один, из порта, скрипнули половицы.

Потом они спорили, не опасно ли проводить баржи по входному каналу. Поперечное течение и наносный песок. Землечерпалки тут сроду не бывало. Вот если бы можно было делать большой крюк, да если бы землечерпалка была... Но так?..

— В крайнем случае, две баржи — не больше,— сказал кто-то.

— А кто нам это оплатит?

— Никогда такого не бывало!

— Самое большее — две!

— Я возьму три,— заявил Отто, встал и обвел взглядом собрание. Орел, выискивающий овечку.— Я возьму три,— повторил он громче.— А вам это не обязательно. Кто в себя не верит, пусть не берет.— Отто со смехом плюхнулся на стул.

Поднялся шум. Слов было не разобрать. Кто-то требовал тишины

— Надо все это обсудить хорошенько,— сказал Отто.

— Верно!

Тощий на подмостках опять повеселел, положил на стол толстую шариковую ручку и громким, уже не хриплым голосом спросил:

— Итак, что мы постановили?

5

С этого дня все пароходы ходили по входному каналу с баржами. Один тащил две, другой только одну. Один капитан ругался, другой молчал. Но баржи брали все и тащили их до шлюза.

Отто брал сразу три, у него был опыт. Три раза возьму по три, сказал он себе. В четвертый раз — четыре! Я им покажу, недоумкам!

Как всегда, он вел судно уверенно и элегантно, руль — третья его рука. Он и судно — одна сатана. Шайдель тянул баржи так, словно река сама несла их к входному каналу, словно иначе и быть не могло. Не успеешь оглянуться — и дело сделано.

Только на последней барже шкипер держал другой курс. Он слишком поздно заметил это и едва не задел опорную стенку бульверка.

— В следующий раз сперва проспись,— сказал ему Отто у шлюза, когда баржи, уже отцепившись, скользили мимо буксира в камеру.

Шкипер невнятно ругался, покуда с чавканьем не закрылись ворота шлюза.

— Вот что бывает, когда зазеваешься,— ухмыльнулся Отто и плавно повернул судно.

— Приготовиться к бункеровке! Живо, пошевеливайтесь, слабосильная команда! Хватит уж, что один все продрых, а потом оказывается, он ни в чем не виноват. Люки еще не открыты? Трапы еще не готовы? Навались! Нам нынче надо еще рейс сделать!

Потом, подтягивая судно под грузоподъемный кран, он командовал:

— Вперед! Назад! Стоп. Установить опоры! Крепить швартовы! Что? Еще осадить назад? Да ты там наверху спятил в своем скворечнике! Нечего лентяйничать! Вполне можешь чуток подвинуть свою

махину, грейфер все равно дотянется до обоих люков! Не ленись, парень! Я пришвартовался, теперь уж твоя забота! Раз — и готово! Баста! Раньше надо было глотку драть! Успокойся! Чем я виноват, что сегодня все дрыхнут! Кроме меня. Как всегда.

В горячие минуты, когда одна рука на штурвале, другая на ручке телеграфа, а смотреть приходится то вперед, то назад, то вправо, то влево, Отто думал: лучше уж все самому делать. В следующий раз я поднимусь еще выше по течению, а для третьей баржи возьму трос покороче. Пусть попробуют придраться. Я капитан! Я сам знаю, что делаю. Он бросил воинственный взгляд на свое судно, на причал, на кран и со всего маху с сухим треском захлопнул дверь рубки. Потом пересчитал грейферы, содержимое которых с грохотом сыпалось в пустые бункера.

— У тебя грейферы не полные, эй ты,— кричал он время от времени крановщику.— Меня тебе не надуть, ты же знаешь. Я свои тонны все равно возьму!

Его морщины, даже едва заметные, наполняются черной пылью. Другие капитаны только с берега считают, а там нет угольной пыли и в грейфер заглянуть нельзя.

В следующем рейсе последняя баржа бортом задела больверк. Едва заметно, только Шайдель это и углядел. Он подскочил, стукнулся головой о крышу рубки и прорычал:

— И надо же такому случиться! Я уж укоротил трос, и все-таки этот болван задел. Ведь это надо же!

Он схватил мегафон, что-то крикнул в него, при этом развернув судно на месте, отдал распоряжение палубной команде и снова что-то закричал в сторону баржи, которая уже опять выровнялась как ни в чем не бывало. Шкипер на барже погрозил ему кулаком из своей открытой рубки. Отто уронил мегафон, постучал пальцем себе по лбу и презрительно махнул рукой.

— Идиот,— пробормотал он, садясь.— Абсолютный идиот, и тут уж ничего не поделаешь.

У шлюза, когда баржа скользила мимо буксира, Отто еще раз устало постучал себе по лбу, но окна уже не открывал.

Во время бункеровки он не ругался с крановщиком, когда тот подсунул ему два полупустых грейфера. И считал грейферы не до конца, а позвал штурмана:

— Постой тут, последи! Можешь и ты разок пыли глотнуть. Тем более что это твое прямое дело. Я иду вниз, а ты рассчитайся за уголь.

— У тебя, видно, настроение поганое, что-то ты нынче не зудишь? — спросил штурман и как-то неопределенно улыбнулся.

— У меня вообще никаких настроений не бывает.— Отто показал в ухмылке все свои зубы.— Никогда никаких настроений, понял? — Уверенно ступая, он сошел с мостика и спустился вниз. Как хлопнула дверь, никто не слышал, потому что уголь с грохотом сыпался в бункер.

Во время следующего рейса Отто редко выходил из рубки. Почти все время сидел на скамейке и очень мало говорил. Молча вел судно. Держался перекатов, не искал нового фарватера и не снимал с гвоздя бинокль.

Еще укоротить трос невозможно, думал он. Думал каждое утро, и день и вечер, покуда не закрывал дверь своей каюты. Невозможно — и точка. Я должен быть внимательнее. Надо рвануть последнюю баржу. Надо, чтоб буксир прошел близко к больверку. Почти вплотную. Опасно, но я могу это сделать. И сделаю. Я должен им показать!

Отто окинул взглядом караван, ленивый железный караван. На баржах ничто не шелохнулось. Лишь пена у форштевня да белье, развевающееся на веревках.

Они только и ждут, чтобы я ошибся, думал он. Считают, что я стар стал. И уже не могу ходить как прежде. Они думают, что могут выбить меня из седла. Пусть думают.

Белье неслышно полоскалось на ветру. Рулевые тихо сидели у своих рулей, держа курс за тросом. Видны были лишь их силуэты, низкое солнце все заливало мягким светом. Караван молча полз за буксиром точно черная змея. В вечернем освещении река казалась шире, дамбы площе, луга и прибрежная ольха были уже не просто зелеными: у ольхи — одна зелень, у лугов — другая.

Надо пройти совсем близко. Почти вплотную. Я должен суметь. Сделаю — и точка. Я это могу, и все тут. Я им не дамся.

— Франц! — крикнул он в переговорную трубу.— Выжми из своей тарахтелки все что можно. Надо сегодня вечером добраться до места. Я хочу прийти засветло. Поднажми, старый скупердяй!

Когда Отто опять пришел в хорошее настроение и, крепко ругаясь, отдал команду укоротить трос, он увидел, что у входного канала стоит «Селенга» и готовится войти в него. Трос выбран, лишние баржи отцеплены и поставлены на якорь. Ревун выплевывает пар, колеса вращаются, из труб вьется свежий дым. Только когда бушприт «Селенги» был уже в канале, раздались глухие сигнальные гудки. Гнусная флейта, подумал Отто и перестал ругаться, потом вдруг выкрикнул проклятие и умолк.

Его быстрые зоркие глаза следили, как баржи аккуратно проходят через канал. Точно держась середины. Черт подери! Этот болван с «Селенги», эта чернильная душа идет как по линеечке! Видно, получил такое указание. Где уж этим дурням обойтись без указаний! Черт бы их побрал!

— Смотри-ка, Отто,— сказал штурман, стоявший позади него.— Смотри! Купка входит в канал с двумя баржами. Да как здорово! И, видать, не боится!

Дрожь прошла по телу Отто, он вздернул подбородок.

— Я и сам вижу, заячья твоя душонка. Думаешь, я слепой, думаешь, оттого, что мне шестьдесят, у меня катаракты на глазах?

Шайдель снова взял штурвал, нос его опустился чуть не до верхней губы, когда он ухмыльнулся:

— А я, уважаемый штурман, я, Отто Шайдель, пройду с тремя. Баста! — Он долго и громко смеялся, покуда его не одолел кашель.

Когда пришло время, он взял три тяжело груженные широкие баржи, которые не так-то легко было тащить. Их еще приходилось упрашивать. Он долго и тщательно крепил их, что вообще-то было не в его привычках, при этом он не торопил команду, не злился на машинистов и долго смотрел в бинокль: вверх по течению реки, на входной канал, на баржи и даже на буксирную гавань, где, кстати сказать, стояла и «Селенга». Купка сидел на мостике в расстегнутой куртке, потягивал пиво и время от времени тоже смотрел в бинокль на входной канал.

Все было готово. И баржи и буксир. Уровень воды вполне благоприятный, течение не слишком сильное. Толстый капитан «Оки» встал на больверке и вытаращил глаза. На мостике «Селенги» собралось несколько человек. Бинокль пошел по кругу.

Шайдель дал сигнал. Ветер отнес горячий пар в рубку, но он даже не зажмурился. Обе его руки сжимали штурвал. Он заставил «Амур» резко перескочить через сильное поперечное течение и смотрел при этом только вперед. Куда девался отрешенный взгляд, которым он

обычно смотрел на реку, прежде чем войти в гавань? Деревянный, за долгие годы до блеска отполированный руками рулевых штурвал перестал с тихим жужжанием проскальзывать между пальцами его правой руки. Левый локоть больше не торчал беззаботно из открытого окна рубки. Фуражка не была сдвинута на затылок. Шайдель, весь скрючившись, нависал над колесом штурвала. Видна была только его напряженно вытянутая вперед голова.

Все баржи, с глухим шумом бороздя воду, как по ниточке следовали за «Амуром». Во входном канале Отто все рассчитал до миллиметра. Никто другой на это бы не отважился. Да и не стоило отваживаться. Стальная шпунтовая стенка и большая скорость. Чуть заденешь — фланги сорваны. Авария — и тебе крышка. Никто на это не шел.

Купка на «Селенге» опустил бинокль, когда увидел, как идет Отто. Полным ходом в миллиметре от шпунтовой стенки. Сталь к стали. На Одере никогда еще так не ходили. Разве что в Роттердаме или в Гамбурге при разгрузке океанских лайнеров. Полным ходом, без оглядки — сталь к стали.

Когда «Амур» прошел и шпунтовая стенка осталась позади — баржи как по ниточке следовали за ним,— Отто дал отбой. Маневр удался! Баста! Вот что значит сноровка! Баста! Длинная корма парохода просела, баржи подталкивали ее.

— Дальше! — крикнул штурман.— Дальше, Отто! У тебя длинная корма, это ведь не самоходная баржа с рубкой на корме!

— Заткнись! — рявкнул Отто, потому что понял, что́ сейчас произойдет. Командуя «полный вперед», он уже знал, что это слишком поздно.

— Скорей, Отто!

— Заткнись!

Отто как бешеный вертел ручку, топал ногами, дергал штурвал, выкрикивал какую-то похабщину.

Сквозь плеск гребных колес, сквозь шум машины, сквозь собственную ругань он услышал скрежет. Сталь о сталь! Скрежет сказал ему все. Этот звук пронизал его до мозга костей, отдался в голове, в пальцах, везде.

Третью баржу он, видно, недостаточно укрепил, потому что вел «Амур», как свою самоходную баржу, которая управлялась с кормового поста.

Отто еще раз попытался выровнять караван, а когда ничего у него не вышло, высадил кулаком стекло в рубке.

— Я никудышный старый болван,— произнес он тихо, увидев, что в ящик с цветами закапала кровь.

Я больше ничего не могу. Как раз теперь, когда мне это так необходимо. Отто спустился вниз, предоставив штурману идти к шлюзу. На барже, как он между тем узнал, только краска ободралась. Все еще хорошо обошлось, думал Отто, обматывая носовым платком пораненную руку. Ничего не обошлось. И уже не обойдется. Но вслух он ничего не сказал. Этот страшный скрежет все еще пронизывал его до мозга костей. И внизу, когда Отто уже лег, скрежет терзал его, рвал на части. Он так и не заснул, когда через два часа «Амур» причалил рядом с «Селенгой» и в каюте стало темно. Там, на палубе, выпивали и смеялись, им было над чем посмеяться. Отто задраил все иллюминаторы.

Теперь надо бы пойти домой, подумал он, и лечь спать в кухне на диване, если Бертль еще читает. Спать, да. Люди стареют. Я, Отто Шайдель, тоже старею. И уже разучился водить судно.

Он взглянул на свою окровавленную руку. Что я скажу Бертль? Нет. Этого сказать нельзя. Куда там!

Отто долго смотрел в пол. Его морщины даже в сумерках были здорово заметны.

Он все еще сидел так, когда на «Селенге» перепившаяся команда завалилась спать.

6

На следующее утро он опять был прежним Отто. Сыпал проклятиями, ко всем придирался и командовал, как в лучшие свои дни. Махнув на все рукой, громко смеялся, когда кто-то хотел напомнить ему о вчерашнем.

— Маленький шрам, вот и все. Ошибка художника. Каждый может расквасить себе нос. Но надо встать и идти дальше. Баста! Что вам еще? Кто остался без дела, немедленно доложить мне, ясно? Шесты должны быть закреплены! А там что за куча дерьма? И вообще, почему везде валяется проволока? Где это видано? С сегодняшнего дня на судне опять будет полный порядок! Лентяи! Новое стекло вставить? Ни к чему, я свежего воздуха не боюсь. Не такой я неженка, как вы, молодые парни. Бумагомаратели, а не речники! Отложим до зимы, и хватит разговоров! Живо за дело! Через час снимаемся с якоря. Идем за баржами вниз по реке. Пошевеливайтесь! Живей, живей! Я сейчас пойду за документацией. Чтобы к моему возвращению все было на мази, а не то я вам такую взбучку задам...

Он еще раз ухмыльнулся. Весело и воинственно погрозил кулаком пароходу и, держась прямо как только мог, пошел в гору по направлению к пароходству.

Теперь вид у него опять был суровый, он ни с кем не здоровался, шел опустив голову, похожий скорее на быка, чем на орла. Он не говорил: «Эй ты, дурак!», не щелкал пальцами в карманах брюк, фуражка низко надвинута на лоб, так что видны только маленькие злые глаза. Юркий, настороженный, готовый к прыжку, он никого не подпускал к себе.

Но, вернувшись, еще на трапе напустил на себя важность, чтобы на палубе разразиться бранью. А там стояла его жена и, смеясь, разговаривала со штурманом, который держал ее тяжелую сумку.

— Что это значит? — спросил Отто.— Мы сейчас отчаливаем.— Он стоял на трапе, перевязанной рукой прижимая к груди бумаги с еще не просохшими печатями.— Что...

Отто поднялся на борт и взял из рук штурмана сумку.

— Пойдем-ка сперва вниз,— сказал он и открыл дверь.

«Амур» отчалил с опозданием на два часа. Бертль осталась на борту. Когда Отто вновь появился на мостике, благодушно ворча на штурмана, его правая рука сияла свежей белизной повязки.

Штурману не на что было пожаловаться в этом рейсе, ему немало приходилось стоять у руля, особенно в послеобеденные часы, когда Бертль внизу, в капитанской каюте, наводила свои порядки, а Отто спал на диване.

Однако наверху никто не знал, что капитан среди бела дня должен спать только потому, что такова воля его жены. Сам Отто в это тоже не верил, покуда не засыпал. Среди бела дня, а судно шло и шло.

После кофе Отто сменял своего заместителя, виновато улыбался и не поднимал глаз, когда Заячья Душонка докладывал ему о новостях и спрашивал, что еще нужно сделать до ужина.

— Ничего,— отвечал Отто,— ничего. Доставь себе приятный часок. Ты же знаешь, где у меня холодильник.

До позднего вечера Отто бессменно стоял у руля, мало говорил, а редкие его проклятия звучали как-то бессильно. Но никто этого не замечал, потому что дождь мыл судно, покуда палубная команда под брезентом резалась в карты.

Вниз Отто спустился только ночью, когда его позвала жена.

На следующее утро дождь еще не перестал и Бертль сидела с ним в рубке, но у Отто было много дел на палубе, и он редко возникал на мостике. Он приказал опробовать аварийный насос, что обычно в дождь не делалось, и сам проверил якорные цепи, которых не видал ни разу с тех пор, как ходил на «Амуре».

— Всюду нужен глаз да глаз. Всегда,— сказал он, зайдя на четверть часа в рубку обсушиться.— От этого я уж никак не мог тебя избавить, Бертль. На пароходе всегда так.— При этом он неловко улыбался.— Ты ведь знаешь меня только на самоходной барже. Самоходная баржа — совсем другое дело.

И сплюнул через разбитое окно.

— Ох ты,— извиняющимся тоном пробормотал он.— Мне надо сперва привыкнуть, что ты здесь. Я уж сам к себе слишком привык, стар стал.

И снова сплюнул, хотя вовсе не хотел этого делать.

— Ох, чтоб тебя!..— сорвалось у него.— Прости! Бывает!

Бертль ни слова не сказала.

Отто снова вышел на дождь, глубже надвинул фуражку (зюйдвестку он не признавал) на изрезанный стариковскими морщинами лоб и пошел искать себе какую-нибудь работу.

Целый день, перед тем как подойти к входному каналу, Заячья Душонка спрашивал, хотя слова его не звучали вопросом:

— На этот раз мы ведь возьмем только две, Отто?

Отто зло ворчал, не глядя на штурмана:

— Три! Три или ни одной! Ясно?

— Смотри, чтобы это тебе боком не вышло,— сказал штурман, передавая ему штурвал.— С тремя ты не управишься.

— То есть как не управлюсь? — Отто вцепился в штурвал.— Как не управлюсь? — Потом сорвал с головы фуражку и швырнул ее на палубу.— То, что я должен сделать, то я и могу сделать! — крикнул он. Ни дать ни взять пират. Старый пират. Только без кривого ножа.

Это был уже не прежний Отто Шайдель, чемпион по брани. Это был орел-подранок, который видит приближающихся волков.

— Очистить мостик! — крикнул он.— Пока еще я здесь капитан! Исчезни!— приказал он жене, когда та хотела было подняться к нему.— Сейчас ты мне тут не нужна. Уходи! Это пароход, а не богадельня.

Голос его сорвался, и теперь даже внизу можно было носом учуять, что он пьян.

Бертль ушла, закусив губу. Штурман ушел еще раньше ее.

— Я не сержусь,— сказал он потом,— я его отговаривал, ясно и понятно. Если что и выйдет, я тут ни при чем.

Отто между тем уже давно стоял у штурвала. Вел судно быстро и уверенно, как в последний раз. И «Селенга» опять была на месте, и Купка ждал.

Отто стоял у своего штурвала, кричал и бранился, хотя никого поблизости не было. И все крутил и крутил штурвал. Пар, дым, волны. Грохот, плеск и шипение. И надо всем — остроносый Отто с пиратским взглядом.

— Все сошло бы гладко,— говорил потом штурман,— если бы последняя баржа не сорвалась с троса.

Они его плохо закрепили. Трос лопнул, баржа стукнулась о шпунтовую стенку, ее вынесло обратно в реку, и лишь далеко внизу удалось посадить ее на мель.

Отто в этот день уже не выходил из рубки. Ни когда жена принесла ему кофе, который он молча принял, ни когда явился штурман сообщить ему, что виноваты эти, с баржи, ни когда пришла речная полиция составлять протокол. Он смотрел прямо перед собой и молчал. Он не видел ни реки, ни порта, ни бумаги, которую подписывал. И Бертль, сидевшую подле него, тоже не видел. Ничего не видел и не замечал. Он все время думал. Должен был думать.

Я больше ни на что не годен. Слишком стар. Они смеются надо мной. Я больше ни на что не годен, слишком стар, они смеются надо мной. Я больше ни на что не годен, слишком...

Потом, уже поздно ночью, Бертль вдруг сказала:

— Баста, Отто! Мы сейчас пойдем домой. Собирайся. Живей, старый дурень.

— Ладно,— ответил Отто вяло и поднялся.— Пойдем домой. Пусть так. Да, я хочу домой.

Утром Отто пришел в пароходство — там могли увидеть его новые морщины — и сказал:

— Дайте мне другой маршрут. Как видите, я с «Амуром» не справляюсь. Слишком стар и сноровка уже не та. Дайте мне другой маршрут.

— Ты не виноват в аварии.

— Капитан всегда виноват.

— Но ведь ты быстрее всех оборачиваешься.

— И аварий у меня тоже больше, чем у всех.

— Ты нам нужен на этом маршруте. По каналу всякий может ходить.

— И аварии тоже у всякого бывают. Дайте мне другой маршрут.

Голос Отто не звучал угрожающе, как обычно, пальцы не сжимались в кулак, глаза не вылезали из орбит. И вообще он выглядел как любой нормальный человек.

— Так вот, дайте мне другой маршрут,— сказал он совсем спокойно.

— В чем дело, Отто? Ты не вправе этого от нас требовать.

— Не вправе? Ну ладно.

Отто медленно расстегнул вельветовую куртку, заглянул во внутренний карман, вытащил из него какую-то бумагу и положил на край письменного стола.

— Так вот,— сказал он,— мне здак тоже милее. Я увольняюсь. Я ни на что больше не гожусь. Разве что глотку драть.

И опять он стоял, как все люди стоят перед письменным столом. Руки по швам и голова не слишком задрана. И ждал, как все люди ждут, стоя перед письменным столом.

— Ты рехнулся,— сказал ему начальник и снял телефонную трубку.

— Ну и что? — приветливо улыбнулся Отто.

— Этот номер у тебя не пройдет.

— Какой?

— Рехнуться.

— Ну, почему же? — Отто улыбнулся еще шире.

— Потому что там,— начальник трубкой указал на акваторию порта,— потому что там уже стоит твой караван. И сегодня к вечеру он должен быть внизу. Уровень воды падает.

— Сам знаю,— вырвалось у Отто.

— Итак, значит, мы будем...— Начальник прервал себя и сказал в трубку: — Да, я прошу заведующего кадрами!

— Ты хочешь меня заставить? — спросил Отто, вздернул было подбородок, но тут же низко его опустил.— Ты хочешь меня заставить отработать положенный срок?

— Обязательно! А ты как думал? Ты же сам меня к этому принудил.

— Значит, ты не дашь мне другое судно? На канале?

— Нет.

— Срок — две недели?

— Да.

— Хорошо,— сказал Отто.— Две недели и ни днем больше. Проставь-ка число на этой бумажонке. Значит, поплаваем еще чуток.

Отто не повышал голоса, оставался таким же спокойным, как и раньше. Река, скованная льдом.

— Давай ставь печать!

Начальник стукнул печатью по заявлению.

— Ты спятил, Отто.

— Может быть.

Выйдя на мокрую улицу, Отто сказал себе:

— Хотя бы спятить я могу. А то чем же мне еще заняться? Шестьдесят лет разгона, и вдруг — стоп! А ведь я кое-что умел! — Мимо него по реке прошла «Селенга». Она злорадно выплюнула отработанный пар на крутой берег.— А ведь я кое-что умел! С нормами начудил и с самим собой — тоже! — Пар окутал Шайделя.

А когда это облако рассеялось, Шайдель засмеялся. Шестьдесят лет разгона, и вдруг — стоп! — смеялся он отнюдь не воинственно, потому что смеялся над собой. Шестьдесят лет... Да прекрати ты этот смех... И все смеялся, смеялся. Резко, отрывисто, трудным, жестяным, а потом каким-то ржавым смехом. Дождь швырнул несколько больших капель ему под козырек фуражки, когда он, кашляя, присел на краешек тротуара.

7

В последнем рейсе Бертль опять была на борту. Отто это было безразлично. Ему все было безразлично. Отто больше не был капитаном. Он отрабатывал свои две недели. Лежал внизу на диване, клевал носом и мерз, хотя в печке горел огонь. На воду он и глядеть не хотел.

И ничего не желал знать. Как там штурман справляется? Обязан справляться! На кой тогда его свидетельство? Он же толковый парень, все умеет лучше других. Пусть привыкает.

А как там палубная команда, ведь сегодня среда, надо мыть судно. Пускай поищут, где ключ от инструменталки, где лежат новые мягкие палубные щетки, ими убирать — одно удовольствие. Пускай поищут. Ведь когда не надо, они всюду нос суют.

Что за радость валяться на мягком диване, думал он иногда. Кто стар, тому положено валяться. Погано.

Он и о машинисте ничего знать не хотел, и о том, что штурман захватывает много песку, а это плохо для гребных колес, песок забивается в бронзовые втулки. Не хотел знать, что сегодня трудный день, но знал, потому что «Амур» шел налегке, с малым количеством угля в бункерах, так как стояла осень и уровень воды снижался. И дальше будет снижаться, знал Отто. Но не хотел знать, его это больше не касалось. Последний рейс, не известно даже, удастся ли еще раз пройти вверх по течению, когда так мало воды. У Бризовского брода большая песчаная банка. Если она сместилась, на обратном пути придется «загорать». Ну и что? Пусть. Все кончено. И это меня устраивает.

Отто повернулся к стене. Мне все равно. Все равно. Все, все.

Я ведь труп. Как ни верти. Независимо от уровня воды. Со следующего месяца пойду работать в порт. Экскаваторщиком или кем-нибудь в этом роде. Работенка всегда найдется. На это меня еще хватит.

Вода за бортом бурлит почти неслышно. И правда, мало воды. Если он сейчас посадит судно на мель, баржи врежутся сзади в «Амур». Наверняка у этого типа недостаточно длинный трос. Любит он тросы покороче. Боится узких поворотов. А тут-то длинный трос как раз и надежнее. Ах, да мне-то что...

Экскаваторщик? Вонючая работа. Может, они меня и не возьмут, мне ведь уже шестьдесят. Что делать, если меня не возьмут на работу в порт? Ах, да что я... В порт берут всех подряд.

А то еще можно сторожем устроиться. На верфи, возле свалки металлолома. Это я могу. Это я могу. Могу, потому что ничего больше не могу. Даже спать не могу. Встать, что ли? Ерунда. Зачем?

Отто поджал ноги и подвинулся ближе к стене. Завтра останется еще тринадцать дней. Тринадцать. Одно к одному.

Вдруг в дверях появилась Бертль и, не заходя в каюту, сказала:

— Отто, тебе надо встать.

— Ничего мне не надо,— пробурчал Отто, поднимаясь.— Ничего не надо,— повторил он громче и спросил: — В чем дело?

— Не знаю,— отвечала Бертль.— Там, по течению, что-то неладно. Вставай!

— Это штурман тебя прислал?.. — недоверчиво спросил Отто.

— Нет.

Отто вышел на палубу, поднялся на мостик, сощурился — глаза его превратились в черные щелки. Он молча выжидал. И только когда ему стало ясно, что́ он видит, спросил штурмана, стоявшего у штурвала:

— Ну, что ты на это скажешь?

— Похоже, кто-то стоит на якоре у Бризовского брода. Но это запрещено, проход слишком узкий.

— Ах, вот как?— Сегодня Шайдель не ухмыльнулся, говоря «Ах, вот как?», и вообще еще ни разу не ухмыльнулся.

— Никто там на якоре не стоит,— сказал он, наконец.— В проливе перед бродом ни один якорь не держит.

Не оборачиваясь, Отто дотянулся до бинокля и, прежде чем поднести его к глазам, сказал:

— Там кто-то сел на большую банку.— Он долго смотрел в бинокль, потом, отдавая его штурману, произнес: — «Селенга» с двумя баржами. Села на мель: трос слишком короткий, и баржи сзади наподдали. Теперь им не сняться, пока вода не поднимется.

Шгурман тоже посмотрел в бинокль:

— Первая баржа встала поперек, нам теперь не пройти.

Подойдя ближе, они невооруженным глазом увидели, что возле барж остался лишь совсем узкий проход.

— Ну, значит, будем загорать, теперь тут не продерешься.— Отто опять направился вниз, а штурман отдал команду «стоп».

— Мы здесь проторчим еще две недели,— сказал Отто, уже спустившись на несколько ступенек.— Вода не поднимется. Тринадцать дней,— поправил он себя, увидев жену,— тринадцать дней. А потом пойдем домой.— Он сплюнул через борт. Вид у него был измученный, больной и помятый.

Бертль стояла, прислонясь к узкой двери, и не пускала Отто дальше.

Здорово она выглядит в брюках, подумал он, глядя на нее. Она знала, о чем он думает.

— А ты? — спросила она.— Ты тоже тут не прошел бы?

«Ты тоже не прошел бы?» Только и всего, но этого было достаточно.

У Отто все оборвалось внутри. Бреслау, Бреслау, койка шириною в семьдесят сантиметров, ждать, ждать, начищать медь, белая перчатка, ждать, наконец-то Дунай, ждать, голод, загрязненный Рейн, и все коту под хвост. Я кое-что умел! Через шестьдесят лет и еще тринадцать дней — экскаваторщик или сторож.

— Может быть, я и пройду,— сказал Отто и улыбнулся.— Я всегда проходил. С треском, с разгону. Как-никак, разгон — шестьдесят лет.

— Всегда проходил,— сказала Бертль, точно так же улыбаясь,— всегда проходил.

Отто уже был на мостике, уже рычал:

— Эй, дурачье, пошевеливайтесь! Отцепить караван! Веселей, веселей, ребята! Подготовиться к порожнему рейсу, живо! — Он отодвинул штурмана.— Хочешь загорать тут две недели, зайчик? Не видишь, что завтра мы уже не проскочим?

— Вижу, но...

— Так в чем дело? Якорь готов?

— Не хочешь же ты...

«Амур» уже приближался к узкому проходу, который был чуть шире его.

— Но ты же не можешь...

— Я должен, пойми, парень! Сегодня или никогда, потому что иначе мы будем завтра стоять на суше. Река нас ждать не станет.

Купка на «Селенге» усмехался, стучал пальцем себе по лбу, когда «Амур» плавно двинулся с места. Слышно было, как он кричал:

— Тут никому не пройти! Никому! Ты тут сорвешь глотку, горлодер!

— Может быть! — весело крикнул в ответ Отто.— А ты уже сорвал, старьевщик несчастный!

«Амур» вошел в пролив. Слева по борту — гранит береговой дамбы, справа по борту — сталь.

— Теперь полный вперед! — крикнул Шайдель в переговорную трубу.— Жми на всю катушку, Франц! Закрой глаза и шпарь!

Но у самого Отто глаза сверкали. Он смотрел вперед-назад-вверх-вниз. Видел все что нужно и еще многое сверх того. И руки Отто, державшие штурвал, осязали бушприт. И ноги Отто сквозь палубу доставали до киля. Отто Шайдель был кораблем.

А когда нос со скрипом вошел в песок, «Амур» замер, дернулся и, наконец, пошел свободно, всплыл, Отто почудилось, что он не на корабле, а на койке шириною в семьдесят сантиметров, что рука его чувствует тело жены. Корабль — жена. Жена — корабль. Все вдруг стало прекрасно.

— Прошел! — воскликнула Бертль.

Река текла широко и спокойно. Сзади на мели осталась «Селенга».

— Ну, как мы это провернули, а? Мы, лежебоки! — прокаркал Отто из рубки и сдвинул фуражку на затылок.— Эх мы, лежебоки, мы, дурачье эдакое! Мы же горы можем своротить!

Бертль улыбнулась, подумала: а как же иначе! И пошла вниз.

Река текла широко и спокойно. Локоть Отто беззаботно торчал из окна рубки.

Перевод Е. ВИЛЬМОНТ

ФРИЦ РУДОЛЬФ ФРИЗ

Мои друзья

Мои друзья живут в городе. Их трое. Рихард самый старший. Ему примерно тридцать. Регина на пять лет моложе. Самая младшая — Сабина, их дочь. Она еще так мала, что надо чуть ли не на корточки присесть, если хочешь поговорить с ней. Только Рихард наклоняется к ней, стоя на негнущихся ногах. На левой у Рихарда аппарат с механизмом, который позволяет ему сидеть согнув колени под прямым углом: нога с каким-то звенящим щелчком внутри принимает соответствующее положение. Дома Рихард не желает пользоваться палкой, но для того чтобы передвигаться, ему нужны устойчивые предметы — стулья, столы, край комода. Руки у него сильные, большие. Широкий, тяжелый торс покоится на перегруженных ногах. Глаза очень ясные, очень светлые, как у Сабины. Отец и дочь объясняются друг с другом взглядами. У Регины глаза совсем темные, почти черные. Если взгляд Рихарда очень строг, Сабине достаточно взглянуть на мать, чтобы успокоиться. С тех пор как Сабина познакомилась с другими детьми, она уже меньше нуждается в поддержке. И песенок знает больше, чем раньше. Раньше, то есть когда была совсем маленькой и давала повод рассказывать о ней презабавные истории. Раньше, это когда Регина и Рихард были еще студентами. Они учились на медицинском в университете имени Карла Маркса. И вместе готовились к экзаменам. Тогда говорили, что Регине легче сдавать экзамены. С такими-то глазами!

Время от времени я приезжаю сюда и несколько дней гощу у них. Вот уж год, как они поселились в пригороде, застроенном в 1911 году несколькими ловкими дельцами для множества небогатых людей. Так что квартиры получились маленькие, темные, с закрытой со всех сторон перспективой, окна кухни выходят во двор-колодезь, и если с пятого этажа взглянуть вниз, увидишь только бачки для мусора и столбы с перекладинами для чистки ковров. Двор вымощен коричневым кирпичом, разрисованным длинными и грязными полосами от мопедов и мотоциклов.

О своем приезде я известил открыткой. Звоню и машинально читаю на медной табличке звание и фамилию Рихарда. Темный блеск натертого пола здесь, наверху, кажется светлее, чем на втором этаже. Дома никого нет. На такой случай у нас уговорено, что ключ от квартиры лежит перед дверью, под половичком. Я наклоняюсь и нащупываю ключ. В конце концов, я старый друг дома и пользуюсь полным доверием его обитателей. И я отпираю дверь, вхожу, вешаю пальто на вешалку. В прихожей пахнет, как в домах нашего детства, мастикой и искусственным медом. Иду в кухню, обстановка ее досталась

© VEB Hinstorff Verlag, Rostock, 1975.

Регине от родителей. Здесь запах искусственного меда особенно силен, но это призрачный запах воспоминаний о сороковых годах, когда мы с Региной в таком возрасте, как теперь Сабина, или чуть постарше сидели на этих стульях и между двумя объявлениями воздушной тревоги ели искусственный мед. Сейчас на столе стоит банка пчелиного меда. И несколько невымытых чашек. Чтобы уйти от мыслей о детстве, я заглядываю в холодильник и достаю бутылку «Адлерсхофской» водки. Рюмки в большой комнате. Мне здесь до последней мелочи все знакомо. В прихожей останавливаюсь перед Ван Гогом Зееманского народного издательства. Чтобы дойти, наконец, до большой комнаты, я убираю с дороги плюшевого медвежонка, сторожащего вход, но тут же спохватываюсь, поднимаю его, сажаю на диван, достаю из кармана куртки плитку шоколада и устраиваю ее у мишки в верхних лапах. «Адлерсхофская» холодная и поэтому так же или почти так же вкусна, как советская; бутылку советской я привез в подарок, она лежит пока в моем портфеле. Теперь я дома, курю, нажимаю кнопки радиоприемника, перебираю пластинки в шкафу. Они собирали их как попало, тут все — Барток, Рей Чарлз, «Летучий голландец». Медики — люди разносторонние, думаю я и останавливаю свой выбор на Рее Чарлзе. Квартира расположена так, что жильцы могут устроиться в ней самым лучшим образом. Только ванной нет, а туалет на лестничной клетке, между маршами. 1911 год — расчетливое время...

Смотрю в окно. Идет дождь, ноябрьская погода, фронт домов напротив, с их окнами по фасадам, разукрашенным лепными орнаментами, имитирует пропорции золотого сечения. На углу — магазин похоронных принадлежностей. Этого я не ожидал, в прошлый мой приезд магазин заслоняло зеленое дерево. Письменный стол Рихарда походит на стол человека, который только тем и занимается, что составляет сметы для новых приобретений, иногда настрочит письмо (только не мне), подпишет табель, который через два-три года положит перед ним дочка, взглядом ища глаза Регины, а в общем — что когда придется. Да, я забыл о рецептах, он здесь их выписывает своим друзьям — витаминные препараты, таблетки от головной боли.

Гляжу на картину, висящую на стене, и, держа в руках вторую рюмку «Адлерсхофской» водки, усмехаюсь про себя, потому что картину эту писал я и, собственно, что тут смешного, сам не знаю. Я опрокидываю третью рюмку и не слышу, как поворачивается ключ в замке. Это Рихард, вот он приставил палку к стенке вешалки, мысленно отмечаю я. Он входит, его синий плащ блестит от дождя, он подает мне руку, и глаза его даже в этой полутемной комнате поражают необычностью — Рихард включает свет и видит бутылку. Я предлагаю ему пропустить рюмочку — и лед сломан. Плохо то, что под его взглядом я вдруг чувствую себя чуть ли не наглецом, вторгшимся в дом. Но этот взгляд — чисто профессиональный прием Рихарда, и именно потому он мне неприятен. В конце концов я совершенно здоров, говорю я себе, закуриваю новую сигарету и вижу свою картину, залитую ярким светом. Теперь она не кажется мне такой уж замечательной.

Рихард надолго пропадает в кухне или в спальне, ведь надо снять галстук, сменить пиджак на вязаную куртку. Возможно, он задержался, чтобы дать мне время освоиться с его присутствием. Он отчаянный психолог. Меня всегда удивляло, что он предпочитает заниматься сердцем и почками пациентов.

Я все еще оставался один, когда от вдруг раздавшегося детского голоска комната зажила своей сиюминутной жизнью (быть может, я вернулся к действительности из адлерсхофсководочных витаний), так или иначе, Сабина, узнав на вешалке мое пальто, входит в комнату. Сначала настороженно, мы давно не виделись, а может, я уже не тот,

каким она меня помнит: надо присмотреться, какое у меня лицо сегодня. У медвежонка в передних лапах плитка шоколада, это Сабина успела заметить. Я приветливо улыбаюсь ей, и она, успокоенная, возвращается в переднюю, где ее ждет Регина: девочку надо переобуть и снять с нее пальто. Голос у Регины такой же темный и тихий, как и глаза; только по громким репликам Сабины я понял, что Регина с ней. Я не заявляю о себе, ведь я вторгся в дом, правда, с предупреждением, но все же я не смею нарушать этого вечернего ритуала встречи, воссоединения после целого дня, проведенного каждым вне дома, в своих делах и заботах.

— Вот так так! — говорит Регина, протягивая мне через порог руку. «Вот так так» означает: приехал, хорошо, что ты здесь, ты ведь уже по-настоящему здесь, уже и выпил даже, тебе у нас хорошо, но подожди, пока до тебя дойдет очередь, видишь ведь, мы — семья. И еще это означает: таких забот у тебя нет или есть, а?

Мы понимаем друг друга без слов с тех пор, как, сидя на кухне в доме ее матери, ели искусственный мед до объявления воздушной тревоги или после.

Сабина еще раз заглядывает с порога и бежит к Рихарду сообщить о моем приезде.

Регина входит в комнату, оглядывает пластинки, будто видит их впервые, лицо у нее утомленное. Входит и Рихард, он садится к столу, и все мы ждем щелканья ортопедического аппарата, но его нет, Рихард обеими руками укладывает свою бессильную ногу на пододвинутый стул. Мы сидим втроем под чересчур яркой лампой, а Сабина занята плиткой шоколада, старательно развертывает ее. Я попиваю «Адлерсхофскую». Рихард наливает себе полную рюмку. Регина от водки отказывается. Мало-помалу комната принимает их как свою принадлежность. Вот так, вечер за вечером, сидят они в своих креслах, я же, как не раз бывало, их гость. По поводу моего здоровья, по крайней мере в этот вечер, нет причин выражать беспокойство. За сегодняшний день каждый из них на своем посту в разных больницах города сделал все, что должен был сделать, и еще немного больше. Завтра выяснится, подтвердят ли прописанные лекарства правильность диагнозов. Ночью, пока они спят в своих супружеских постелях, а Сабина — в кроватке с решетчатыми стенками и негритенком над изголовьем, я же — на диване в большой комнате, на котором сижу сейчас рядом с Сабиной, лекарства делают свое дело в кровеносных сосудах больных, пасуют или пробивают себе дорогу к победе, ведут незримые бои, а днем врачи будут заново решать необходимость их, назначать новые сражения. Я смотрю на Рихарда и Регину, на их сосредоточенную усталость. Регина — врач-ассистент в легочной клинике на другом конце города. Она знает эту клинику как свои пять пальцев, сама год пролежала там. Следовало бы, чтоб каждый врач перенес болезнь, которой страдают его пациенты. Рихард двенадцатилетним мальчиком болел детским параличом.

Я не так утомлен, как они, поэтому рассказываю я, рассказываю обо всем, о чем хочется рассказать. Ведь у всех есть маленькие столкновения с действительностью, есть они и у меня. По памяти я нарисовал портрет Сабины, мне хотелось, чтобы это было больше чем простая фотография ее лица с едва выступающим носиком, светлыми глазами и светлой копной волос; больше того: мне хотелось показать ребенка, растущего в атмосфере всеобщей заботы — родителей, дошкольных воспитательниц, будущих учителей и тех, кто проектирует дома с иных позиций, чем это делалось в 1911 году. Картина принята. Вместе с другими будет выставлена в одном из крупных залов.

Мы еще раз переезжаем, говорит Регина, но в конце концов нам

и здесь неплохо, да и соседи знают, кого можно ночью поднять с постели, если заболит живот.

Рихард, держась за спинки стульев, подходит к шкафу и показывает мне новые пластинки — недавнее приобретение: Барток, «Летучий голландец»; Рей Чарлз лежит на диске проигрывателя.

Все для гостей, говорит Регина, встает и идет на кухню. Рихард запускает Рея Чарлза, Сабина побежала за мамой, руки мыть. Ей первой надо укладываться в постель, и поужинает она в кухне. Лежа в кроватке, она поет новую песенку, поет громко, чтобы мы в большой комнате слышали. Рихард смотрит на часы и отправляется к ней, ждет, пока она закончит, и взглядом приказывает — спать. Я зашел вместе с Рихардом, и мне тоже достается поцелуй-спокойной-ночи. В прихожей мы останавливаемся перед Ван Гогом и я рассказываю о товарище, который в амстердамском музее видел оригинал. Регина, переворачивая на сковородке омлет, вставляет из кухни свое «вот так так!». Она сует нам в руки тарелки, ножи, вилки, и мы несем все это в большую комнату на стол. Посуда — тоже недавнее приобретение, и я, как профессионал, должен оценить рисунок и определить стиль.

Мы сидим ужинаем. За окнами незримо моросит ноябрьский дождик. Пьем чай, и я хвалю советскую водку за то, что ее так по-детски просто откупорить; Регина теперь непременно хочет послушать Бартока, а я спрашиваю себя, когда и как она счастлива и счастлива ли? Может быть, она счастлива в этот вечерний час, когда весь ее день легко обозрим (в то время как Рихард словно бы все еще думает о той ясной было картине болезни, которую новые симптомы опять запутали). Будь я болен, что пока, право же, совершенно исключается, я обратился бы скорее к Рихарду, чем к Регине, хотя наше с ней знакомство куда более давнее. Рихард — врач по призванию, ему пророчат большую будущность. Регина же — напротив, там, в парке, в своей легочной больнице не так поглощена работой, по-моему, она совершенно не бережет своего времени. Жизненные истории пациентов занимают ее больше, чем картина их болезни. Она рассказывает, что как раз безнадежные больные наиболее оптимистически настроены и нарушают все больничные порядки. В свои ночные дежурства Регина собирает тех, кто не спит, пьет с ними чай, выслушивает истории сложнейших человеческих судеб, лишь изредка задавая вопросы тихим голосом. Разумеется, заблуждение думать, что только у легочных больных незаурядные судьбы. Именно потому, вероятно, что легочникам приходится так бесконечно много пребывать в горизонтальном положении, их жизнь в вертикальном состоянии кажется им какой-то особенной, не похожей на другие. Для Регины все чудесно: стоять на ногах, ходить, жить, работать и пересекать в трамваях оживленный город, заходить в магазины, рожать детей, вести дом, заводить шкаф для пластинок, держать в холодильнике водку для гостей. Вечером под этой люстрой ей кажется, что жизнь ее неповторимо прекрасна, счастливая жизнь. Наутро, однако, реальность высвечивает, сколько всего нужно, чтобы удержать эту жизнь и это вечернее состояние; и мне кажется, для того чтобы почувствовать себя счастливой, она целый день выписывает лекарства, назначает инъекции, работает не щадя сил, в перерывах звонит Рихарду и, услышав его голос с другого конца города, просит взять из детского сада Сабину, купить в кооперативе молока и белого хлеба: она, Регина, вернется сегодня позднее, чем предполагала.

В десять мы ложимся спать. Диван застилается ослепительной белизной простынь. Рихард гасит верхний свет и открывает окно. Внизу уныло расплывается огонек уличного фонаря. Регина выносит переполненную пепельницу.

Мы желаем друг другу спокойной ночи.

Будильник звонит в шесть утра. Мне это слышно через дверь. На улице затарахтели мотоциклы. Вслед за тем из кухни доносится жужжание Рихардовой электробритвы. Сабина плачет — ей не хочется вылезать из кровати. Регина зажигает газовые горелки, собирает все, что нужно к завтраку, ставит на поднос и несет сюда. Диван стоит так, что можно, не вставая, только слегка приподнявшись, дотянуться до стола. Это хорошо, я неохотно поднимаюсь в шесть часов. Регина включает яркий свет, и я смотрю на нее сведенными от света глазами. А ее большие, темные глаза широко открыты. Она уже одета для выхода из дома, от рук ее, расставляющих чашки и тарелки, пахнет мылом и холодной водой.

— Прошу, ваша милость,— говорит она и ставит передо мной чашку чая.

Мы договариваемся, что именно я должен купить и в каком магазине. В моей голове все еще происходят столкновения «Адлерсхофской» с советской. Входит Рихард, он тоже одет: белая сорочка, галстук, правой рукой он еще продевает запонку на левой манжете, и у меня возникает чувство, будто мы ждем какого-то праздника, а я, непонятно почему, не брит и в пижаме. Сабина хохочет — ей смешно видеть меня в постели. Она протягивает мне мишку — пусть поспит, он совсем еще сонный. Я кладу его на подушку и рассказываю, каким обедом накормлю. Молоко, диктует Сабина.

Рихард готовит бутерброды для Регины и Сабины. Сабина пьет молоко с медом: против насморка.

— Ну, как спал? — осведомляется Рихард.

А я и не знаю.

— Тебе надо жениться, — говорит Регина, — тогда будешь точно знать.

Я киваю и взглядываю на нее. Чай угомонил в моей голове враждующие алкогольные пары.

В семь все трое выходят из дому, Сабина в сапожках и пальтишке с капюшоном, Регина в светлом макинтоше, Рихард в своем синем плаще. Приподнявшись в постели, я пожимаю всем руки. Входная дверь захлопывается на замок.

Рихард отводит Сабину в детский сад. Ему ближе в его больницу, чем Регине. Ей приходится целый час катить по городу на трамваях с несколькими пересадками, пока она добирается до своей клиники под оголенными деревьями парка. В этот час трамваи набиты людьми, мокрыми от дождя. Верные своему представлению о жизни, они сделают за этот день все, что должны сделать, и еще немного больше. Я уже не различаю лица Сабины среди других ребячьих лиц, выглупливающихся из-под капюшонов. И Регинино лицо уже заслонили рентгеновские снимки, и Рихарда уже не вижу, только глаза его стоят передо мной, когда он принимает первого пациента. Около десяти звоню Регине. Она как раз диктует справку для больного: его выписывают. «Туберкулез, — говорит она, — это болезнь, которую можно одолеть».

Когда он родится

Своих детей они отдают сюда. Некоторые забирают их в конце недели, когда дети уже устают спрашивать, где их мамы и папы, и привыкают к нам. Михаэль, трехлетний кудрявый рыжик, мордочка в веснушках, ходит за мной по пятам, а на прогулках по так называемому Приморскому бульвару все

время цепляется за мою руку. Есть родители, которые забывают дорогу к нам, и тогда инспектор из собеса вынуждена ехать за ними в поселки на острове или на побережье. Обычно она наталкивается на разрыв любовных связей, как она потом нам рассказывает, несостоявшиеся браки, потому что он умолчал о другой женщине, с которой у него тоже дети; потому что женщины, родив, остаются одни, за неделю изматываются на рыбном комбинате, на варновских верфях, а накануне выходного танцы — и до четырех утра. Я хорошо знаю, как это бывает с каждым, кто в свободный от работы вечер вдруг остается один, если не садится в автобус и не едет в Берген на танцы ли, в кино ли, здесь ведь у него друга нет. К счастью, существуют телевизоры, после можно еще о фильме поговорить. Сезон прошел, на набережной пусто, словно ветром всех сдуло. Жить у моря глубокой осенью мне еще не приходилось. Летом — да, вот тогда, с тобой, а еще раньше — на фестивале. Знаю, тебе ужасно не нравилось, что я там обучалась верховой езде, и ты никогда не верил, что нам и лошади нужны на представлении про ликендеелеров[1]. Я и так уже стояла где-то сзади в нашей танцевальной группе, а сидя на лошади, должна была крепко держаться, и не от неловкости, а от усталости. И каждое утро репетиции и тренировки. Но зато сколько тысяч народу пришло смотреть на нас. Тебя-то там не было, для тебя все это сплошная ерунда. И где только ты набрался такой самоуверенности, сидя в своем лесном закутке, в доме с бревенчатыми стенами, насквозь прокуренными твоими ирландскими и голландскими табаками. А утром ты сказал, что тебе нужно в город, в твой институт, о котором я не имею ни малейшего представления.

Здесь я понимаю все, что делается и для чего я нужна, а то, чему я здесь научусь, то есть пеленать и кормить новорожденных, мне вскоре пригодится для нашего сына — будет мальчик, это уж непременно. Только бы вовремя пришла машина «скорой помощи» в тот день, зимой. Местные люди говорят, что иной раз все дороги занесены снегом. Этого я очень боюсь.

Сплю я в бараке вместе с другими девушками. В одной из соседних комнат спит наш сторож. Он стар, целыми днями курит, вечерами тоже, и табачный дым просачивается сквозь щели в стенах. Я всю ночь держу окно чуть приоткрытым и слышу море, оно очень близко. До нашего с тобой местечка на пляже всего час ходу. Ты, надеюсь, еще не забыл. И сейчас, в октябре, тоже выдаются солнечные денечки. Все опять голубеет, море синее-пресинее, а берег светлый и чистый. На воде — неподвижные лодки, легкий бриз чуть покачивает их, и никогда не знаешь, есть ли в них кто-нибудь. Рыбаки чинят сети. Кооперативные ларьки забиты, вокруг них с лета еще валяется бумага. Иногда по поселку проходит машина, обычно из нее показывается немолодая чета, супруги постоят, поглазеют, подышат глубоко, пощелкают фотоаппаратом и едут дальше. Может, в Штральзунд, который нам обоим так нравится. Наша гостиница у почты — ты еще помнишь?

У меня нет времени гулять, разве только с детишками, и все-таки это по-прежнему удовольствие. Но как-то совсем по-другому. Лица моих малышей серьезнеют: гулять для них не простое занятие — они всегда встречают что-то непонятное, требующее разъяснения. И я отвечаю на их вопросы, как могу. Хорошо, если дело ограничивается лошадью или автомобилем. На днях Михаэлю захотелось уз-

[1] Морские разбойники, нападавшие в 1394—1401 гг. во главе с Клаусом Штёртебекером и другими на корабли ганзейских купцов,— своеобразная форма социального протеста угнетенных городских низов. (Здесь и далее примечания переводчиков.)

нать, из чего делаются сети. Тут мне пришлось туго. Из перлона, что ли? Спросить у кого-нибудь из рыбаков я не решилась. Они сразу же примут это за приглашение встретиться вечером. А знаешь, наш поселок теперь даже красивее, чем летом. Виден каждый дом в отдельности, ходи и любуйся. Ты бы приехал как-нибудь, поглядел бы. Знаю-знаю, ты мне написал, что между нами все кончено и что у тебя на то есть свои основания. И у меня они тоже есть, когда я представляю себе мое будущее. Мне тогда совершенно ясно, что мы не подходим друг другу. Ты там со своими иностранными книгами и вещами. Но дело не в этом. Языки можно изучить. Только вот твоя манера отделять себя от повседневности, словно мы все не живем друг с другом и словно не любовь создает наше представление о жизни, какою она должна быть.

Инспектор из собеса — зовут ее Ингеборг Руге — уже пожилая. Волосы — как лунь белые. Она вернулась из эмиграции, и просто удивительно, что осела именно здесь, а ведь могла поселиться где угодно и жить лучше и интереснее. Нет, говорит она. Нужна, мол, она как раз здесь, где так много нерешенных задач, где климат и профессия особенно огрубляют людей,— а как быть со множеством ребятишек, не знающих родительского крова, которых отдают в наш Дом, точно в бюро находок нашего острова? Что будет с некоторыми из них, я тоже не знаю. Мать Михаэля, например, работает на рыбном комбинате. Отец — курортное знакомство, его давно и след простыл где-то там, в республике. Сама она не может и не желает сидеть дома, она любит свою работу, вообще любит пожить и часто забывает, что у нее есть сын, она едва его знает; ведь дети, как я замечаю здесь, с каждым днем меняются.

Что ей делать?

Это же настоящая проблема.

Ты мог бы спросить, что будет со мной, когда родится ребенок. Я, может, поеду в Росток, изучу там лечебную гимнастику. Это предложила мне фрау Руге.

Так хорошо иметь кого-то, кто о тебе немножко заботится. Она, верно, понравилась бы тебе.

Когда у меня выходной — один день после семи рабочих, я еду автобусом в Берген, ведь надо обзавестись приданым для малыша, да и не только им. А после захожу в наше с тобой маленькое кафе и пью какао с куском фруктового торта. В кафе обычно пусто, и у кельнерши такой вид, будто ей хочется подсесть к моему столику и поделиться своими горестями. А мне гораздо приятней смотреть на площадь со стоянкой такси и маленьким скверико́м, желтеющим и вянущим теперь, и ждать отправления моего автобуса.

Я не люблю ездить последним автобусом, он чаще всего пуст, и водитель (я сажусь впереди) заговаривает со мной с этакой улыбочкой, конечно же насчет моего, уже достаточно заметного, положения. Если же он случайно едет в тот час, что я наметила себе и в автобусе есть народ, он кивает мне в зеркальце. У него такой добродушный затылок, жене его будет хорошо с ним, а уж детям, тем — наверняка, когда он возьмет их с собой.

Поездка по острову всегда как-то будоражит душу, видишь, что и за горами живут люди. Остров? Что ни говори, это бессмыслица: он представляется мне чем-то вроде раскрытой ладони, протянутой к северу, а Рюгенская плотина — как бы сильное предплечье. Говорят, что в большие морозы можно ходить по морю. Теперь и вообразить даже не могу, чтобы я отважилась на такое. Раньше я бегала на коньках уже по самому тоненькому льду, а ты — ты тогда сидел в своих четырех стенах и слушал какие-то передачи, ужасно важные.

Для меня теперь все неважно, мне кажется, что настоящее начнется только в тот день, когда сын наш появится на свет. Хоть бы скорее уж пришел этот день.

Но когда в шесть утра я бегу в детские палаты, мне не до раздумий, что важно и что не важно. У нас сейчас двадцать девять новорожденных и всего три сестры-воспитательницы. За полтора часа мы должны справиться с купанием и кормлением малюток. Много таких, что плохо сосут и нуждаются в особом уходе. Больных детей много. Расстройство пищеварения. Не понимаю я некоторых сестер. Они работают, как автоматы, и ничего больше знать не хотят. А ведь человек — это главное, так всегда говорит фрау Руге. Здесь же главное одно — часы и минуты.

Против ночных дежурств я ничего не имею. Ты однажды рассказывал, что ребенком любил, когда ночью мать укрывала тебя. Здесь дети такие же точно.

За перегородкой сегодня гости. Муж одной сестры. Он слесарь-строитель и часто пропадает на монтажных работах. Можешь себе представить, как там сегодня неспокойно. В прошлый раз, когда он приезжал, я то и дело просыпалась. Мы спим на кроватях, перевезенных сюда из больницы, которая получила новое оборудование. Кровати старые, шевельнешься — и пружинная сетка выдает каждое движение. Потом соседи начинают шептаться и засыпают. Но тиканье будильника с каждой минутой все громче, и вот-вот он загрохочет.

Ветер с моря даже к утру не утихает. С утра очень холодно. Небо хмурое, темное. Я сразу же, даже не умывшись еще, натягиваю на себя синий пуловер, подбрасываю в печку на раскаленный жар свежий уголь, наливаю воду в эмалированную кастрюльку (воду беру в общей кухне), опускаю в кастрюльку электрокипятильник, и завтрак мой готов: чай, черный хлеб с маслом и повидлом. И яблоко. В женской консультации мне велели есть побольше фруктов и прописали еще какой-то известковый препарат, но я все никак не соберусь в аптеку.

Днем наш сын ведет себя примерно. Но как только наступает вечер и я буквально на ходу засыпаю от усталости, он начинает ворочаться. Сна как не бывало, я все жду, когда он опять задвигается. Толчки он распределяет как ему заблагорассудится, всегда неожиданно... Хоть бы «скорая» пришла вовремя, не застряла в снегу зимой. Я рассчитываю, это будет в январе. В Бергене меня уже записали. Ты и понятия не имеешь, сколько детей каждый день рождается. И сколько из них попадает к нам. При социализме, говорит фрау Руге, не должно быть таких эгоистов. Ты тоже так думаешь?

В эти дни я вижу тебя среди твоих бревенчатых стен. В институт, насколько я знаю, ты ездишь раз в неделю. За ночь печка твоя, конечно, остыла, и тебе чуть свет приходится снова разжигать ее, ты приносишь дрова из-под твоих сосен, от дождя они мокрые и, положенные в печку, дымят. С досады ты тут же, с утра пораньше, выпиваешь рюмку сливянки или что-нибудь другое, что как раз имеется у вас в кооперативе, и ставишь пластинку на проигрыватель. Работать начинаешь совсем уж под вечер, дождавшись вдохновения, навеянного твоим знаменитым heure bleue (правильно я написала?), и так хорошо пахнет теплом печки и трубочным табаком, а черный чайник до краев полон чаю. Может, гость заглянет, и вы до одури будете говорить о двадцать первом веке и еще дальше заберетесь... Я больше за настоящее, хотя мое настоящее — это пеленки, искусственное вскармливание младенцев, детские болезни и страх перед родами. По вечерам немножко смотрю телевизор или прочитываю несколько страниц какого-нибудь романа. Кстати, ты мог бы получить у нас место биб-

лиотекаря. Хочешь? На днях тут устраивается вечер, посвященный Герхарту Гауптману, с участием артистов из Путбусского театра. Я обязательно пойду.

Иногда мне снится, что я скачу верхом на белой лошади с той цветной репродукции, что ты однажды подарил мне. Моя лошадь стоит на берегу ручья или реки и пьет. А в глубине две темнокожие голые девушки скачут на вороных конях сквозь синий лес. Моя лошадь напилась, подбегает ко мне и подставляет шею, чтобы я потрепала ее. Я сажусь на ее блестящую спину без седла и уздечки. Мы скачем по широкой светлой равнине. И вдруг опять фестиваль. Зрителей тысячи и тысячи, и все дети из нашего Дома ребенка тоже там. Они уже взрослые, а в балете работниц рыбного комбината — я веду его — танцуют сестры нашего Дома, и фрау Руге тоже изучила хореографию, а наши дети, теперь уже мужчины и женщины, аплодируют им, встают со скамьи, подходят и хотят поднять на плечи Штёртебекера, потому что он дает им хлеб и громит их врагов. Но вот опять разражается буря аплодисментов над морем, на нем отчаянно несутся к берегу пылающие купеческие суда и сгорают, как фейерверк. Я просыпаюсь от дождя, который стучит по крыше нашего барака. Сегодня я выходная, могу выспаться и думать о нашем сыне.

Перевод И. А. ГОРКИНОЙ

ХЕЛЬГА ШУБЕРТ

Собака

Ребенок хочет собаку.

Родители — нет. Мы живем в городской квартире без сада, дома бываем только вечером, нам некогда готовить собаке еду, и, наконец, куда мы ее денем на время отпуска? Вполне разумные причины для отказа.

Тем не менее ребенок хочет собаку. Он обещает откладывать карманные деньги, каждый день ходить к мяснику, вступить в Общество охотников, чтоб избавить нас от налога на собаку, возвращаться домой сразу после школы: сидеть с собакой и готовить уроки.

Он показывает нам статью в газете: «Чрезвычайно важно уже в маленьких детях развивать любовь к животным. Для этого родителям следует возможно чаще водить своих малышей в зоопарк или, что еще лучше, подарить им какого-нибудь зверька. Уход за животным разовьет в вашем ребенке чувство ответственности и терпение».

Мы устали от дискуссий по поводу собаки и решили заменить ее кем-нибудь поменьше.

© Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1975.

Накануне дня рождения ребенка — ему исполняется восемь лет — мы отправляемся к соседу. В его квартире весь день раздается писк и щебет. У него множество волнистых попугайчиков. Мы выбираем пару голубых птиц и тут же приобретаем старую клетку. Затем, нагруженные клеткой, поилками, кормушкой, кормом, песком, жердочками и двумя тихими, сонными птицами, тайком пробираемся к себе в квартиру.

Утром мы видим сына, в восторге застывшего перед клеткой. Он выпускает птиц. Сначала они вообще не хотят вылетать, потому что всегда жили только в клетке. Потом неуверенно кружат над нами, и мы себя чувствуем, как будто смотрим фильм Хичкока «Птицы». Наконец, попугайчики, успокоившись, устраиваются на карнизе гардины, а ребенок спрашивает, нельзя ли купить для них собаку. Наступает вечер, птицы все еще не произнесли ни слова, и ребенок предлагает обменять их на собаку.

Все последующие дни наш сын и его школьные друзья проводят перед клеткой с попугаями, обучая их говорить. Мы увеличиваем карманные деньги нашего ребенка, ибо таким интеллигентным птицам требуется особый корм, помогающий развиваться их способности к человеческой речи. Так, во всяком случае, написано на пакетиках с кормом.

Наш мальчик становится все образованнее. Он читает «Жизнь животных» Брема. Оказывается, волнистых попугайчиков можно научить разговаривать, только если с детства выращивать их поодиночке. Наш сын решает позаботиться о потомстве, оно будет воспитываться в другой комнате. Приобретается ящик-гнездышко и опилки, чтобы насыпать на дно. Мальчик ждет, но птицы яиц не кладут.

Прождав неделю, он выбрасывает ящик-гнездышко.

В новую клетку, заботливо припасенную нами для птенцов, пересажены наши попугайчики, а старая вынесена на кухню.

Мы едем в отпуск, и сосед соглашается на это время взять птиц на свое попечение. За полфунта кофе.

После каникул сын усиленно размышляет, к чему бы приспособить старую клетку. Мы закупаем птичий корм, песок, качели, игрушки для птиц и камни — точить клюв, и тут выясняется, что наш ребенок хочет морскую свинку или хомячка. Чтобы избежать большего зла, мы выбираем меньшее и приобретаем аквариум с парой бойцовых рыбок, ну и, разумеется, растения, песок, камни для украшения, водяных блох и улиток. У австралийской когтистой лягушки такие симпатичные перепонки между пальцами, что и она оказывается в нашем аквариуме. Продавец заверяет, что водяных блох хватит на четыре дня, а потом можно купить новых.

До зоомагазина добираться удивительно удобно — всего шесть остановок на трамвае, с пересадкой.

Водяные блохи кончились уже на следующий день, в субботу. В воскресенье мы были готовы к худшему. Но все трое выжили: обе рыбки и лягушка. Мальчик придумал игру — подставлял бойцовым рыбкам зеркало, и разъяренный самец принимал свое отражение за соперника. В понедельник наш сын принес водяных блох прежде, чем сел за уроки. Целый месяц все шло прекрасно, а потом вода стала зеленой и непрозрачной и от нее потянуло гнилью. Продавщица декоративных рыбок полагала, что нашему аквариуму не хватает кислородного насоса и фильтра, и мы купили их.

Целых полдня провел мальчик, наблюдая, как воздушные пузырьки из насоса подымают вверх улиток. Потом пошел в соседний дом помочь вывести на прогулку собаку.

Время живых водяных блох миновало. Теперь продавщица предлагает червей. Этих червей мы сможем разводить и сами. Вечером надо положить остатки ужина в коробку из-под сигар, где живут черви, и они станут толстыми и круглыми. Как особое лакомство для червяков она рекомендовала кашу из овсяных хлопьев в смеси со специальным кормом, это будет способствовать размножению червей. Мы последовали ее совету.

Червяки вели себя в аквариуме очень умно, они сейчас же зарывались в песок. Мы-то их видели, да рыбы найти не могли. Поэтому сыну приходилось брать из коробки по одному червяку и кормить рыб из рук.

Продавщица посоветовала поместить червей в плавающий сосуд с дырочками, через которые их будут выдергивать рыбы. При этом мальчик купил еще двух черных рыбок за то, что у них такое красивое название: Black Molly.

Птицы все еще не говорили. Пол был вечно усыпан шелухой зерен и перышками. Встала проблема — кто будет пылесосить?

Я посоветовалась с товарищами по работе. У других родителей тоже оказалась уйма забот с эрзац-собаками. Одна моя сослуживица купила дочери черепаху. Теперь каждый вечер она варит для этой черепахи картошку и кормит ее с ложечки. Каждую субботу она купает черепаху и полирует ее панцирь растительным маслом, пока он не заблестит. Это придумала дочка.

А тем временем вопрос о собаке снова стал у нас животрепещущим, ибо в нашем подъезде появился маленький черный пудель.

Когда мы снова, не очень уверенно, отказали сыну, он как будто бы примирился с этим. Сегодня я пришла с работы и увидела, что он нашел применение для старой клетки. «Это — собаки,— сказал он,— мои, личные». В клетке сидела пара белых мышей.

В гостях у художницы

Нас привел к ней приятель.

Улица, мощенная булыжником, вместо калитки — дыра в заборе, палисадник зарос высокой травой, вход со двора. Штукатурка на доме осыпалась. Одна стена свежепобелена в рост ребенка и расписана красными цветами, полосатыми петухами, желтыми драконами с человеческими лицами. До следующей весны.

Она живет не в самом низу, мы подымаемся на второй этаж, вот и дощечка с фамилией; на лестничной площадке, между окнами — большое зеркало, мы смотрим на самих себя, покуда она не открывает дверь. Ее лицо усыпано маленькими красными шрамами, пепельные волосы собраны на затылке узлом, она очень худа, юбка болтается на ней, стянутая кожаным поясом. Светлые глаза глядят на нашего друга беспомощно и доверчиво: уж он-то знает, кого привести.

— Входите, я еще не успела прибрать,— тихо говорит она.

Мы идем через прихожую, на крючках вешалки — пальто, пуловеры, брюки, джинсы, рубахи, рабочие халаты; на полу — стопки газет, а на открытой полке — мужские и женские башмаки. Свечи, спички и фигурка Аты[1].

— Я пройду вперед, а вы повесьте пальто на вешалку, на свободное место,— обращается она к нам.

---

[1] Ата (Ате) — дочь Зевса, олицетворение мгновенного безумия, затуманивающего рассудок человека и богов.

Мы следуем за ней.

— Садитесь,— она освобождает стулья,— только, пожалуйста, не подходите к столу.

В углу двадцатилетняя девушка сидит за швейной машинкой. Она коротко кивает нам. На полу стоит проигрыватель: звучит французская песня.

— Сейчас выпьем чаю,— говорит хозяйка и выходит.

Девушка продолжает шить. Мы оглядываемся вокруг. На двери висит Арлекин на двух шнурах. Мы пробуем подвигать его. Стены комнаты выбелены. Между дверью в коридор и дверью в кухню висят восемь маленьких картин, писанных маслом. Между кухонной дверью и окном — книжная полка с откидной доской для письма. На полке много книг, главным образом карманного формата, и разнообразные чашки. По верху полки расставлены работы художницы — фигуры из фарфора, среди них одна: полудерево-полуженщина.

Дверь из кухни отворяется, хозяйка приносит фарфоровый чайник и ставит его на пол. Пол дощатый.

— Чашки лучше всего держать в руках,— говорит она и достает их с полки, ни одна чашка не похожа на другую, каждая — произведение искусства, и наливает в них чай.

— На столе, к сожалению, нельзя ни к чему притрагиваться, эта работа еще не обжигалась,— озабоченно говорит она.— Это подарок моей подруге, которая родила ребенка.

На крохотной софе лежит — и ее можно снять — кругленькая женщина с пучком на затылке, она опирается на локоть. Качать колыбельку можно, дергая за белую шерстяную нитку, в колыбельке лежит младенец.

— Ребенок еще не вполне готов, он должен быть не больше сантиметра в длину, а ведь хочется, чтоб и лицо было видно.

Мы молча глядим на маленькие серовато-коричневые фигурки.

— Как ваши дела? — спрашивает наш приятель.

— Ах,— отвечает она,— дочка кончила учение, но сидит дома, немного рисует да шьет иногда брюки.

— Бархатные брюки,— говорит дочка, не отрываясь от швейной машины.

— А сын окончил десятый класс и начал профессиональное обучение. Ему с самого начала все давалось так легко, что он всякий раз пытался сделать работу проще, чем показывал мастер. Из-за этого начались такие неприятности, что он бросил учебу. Сейчас он работает грузчиком на лесном складе. И знаете, вчера он рассказывал, что когда поднимает на плечо доску, прогретую солнцем, чтобы унести ее, по ней очень часто ползают большие пауки. На днях один паук поглядел на него, а он поглядел на паука,— знаете, я бы не поверила, что паук может так глядеть на человека,— и мальчик подумал: если ты поползешь на меня, я брошу доску. Но паук остановился... Гравюры на линолеуме позади вас над софой — это его.

— На что вы теперь живете? — спрашивает наш приятель.

— У меня есть заказы,— отвечает она,— но я работаю медленно, поэтому делаю мало. Кроме того, я получила премию, на эти деньги мы живем сейчас. Поглядите-ка, какая чудесная головка путти, я нашла ее на помойке и взяла себе. Прекрасная работа. Обратите внимание на эту маленькую картину, ее подарил мне мой друг незадолго до своей женитьбы. Вот здесь и его свадебное извещение.

— У вас есть что-нибудь на продажу? — спрашивает наш приятель.

— Нет, вы ведь знаете, я работаю только по предварительным заказам. Все, что здесь стоит, заказано заранее.

— У тебя есть еще графика,— говорит дочь.

— Я уже несколько лет не работаю в графике. А вас интересуют такие старые вещи? Да? Эту я не отдам, ее я сохраняю как память. Эту я подарила моему другу, мы тогда еще были вместе, до его женитьбы. А вот эту я могу вам отдать, у меня есть еще одна такая, кроме того, она не так уж хороша. Теперь бы я изобразила любовников иначе. Да, так сколько же мне взять за нее? Она вам нравится? Тридцать марок не слишком дорого для вас?

— Возьми пятьдесят,— говорит дочь.

— Хорошо, тогда мы этими деньгами заплатим за квартиру,— говорит она с облегчением.— Сейчас я ее подпишу.

Мы встаем и подходим к полке с фарфоровыми статуэтками. На полке висит лист бумаги с набросками заказанных вещей.

— Можно нам тоже выбрать что-нибудь заранее?

— А что бы вы хотели?

— Вот это,— говорю я, указывая на белую фигуру: она и женщина, и рыба, и дерево, и куст, ее ноги оканчиваются двумя хвостами, которые переходят в большие листья, каждый величиной с ее лицо. Жилки на листьях, волосы, глаза, рот, соски грудей, пупок, цоколь — серо-голубые. Фаянс.

— А, Дафна, я тоже очень люблю ее. Вы слышали миф о ней? Она была нимфой и пыталась спастись от ласк Аполлона. Поэтому она превратилась в лавр. Но у меня это превращение еще завершилось не полностью. Еще ясно видно, что она женщина, правда? Кто знает, быть может, она тоже хотела Аполлона. Она должна была стоить триста марок. Ее заказал мне один коллекционер. Но я не могу отдать ее, потому что она больше не стоит своей цены. Пришлось ее реставрировать. Она удалась мне необыкновенно, но перед печью для обжига кто-то нечаянно столкнул ее с цоколя. Листья отвалились, но сама она не пострадала. Тогда я попробовала реставрировать ее. Вот здесь у шеи, сзади, приделаны новые листья. Заметно, что они обжигались не вместе с остальными.

— Жалко,— говорит наш приятель,— жалко вашей работы.

Дафна покорила меня. «Именно потому, что она пострадала, мне особенно хочется ее иметь»,— думаю я.

— Но вы не отреклись от нее,— говорю я.

Мастерица улыбается мне. Маленькие шрамы больше не заметны на ее лице, от радости она покраснела.

— Вам,— говорит она,— я отдам ее и возьму полную цену. Этим вы заплатите за вашу надежду.

Мы ставим пустые чашки на откидную доску у книжной полки, прощаемся с матерью и дочерью, идем мимо расписанной стены, выходим на улицу.

Дафну она завернула в газету.

Голоса птиц

Я строю дом. Для себя. Начинаю с общего вида: дом будет сложен из камня, а сверху — кирпичи. В мавританском стиле.

Ворота? Вместо ворот будет калитка из резного дерева, я покрашу ее в темно-зеленый цвет, с красным узором.

Через стену в сад сможет заглянуть только тот, кто станет на цыпочки. Прямо перед собой он увидит колодец с насосом.

Откуда я стану брать воду зимой? Из колодца. Он не замерзнет. Потому что зима здесь не посмеет быть холодной. Перед насосом — цементный стол с углублением для таза, в нем я буду мыть посуду. Рядом — куст роз.

А когда он отцветает? Я надеюсь, он будет цвести долго. Я надеюсь, что скоро научусь различать все цветы, которые цветут долго и крупными цветками и расцветают снова и снова. А в будущем году опять распустятся розы.

Кто постоит на цыпочках подольше, пока не занемеют ноги, увидит на поленнице кошку. Кошка греется на солнце.

Но зачем мне дрова, если не будет холодов? На всякий случай — вдруг в один прекрасный день похолодает и мне, привыкшей к теплу, понадобится огонь!

Кошка насторожила ушки и прищуренными глазами глядит на непрошеного наблюдателя.

Рядом с поленницей — высокое дерево. Дом будет ниже дерева, иначе ветви врастут в дом. Победит дерево.

В его листве сидит серебристая птица. Сначала я приняла ее за обыкновенную речную чайку, но те чайки маленькие, живут на болоте и не смеются. Так написано в книге о птицах. Там есть и моя чайка. Моя чайка — большая, она живет у моря, издает протяжный крик, который звучит как хохот. Каждая такая птица тихо сидит на большом дереве. Пока не увидит другую. Тогда она несколько раз кивнет головой, курлыкнет про себя, вытянет шею, разинет клюв и заорет, бесстыдно и громко. В ответ закричит другая, потом следующая, потом все снова замолчат и снова закружат над морем.

Может быть, они кричат от скуки, а может, хотят поговорить друг с другом о чем-нибудь. Для меня их крики — смех. И хотя днем я не верю в переселение душ, ночью мне мнится, что они были когда-то людьми самой лучшей породы — грустные весельчаки.

Но птицы ночью спят. И хохот их кажется мне невероятным, бесшабашным и печальным, вырывающимся из разинутых клювов. Я надеюсь на дневной свет, на птицу в листве. Я надеюсь, у нее есть причина для смеха, я боюсь, не стало бы ей холодно. Не хочу я поверить в зиму, несмотря на поленницу дров.

Южнее построить дом нельзя. Я и так живу почти на границе. Не хочу быть промежуточной станцией между двух миров для контрабандистов или бродяг, не хочу сторожевых собак, не хочу стрельбы. Южнее моему дому быть нельзя, и придется мне несколько месяцев жить без хохочущих птиц. Мне в утешение останется кошка. Ей нужны молоко, и мои теплые колени, и чтобы я гладила ее.

Я построю дом такой же, как у соседей. Только пусть он стоит не слишком близко к ним, но так, чтобы я видела их дома и слышала, как они качают воду.

От чего защищает меня каменная стена ограды? С одной стороны стену может заменить крутой склон, спускающийся к морю. Если б такой берег был с двух сторон, он бы с двух сторон ограждал меня от людей. Но не от моря, оно подтачивает скалу, на которой я живу.

Ну, а как обстоит дело со стеной у дороги?

Что делать, если дорогу превратят в шоссе, по которому пойдут туристские автобусы, тягачи и краны, направляющиеся в места тихого отдыха, где строят высотные дома? Тогда уж любопытные станут не только глазеть на мою кошку и мои цветы, нет, каждый захочет провести свой отпуск именно здесь. Потому что здесь так уединенно. Дощечка «Злая собака» не поможет, потому что никакой собаки не слышно. Если бы даже у меня была собака, она уж точно бы не куса-

лась, а лежала бы рядом с кошкой. Только в тени. Не увидят меня в саду — позвонят в калитку, войдут, и нелегко мне будет снова выдворить их.

Дом должен стоять у самого моря. Иначе не прилетят птицы. Стена должна быть очень высокой, надо надеяться, на этот счет нет специальных предписаний.

Дом я построю из больших камней. Их я разыщу у моря. Но как доставить камни на место и положить один на другой? Найму кого-нибудь, какого-нибудь мужчину. Но такого, который и на самом деле будет только строить дом. Он мне недешево обойдется. Если он женат, я уверена, его жена не разрешит ему работать у меня, одинокой женщины. Значит, либо он должен быть холост, либо я замужем. Вот решение: я выйду замуж на время строительства дома, чтобы успокоить его жену.

Возможно, я найду мужа по объявлению: «Молодая женщина, живущая на берегу моря, ищет мужа сроком на шесть месяцев, жилплощадь и питание предоставляются».

Как знать, вдруг и он подсобит нам немножко: просеет песок, принесет воды. Если мимо пройдут соседи, он поцелует меня в щеку, но не в губы — за это я мужчинам не плачу.

Итак, дом строится. Прежде всего я поставлю раскладушки с двумя спальными мешками, чтобы «муж по объявлению» не сбежал. Теперь надо позаботиться о еде. Наверное, каменщику нужна другая еда, чем «мужу по объявлению». Мне придется угождать обоим. Возможно, каменщику жена будет давать обед с собой. Иной раз куплю рыбы у соседей-рыбаков. Когда они увидят, что я не туристка, они мне уступят подешевле.

Котелок я привезу из дому. Синий, с большими белыми цветами. Его можно поставить на стол.

Но где же я буду готовить? Велю сложить плиту и трубу. Топить буду дровами из поленницы, на которой лежит кошка. Наколоть дров сможет «муж по объявлению».

Поскорее надо застеклить окна на дорогу. Огромные окна, почти до земли, со временем я завешу их.

А как быть с крабами? Следует ли положить их на окна уже высушенными? За высушенного краба я получу восемь марок, за морского конька — две, за раковину — четыре, но только если туристы услышат в ней шум моря, и за ожерелье из ракушек — четыре марки. А сколько мне пришлось нанизывать их и лакировать!

А вдруг полицейский увидит, что я стою перед своим домом, и достаю из кармана передника крабов и раковины, и объясняю людям, что не смогу достроить дом, если никто не купит у меня крабов? Если полицейский поймает меня за этим занятием, он отберет мои сувениры. Нет, это не для меня, это для тех, кто торгует за прилавком, продает пепельницы, оклеенные фотографиями серебристых чаек,— для торговцев, которые платят налоги. А я не плачу. Как приезжей, мне следовало бы все же подать хороший пример и в благодарность за разрешение на постройку дома уступить, по крайней мере, одну комнату местному бюро путешествий, или как оно тут называется. Тогда и на крабов посмотрят сквозь пальцы.

Но я не хочу незнакомых гостей, и знакомых тоже, но все равно они приедут — хотя бы из любопытства — к землячке, к школьной подруге, сослуживице, к единомышленнице, которая, как и они, не выносит шума и гама, приедут для того, чтоб не рвались связи, чтобы и я услышала новости из дому. Нынче благодаря самолетам вообще не существует расстояний. «Единственная проблема — автобус до аэропорта»,— скажут они.

Я не буду продавать крабов, я не буду сдавать комнату через бюро путешествий, я отошлю домой «мужа по объявлению», как только отпадет нужда в каменщике.

Соседи полюбопытствуют сначала, возьму ли я себе здешнего парня на долгий срок или туриста на короткий. А когда узнают, перестанут обращать на меня внимание, особенно если моя кожа станет такого же цвета, как у них.

Остается вопрос денег. Я не живу на средства мужчины или доходы от курортников, я не получаю процентов с капитала, и у меня нет имущества, которое приносило бы проценты. Остается одно — работать самой. Я могла бы научиться плести коврики, правда, у меня медлительные пальцы.

После десятого ковра у меня б не было больше трудностей, я бы овладела техникой и перестала отвлекаться от собственных мыслей. Прежде всего я усадила бы своих заказчиков, и выложила им все начистоту, и больше не брала бы шерсти. Я снова свободна. Я могу спокойно писать.

Но местное наречие я знаю недостаточно хорошо. Я могла бы послать мою работу домой, в издательство.

Но что они станут делать с рассказом о чайках-хохотушах? Они скажут: работайте и дальше так, а пока напишите что-нибудь по-настоящему радостное о жизни края, в котором вы в данный момент гостите.

Но я вовсе не гощу в этом краю. Он стал моим, хотя бы из-за одних этих птиц.

Перевод Э. ЛЬВОВОЙ

ИОАХИМ НОВОТНЫЙ

«Малепартус»

...Имело место: около десяти неоконченных фраз. Приблизительно семь восклицаний, выражающих не то удивление, не то возмущение. Высказанное вслух сомнение в том, что обручальные кольца настоящие. Всякого рода вздохи и устремленные к потолку взгляды. Заверения. И, наконец, решение. И все это было с нашим другом Пласкудой. Тут-то и рождается подозрение, что за всем этим непременно должна скрываться какая-нибудь история.

Конечно, многое говорит против этого. Например, решение. Неужели есть такая история, которая заставила бы кого-нибудь принять решение? И потом заверения, вздохи — это совсем не похоже на Пласкуду. Может, они должны заменить отсутствие действия? Не-

оконченные фразы мы считать не будем. Говорить Пласкуда не мастер. Он бы даже трехчасовой бой с тигром описал в десяти словах. Значит, остаются обручальные кольца. Они и укрепляют нашу уверенность в том, что тогда все-таки должно было что-то произойти. Возможно, не слишком драматичное. Скорее всего этакое незначительное плавное изменение в чьей-то жизни. При этом каждое из действующих лиц остается на своем месте и только время от времени произносит какую-то реплику. Это уже нечто. Не какая-нибудь, конечно, «story». А просто история. Но, пожалуй, хватит предисловий. Начнем.

Итак, Пласкуда. Один в субботний вечер в большом городе. Куда деваться? Сослуживцы далеко, они сидят преспокойненько дома. Пласкуда мог бы, конечно, пойти в свою комнату в пансионе и лечь спать. Но ему неохота. Он ищет компании и пива. Если верить Пласкуде, то одно связано с другим. Но откуда же взять человеку, который приехал в город всего на две недели, чтобы проследить за сборкой станка, откуда ему взять компанию? Театр, кино, ресторан третьей категории? Очень уж должно повезти, чтобы там нашелся любитель выпить пива. Остаются самые дешевые кафе и закусочные. Пласкуда отправляется на поиски, но не находит ничего подходящего, по крайней мере в центре города. Его мучит жажда, он почти в ярости, но он медленно идет по направлению к окраине, находит пивную и, заглянув, испуганно выскакивает: шум, дым, пиво льется рекой. А у Пласкуды свои требования. Наконец, среди скучных и однообразных кварталов его привлекает вывеска со странным названием: «Малепартус». Если по-французски, получается: «скверный проход», а если по-немецки, то попросту: «лисья нора». Что ж, поглядим.

Пласкуда входит. Накрытые белыми скатертями столики, неожиданно чисто. Пиво не в кружках, а в бокалах, с шапкой пены сливочного цвета. Меню обещает колбасу кэрри, горячие сардельки не указаны. Не слишком большое, светлое помещение, мало посетителей. Они хотя и без галстуков, но в белых рубашках. Пласкуда нашел то, что искал. Пласкуда усаживается (как это обычно происходит во многих немецких рассказах) за единственный свободный столик. Ему подают пиво, он пьет, осматривается, придерживаясь старинной мудрости: всему свой час. Это относится к компании, которую подыскивает себе Пласкуда. Три шкета за угловым столиком справа. Один из них дымит сигаретой, как будто устраивает для всех спектакль. Это Пласкуде знакомо: когда он начал курить на людях, то держался точно так же. Слева, сразу у дверей, какой-то тощий тип пьет водку с зельтерской, что совершенно не соответствует вкусам Пласкуды. За средним столиком разбитной парень лет двадцати угощает свою подружку кофейным ликером, а сам осторожно потягивает пиво. Похоже, у него есть планы на дальнейшее, думает Пласкуда. Старый приемчик.

Значит, остается угловой столик справа. И тут мы должны вмешаться и заявить, что Пласкуда с самого начала заметил эту женщину, раньше, чем остальных посетителей. Сразу же, как только вошел. Еще до того, как разглядел скатерти, меню и помещение. Еще не сделав ни одного глотка. И когда изучал других посетителей, все время поглядывал на эту женщину.

Глупости, говорит Пласкуда, застигнутый нами на месте преступления. Какая чепуха! Вот еще! Как будто мне делать больше нечего. Да я ее насквозь вижу. Тут и слепой заметит. Она же выставляет этого старика на коньяк, а сама потом с другим смотается. Вы бы посмотрели на мужичка, с которым она сидит. Ведь это развали-

на, он истрепан и истаскан. Он как загнанная лошадь. Чтобы между ними что-нибудь было? Смешно!

Тут мы должны вмешаться. Приговор Пласкуды суров. Суров и несправедлив. Это из-за неудачного брака и развода. Поэтому в настоящее время он не может быть объективен и к женскому полу вообще, и к каждой отдельной его представительнице. А мы попробуем.

Женщину, которая сидит за столиком с мужчиной, мы не назвали бы красивой. Но — гм — женственной.

Плотная, но не коренастая, чистенькая, но без запаха дезинфекции. Русая, темноглазая, возраст: около тридцати пяти. Рот и зубы наводят на мысли о здоровой пище, деревенском хлебе и пахте. Единственная смелая деталь в ее внешности — тонкая зеленая косынка, которой повязаны волосы.

Что касается мужчины, то тут, мы не можем этого скрыть, Пласкуда в общих чертах прав.

Ну и что? Любовь зла. Почему эти двое не могут быть вместе? У нее прекрасное настроение. Пьет, смеется и сверкает глазами, и ему это доставляет удовольствие, он говорит и говорит — что вам еще надо!

Любовь, издевается Пласкуда, я, наверное, ослышался? Эти — и любовь! Да ей же наплевать на него... посмотрите на их кольца! Да вы поглядите! У нее широкое, а у него узкое и стершееся. Мало вам этого?.. В общем, говорите что хотите, а здесь что-то не так.

Действительно, неожиданный поворот. И тут в этой истории, где все до сих пор только сидели за столиками, происходит некоторое движение. Трое, нет, шестеро, нет, восемь человек вваливаются в кафе. Есть свободные места? Пожалуйста, вон там два, вон еще два. Ну нет, мы одной компанией, день рождения, понимаете. Мы хотим сидеть вместе.

И тогда...

А дело вот в чем. Пласкуда с самого начала был ослеплен этой женщиной. Он не искал, не выбирал, он просто сел. Конечно, за единственный большой стол на восемь человек. Теперь на него поглядывают, смотрят, наконец, спрашивают прямо: вы не будете так любезны? Как же поступает Пласкуда? Он дает официантке взять себя за рукав, она подводит его к столику на четырех человек. К столику, который стоит в левом углу. «К нему она, он к ней бежит...» [1] — но этого мы точно не знаем. Чувства Пласкуды в этот момент нам неведомы: мы можем следить лишь за внешними их проявлениями. Что-то вроде поклона, покашливание, какое-то невнятное слово. Потом сгибание коленей под приветливо приглашающим взглядом женщины и потоком слов маленького человечка. Наконец, заказ официантке: два пива и коньяк. Пласкуда угощает.

Стоит только взяться за рюмки, сказать «ваше здоровье» — и первого смущения как не бывало. Дальше все идет само собой. Маленький человечек болтает и хвастается. Из него так и брызжет хорошее настроение, только язык иногда заплетается. И глаза безучастные, водянистые и мутные. Пласкуда перебивает его время от времени мудрыми замечаниями, которые не производят впечатления из-за своей, почти лозунговой, краткости. Женщина смеется низким грудным смехом и немножко откидывается при этом назад, так что тело ее волнующе вздрагивает. Пласкуда забывает о своих намерениях и начинает флиртовать. А что называет флиртом разведенный и знающий жизнь мужчина? Выпить залпом бокал пива, предложить сигарету, слегка осуждающе и одновременно с улыбкой покачать головой,

[1] Строка из стихотворения Гёте «Рыбак». Перевод В. А. Жуковского.

когда женщина берет ее из пачки. Дать ей прикурить и при этом посмотреть прямо в глаза.

А вы как думали! Пласкуда теряет почву под ногами, он даже не пытается вынырнуть, он на крючке, он пойман смеющимися глазами, и в этот момент он напоминает шаловливого кота, которого забавляющаяся сиамская кошка не подпускает к себе небрежными ударами лап.

О да, наш дорогой Пласкуда. Ему предстоит через все пройти. Он должен терпеть, видя, как сиамская кошка обхаживает гораздо меньшего, да и к тому же паршивого кота, как она заботливо говорит: не пей так много, Адольф, с какой теплотой она смотрит на него, с каким участием следит за льющимся потоком ничего не значащих слов. Но он не даст обвести себя вокруг пальца, наш Пласкуда, его не вышибить из седла, он кое-что понимает, его чувство собственного превосходства непоколебимо. Забота женщины лицемерна. Участие фальшиво. Теплота обманчива. Ведь эти двое не муж и жена, это видно по обручальным кольцам, да и вообще здесь что-то не то. Но Пласкуда все выяснит и будет смеяться последним.

Он еще раз заказывает для всех. Маленький человечек следует его примеру. Женщина его отговаривает, но делает это со смехом, и ее слова не оказывают никакого воздействия. Маленький человечек пьет и пьет, он болтает обо всем на свете: о футболе, о кроликах, о дешевой водке, которую можно делать самим, о чем еще? Но он уже готов. Больше он не может. Язык не ворочается, глаза стали еще мутнее, он встает, качаясь, и выходит.

Адольф! — говорит женщина, и легкий упрек в ее голосе едва различим в потоке безмятежности.

И тут опять Пласкуда. Ему кажется, что его момент настал. Такая лиса, этот Пласкуда! Он выжидал. Не отступил после временной неудачи. Дождался подходящего момента, чтобы схватить добычу.

Как жаль! — говорит он. Человек приходит с такой женщиной (в виде исключения он договаривает фразу до конца) и так себя ведет.

Тут его перебивает глубокий смех женщины.

Этого Пласкуда не может выдержать. И мы его понимаем. Возможно, он не верит больше женщинам, но кое-какие иллюзии у него все-таки остались. В частности, по поводу того впечатления, которое он производит. И именно поэтому он не может понять эту женщину, он решил сейчас ударить кулаком по столу (в переносном смысле, конечно, ведь в этой истории нет никаких эффектных сцен).

Не поймите меня неправильно, говорит Пласкуда, но как же так? Какой вам от этого прок?.. Вы ведь замужем... а он ведь совершенно... а вы еще смеетесь!

Нет, она больше не смеется. Она поправляет прическу, допивает свой коньяк, закуривает новую сигарету. Все это она проделывает очень спокойно, ее движения медлительны.

Эх, вы! — говорит она, что вы знаете об Адольфе. Ведь он хороший, только несчастный. Он уже много лет вдовец, дети выросли и разъехались, осталось двое, да и те уже взрослые. У него никого нет, его никто не принимает всерьез, да и какая женщина сейчас на него польстится, он и по пивным ходит, потому что хочет побыть с людьми, ведь он всегда в той пивнухе, напротив, сидит. Он так любит компанию. Знаете, мы с ним работаем в одном цеху. Кругом только женщины, он переносит с места на место инструменты, а мы кричим: Адольф, сюда, Адольф, туда! Он торопится, старается всем ус-

лужить, и все напрасно: никто его всерьез не принимает, а это очень действует, последние остатки уверенности отнимает. И я, как все, вместе со всеми смеюсь... А он вдруг остановится, плечи опустит, взгляд собачий, и тогда мне не смешно. Прямо зареветь хочется. Знаете, я в общем счастлива, у меня все есть: муж, дети, работа, здоровье. Ну, заботы, да у кого их нет. Но с ними справляешься. А Адольфа все валит с ног, у него нет больше сил подняться, но он ведь живет среди нас! Он не так стар, и просто так на это смотреть... И я себе сказала: сделай ему приятное, сходи с ним в «Малепартус», выпей хорошего коньяка, выслушай его, чтобы он хоть раз по-человечески посидел. А если он переберет, потому что ему совсем немного надо, он ведь уже от одной радости почти на ногах не держится, не разыгрывай из себя обиженную, не отравляй ему удовольствия, это для него такой праздник. Конечно, это не бог весть что. Но я делаю, что могу, пусть он видит, что мне тоже приятно с ним здесь сидеть и пить, я простой человек, и большего вы не можете требовать...

Нет, большего Пласкуда действительно не может требовать, и вообще его роль в этой истории уже заканчивается. Он может еще немного посидеть, уставившись на эту женщину, может благодарить этот вечер, коньяк и «Малепартус» за то, что он услышал такую историю. И еще он может пойти, вызвать такси, отвезти Адольфа домой и улечься спать в своей гостинице. Хотя сегодня ночью он, наверное, не будет спокойно спать.

Но мы оставляем Пласкуду наедине с его мыслями. У нас есть все, что нужно для истории: около десяти неоконченных фраз, приблизительно семь восклицаний, выражающих скорее удивление, чем возмущение. Разные обручальные кольца — обстоятельство, которому мы придали большое значение. И заверения. Конечно, решения нам не хватает. Но это уже за пределами нашей истории. Впрочем, только она поможет нам понять, почему Пласкуда это решение принял: он, наверное, опять женится.

Грета

Ну, что будем делать, спросил мой друг Рандольф, и колени у него задрожали, как у мерзнущего пинчера. У него часто бывает такая дрожь, и точно не известно, что это такое: может, от нервов или от нетерпения, а может быть, просто дурацкая привычка. Во всяком случае, меня это совершенно выбивает из колеи, я никак не могу сосредоточиться.

Стоп! — сказал я ему вместо ответа и стал размышлять. Все это, знаете, совсем не просто. Можно, конечно, записаться в школу танцев, но этим же дело не кончится. Во-первых, придется носить галстук и следить за тем, чтобы ногти были чистыми. А мы — ученики каменщика и привыкли к белой спецовке, ворот которой широко распахнут на груди. А для того чтобы полировать ногти, у нас не хватает времени. Во-вторых, там тебе непременно навяжут какую-нибудь девчонку. А нам не всякая годится, потому что у нас свои запросы. Это милое создание не должно быть воображалой, она должна быть довольно хорошенькой, следовать моде, но в меру, потому что дедероновые кринолины с рюшами не производят на нас никакого впечатления. Кроме того, под челкой у нее не должна быть со-

лома, мы против всякого жеманства и настаиваем на благородной сдержанности, даже если на горизонте у нее возникает другой, более предприимчивый товарищ. К тому же мы требуем сочувствия к нашим привычкам каменщиков: мы любим, к примеру, посидеть в мужской компании и вовсе не мечтаем о воскресных прогулках и вечеринках, где пьют малиновый крюшон. Пойди разыщи такую жемчужину в танцевальной школе. В-третьих, придется идти в гости. Потому что родители милого создания наверняка захотят узнать, с кем же это встречается их дочь. Ну, конечно, мы, каменщики, не последние люди и можем потягаться с любой другой профессией, но вся эта возня нам глубоко противна. Букет цветов для мамы, при встрече поклон, а может, и ручку придется целовать, и хвалить воскресный пирог, и сидеть, как будто ты на приеме у врача, потом вместе с папой тайком по рюмочке водки, а в заключение, возможно, прогулка под окнами у соседей, чтобы вся деревня знала, что тут намечается будущий зять, он каменщик, и мопед у него имеется...

Конечно, мы не такие люди, чтобы отступать перед трудностями. Мы можем, если надо, снизойти до того, чтобы надеть галстук и привести в порядок ногти, в крайнем случае, можно перенести и визит к родителям, но что касается наших требований к женскому полу, то тут мы тверды, как бетон, и не отступим ни на шаг. Девочки, которые соответствуют нашим требованиям, встречаются, может быть, одна на тысячу. В нашем районе живут, наверное, остальные девятьсот девяносто девять.

Делай что хочешь! — сказал я Рандольфу, а на меня не рассчитывай.

Я решил, что с этим вопросом все. Рандольф, который три раза проваливался на экзамене, когда мы получали права на вождение мопеда, следовал за мною, как верный пес. Потому что я сдал экзамен со второго раза. Но танцевать, сказал Рандольф, когда я думал, что тема исчерпана, танцевать нам бы стоило научиться. И колени у него задрожали.

Ну, ладно, ответил я ему, только чтобы его успокоить, где-нибудь да научимся.

И мы решили начать действовать в ближайшую же субботу. В кабачке у Хабеданка был объявлен вечер под названием «итальянская ночь»: с потолка свисали фонарики и бумажные гирлянды, а оркестр из пяти человек производил такой шум, что только у стойки бара можно было стоять, не рискуя повредить барабанные перепонки. Мы выпили для начала наш коктейль каменщиков — пиво с лимонадом, очень помогает от любого вида жажды. После этого мы огляделись. В зале была целая куча девочек, почти все они лихо отплясывали, и в красном свете лампочек это выглядело совсем не плохо. Те, кто сидел за столиками, понравились нам меньше, иначе мы бы тут же взялись за дело. Потому что мы не хотели долго рассусоливать, ведь рано или поздно начать придется. Но мы все стояли и стояли, потягивая свой коктейль маленькими глотками, как и полагается, ведь мы же не какие-нибудь пьяницы, мы пришли сюда для того, чтобы потанцевать.

Ну, давай! — сказал Рандольф и подтолкнул меня своим дрожащим коленом. Это было порядочное свинство с его стороны, наверное, он считал, что я и тут должен быть первым, раз у меня кладка ровнее получается. Поэтому мне пришлось сделать вид, что я на него обозлился, и я злился до тех пор, пока не начался новый танец, свинг или танго, а может быть, твист, но, во всяком случае, все девушки, которые меня интересовали, уже оказались занятыми.

Слушай, сказал я Рандольфу, давай выпьем еще по одной, чтобы немножко раскачаться. Мне всегда надо сначала немного выпить, и дело пойдет. Но мы больше пить не стали, нам и так было не по себе.

Может, я первый пойду? — спросил коварный Рандольф во время перерыва между танцами. Он хотел пригласить ту черненькую, что сидела за угловым столиком, потому что она была не местная.

Такая подлость, он захотел меня обскакать, несколькими паршивыми прыжками на паркете ликвидировать мое первенство в езде на мопеде и в укладке кирпичей. Тут мне хочешь не хочешь пришлось действовать.

Ты останешься здесь и будешь стеречь наше место у стойки, сказал я коротко и решительно Рандольфу, расслабил мускулы ног и приготовился. И как только гитарист на сцене поднял носок ботинка, я ринулся в бой. И не успел он три раза отбить такт нового вальса, или слопа, или чего-то там еще, как я уже стоял перед Гретой-рогозой. Мы так ее называли, потому что она казалась нам такой же незаметной, бледно-розовой и слегка увядшей, как роза-рогоза. Никто не замечал ее присутствия, она просто всегда была тут, вот и все... Чаще всего она сидела одна за столиком, когда все остальные девушки танцевали, и все время что-то искала в своей сумочке... Иногда она бойко постукивала в такт, но тот, кто вообще замечал ее, видел, что веселье ее наигранное. Иногда кто-нибудь из парней ради приличия танцевал с ней один танец, лицо ее покрывалось красными пятнами, но она по-прежнему оставалась тем, чем была, а именно: Гретой-рогозой. Меня эта добрая душа в свое время возила в колясочке, во всяком случае, так рассказывает моя мать. Грета всегда любила детей, любит их, наверное, и до сих пор, поэтому она сразу же встала со стула, когда убедилась, что я, характерным для каменщиков кивком головы, приглашаю именно ее. Она тут же подхватила меня и закружила так, что голова у меня пошла кругом. Ее доброта не знала границ, и, когда мы с трудом добрались до другого конца зала, причем мои локти обработали с десяток чужих спин, а ноги — двадцать чужих туфель, Грета вытащила меня из толчеи.

Постой-ка, сказала она, в такой теснотище ты никогда не научишься. Лучше всего пойдем на лужок за кегельбаном, и я покажу тебе основные па.

Мне это предложение понравилось, но я тут же вспомнил о Рандольфе, одиноко охраняющем место у стойки. Его надо взять с собой, без него я не сделаю ни шагу.

Ну что ж, сказала Грета, тем лучше.

И вот таким образом мы очутились на совершенно темном лужке за кегельбаном Хабеданка. Луна не светила, с ближнего поля дул прохладный ветерок, и музыка была довольно хорошо слышна. Рандольф, конечно, дрожал от волнения. Но Грета не дала ему опомниться, английский вальс, сказала она, как раз его играют, мы должны следить за ритмом. Мы обхватили друг друга, за спиной Рандольфа была светлая стена кегельбана, я уставился на швы в кирпичной кладке, а Грета командовала. Раз-два-три, раз-два-три, правая нога тип-тап, левая нога тип-тап и-и-и раз-два-три. Мы угодили по меньшей мере в три кротовых норы. Если бы не это, все бы уже пошло хорошо, но всюду на нашем пути попадались эти чертовы кочки. Нормальному человеку, а в особенности каменщику, необходимы пространство и ровная поверхность, чтобы у него хоть что-нибудь получилось. Не прошло и минуты, как мы лежали в мокрой от росы траве. Рандольф тут же перестал дрожать, он обругал меня за то,

что я якобы неправильно его вел, обругал ветер, ночь и оркестр, который, по его мнению, сбивался с ритма. Я не мог в себя прийти от удивления, потому что таким я его еще не видал.

Но Грета не давала нам спуску. Она захлопала в ладоши, как учительница младших классов на уроке пения. Вставайте, сказала она, и давайте снова английский вальс, пока он не кончился. Мы отряхнулись и опять взялись за дело. Раз-два-три, раз-два-три, влево и вправо, поворот в сторону — и дело пошло. Но не совсем. Не успели мы обрадоваться, как уже опять лежали в траве. Но тут настала моя очередь ругаться, что я и проделал с большой основательностью. Рандольф опустил плечи, ведь кто-то должен быть виноват, а поскольку я на этот раз отреагировал быстрее, вся вина упала на него.

Мы попробовали еще несколько раз, но все время нам под ноги попадались кротовые норы, кочки или палки и у нас ничего не получалось. Наконец, Грета окончательно пожертвовала собой ради нас, она разделила нас и повела то одного, то другого, раз-два-три, раз-два-три; она держала нас удивительно крепкими руками, особенно когда мы выбивались из ритма и спотыкались. И вдруг у нас в ушах как будто что-то зазвучало, ноги пошли сами собой, нужно было только дать им волю и не сбивать их с толку глупыми мыслями: у тебя никогда не получится! Или: что за дурацкие прыжки! Даже Рандольф, этот недотепа, довольно быстро понял, в чем дело, и начал вдруг произносить странные звуки, что-то вроде: хм-та-та, хм-та-та. Я испугался, что он спятит от радости, и предложил разучить еще что-нибудь посложнее. Английский вальс — это, конечно, прекрасно, но кто его теперь танцует? Нам нужно, по крайней мере, научиться фокстроту и еще какой-нибудь трясучке, когда руки-ноги ходуном ходят. Что касается последнего, то тут Грета не могла нам помочь, а фокстроту она нас научила. Я решил угостить ее двойной порцией мятного ликера, когда вернемся в зал.

Это я и проделал. И даже Рандольф, известный скупердяй, раскошелился — после того как я дал понять его спине, что такое вежливость по отношению к дамам. Нам не повезло: как только мы решили показать, на что мы способны, оркестр объявил перерыв. Инструменты висели на спинках стульев, а музыканты сидели у Хабеданка в отдельной комнате и уплетали свой шашлык. И нам оставалось только ждать. Мы, чтобы не забыть, все время повторяли фокстротные па в уме. Вид у нас, наверное, был самый дурацкий, когда с кружкой пива в руках мы вдруг начинали притоптывать на месте и поднимать глаза к потолку. Слава богу, никто этими упражнениями не заинтересовался. Чуть позже, когда громко завопила труба и дико завыла гитара, мы снова все позабыли. Правда, мы попытались, продираясь через толпу, потихонечку, маленькими шажочками попасть в ритм, но с первой же минуты совершенно сбились с такта.

Ах черт, черненькую с того столика уже пригласили, беспомощно пробормотал Рандольф. Так и было. И рыжеватая блондинка с локонами, которую я себе наметил, уже давно танцевала с каким-то столбом с лесопильного завода, ему было наплевать на то, что она гораздо меньше его ростом, он действовал напролом только потому, что мог с закрытыми глазами проделать несколько дурацких па.

У нас оставался единственный шанс: Грета-рогоза. Наверное, мы одновременно это поняли, во всяком случае, я вдруг увидел, как Рандольф проталкивается через толпу парней, загородивших узкий проход между стойкой и стеной, с таким видом, как будто его жизнь зависела от того, попадет он на танцевальную площадку или нет. Но, к счастью, его задержал какой-то тип со стекольного завода, должно

быть ученик стеклодува. Ему показалось, что Рандольф наступил ему на ногу, и он потребовал, чтобы Рандольф возместил ущерб и поставил ему кружку пива. При скупости Рандольфа переговоры могли затянуться надолго. Таким образом, я выиграл время и проскользнул к Грете, которая ободряюще мне подмигнула, а как только мы очутились на танцевальной площадке, прошептала мне в ухо: это танго. Ах ты господи, танго мы совсем не разучивали. Но вот так чудо! С Гретой все великолепно получалось, я должен был только не сопротивляться, и эта добрая душа вела меня то туда, то сюда, не слишком быстро и не слишком медленно и так осторожно, что я ни на кого не наталкивался. Здорово, сказала она, и я это подтвердил. Но ребята из оркестра не дремали, они знали, что в зале никто особенно не стремился танцевать танго, и заиграли что-то поживее, скорее всего, это был фокстрот. Тут-то и началось. Нас носило из угла в угол, и все уступали нам дорогу, а когда кто-то из нашего училища, пришедший просто поглазеть, сказал своему соседу: посмотри-ка, каменщики тоже не лыком шиты! — я совсем воспрянул духом и мне захотелось поднять Грету вверх и посадить ее на первую попавшуюся гирлянду. Но гирлянда, к сожалению, была сплетена не из тросов.

После этого тура я как можно любезнее поблагодарил свою партнершу и предложил ей снова мятный ликер, но она отказалась. Я уговорил ее только попробовать яичный, который сам не пью — не переношу его. Следующий танец Грета танцевала с Рандольфом. Уши у него заметно покраснели, наверное, этот стеклодув не стал с ним долго разговаривать и выставил его на пиво. И теперь мой приятель огорчался из-за выброшенных на ветер сорока пфеннигов. Время от времени я, заняв место у стойки, замечал, как эти пылающие уши мелькали в толпе танцующих, они то поднимались, то опускались, как мне показалось, в правильном ритме, а это, согласитесь, уже кое-что. Пусть Рандольф во всем остальном не такой ловкий, как я, но тут у него, представьте, получалось. Я должен был не зевать, чтобы не потерять своего преимущества. И когда заиграли следующий танец, я снова подрулил к Грете, раз от разу у нас получалось все лучше, мы изучили почти все танцы, которые существуют, разве что кроме чарльстона, но это дрыганье ногами мы, каменщики, все равно презираем. А твист, к примеру, мы станцевали. И слоп. У Греты вдруг так и заходили руки и ноги, и мы только рты разинули, глядя, как она закружилась в танце, стала даже почти хорошенькой. И вообще она нам нравилась все больше, танцевала по очереди то со мной, то с Рандольфом, которому я это снисходительно разрешал. Только один раз Грета отлучилась, когда заиграла музыка, ее не было целую четверть часа, а мы стояли у стойки, пританцовывая от нетерпения. Наконец, мы попробовали пригласить других девушек. Рандольф — ту черненькую, а я, в самый последний момент,— с рыжеватыми локонами. Но это была настоящая катастрофа. То ли оркестр играл фальшиво, то ли девушки танцевали, как слонихи, но ноги у нас как будто налились свинцом. Мы оба здорово вспотели, так что я уже не решался дотронуться до белой блузки партнерши. С пылающими ушами, чуть живые, мы снова встретились у стойки. Мы бы с удовольствием еще раз выпили, но у нас кончились деньги.

Так мы стояли в унынии, но тут вернулась Грета, и мы увидели, что произошло настоящее чудо. Может, это была не она? Может, это была не Грета, а другая девушка, с румянцем на щеках, с новой, довольно-таки легкомысленной прической. Немного подкрашены брови и губы, не сильно, а именно так, как это нравится нам, каменщикам. Мы не могли прийти в себя от удивления. Грета вопросительно посмотрела на нас большими блестящими глазами (откуда они у нее

только взялись), и мы вдруг начали заикаться, с трудом выговаривая: разрешите вас пригласить.

Ну конечно, сказала Грета, взяла Рандольфа за руку и повела его за собой. При этом она кокетливо посмотрела на меня через плечо, что должно было, вероятно, означать: следующий танец — твой.

А я стоял и мучался от мелкой ревности. Почему она выбрала Рандольфа, этого недотепу, почему не меня? — думал я с горечью. Почему она предпочла человека, у которого все валится из рук, который не может толком стенку выложить, мне, уже несколько раз замещавшему мастера? Но ничего не поделаешь, я должен был стоять и ждать своей очереди. Танец может быть чертовски долгим, я это почувствовал, когда в поте лица топтался с рыжими локонами и от смущения не мог выговорить ни слова. Сейчас мне было немного получше. Я не должен был никого развлекать, я просто стоял и смотрел. И видел только Грету, вырез на ее спине, высокую прическу песочного цвета, красные губы. Да она стала просто хорошенькой, как только начала улыбаться. Сейчас она улыбалась.

Годами она ходила на танцы, из приличия ее иногда приглашали, она должна была с безразличным видом подпирать стенку и сидела за своим столиком так, как стояли раньше люди у позорного столба, а на них глазели с сочувствием и насмешкой, но не пытались освободить. Должно быть, было ужасно сидеть вот так, смотреть с ожиданием на какого-нибудь здоровенного дурня: пригласит он или пройдет мимо? Да, он проходит мимо, он приглашает ту черную девицу, она, правда, глупа как пробка, но пользуется успехом.

А сегодня все было иначе, совсем иначе. У Греты сразу оказалось два кавалера, к тому же еще каменщики, которые наперебой ее приглашали. Пусть они были года на два моложе, какое это имело значение? Самое главное, что ей наконец-то хорошо, она с удовольствием веселится в «итальянскую ночь». Фонарики, красный свет, гирлянды, фокстрот, слоп, твист, мятный ликер, ей все нравится, ей сейчас море по колено.

В общем, пусть говорят что хотят, я-то знал лучше, я читал все это на лице Греты. Мне казалось, что ее лицо, наконец, обрело то, чего оно долгое время было лишено, и я с нетерпением ждал момента, чтобы танцевать с Гретой. Кажется, у меня даже колени дрожали.

Наконец, этот миг настал, и я радовался, что научился тому, о чем еще два часа назад не имел представления. У меня было такое же чувство, как от первой вертикальной опоры, сделанной без помощи мастера. Иногда я не без некоторого злорадства косился на Рандольфа, потому что он должен был охранять место у стойки и мучиться от нетерпения. Так как он обычно не может сдерживаться, ему это наверняка нелегко дается. Кто знает, чего он мне только не напророчил, пока продолжался танец!

Но вот и мое время истекло. Здорово развеселившись, я проводил Грету на место и превзошел самого себя, подвинув ей стул, когда она садилась. Внутренне я роптал на свою судьбу: теперь была очередь Рандольфа, и тут уж ничего не попишешь, друг — это друг, что бы там ни было.

С болью в сердце я пробирался сквозь дым от сигарет и толпу людей обратно к стойке и зашипел Рандольфу какие-то руководящие указания, что-то вроде: веди себя... но он ничего не слушал, только нетерпеливо шаркал ногами и ждал того момента, когда заиграет музыка. При первых тактах он полетел так, как будто им выстрелили из лука. На этот раз я мужественно повернулся спиной к залу, я не хотел себя бессмысленно растравлять, но тут произошло непредвиденное! Рядом со мной вновь очутился Рандольф, он дро-

жал от волнения и, мне кажется, сжимал кулаки и даже скрежетал зубами. Ну попадись он мне, шипел он в ярости, он у меня дождется! Это было что-то новенькое, обычно Рандольф не ввязывается в драки, чтобы самому не получить. Но сейчас его охватил праведный гнев каменщиков, а я был совершенно сбит с толку.

Этот болван! — шипел Рандольф, этот стеклодув, он стоял за колонной рядом с Гретой, он меня опередил, это не фокус... Рандольф еще некоторое время ругался, пока я, наконец, не понял, в чем дело. Тот тип, которого Рандольф обозвал болваном, пригласил нашу Грету танцевать. И я увидел, как они скользили по паркету,— играли, кажется, английский вальс. Позабыв на мгновение гнев, надо было признать: парень умел танцевать! И мы вдруг сразу как-то скисли.

Конечно, мы не могли этого так оставить, ведь мы были каменщиками, а каменщики всегда сумеют найти выход. Я оттолкнул шипящего Рандольфа в сторону и велел ему замолчать, чтобы все обдумать. Что удалось ему, то и мы можем, сообразил я. И я решил окончательно плюнуть на наше великолепное место у стойки. Рандольф опять ничего не понял, он пришел в себя, когда я уже занял позицию за украшенной гирляндами колонной, совсем рядом с Гретиным стулом. Потом он сразу же побежал за мной. Но я не дал ему рта раскрыть, выложил ему все, что я о нем думаю, потому что можно провалиться на экзамене и не получить права, но нельзя дать увести у себя девушку, это совершенно недостойно каменщика. Он все выслушал, повесил нос и без возражений согласился уступить следующий танец мне. Я думаю, что ему теперь было все равно, пусть бы хоть сам шах танцевал с Гретой, лишь бы не этот болван со стекольного завода. Ведь он, в довершение всего, еще выставил Рандольфа на пиво.

Все шло своим чередом, танец кончился, и мы ждали появления Греты. Но она все не приходила. Тут-то мы и сели в лужу. Пока мы стояли за колонной, они исчезли в другом зале, где тоже была стойка. Рандольф сразу же захотел туда отправиться, но я его удержал. Только спокойствие! — прошептал я ему. Она вернется, как только сплавит этого типа.

Но она не возвращалась. Начался следующий танец, мы глянули на толпу танцующих и без труда их обнаружили, они танцевали, довольно тесно прижавшись друг к другу, и глаза Греты блестели, как никогда прежде. И хотя мы, как будто притягиваемые канатом, устремились прямо к ней, не обращая внимания на толчки и насмешки, хотя мы целую секунду простояли рядом с ней, уставившись на нее как на чудо, Грета нас не увидела. Она самозабвенно кружилась в танце, увлекаемая своим партнером, и казалась счастливой.

Плечи у нас опустились, мы отправились назад к стойке и, уставившись в пол, не могли произнести ни единого слова. Нас попросту отшили. Рандольф, правда, не захотел сразу сдаваться, он еще несколько раз попытал счастья, но этот самый ученик стеклодува, который при ближайшем рассмотрении оказался скорее не учеником, а настоящим взрослым стеклодувом, с мощной грудью и солидным кадыком, не отпускал Грету.

Мы вышли на улицу, было примерно пол-одиннадцатого, а может, без четверти, и в полной темноте потащились по деревенской улице, не говоря ни единого слова. Мы мечтали о страшной мести, на нашем пути не было ни одного деревца, за которым мы не хотели бы подкараулить нашего врага, а Рандольф поднял палку — здоровенный дубовый сук и тащил его за собой, но даже этот сук казался ему слишком легким. Потом он выбросил его с мостика в мельничный пруд. Когда раздался всплеск, к нему вернулся дар речи.

Не заикайся мне больше про женщин! — сказал он, ни в одной из них ничего нет, ты сам видишь. Как только перед ними кто-нибудь замаячит, они собственную бабушку продать готовы.

Я начал ему подпевать, облокотившись на перила, мы ругались под журчание воды, наконец-то мы могли выговориться и излить весь свой гнев.

Но прошло немного времени, и ветер переменился, вода перестала шуметь, зато начали доноситься звуки гитары. Изменилось у нас и настроение, я перестал ругаться и погрузился в размышления, и мне в голову пришли совсем новые мысли, и, несмотря на ветер и звуки гитары, я произнес перед Рандольфом, моим другом, довольно длинную речь.

Послушай, сказал я ему, будь настоящим мужчиной и каменщиком, напряги хоть сейчас немного свои мозги, и ты со мной согласишься: мы сделали доброе дело, мой дорогой, мы разбудили эту Грету, она осмелела благодаря нам, ей захотелось смеяться и веселиться, и тут сразу же произошло то, чего никогда раньше не случалось, сразу же нашелся кто-то, кому она не показалась некрасивой, кому она приглянулась. Не из приличия или потому, что он захотел выучиться танцевать. Ведь с нами все равно ничего бы не вышло, мы, конечно, тоже не лишены... но все-таки мы моложе Греты, этого нельзя отрицать. Пожелаем же ей счастья, будем надеяться, что дело кончится помолвкой, а может, чем-нибудь и посерьезнее. А это все-таки наша заслуга, и мы можем кое-чем гордиться, потому что это не мало, а даже, мне кажется, довольно много. Потому что человек хочет быть счастливым. А что касается плясок на паркете, то нам придется записаться в танцевальную школу — принести эту жертву. Потому что, я должен сознаться, рыжие локоны меня зацепили, и, кажется, я смогу спать спокойно только тогда, когда докажу им, какой ловкости в танцах может добиться каменщик. Наверняка и ты той черненькой — тоже.

Так я сказал. Ну, может быть, не так гладко, а запинаясь. Но по тому, с какой готовностью Рандольф кивнул, соглашаясь со словами человека, знающего толк в вертикальных опорах, я понял, что наши отношения снова стали прежними.

Грог с ромом

Скажем для краткости: старая любовь. Но это не совсем в точку. Скорее дружба, которая длилась год и два месяца. Но это слишком отдает арифметикой. Уж лучше так: знакомство с легким уклоном в интимность.

Что ж, подтверждает Лессиг, возможно, когда-то все так и было. Но ведь и этого вполне достаточно, чтобы застыть от удивления при случайной встрече. Возможно, эта встреча произошла вечером после работы, может быть на улице и в метель, и, конечно, неожиданно — как снег на голову. Стоп, нужно подумать. Это действительно она. Что делать: подождать, узнает ли? Преодолеть первое мучительное мгновение — равнодушные взгляды не узнавших друг друга людей, радостно всплеснуть руками? А может, дать захватить себя врасплох? Ах, это ты!

Но Лессиг предпочитает первым пойти в атаку. Он охотно перехватывает инициативу, чтобы не оказаться в неловком положении.

Привет, говорит он наигранно бодрым голосом, вот так встреча, я о тебе вспоминал, куда ты пропала, ведь уже почти десять лет

прошло, и вдруг такая встреча. Это надо отметить, погода скверная, лучше всего выпить грогу, тут за углом есть кафе, помнишь?

Это-то он умеет, Лессиг: заговаривать зубы, и не успеешь оглянуться, как делаешь то, что вовсе и не хотела: сидишь в кафе, пьешь грог и разрешаешь снова называть себя Эльфи. А на самом деле Эльфрида, да и фамилия другая с тех пор, как вышла замуж, но сейчас, сидя напротив Лессига,— опять Эльфи. И как-то сковывает стук ложек за другими столиками, поток слов и непривычно крепкий запах алкоголя. Трудно защищаться.

Ты прекрасно выглядишь, говорит, например, этот Лессиг. А ты никак не защищаешься и не возражаешь, даже не отвечаешь мальчишески залихватским жестом и усмешкой, которыми обычно парируешь эту явную ложь.

Ну, рассказывай, говорит Лессиг. А то я не даю тебе рта раскрыть, как я рад, я всегда рад, когда встречаю кого-нибудь из наших, ну а тебя — особенно.

Да что там, говорит Эльфи, я осталась в деревне.

Лессиг с трудом заглатывает воздух. До чего она прямолинейна. Сейчас ей непременно надо начать с того самого места, на котором десять лет назад все оборвалось. Не хочет поддерживать игру в дружеские и ни к чему не обязывающие слова. Что ей нужно? Неужели нельзя просто встретиться, посидеть часок, вспомнить прошлое и потом разойтись (может быть, еще увидимся...). Или она ищет ссоры?

Да нет же. Никто не хочет ссориться. И никогда они не ссорились, уж Лессиг следил, чтобы этого не было. Даже в самый первый вечер, постойте, где же это было? Правильно, на карнавале у медиков. Боже мой, что там творилось! То ли кабаре, то ли ночной бар, очень весело было в этой, обычно трезвой как стеклышко, студенческой столовой, вино лилось — пусть не рекой, но все-таки лилось. Даже Лессиг, осторожный Лессиг, Лессиг, не швыряющий деньгами, был в порядке исключения заражен общим весельем. Он позволил себе бокал шампанского, потом еще один, потом сразу два, но в это время рядом с ним уже сидела Эльфи, тогда еще Эльфрида, сидела, смущенная громкой репликой Лессига: Ну что ж, и такое бывает! Из упрямства и чтобы не одалживаться у такого типа, она открыла дешевую бархатную сумочку, выложила на стол свои последние пять марок и тоже заказала шампанское. Два бокала! Они пили, и очки Лессига отливали то красным, то зеленым, смотря по тому, какой фонарик в них отражался. Потом они танцевали, столковались на имени Эльфи, шли поздно ночью (или рано утром) по гулким улицам, целовались под окном общежития, где жила Эльфи, и когда Лессиг пытался пойти чуть дальше поцелуев, она пожала плечами — слабый намек на серьезное сопротивление в такую в общем-то пьяно-блаженную ночь. Но Лессиг оставался на высоте и в более серьезных ситуациях, поэтому он тут же извинился, казалось, нисколько не задетый и вовсе не заинтересованный. Ну что ж, и они продолжали болтать всякую чушь. Вот, собственно говоря, и все.

Хорошее время, говорит Лессиг, его не воротишь. И балы у медиков теперь, наверное, не такие, как раньше. И он прибавляет, спохватившись, не зашел ли слишком далеко: Тогда было очень холодно, ты помнишь?

Эльфи не помнит. Но, наверное, так оно и было. Время карнавала — февраль, да и Лессиг почти никогда не ошибается. Тут уж на него можно положиться. У него вообще было много достоинств, у этого Лессига, и когда слепая судьба забросила Эльфи в одну с ним семинарскую группу, она научилась их ценить. Маленькая и робкая, бледная, с тонкими волосами, она оказалась среди молодых людей,

которые знали друг друга три года, но держались так, словно были вместе по меньшей мере лет тридцать. И Лессиг, который как чумы боялся любой неловкости, у которого чуть ли не начинались колики, когда он видел других в смущении, сыграл тут же роль «maitre de plaisir»[1], он представил Эльфи, сказав подходящую фразу. Вообще он взял Эльфи под свое покровительство, следил за тем, чтобы она стала в их группе своей. Ну, а больше ничего и не было. Он играл роль старшего брата, какими их описывают в старых сказках: умного, немного снисходительного, правда, самую малость, чтобы не бросалось сразу в глаза, в остальном весьма делового. Он мог ей сказать: у тебя нижняя юбка видна, вполне мог. Почему я никогда не дружила с девочками? — думает Эльфи, помешивая свой грог. Но вопрос этот так и повиснет в воздухе, ответа тут нет. Даже если бы он был, Лессиг не позволит его произнести, потому что сейчас он пытается подозвать кельнера. Настойчиво и вместе с тем терпеливо, с уверенностью солидного мужчины, который может оставаться незаметным, даже когда обращает на себя внимание.

А ты, спрашивает Эльфи, не глядя на то, как Лессиг сверкает стеклами очков, поднимает подбородок и поправляет манжеты. А ты? И Лессиг вновь обескуражен. Его нельзя перебивать, это приводит его в замешательство. Застигнутый врасплох, он вынужден откровенно признаться: Я все еще там. На той же работе.

Но это совсем разные вещи. Когда Эльфи говорит, что она все еще в деревне, и когда Лессиг говорит, что он все еще на прежнем месте,— это вовсе не одно и то же. Тут есть только внешнее сходство, это только поверхностному взгляду мерещится тут параллель. Но вот, наконец, и кельнер. Еще два грога, пожалуйста, но с ромом!

Не надо! — говорит Эльфи, в семь часов у меня поезд, а потом еще полчаса на мопеде, в такую темень, да и погода, как я доеду?

Что заказано, то заказано, говорит Лессиг, и такое невнимание к доводам собеседника плохо с ним вяжется, но, наверное, он решил пропустить ее слова мимо ушей — это на него больше похоже. Принимай вещи такими, какие они есть,— был один из его советов. Не волнуйся постоянно из-за лекций, многочисленных собраний и мало ли еще из-за чего. Только начни и уже не остановишься. Все равно ничего не изменишь, лишь себе будет хуже, колики заработаешь и морщины на лбу, и желчь разольется. Изменить что-нибудь можно только спокойствием и умом, ну не без некоторой доли хитрости.

Это звучало весьма разумно. Только Эльфи так не могла, она все время возражала, вмешивалась, стучала кулаком по столу, действовала на нервы, так что стала неугодна многим. Собственно говоря, это и была причина того, что ее, не долго думая, по педагогическим соображениям, перевели из ее прежней семинарской группы в новую. Может быть, здесь все сложится благополучнее, она врастет в коллектив и перестанет ершиться. Ведь там же был Лессиг, этот умелец все сглаживать.

Удивительно, думает Эльфи, он никогда меня не спрашивал, почему меня перевели к ним в семинар, что, собственно говоря, произошло, чем вызвана столь необычная мера. Никогда. Может, это была вежливая сдержанность? Или бережное отношение к ранимой душе? А может быть, это было нечто совсем иное? Боязнь встать на чью-либо сторону? Моя хата с краю, я ничего не знаю. О том, что не сказано вслух, не может быть разных мнений. Были люди, которые только и ждали того, чтобы Лессиг осведомился о прежних неурядицах Эльфи. И тогда бы ему сказали: видишь, с кем ты общаешься.

---

[1] Человек, который заботится, чтобы другим было хорошо *(франц.)*.

Впрочем, опасность была невелика. И мы не хотим представить Лессига таким уж плохим. Это случилось с ним скорее случайно, по привычке, чем из каких-то соображений.

А то, что привычки у него есть, видно хотя бы по тому, как он размешивает сахар. Он делает это методично, неторопливо, спокойно. В правую сторону, с нажимом, но не слишком сильно, чтобы не расплескать. На самом деле мысли Лессига сейчас далеко. Но он осторожно размешивает сахар — это получается само собой, это стало привычкой, и ему не надо прилагать никаких усилий.

Но о чем это он, Лессиг. О последнем зачете, наверное, который кое-что значил, поскольку был последним перед экзаменом. И он видит себя сидящим в кафе — у него единица [1] по средневерхненемецкому, он ждет Эльфи и помешивает в стакане, спокойно, осторожно, не без нажима. И вот он видит, как она входит, непривычно быстро, непривычно женственная на тонких каблуках по тогдашней моде. Пальто надето поверх белой блузки. Одна прядь из высокого начеса выбилась на лоб, глаза блестят. Тройка, мой дорогой! У меня тройка, вот повезло! Какой это был ужас, перед экзаменом истерика, и вот тройка. Ура, слава богу! Долой чай, вино сюда и все прочее, сегодня мы празднуем.

Поздравляю, сказал Лессиг и методично помешал в своем стакане с чаем. Точно отрегулированный душ, не слишком холодный, скорее прохладный, потому что все-таки нельзя не поздравить, и тройка одобрена. Но не за то, чем она была для Эльфи, ведь она значила для нее столько же, сколько единица, и поэтому хотелось вина, даже коньяка. А потом эти быстро летящие часы, эти легкие, бессмысленные, бессвязные разговоры, мягкость и податливость, поцелуй под окном и что еще? На этот раз Лессиг не поддержал игры, он уже знал свою Эльфи, она в конечном счете относилась ко всему страшно серьезно, хоть иногда и старалась походить на бабочку. И тут она повела себя так, будто ей все равно, что она получила тройку по предмету, по которому даже при везении и доброй воле экзаменаторов могла надеяться самое большее на четверку.

Поздравляю, сказал Лессиг и помешал свой чай. И все вновь стало на свои места, тройка остается тройкой, это все-таки не такая хорошая отметка, какой ее считают студенты. Средняя отметка в семинаре была чуть выше двойки, и это значило еще зубрить и зубрить перед экзаменом, вот о чем думал Лессиг, избегая легкомысленно незапрограммированного вечера со всеми его последствиями. Конечно, в какой-то мере он понимал ее радость. Эта тройка была больше чем отметкой, это была победа Эльфи над ее нелегким характером и над никак не обоснованным отрицанием этого предмета. Все-таки победа, но не такая уж большая, и поэтому все надо поставить на свои места. Для ликования тут, во всяком случае, не было повода.

Попробуйте-ка что-нибудь сделать с Лессигом! Он всегда был мастак на формулировки. Даже секретарь Союза свободной немецкой молодежи часто просил его подкинуть два-три аргумента перед своим выступлением на общем собрании. И это были хорошие аргументы, ради хорошего дела. Это-то и казалось в Лессиге странным: его формулировки были так хороши, что невольно приходилось думать о том, что он вполне может использовать их и не во имя хорошего дела. Правда, это уже особый разговор, может быть, мы когда-нибудь к нему вернемся. Но вот Эльфи собирается что-то сказать.

Все на той же работе? — спрашивает она и все-таки пьет свой

[1] Высшая оценка знаний учащихся в ГДР.

грог с ромом. Да, отвечает Лессиг. И хотя ответ краток, им все сказано. Девять лет профессионального опыта — это уже старый волк.

Но почему старый? Ведь Лессигу нет еще тридцати пяти. Женат? — спрашивает Эльфи. Нет, ты же знаешь...

Эльфи знает и не знает. Во всяком случае, сейчас она может то, чего не могла десять лет назад: она видит Лессига почти насквозь. Наверное, он никогда не женится. Ведь в этом случае ему придется пожертвовать частью самого себя, он должен будет освободить в своем сознании место для женщины, возможно, волноваться, когда волнуется она; возможно, хотя бы улыбаться, когда она ликует. Лессиг должен суметь забыть себя. Этого никогда не будет, думает Эльфи. А врать и притворяться он не может, для этого он слишком себя любит. Может быть, она действительно его плохо знает. Как тогда понять это «ты же знаешь...»? Может, это намек на ту старую историю? Не должно ли это означать: я мог бы жениться на тебе?

Но только спокойно! Как может Эльфи это предполагать? Неужели она придает такое значение тогдашнему трезвому, деловому предложению, скорее похожему на договор?

Человек подходит к тебе и говорит: давай устроим помолвку. Где он это говорит? В коридоре университетской библиотеки — там курящие прогуливаются взад-вперед, потому что и то и другое, то есть курить и прогуливаться, в читальных залах запрещено. Здесь, где дуло от дверей, под затхлыми сводами, в том месте, где кусками осыпается со стены штукатурка, к тебе вдруг подходит человек и говорит: давай устроим помолвку. И чтобы эти слова не были неверно истолкованы, тут же прибавляет: фиктивную помолвку.

И потому, что та, которой сделано это формальное предложение, не может сразу ответить, а начинает как-то странно кашлять (возможно, конечно, и от сигареты), именно поэтому он высказывает свои соображения веселым тоном. Говорит он приблизительно следующее: послушай-ка, девочка. Через неделю уже апрель. Апрель — на дворе звенит капель. Ну а чем же он в этом году прозвенит? Догадайся, считаю до трех. Ну, ну? Правильно, собеседованием по поводу распределения. Только не отмахивайся! И не относись к этому легкомысленно! Ты ведь дрожишь перед экзаменом. А зачем? Ведь почти никто не проваливается. А кто спросит тебя потом об отметках по отдельным предметам? Ни один человек, ни один кадровик. Самое главное, чтобы он нашелся, тот кадровик, который тебя возьмет. Только это важно. Невероятно важно. Это дело просто чрезвычайной важности. Тут нужно смотреть, чтобы тебя не заткнули куда-нибудь. И поэтому мы должны как можно быстрее обручиться. Ведь тебя наверняка распределят в школу, ты не замужем, свободна, тебя ушлют в деревню. Это уж точно. А там — насквозь продуваемая ветром халупа под дырявой крышей. Сорок минут в резиновых сапогах до школы. Старый, угрюмый директор, уже сорок лет мечтающий перебраться в город и пресекающий любое проявление энтузиазма кислыми нравоучительными проповедями. Коллеги — различного возраста, но в общем-то такие же, как директор. Дети — трудные. Родители — еще хуже. Для того, кто все это сумеет выдержать, может быть, и интересно, но для тебя? Ты, с твоей головой, с твоими болезнями, с твоей прической? Самое большее пять лет — и ты готова.

И ведь он почти что оказался тогда прав, думает Эльфи. И испуганно отодвигает от себя горячий грог. Ведь ей нельзя... Алкоголь, кофе, сигареты исключаются, сказал врач, главное — диета, но разумная, потому что вы слабой конституции, и питание...

Да, думает Эльфи, тут он почти оказался прав, этот Лессиг, хотя он и нагонял нарочно страху. У нее не было тогда продуваемой вет-

ром мансарды — довольно приличная комната над аптекой. Директорша оказалась вполне жизнерадостной женщиной и соответственно коллеги, они всегда были не прочь что-нибудь отпраздновать, в крайнем случае, хотя бы покупку туфель. И дети были доверчивыми и открытыми, какими они бывают только в деревне. Все должно было бы идти своим путем, гораздо лучше, чем она ожидала, но так не пошло. Обычных трудностей повседневной жизни, которые имелись и в этой школе, где царила в общем хорошая атмосфера, оказалось для нее вполне достаточно. У Эльфи сдали голова, желудок, нервы, сначала четыре недели болезни, потом шесть, потом полгода, больница, ах, боже мой, как же она все это вынесла? Наверное, потому, что была не одна, потому что ее поддержали муж, коллеги, ученики. В конце концов она поняла — для того, чтобы добиться успеха, необходимо настойчиво избавляться от устаревшего и терпеливо внедрять новое. Но самое главное — возникло умение приобретать опыт и сознание того, что человек должен меняться. Конечно, это стоило нервов. И вот теперь, перед бокалом с запретным грогом, можно подумать о том, что многое было бы гораздо легче. Нужно было только сказать «да», и в одно мгновение она оказалась бы помолвленной с умным и дельным человеком, который заранее предвидел трудности и умел их ловко обходить, который уже задолго до распределения нашел место, привязавшее его к городу. Прекрасно, сказали, наверное, члены комиссии, потому что дипломантов было трудно распределять. Вряд ли бы они сказали «прекрасно» по поводу их помолвки, но они должны были бы с этим посчитаться. Ведь они посылали молодую учительницу в деревню не для того, чтобы через полгода она вышла замуж, уволилась и стала домашней хозяйкой. Но Эльфи не сказала «да», она сама приобретала свой опыт, и он был лучше, полезнее, хотя и дался ей труднее. Кстати, тогда в библиотеке она не сказала и решительного «нет», просто обратила все в шутку и нарисовала картину спокойного и уютного семейного очага такими розовыми красками, что Лессиг, наконец, догадался. Он замолчал, поднял плечи, протер до блеска стекла своих очков и уселся вновь за свои «кирпичи».

Эльфи еще некоторое время оставалась под затхлыми сводами. Сначала ей в голову приходили всякие красивые фразы, вроде тех, что встречаются в романах: нельзя начинать такой важный этап своей жизни со лжи. Потом ей надоело собственное геройство и она подумала, что этот Лессиг совершенно прав в оценке ее слабостей. И она решила, не без некоторого вызова: город или деревня, какая разница. Чтобы избегать трудностей, нужно быть такими, как Лессиг. А этого она не могла. Она представляла собой удивительный клубок нервов, в ней было больше упрямства, чем она могла себе позволить. А там будь что будет.

И все-таки она допивает свой грог до конца. И сразу же после этого встает и собирает свои вещи. Лессиг, этот старый волк, эта лиса, может, пока подает ей пальто, спокойно договорить. Она слышит его слова и даже отвечает. Да, было приятно вспомнить старое, может быть, еще увидимся, было бы хорошо устроить встречу их студенческой группы, но сейчас ей пора, поезд ждать не будет, дорога до вокзала скользкая, нет, она дойдет сама, всего хорошего! И она идет. Не медленно и не быстро — так, как она когда-то хотела ходить и как ее научила жизнь. Она вовсе не думает сейчас о старой любви. Даже на слово «дружба» она бы не согласилась. Знакомство — да, это вернее. Но без всякой интимности.

Перевод И. ЩЕРБАКОВОЙ

ПАСКАЛЬ ЛЭНЕ

Кружевница

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского НИНЫ КУДРЯВЦЕВОЙ

Но если что-то не может выразить себя в слове и остается невысказанным, то, беззвучно канув в гомоне человеческом, оставляет ли оно хоть какую-нибудь зарубку по себе, хоть малую царапину на скрижалях бытия? Такой поступок, такой человек, такая средь ясного солнечного дня одиноко упавшая с неба снежинка — реальность она или воображение, хороша, безлика или плоха?

Роберт Музиль. «Тонка» [1]

I

История эта начинается в одном из департаментов северной Франции — в том, что на картах напоминает по форме свеклу.

Зимой, проезжая здесь на автомобиле, видишь лишь что-то вроде шишки. Точно опухоль на горизонте. И вечные сумерки, когда безлистые деревья у кромки полей кажутся особенно голыми и корявыми.

Дома в поселке — все кирпичные, одноэтажные. Между двумя их рядами пролегло тщедушное подобие шоссе — не шоссе, но и не улица, хотя тротуары асфальтированы и до блеска отполированы частыми дождями. Легковые машины оставляют двойную колею в месиве раздавленной свеклы. Грузовики тоже.

Из школьных дверей вываливается толпа детишек в капюшонах, но веселому беспорядку быстро наступает конец: поток машин на шоссе и летящие из-под колес расплющенные овощи вынуждают детей идти гуськом. А вообще-то зимой в поселке тихо. По вечерам лишь собаки бродят по темным закоулкам. Или вдруг раздастся шелест велосипедных шин, подчеркнув безмолвие, которое становится тем глубже, чем реже слышится знакомое позвякиванье цепи.

Когда-то здесь был рабочий городок, но завод давно уже бездействует. От него остался лишь остов из кирпича и железа.

Летом все выглядит веселее. Много солнечных дней, и дорога подсыхает. В крошечных огородиках зацветает картошка. Белье сушится во дворе. Тропинки между домами усеяны пустыми бутылками. По вечерам люди, возвращающиеся автобусом из города, с работы, задерживаются, чтобы немного поболтать. Они усаживаются

[1] Перевод с немецкого А. Карельского.

© Editions Gallimard, 1974.

погреться на предзакатном солнышке, пока оно еще не исчезло в мареве за шоссе. Спускается ночь. Небо принимает оттенок свежего цемента и кажется идеально гладкой стеной, с которой свисает огромный фонарь луны.

Около половины восьмого все расходятся по домам смотреть телевизор.

Для детей это пора больших каникул, когда они возятся на тротуарах и занимаются разными запретными делишками в темных углах за домами.

В одном месте шоссе пересекает проселочная дорога. Машины, движущиеся по этой дороге, пользуются преимущественным правом. Здесь стоит церковь. И памятник погибшим, а вокруг — скамейки для отдыха. В хорошую погоду там собираются старички и старушки. Они усаживаются на скамейки, с клубком ниток или с газетой, чтобы спокойно повязать или почитать. Еще туда прибегают две-три девчушки, обычно одни и те же. Они садятся лицом к дороге, по которой машины выезжают на шоссе, и глазеют на мчащиеся мимо автомобили и грузовики. Одну из них зовут Яблочко — Помм.

А теперь заглянем в дом, где живет Помм со своей матерью. Вначале мы входим в большую комнату, посреди которой стоит длинный стол, выкрашенный белой краской. На столе — клеенка с пожелтевшими от частого мытья розами (на клеенке еще видны желтые закорючки, изображающие листья букета. И дырки от сигарет, не изображающие ничего).

Вокруг — стулья, под цвет стола, и другие — совсем не под цвет. Ну и еще — буфет.

Даже когда закрыты двери и окна и затоплена печка, даже когда ты надел домашние туфли и халат, — все равно кажется, что тебя трясет на гигантских колесах несущихся мимо грузовиков. Они громыхают совсем рядом — в нескольких метрах от дома. Потому и кажется, будто дом этот, стоящий на обочине, всегда раскрыт нараспашку.

С обеих сторон к комнате, давайте назовем ее главной, примыкают комнаты поменьше. В одной из них — кровать, зеркальный шкаф и пластмассовый тазик, откуда сны, как говорится, попадают прямиком в сточную яму. В ногах большой кровати — детская кроватка с решеткой. Решетка — из металлических хромированных прутьев, на которых местами выступила ржавчина.

С тех пор как Помм выросла из кроватки с решеткой, она стала спать в другой комнате, описывать которую мы не будем.

Яблочком ее прозвали потому, что у нее были круглые щечки. Они были к тому же очень гладкие, и, когда при девушке говорили, какие у нее кругленькие и гладенькие щечки, они даже начинали пылать.

Теперь у нее появились и другие округлости, при виде которых — словно это корзина с фруктами — облизывались все деревенские мальчишки; к несчастью, не было там поэта, который мог бы все это воспеть.

Но сама Помм не нуждалась в поэте — она и так была в своем роде совершенством. Хотя писаной красавицей ее, пожалуй, не назовешь. И не обладала она прельстительной хрупкостью тех свободных от условностей девиц, чья кожа, когда на них смотришь, свежа и прозрачна, как вода в хрустальной чаше для полосканья

пальцев. Нет, кисть у Помм была не уродлива, но плотно пригнана к запястью, запястье — к руке и, вероятно, так далее.

Пышная — слово не очень подходящее для такой девчушки (скажем, было ей четырнадцать лет), и все же Помм казалась именно пышной. Хлопотала ли она по хозяйству, или просто сидела, или лежала, или спала, — даже когда веки ее были сомкнуты, а рот приоткрыт и душа витала где-то, убаюканная дремотой, — комнату заполняло ее присутствие, ее тело. Природа не слишком трудилась над Помм, но она, казалось, вытесала девушку из монолита, удивительно крепко сбила ее. Такой же цельной и наполненной была, наверное, у нее и душа. Помм не принадлежала к тем созданиям, присутствие которых сводится лишь к пустому взгляду и пустым словам — каждый ее жест, каждое, пусть даже самое пустяковое, занятие как бы запечатлевались в вечности данной минуты. Вот она накрывает на стол, вот стирает белье или делает уроки (с умилительным прилежанием), и любая ее поза, любой ее жест на редкость естественны, они необходимы, и все вокруг становится сразу таким безмятежным.

Стоило Помм сесть за вязание — и маленькие руки ее начинали двигаться с лихорадочной быстротой; в эти минуты они существовали как бы сами по себе, не нарушая, однако, органичности ее несколько тяжеловесного изящества. Любое дело, за какое бы Помм ни взялась, всегда спорилось и становилось для нее органичным. И всякий раз с нее можно было писать жанровую картину, где и композиция, и сам сюжет требуют от модели именно этого жеста. Взять хотя бы ее манеру держать шпильки во рту, когда она перекалывает прическу! Она могла бы быть Белошвейкой, Продавщицей воды или Кружевницей.

Возможно, Помм унаследовала все это от матери, работавшей в одном из городских баров. Когда какой-нибудь господин предлагал матери подняться в комнату над баром, она произносила про себя: «К'слугам вашим» — она ведь обслуживала клиентов и в таком смысле слова, с одинаковым старанием отрабатывая свои деньги и на антресолях, и на первом этаже, стоя или лежа, простодушная и покладистая, как ее дочь. И та и другая вкладывали всю себя во все, чем занимались, — даже когда приходилось надолго застывать в одной и той же позе в комнате над баром; они действовали под влиянием одинакового у обеих, естественного импульса, однозначного и, вопреки всему, глубоко целомудренного. Правда, туфли служанка никогда не снимала из боязни занозить ногу. Только в этом, пожалуй, она и отступала от обычных житейских правил.

Еще Помм походила на мать ровным нравом. Обе они одинаково просто принимали и радости и горести, которые отпускала им судьба,— впрочем, не слишком щедро. И обе они, словно отсохшая ветвь, влачили унылое существование в своем домишке на обочине дороги, освещенном ровным светом из окна, выходившего на шлюз, через который деловито проплывали чьи-то жизни.

Помм не выказала ни волнения, ни удивления, обнаружив, что стала совсем взрослой, хотя никто к этому событию ее не подготовил. Она поменяла белье и застирала простыни, не таясь, но и не говоря ни слова, точно кошка, которая старательно забрасывает свои нечистоты комьями земли и опилками. Мать, увидев, как спокойно и тщательно Помм убирает за собой, принялась давать запоздалые объяснения, которые девочка выслушала, казалось, даже с интересом, так что можно было подумать, будто она сама просила об этом мать. По своему душевному складу Помм была такой же округлой и гладкой, как

внешне, — все скатывалось с нее, не нарушая привычного хода ее жизни.

(Тут автор мог бы чуточку задержаться на проблеме существования девочки под одной крышей с матерью, занимающейся проституцией. Он мог бы нарисовать картину этой жизни: ночи без сна, когда ребенок, охваченный непонятным, смутным стыдом, часами ждет мать; наконец, глубокой ночью та возвращается, измотанная, с трудом передвигая ноги, в застывшем взгляде ее — усталость и отвращение; едва приоткрыв дверь, она видит блестящие страдальческие глаза дочки, с вопросом устремленные на нее. Стоило бы сказать и о шуточках и намеках, о многозначительном молчании, которое разит не хуже стилета,— о тех западнях, которые подстерегали Помм на деревенских улицах и которых ей было не избежать,— они ранили ей душу, с каждым разом все глубже и больней. Читателю нетрудно представить себе горькую судьбу ребенка,— словом, можно было бы написать роман о постепенном падении изначально чистой девушки.)

У нас же все обстоит иначе. Для начала — Помм и ее мать обладали удивительным простодушием людей, которые не скрывают правду, а наоборот, настолько выставляют все напоказ, что не о чем и посплетничать. Никому даже не интересно, «подозревает» ли Помм, чем занимается ее мать. Помм вообще не способна к подозрениям. Однако для ее дальнейшей судьбы (если можно употребить громкое слово «судьба» по отношению к столь скромной доле) имеет значение то, что мать занималась проституцией в одном из городских баров, тем более что этой бесхитростной женщине случалось предаваться при дочери воспоминаниям о господах, побывавших в комнате наверху. Сам ход вещей, равно как и рассказы матери, такие удивительные, несмотря на всю их банальность (вообще-то они были вполне безобидны, любая честная женщина могла бы рассказать такое своему ребенку, причем в тех же словах), внушили Помм великое уважение к высокому слову «господин». У деревенских (когда Помм, например, шла в школу или возвращалась домой) она таких качеств не замечала. Здесь у парней всегда чувствовалось, что где-то в глубине сидит зернышко анархии, которое и порождает обычно всякие неполадки на земле; здесь от них пахнет вином, забастовками, первомайскими манифестациями и прочими нарушениями порядка, которые нам иногда показывают в телевизионных новостях. У Помм с матерью был такой сосед — напьется, бывало, и ну пугать местных детишек, да так, что они убегали от него на середину шоссе. Помм видела его как-то с расстегнутыми штанами. А вот городские господа — те совсем другие. Потому что «господами» называют людей почтенных — нотариуса, аптекаря, промышленников, коммерсантов. И даже когда они творят скотство, на руках у них поблескивают часы и золотые перстни, а в карманах лежат толстые чековые книжки. С их помощью они и дырявят девчонок в то время, как их жены дома тихонько переживают наступление климакса (Помм, естественно, не доходила до подобных умозаключений).

Летом Помм садилась на одну из скамеек у памятника, и взгляд ее рассеянно скользил по проезжавшим мимо машинам, по лицам тех, кто в них сидел, — ещё минуту назад они казались совсем близко и вот уже несутся по шоссе вдаль, к горизонту, становясь такими же недостижимо далекими, как те господа, увиденные сквозь призму материнского рассказа.

Так день проходил за днем, и жизнь их текла размеренно, как и в других домишках, стоявших у обочины дороги, хотя некоторая

разница все же была. Например, мать Помм никогда не покупала платья в фургончике, что приезжал по вторникам и субботам. Она ходила в магазины. Пользовалась косметикой. Курила. Гасила окурки о ковер в примерочных. И плевала на то, что платья валялись у нее грудой в зеркальном шкафу. Безразличие к вещам порою больно ударяло бедную женщину по карману и было столь же удивительно, как и ее душевная чистота. Дом ее никак не был обставлен — в нем стояли разномастные, пропыленные, ни на что не похожие мертвые вещи, такое было впечатление, словно их при переезде вытащили из фургона и в спешке кое-как сгрузили на тротуар.

Конечно, мать Помм могла бы экономить, вложить деньги в дело и таким образом разбогатеть, — словом, получать какие-то выгоды от своего ремесла. Но тогда пришлось бы считать, обдумывать, прикидывать вместо того, чтобы просто жить теми минутами, которые она, повинуясь чужой воле, проводила в комнате над баром. Нет, жить по заранее обдуманному плану она не могла.

Помм была еще совсем крошкой, когда отец ее ушел из дома. И естественно, она его забыла. Ни она, ни мать никогда о нем не говорили.

Он не раз исчезал на время и до того, как уйти совсем. Никто не знал ни где он, ни когда вернется. Случалось, он пропадал дня три, случалось — полгода. Заранее он ничего не говорил. Просто был из тех, что пропадают, выйдя купить коробок спичек, ибо за улицей, на которой стоит табачная лавка, есть другая улица, а за ней — еще одна. Ведь если вдуматься, вокруг этого месива домов, составляющих твой квартал, можно ходить без конца.

Характер у отца Помм был на редкость мягкий. Он никогда не повышал голоса и вообще говорил очень мало. Любил подумать в тишине, помечтать о том о сем. С женой своей обращался ласково. Охотно играл с дочкой, когда не мечтал: ведь с ней не нужно было разговаривать. А потом уезжал. Иногда присылал деньги, но никогда не писал писем и ничего не объяснял. Он и не в состоянии был объяснить, почему поступает так, а не иначе. И мать Помм не пыталась с этим бороться — такой уж он был. Должно быть, она крепко любила своего мужа — от одной отлучки до другой, и если эти отлучки волновали ее, она никогда этого не показывала. Просто у нее муж «приходящий» — такая уж у нее судьба, а вот у соседки — «пьющий». Говорилось это так же просто, как мы бы, например, сказали: этот человек веселый, а тот — брюзга.

Итак, муж ее, который все куда-то уходил, в конце концов ушел окончательно и бесповоротно, ибо на этот раз он сказал: «Я ухожу»; такое необычное внимание к близким могло означать лишь то, что уходил он насовсем. И ни малейшего колебания, ни мысли о том, что может все-таки вернуться по давно проторенному пути. Жена помогла ему собрать вещи, но они не поместились в единственный имевшийся в доме чемодан. Тогда она нашла большую коробку из толстого картона и упаковала в нее все, что не вошло в чемодан. Потом разбудила малышку, чтобы та попрощалась с отцом.

О разводе или о своем праве на алименты мать Помм думала не больше, чем, скажем, о том, чтобы сесть за руль автомобиля. Ведь для того, чтобы куда-то поехать, можно нанять машину. Надо просто жить как живется — кому они нужны, все эти сложности.

Итак, она осталась одна, с дочкой на руках — даже картошку некому было выкопать, — но она не жаловалась, что судьба так круто с ней обошлась. Ей не было тогда еще и тридцати, и густые волосы,

висевшие хвостом у нее вдоль спины, придавали ее фигуре что-то своеобразное, дикое, сильное, так что она без труда нашла место «служанки»; ей объяснили условия, она попросила повторить и после минутной оторопи лишь кивнула в знак согласия — ведь тогда еще не было у нее этого округлого, гладкого, ровного отношения к своим новым обязанностям, и не произнесла еще она свое первое: «К' слугам вашим».

Вот здесь, наверное, и следовало бы поставить точку: история эта вполне заурядна и стать незаурядной не может, так как ни Помм, ни ее мать не принадлежат к числу тех, в чьей жизни бывают перемены — разве что они начнут раскрывать друг другу душу, да и то едва ли.

Они не способны — и в этом их своеобразная сила — долго что-либо переживать: превратности судьбы задевают их лишь мимоходом, словно соскальзывают с них. Они — из тех растений, которым достаточно клочка земли в щели между камнями мостовой или в расселине стены, и свою необъяснимую жизнестойкость они черпают в самой природе своей.

Подобные существа безропотно принимают все взлеты и падения в длинной цепи случайностей, из которых складывается их жизнь. Они даже не пытаются уклониться от ударов судьбы. Можно подумать, что они просто их не чувствуют, но это, разумеется, не так. Они тоже страдают, только не отдают себе в этом отчета, не задерживаясь мыслью на страдании.

И даже если бы случай обрушил на Помм и ее мать весь свой арсенал невзгод, они с нечеловеческим упорством, молча продолжали бы свой бесцельный путь, который не стал бы от этого короче и оставался бы таким же одиноким, неприметным и тем не менее завораживающе увлекательным.

Но в таком случае Помм и ее матери нет места в романе с его примитивными софизмами, психологизацией, претензией на глубину,— где уж им, раз они не в состоянии постичь причины собственных радостей и горестей, а могут лишь безгранично удивляться, так как добраться до подоплеки событий им не дано. Они, точно крохотные мошки, переползают со страницы на страницу книги, повествующей об их жизни. Вот бумага, из которой сделаны эти страницы, — вещь существенная; или, например, картофель, пускающий ростки, или выщерблины в досках пола, о которые можно занозить ногу, это в городке-то! А больше ничего существенного и нет.

II

Итак, Помм идет восемнадцатый год. Они с матерью живут теперь в предместье Парижа, где-то близ Сюрена или Аньера [1]. У них квартира в большом доме, на лестнице Д, подъезд Ф. Называется это Городком Космонавтов.

Перед нами Помм и ее мать — они сидят рядом на диване, обитом черным дерматином. Сидят неподвижно. Напряженный взгляд их устремлен в одну точку, точно они смотрят в объектив фотоаппарата. Но на сей раз это экран телевизора, от сероватого света которого контуры лиц кажутся размытыми, как на старой фотографии... А вот Помм, лежа на животе, читает в кровати журнал. Голова ее и журнал слегка сдвинуты к источнику света — окну и к лампе над

[1] Сюрен и Аньер — рабочие предместья Парижа. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

изголовьем кровати, которую приходится зажигать, так как прямо перед окном — высокая стена дома.

Помм скорее перелистывает, чем читает журнал. «Внезапно Джордано обнял ее. Она хочет вырваться, но ее вдруг охватывает дотоле неведомое, сладостное чувство, которое пронзает ее до самой глубины души. Они смотрят друг на друга — глаза в глаза, и в эту минуту невидимая нить протягивается между ними. Джордано чувствует, как от нее бежит к нему электрический ток... Звезды над ними разворачивают свой плащ, и они медленно бредут рука в руку».

Вот уже год, как Помм с матерью обосновались в этой двухкомнатной квартирке, где началась для них новая жизнь с цветами в вазе и мыльницей в ванной комнате.

Мать Помм сильно изменилась. Теперь она носит белую нейлоновую блузку — и когда убирает квартиру, и когда продает яйца, и когда просто ничего не делает.

Кроме яиц она продает еще молоко в пакетах, масло в бочоночках или кусками сыр. Она берет большой нож с удлиненной ручкой, делает лезвием отметку на большом бруске швейцарского сыра и спрашивает для верности: «Так или побольше?»

Какой поворот судьбы привел в молочную «служанку» из бара и комнаты наверху? Один бог знает — да и то, если это произошло по его наущению. Лучше об этом не спрашивать!

По утрам мать Помм поднимается очень рано. Она помогает хозяевам разгрузить фургончик. Складывает на тротуаре пустые ящики, чтобы потом их забрали мусорщики. И наконец, занимает свое место за прилавком — пышный бюст ее величественно возвышается между двумя колесами сыра «эмменталь».

Из лавки она уходит поздно, приседая каждый вечер до земли под железной шторой, которую патрон наполовину приспускает незадолго до закрытия магазина (клиентам тогда приходится, точно змеям, уползать в узкой полоске меркнущего света, а иные приподнимают штору, и тогда продавщица видит, как гаснет на улице день, а вместе с ним и возможность попасть на нужный автобус. И все из-за какого-нибудь бочоночка масла или пакета молока).

В городе мать Помм выглядит немножко провинциалкой, как в свое время в провинции выглядела, можно сказать, горожанкой. Одевается она всегда очень опрятно, но с кокетством теперь покончено. Туфли носит на низком каблуке, и ноги у нее больше не болят. В сорок лет она словно обрела вторую молодость, и на щеках ее в погожие дни загорается яркий крестьянский румянец. Но главная перемена произошла у нее не в облике. Во всяком случае, не самая удивительная — просто она по доброй воле решила отказаться и от внешних признаков своей не слишком добродетельной профессии, предоставив всем любоваться кожей молочницы, покрывающейся зимой легкими красными пятнами.

Подлинная же перемена произошла с жильем: теперь у них была двухкомнатная квартирка, где, как зеркало, блестит паркет, где новехонькая мебель и есть даже кухня с квадратным столом и табуретками из пластика, сверкающая первозданной чистотой.

По вечерам диван, обитый дерматином, превращался в просторную постель, застеленную белыми или небесно-голубыми простынями. Вперив взор в свежевыкрашенный, кремовый, как сливки, потолок, продавщица со своей дочкой засыпали под шерстяными розовыми одеялами.

По сравнению с их прежним домом, с садом, усеянным осколками бутылок, теперь они жили в роскоши, хотя и объяснимой существующей системой кредита: стол, стулья, буфет, диван-кровать, два кресла, тоже обитые черным дерматином,— все было в одном стиле и составляло единый гарнитур стоимостью восемнадцать раз по двести сорок франков.

Еда у них теперь тоже стала другая. Они старались разнообразить стол. С увлечением готовили. Еще бы — теперь ведь в их распоряжении была электрическая плита с грилем. Когда мясо достаточно прожаривалось, раздавался звонок, как у будильника, и плита сама выключалась. Помм очень скоро стала лакомкой. Впервые в ней обнаружилось что-то вроде страсти, но страсть эта в робких своих проявлениях не нарушала обычной сдержанности и застенчивости молоденькой девушки, еще не вышедшей из детства, с присущими ребенку круглыми щечками и румянцем, загорающимся от смущения. Помм обожала сласти, пирожные, конфеты с начинкой, шоколад. При этом ничуть не меньшее удовольствие получала она, скажем, от хорошего куска бараньей ноги с фасолью. Подавалось жаркое на красивом фарфоровом блюде. Соусник, правда, был алюминиевый.

Каждое утро Помм садилась в поезд. Выходила на вокзале Сен-Лазар и, не глядя на витрины, стуча каблучками, быстро шла к себе в парикмахерскую. Там она надевала розовую блузу. Проверяла себя в зеркале — в порядке ли глаза. И подправляла легкий грим.

В этот час молоденькие продавщицы, машинистки или такие вот ученицы из парикмахерских расцвечивают яркими красками серо-коричневый людской поток на улицах города. Но Помм была не такая, как все,— она была не просто хорошенькая. Должно быть, она отличалась подлинной красотой, которую не могли испортить ни мини-юбка, ни слишком узкий свитер.

Это-то в конечном счете и выделяло ее. В этом своеобразном мире запахов, всевозможных флакончиков, среди дешевых парикмахерских ухищрений безыскусность Помм придавала ей некую загадочность. Вся ее прелесть заключалась в том, что она не была похожа на других, хоть и одевалась как все остальные — и у нее, как и у них, между кофточкой и юбкой зазывно виднелась полоска кожи.

Надо сказать, что своеобразие Помм не позволяло с ней фамильярничать. Она притягивала к себе и одновременно удерживала на расстоянии. Главным образом притягивала, но так, что человек этого не сознавал. При этом она вовсе не хитрила — даже во взгляде ее не было и тени лукавства. Скорее можно было прочесть в нем наивное бесстыдство, если уметь читать то, что не написано. И ничего удивительного: такая девственная невинность («девственно-белая страница») лица, обнаженного, ничем не прикрытого (никакой задней мысли), как раз и граничит с бесстыдством; это — лицо Сусанны [1], или Сюзон, застигнутой врасплох во время купанья, когда бесстыдство, если можно так сказать, подчеркнуто неожиданностью и искренним нежеланием, чтобы тебя кто-то видел.

Губы Помм красила лишь их собственная безмятежная полнота; случалось, она прикрывала глаза,— но от того, что уж очень радостно жить. На всем ее облике лежала печать глубокого спокойствия, не нарушаемого даже намеком на кокетство. Да Помм и незачем было кокетничать, незачем выставлять себя напоказ. Сама природа

[1] Намек на знаменитые полотна Веронезе, Рубенса, Рембрандта, использовавших библейскую легенду о Сусанне — женщине, славившейся своей красотой и целомудренностью, которую два старца обвинили в измене мужу.

сделала из нее легкую добычу, как и из многих девушек ее возраста, которые не успели еще познать свое тело и не приспособились к нахлынувшим на них новым, незнакомым ощущениям.

Помм, казалось, могла до бесконечности длить тот чудесный период в жизни девушки, когда даже самые некрасивые будто расцветают от подкараулившего, пронзившего их желания, которое ничто не в силах затушить.

И эта затянувшаяся незавершенность становилась чем-то вроде добродетели, хоть и неопределенной, раздражающей таким отступлением от привычного порядка вещей.

У Помм, что же, до сих пор не было возлюбленного, хотя ей скоро стукнет восемнадцать лет, или в ней просто говорила природная чувственность, когда под взглядами мужчин она вся точно начинала светиться?

Если бы Помм объяснили, что́ дарит любовь, она не сказала бы «нет». Ощутив на себе настойчивый взгляд, она бы сразу поняла, чего от нее ждут. И наверняка подчинилась бы — не мужчине (ей было бы безразлично, как он выглядит и сколько ему лет), а тому новому, неизбежному, что поднялось бы в ней и завершило бы ее формирование в минуты забытья.

Она же переходила на противоположную сторону тротуара и шагала так быстро, что ни у кого не могло возникнуть и мысли следовать за ней. По утрам она вставала с постели, пресыщенная своим безмятежным сном, как иная женщина пресыщена объятиями,— вставала с истосковавшимся телом, и тоска эта не проходила даже в дневной уличной толкотне. Замирала тоска лишь на нетронутом снегу девичьей ночи. В этой счастливой меланхолии, рожденной весенним переполнением чувств, не было и тени ущербности или зависти к другим. Однако тот, кто смотрел на Помм, понятия не имел, что именно он, его взгляд и есть звено, которого недостает в этой почти законченной, безупречной цепи. Поэтому он и выходил на предыдущей или на следующей станции; впрочем, Помм редко ездила на метро от Сен-Лазара до Оперы — разве что ее заставал дождь.

Помм не умела ни делать завивку, ни стричь, ни красить. Ей поручали лишь собирать салфетки. Она протирала инструменты. Подметала пол после стрижки. Укладывала в аккуратные стопки разбросанные номера «Жур де Франс». И вытирала кончик носа клетчатым платочком.

Кроме того, Помм мыла клиенткам голову, массируя кожу со свойственной ей деликатностью и старанием. Она могла бы делать это еще старательнее. Стоило только попросить.

Клиентки были все уже в возрасте, богатые и невероятно болтливые. Право же, как на подбор. Они квохтали без умолку, точно старые куры!

Но ни усыпанные бриллиантами очки, ни губы цвета лаванды на лице, обрамленном жидкими подсиненными волосами, ни руки, усеянные драгоценными камнями и темными пятнами, ни сумки из крокодиловой кожи, казалось, не привлекали внимания Помм,— она была всецело поглощена тем, чтобы вода, которую она пробовала, подставив под струю тыльную сторону руки, не была слишком горячей или слишком холодной, когда она направит струю на волосы клиентки,— ведь мокрые волосы у всех выглядят одинаково.

Помм осторожно запрокидывала голову дамы на подставку, вмонтированную в спинку большого кресла, которому можно придать

нужный наклон. Грудь клиентки накрывалась белой салфеткой, а волосы, мокрые, слипшиеся от мыла, волнистыми водорослями плавали в широкой белой эмалированной раковине.

Взгляд умирал под накрашенными веками, увеличивавшими глазницы, губы казались кровавой чертой под заострившимся носом, и эти запрокинутые лица, обрамленные волосами, становились похожи на диковинное растение — казалось, огромные выцветшие листья какого-то дерева, с чуть намеченными прожилками, плывут по реке.

Зрелище было странное, но не устрашающее — все эти лица, точно распластанные на поверхности воды, эти дряхлые Офелии, вдруг утратившие на минуту свое превосходство, способные даже вызвать презрение у человека, менее доброжелательного, чем Помм. И Помм говорила себе, что если в старости она и будет уродлива, то не так, как они. И уж во всяком случае, не станет такой сразу. Если бы у Помм могли возникнуть шальные мысли, если бы она не чувствовала, как смутно, еле уловимо шевелилась в ней ненависть в тот момент, когда старые хищницы с потрясающей бесцеремонностью совали ей чаевые (чего стоит одна их манера щелкать замком, открывая и закрывая сумку), она могла бы получить еще большее удовольствие, глядя на то, как они, совершенно покорные, совершенно лишенные всякой индивидуальности, сидят под колпаком сушки, точно неживые, держа неподвижно голову, по-прежнему высоко, по-прежнему горделиво поднятую — только на сей раз как на острие пики. Впрочем, Помм, которая иногда подолгу их разглядывала, вовсе не сознавала, что получает от этого удовольствие.

Ее звали Марилен. (Предположим, что так.)

Она могла бы, держа в руках перламутровый бинокль и прикрывшись веером, тихонько злословить, сидя в своей ложе в Опере. У нее могли бы быть темные волосы, разделенные прямым пробором и приспущенные на уши, как на старинных гравюрах. Она могла бы, исполненная внимания и нежности, склонить свои обнаженные, цвета слоновой кости плечи к господину в белом кружевном жабо, пенящемся в вырезе черного фрака, и, приложив в порыве элегантной стыдливости веер к губам, прикрыть видневшуюся в декольте грудь.

Так бывало в фильмах, которые она видела. А в жизни она то и дело разражалась таким громовым хохотом, что сразу вылезали на передний план и вульгарно-рыжие волосы, и слишком большой рот.

И все же Марилен была хороша собой. Высокая, длинноногая, гибкая и подвижная. Она ловко скользила по салону от одной клиентки к другой, а это было все равно что идти по лесу или пробираться сквозь джунгли, окружающие развалины Ангкора.

Однако истинный художник непременно отметил бы, что в красоте такого рода — дикой, грубой, агрессивной, напористой — в конечном счете есть что-то жалкое. И Марилен в конечном счете, наверно, понимала, сколь мало значит, когда тебя зовут красавицей,— возможно, лишь потому, что к этому нечего прибавить. Вот Марилен и швыряло всю жизнь от романтики, изысканных манер, даже, если хотите, возвышенности к откровенной вульгарности и раскатистому смеху, звучащему так, точно стопка тарелок рассыпается в мойке. Дело в том, что в последнюю минуту Марилен приходила в голову мысль, а не проиграет ли она в итоге, если попробует смягчить голос и манеры,— как-то глупо все-таки проигрывать. И она принималась дурачиться, строить из себя этакого шумного сорванца. Этот образ был не намного удачнее, но, возможно, больше соответствовал глубине

натуры Марилен. Если, конечно, сразу не решить, что «глубины натуры» у Марилен и в помине не было.

Сейчас она — рыжая, ей тридцать лет, и в сумочке у нее зажигалка от Картье. Раньше она была блондинкой. Но когда она была блондинкой, ее звали Марлен. И это имя тоже ей шло. В ту пору она любила парчовые платья.

Живет Марилен в однокомнатной квартирке (XVI окр.[1], рядом с Булонским лесом, кварт. люкс, 30 кв. м., 7-й эт. окнами на улицу, лифт, паркет, ванн., кухн.). Или, может, вы считали, что она живет в особняке? Доступ в дом страховым агентам, сборщикам пожертвований и подписей под воззваниями запрещен.

Две ночи в неделю Марилен принимает у себя господина лет пятидесяти, с серебристыми висками, квадратным подбородком и пронизывающим взглядом. К тому же (почему «к тому же»?) господин этот возглавляет рекламное агентство. Ворочает большими делами, по воскресеньям играет утром в теннис.

Марилен держала Помм в приятельницах. Она прекрасно знала, что та не способна ни навредить ей, ни наговорить гадостей о ее бедрах и груди. И мало-помалу Марилен стала покровительствовать Помм.

Но в то же время Помм оставалась для нее загадкой. Она существовала как бы в другом измерении. И Марилен решила прибрать к рукам эту загадочную девчонку, раз уж не могла ее понять. Дело в том, что в этой внешне наивной — да и не только внешне, а действительно наивной — девчонке вдруг возникало что-то неожиданное, как если бы источник забил в переполненном метро, появлялась некая скрытая сила, непереносимо чуждая Марилен.

Марилен, конечно, не была способна определить, что так раздражает ее, когда она соприкасается с этой тайной. Ведь тогда ей пришлось бы признать, что она стремится положить этому конец, а значит, уничтожить то, чем Помм в корне отличается от нее.

И однако же, именно этого Марилен пыталась добиться. Она сразу же сказала Помм: «Так ты далеко не уедешь, надо подкрашиваться». И Помм начала подкрашиваться, сохраняя при этом всю свою свежесть, несмотря на неровно, неумело положенный тон. А Марилен почувствовала, как в ней зарождается досада.

Марилен пригласила Помм к себе. Они перешли на «ты». Помм поднялась на лифте, которым не имели права пользоваться поставщики, выпила виски. Виски ей не очень понравилось.

За час до появления приятеля Марилен Помм обычно уходила. Питалась эта пара только в ресторанах, а любовью занималась после театра.

Приятеля Марилен Помм никогда не видела, да и Марилен никогда не говорила ему про Помм. Все было вполне естественно: Марилен выпроваживала Помм перед его приходом, как поправляют прическу перед выходом из дому. (Позвольте! Позвольте! А не боялась ли Марилен показать директору рекламного агентства нашу маленькую дикарку, да еще такую миленькую? Правда, Помм уж слишком

[1] XVI округ Парижа считается наиболее аристократическим и дорогим районом.

отличалась от того, что изображала из себя Марилен. Разве это не достаточно веская причина? К тому же наверняка были еще и другие!)

В мае Помм исполнилось восемнадцать лет. Правда, Марилен была приглашена в гости. Ели седло барашка.

С мамой Помм, которую она видела впервые, Марилен держалась очень любезно. Оделась она скромнее обычного, понимая, что идет к людям скромным. Марилен нельзя было отказать в известной тонкости, хотя и тут она хватала лишку. И своим поведением, и костюмом она явно давала понять, что пришла в гости к людям бедным и очень старается не поставить их в неловкое положение. Мать Помм ничего этого не заметила. Помм же была бесконечно признательна Марилен, хотя к этому и примешивалось возрастающее чувство стыда. Марилен все находила очень вкусным и преувеличенно благодарила всякий раз, как ей передавали блюдо или подливали вина. «К'слугам вашим»,— говорила мать Помм, а девушке так хотелось, чтобы ее мать держалась иначе. Не зная толком почему, она чувствовала себя в чем-то виноватой.

Посреди пиршества Помм вдруг задумалась и надолго ушла в себя. Казалось, она разглядывала свечи, лежавшие на блюде с тортом, где еще осталась половина куска, предназначенного Марилен (которая, видимо, не любит сладкое). На самом же деле Помм ничего не разглядывала. Ее охватило безразличие и меланхолия, как сказали бы мы. Безразличен ей был, например, кусок торта, лежавший на блюде. Ей не хотелось двигаться, она страшно устала, тело ее набрякло и отяжелело, плечи словно придавило гирями. Она все глубже погружалась в сладостно-горький омут неизмеримого отвращения к себе.

Погода в тот день стояла солнечная, и Марилен повезла всех в Булонский лес. Подъехали к озерам. Помм по-прежнему что-то в себе переваривала, сама не зная, что именно. Мать ее тоже все больше молчала — из страха наскучить им. В какую-то минуту она сказала: «Я пойду сяду. А вы прогуляйтесь. И на обратном пути меня захватите». Вместо этого они всей компанией отправились кататься на лодке. Двадцать франков дали залога и еще чаевые парню, помогавшему сойти в лодку. Они никак не могли отчалить, и парень подтолкнул лодку багром.

Марилен забавлялась вовсю, кокетничая с прилипалами, которые катались в других лодках и, отчаянно работая веслами, нагоняли их. Мать Помм вскрикивала от страха, что они опрокинутся, и ногами и руками крепко держалась за доску, на которой сидела. Помм гребла — гребла увлеченно, как ребенок, и мало-помалу, с каждым взмахом весел вновь обретала свою целостность и душевный покой.

Вскоре после дня рождения Помм Марилен пришлось распроститься с обладателем квадратного подбородка. «Давно надо было это сделать»,— заявила она вместо всякого объяснения. И добавила, что потратила пять лучших лет своей жизни (понедельники и среды) на такого хама, но ничего не поделаешь — все мужчины на один лад. Марилен тут выказала некоторое понимание своей натуры, но не мужчин.

Что ж! Конечно же, она ненавидела их всех — и прилипал, и самцов, и рекламщиков. Как и «альфа-ромео», цыганские рестораны, террасу ресторана «Фуке» и рубашки от Ланвена[1]. Марилен пове-

[1] Здесь перечисляются дорогие марки машин, дорогие рестораны и фирмы.

дала Помм о своем новом отношении к «жизни вообще». Помм слушала, не говоря ни слова,— все это не мешало молодому адвокату Джордано, нежному, сильному, обнимать свою секретаршу Лину. Губы их сливались в целомудренном поцелуе, сулившем радости без конца и границ. Переливчатый звездный плащ расстилался над ними... И т. д.

За июнь Помм стала ближайшей подругой Марилен. Почти каждый вечер она сопровождала Марилен домой, и они вместе ужинали. Помм уже не надо было уходить, чтобы освободить место для человека с пронизывающим взглядом.

Она нередко оставалась на ночь и спала в большой кровати. Рядом с Марилен. Утром она торопилась встать первой, чтобы приготовить легкий завтрак. Марилен, как правило, вся перепачкивалась апельсиновым вареньем. Потом они вместе принимали душ. Плескались теплой водой, разбрызгивая ее по всей ванной. Терли друг другу спину. Марилен чмокала Помм в шею и говорила, что все мужчины — свиньи.

Мать Помм была очень довольна, что дочка сблизилась с Марилен. Можно только радоваться такой подруге, назидательно говорила она. Помм же немного раздражало то, что мать усиленно поощряет эту дружбу и строит на основании ее самые радужные планы. Конечно, Марилен — очень хорошая, куда лучше, чем она, Помм, но Помм вовсе не собиралась становиться такой, как Марилен, даже если бы и считала, что когда-нибудь сможет. С виду Помм казалась пустенькой, на самом же деле она не лишена была природного ума, и хотя ум ее и не был слишком развит, она умела мириться с жизненными обстоятельствами; она была смиреннейшей из смиренных — надо же обладать таким счастьем: всегда быть довольной собой; если не считать недолгого приступа меланхолии, охватившего Помм во время обеда на дне ее рождения, она никогда еще не испытывала мучительного желания стать иной. И вовсе не стремилась обладать чарами Марилен. Она просто любовалась подругой — и только. А кое-что в Марилен ей даже не нравилось. Ведь Помм относилась к числу людей в высшей степени наивных, а при такой наивности взгляд на окружающих и на вещи бывает порою удивительно острым.

Теперь Марилен всецело принадлежала себе. Этим следовало воспользоваться. И она, чтобы заглушить в себе чувство досады, решила, например, удариться в дружбу с ее многоцветными радостями. Появилась подруга — Помм. А кроме того, она как-то раз встретила одну свою старинную приятельницу. Та была замужем, и муж ее только что купил дом, недалеко от Парижа. Ну и приятельница, естественно, сказала Марилен: «Ты обязательно должна посмотреть наш дом». И Марилен с Помм поехали туда на праздник 14 июля.

Это была старинная ферма, и ремонт ее подходил к концу. Потолок был выложен прекрасными деревянными балками. Камин переделали, чтобы придать ему вид древнего очага; обычную плитку на полу заменили провансальской. Словом, не дом будет, а игрушка.

Марилен, Помм и подруга Марилен целыми днями лежали в шезлонгах на молоденькой траве во дворе, передвигая их в зависимости от местоположения солнца. Муж подруги в это время играл в теннис у соседей.

У мужа был сын от первого брака — некрасивый четырнадцатилетний мальчик, который жил с отцом и сейчас с упоением рушил старинное гумно, потому что оно, по словам его папаши, «портило вид».

Физиономия у отпрыска была препротивная — точно он как родился, так в этом состоянии и застыл: губы толстые, щеки воспаленные, нос пуговкой. Был он приземистый, не по годам низкорослый (обнаженный торс его, с ярко-розовой, местами лупившейся от солнечных ожогов кожей, казалось, вырастал прямо из ног. Помм предпочла бы, чтобы он не снимал рубашки). Ко всему прочему у него был вороватый взгляд.

Он восторженно размахивал огромной кувалдой и испускал радостные вопли всякий раз, как отваливался очередной кусок стены. Марилен прозвала его Тарзаном и подтрунивала над ним. Она подчеркнуто обращалась с ним как с ребенком (такой уж у нее был стиль кокетства, и отказать себе в этом удовольствии она не могла). Ну, а он — он смотрел больше на Помм. Ей же мальчишка совсем не нравился, как и его манера сверлить ее глазами. Она бы с удовольствием спряталась куда-нибудь от него.

Во всяком случае, раздеться она не пожелала. Марилен настаивала: «Уверяю тебя, никто нас не видит». (Сама Марилен и ее подруга лежали голышом, если не считать бумажного треугольника, прикрывавшего нежную кожу носа.) Но Помм считала, что мальчишка, рушивший стену кувалдой, это все-таки «кто-то». Она согласилась лишь закатать рукава своего строгого английского платья и расстегнуть две верхние пуговицы.

В первый день разговоры вертелись главным образом вокруг ремонтных работ. Марилен настолько глубоко вникла в заботы подруги, что уже готова была сама давать указания каменщикам, малярам, садовникам. Она изменила бы даже пейзаж, причем с такой же легкостью, как подправляла грим или меняла цвет волос: надо бы снести вон ту ферму — она портит мягкий изгиб холма, и еще надо бы посадить лес или хотя бы рощу, чтоб заслонить железную дорогу, а то столбы торчат как палки на горизонте. Подруга Марилен внимательно слушала, не перебивая, но она-то знала, кто тут хозяйка.

На другой день стало еще жарче. Помм нашла кусочек тени немного в стороне от двух женщин. У подруги Марилен была большая тяжелая грудь. Она поднялась, чтобы сходить на кухню за фруктовым соком. Но как ни старалась отвести назад плечи и идти совсем мелкими шажками, все тело у нее тряслось, особенно грудь, ягодицы и верхняя часть ляжек. Марилен же, хоть и не была собственницей даже квартирки, а всего лишь арендовала ее, без одежды выглядела куда величественнее, царственнее: грудь у нее была пышная, но крепкая, и она была красива по-восточному щедрой, мягкой, округлой красотой,— словом, хоть лепи эту лоснящуюся от загарного масла Марилен.

Помм скучала, лежа на влажном от пота полотне шезлонга. Она рассеянно слушала болтовню и хихиканье двух подруг. И сквозь прикрытые ресницы смотрела, как они бродят по газону. Потом ненадолго задремала в своем тенистом алькове. Сквозь дрему она слышала взрывчатый хохот Марилен — словно кусочки льда сталкивались в стакане. Кто-то особенно громко вскрикнул — и она проснулась. Теперь Марилен и ее подруга обе говорили очень громко. Они то перебивали друг друга, то умолкали, и тогда на какое-то время наступала тишина. Марилен густо, до блеска, мазала подругу кремом для загара. Помм почему-то с интересом, пристально смотрела на них, а почему — не могла бы сказать. Потом Марилен опустилась в траву и растянулась на спине. Теперь они не хихикали, а перешептывались, и Помм невольно стала прислушиваться. А уж что говорили подружки друг другу —

просто стыд! Помм такое и произнести не могла бы, но слушать — слушала. И услышанное волновало ее. Однако, увидев капельки пота у себя на груди, в вырезе расстегнутого платья, она решила, что это от жары. Ей даже захотелось раздеться и тоже почувствовать, как теплый ветерок скользит по ее ногам. Но она не в силах была шевельнуться. Ее словно заворожило солнце и откровенный разговор подруг,— казалось, чья-то рука легла ей на живот и придавила к шезлонгу.

Тот тип, о котором рассказывала подруга Марилен, был, как решила Помм, ее любовником. Внезапно молодая женщина замолчала. От калитки донесся голос ее мужа: «Женщины, внимание! Это — я, но я не один!» Помм обернулась и увидела четырех здоровяков в белых шортах, по-спортивному легко вбежавших в сад. А Марилен и ее подруга начали нарочито медленно одеваться.

Когда хозяйскому сыну с вороватым взглядом надоедало рушить гумно, он скрывался в зарослях кустов, окружавших участок. Или с наслаждением принимался мучить молодую немецкую овчарку, которой предстояло охранять дом. Начиналось все с легких шлепков, в ответ на что собака, изворачиваясь как могла, старалась укусить своего мучителя за руку. А кончалось обычно весьма чувствительными ударами в живот. Кроме того, мальчишка запоем читал комиксы — на обложках были изображены молодчики со зверскими физиономиями, в касках, вооруженные до зубов, причем запечатлены они были художником в самый кровавый момент схватки с противником. Комиксы валялись по всему дому и даже на лужайке. Помм из любопытства полистала их и от души посмеялась над свирепыми рожами, которые смотрели на нее со страниц.

Хозяйский сын это заметил, так как исподтишка следил за девушкой, не пожелавшей раздеться. Он примостился в траве, рядом с Помм. И сказал, шаря глазами по ее груди, что если она хочет, он может показать ей всю свою коллекцию комиксов. Помм немножко сердилась на себя за то, что не может победить отвращение к этому мускулистому сосунку. И пошла за ним в его комнату. На полу и на стенах — страшноватое скопление режущих и тупых предметов (как обычно говорят *потом* криминалисты), а также огнестрельного оружия. На этажерке Помм увидела чучела разных мелких животных, которых, хвастливо заявил парень, убил он сам.

Через несколько минут Помм решила, что посещение морга можно считать оконченным, но хозяйский сын, видимо, смотрел на дело иначе. Во всяком случае, его сильный розовый торс внезапно возник между Помм и дверью. Ситуация становилась весьма деликатной.

К счастью, тут явилась Марилен.

— Что это вы здесь вдвоем замышляете? — нарочито громко спросила она. И прошептала Помм:— Ты что, не видишь? Он же сейчас на тебя прыгнет!

Помм стремглав сбежала по лестнице, за нею — Марилен, за ними — хозяйский сын, на сей раз красный как рак.

Вечером, в спальне, Марилен смеясь сказала Помм:

— Ну вот, ты и одержала первую победу!

А Помм ответила, что никогда больше не приедет в этот дом.

Помм пошла за мороженым. Вернулась она почти бегом, так как мороженое уже текло у нее по пальцам. Целых пять минут в парикмахерской шел пир. В нем принимали участие кассирша, Жан-Пьер

(дряхлые обладательницы сумок из крокодиловой кожи звонили за неделю, чтобы причесаться у него!), ну и, конечно, Марилен с Помм.

Жан-Пьер совсем забыл об очередной важной гусыне, сидевшей под колпаком в углу парикмахерской. Она еще слегка шевелилась. Вообще же почти все клиентки Жан-Пьера либо уже отбыли на Канарские острова, либо летели туда. Кроме тех, кто предпочел отправиться пароходом.

Помм подмела крошки вафель и остатки не улетевших на Канарские острова волос. Марилен уселась в откидывающееся кресло и принялась подпиливать ногти. Жан-Пьер читал «Экип» и что-то насвистывал. Кассирша, страшно толстая и, вероятно, потевшая уже в раннем детстве, читала гороскопы в «Жур де Франс». Всем было жарко и лень прикрикнуть на нее, когда она приставала с очередным вопросом:

— Слушай, ты кто?

— Бык,— ответила Помм, машинально продолжая водить щеткой по плинтусам.

— Тут сказано, чтобы ты следила за своим весом.

— Верно, ты ешь слишком много пирожных,— слабым голосом поддакнула Марилен.

В это время на ферме мальчишка-сосунок, которого на целую неделю оставили в одиночестве, неотступно думал о двух расстегнутых пуговицах на груди Помм. А в Париже, в лифте, жена его отца (иными словами, его мачеха) торопливо натягивала колготки (она решила было не надевать их в такую жару).

В Сюрене (если только это было не в Аньере) мать Помм объявила своим хозяевам, что «камамбер» до вечера не протянет. Да и за «бри» тоже нельзя ручаться. Так же как и за «пон-л'эвек»[1]. (Ваше величество, но это же революция!) И мать Помм ждала неминуемой катастрофы со смешанным чувством бессилия и вины: даже если ты тут ни при чем, все равно неприятно, когда при тебе такое происходит.

В вагоне метро, мчавшемся между «Одеоном» и «Шатле», сидел огромный, апоплексического склада человек,— тело его бесформенной массой растекалось по скамье, ворот рубашки был расстегнут, скрученный жгутом пиджак лежал на коленях. Он тупо смотрел на парня, который его не замечал, потому что в ту минуту был целиком поглощен созерцанием ног девицы в мини-юбке, смотревшей на другого парня в надежде, что тот взглянет, наконец, на нее. А тот, в свою очередь, невидящими глазами смотрел на толстяка.

А толстяка собственное тело душило, как смирительная рубашка. И он чувствовал себя бесконечно одиноким, как бы замурованным в своей безобразной толщине.

Все с большей силой охватывало его смутное желание исчезнуть, испариться на станции «Сен-Мишель», где только что остановился поезд, и так же безвозвратно исчезнуть с парижских улиц и из своей квартиры, за которую он вот уже три месяца не платил. Но он продолжал сидеть, страдая от жары, немногим, впрочем, больше обычного. Он прикидывал, сколько недель еще протянет эта зловонная глыба мяса, с которой скоро ему предстоит расстаться. Хозяйка даже спустит воду в уборной после того, как он отдаст концы. Итак, он продолжал сидеть, хотя должен был бы выйти на станции «Шатле», ибо здесь, рядом, его дом. Правда, последних три месяца можно считать, что у него уже нет дома. Вот он и остался в вагоне. И подумал, что небо на улице сегодня такое же кафельно-белое и безжалостное к гипертоникам, как потолок на станции метро.

[1] Все это— названия сыров.

И еще толстяк подумал, что его больше ни с кем ничто не связывает. В какой-то момент надо было ему исчезнуть — сейчас или, быть может, раньше,— он так и не осознал когда. Все, что он видел перед собой — афиши, будка дежурного по станции,— теперь проносилось мимо со все возрастающей быстротой. И ему не удавалось явственно что-либо разглядеть. Проносились люди, сидевшие на перроне, названия станций: «Страсбур-Сен-Дени», «Барбес-Рошешуар». Он уже знал, что после «Клиньянкура» станции больше не будет. Будет лишь черная дыра, которая может оказаться бездонной.

В тумане перед ним всплыло лицо жены и дочки, которых он бросил, сам не зная почему. Возможно, Помм и была его дочкой. А возможно, другая, не она. Так ли это важно? Проносившиеся перед его глазами воспоминания, слова, имена, рекламы: «Тригано», «Банания», «Б. Н. П.», «Артюр Мартен»— тускнели, гасли, а ему было все равно.

А в эту минуту Помм подметала пол, Марилен подпиливала ногти, Жан-Пьер что-то насвистывал. Или, может быть, это Жан-Пьер подпиливал ногти, а кассирша подметала пол. Марилен же читала вслух гороскоп для всех присутствующих, а Помм насвистывала арию Керубино: «Voi che sapete...»[1]. И никто не думал о толстяке, который вот-вот умрет.

Но не будем удаляться от нашего повествования, а оно как раз подошло к тому моменту, когда Нейл Армстронг ступил на Луну.

Марилен поставила телевизор на кровать. Помм лежала рядом. Изображение было очень плохое, но это не имело значения, так как Марилен с Помм давно уже спали.

На следующее утро, за завтраком, Марилен спросила Помм:

— Ты в самом деле хочешь, чтобы я ехала сегодня одна?

— К твоим друзьям?

— К нашим друзьям,— чарующе-ласково проворковала Марилен (во всяком случае, она считала, что голос ее звучал чарующе-ласково).— Они, знаешь ли, теперь любят тебя не меньше, чем меня: они считают, что ты — очень хорошенькая и презабавная. «Они» сказали мне это вчера по телефону.

— Вы говорили обо мне по телефону? — И Помм почувствовала, как сердце ее наполняется нежностью к Марилен и к той, другой женщине: ведь они говорили о ней по телефону.

Помм глубоко вздохнула, потом вздохнула еще раз, а вместе с ней, в порыве эмоций, вздыхали стоявшие на подносе у нее на животе чашки, горшочек с вареньем, чайник. Огромное облако счастья окутало Помм и застлало глаза ее слезами, тогда как Марилен, ничего не понимая, в изумлении смотрела на нее.

— Да что это с тобой? Я сказала что-нибудь не так?

А Помм, вся в мыслях о своем двойнике, чье имя звучало по телефону, не знала, что и ответить. Перед ней вдруг открылась дорога в мир, о котором она и мечтать не смела,— мир, где Помм могла стать темой беседы. Скромную девушку покорил звук собственного имени, повторенного в пространстве,— окружающие словно бы превратились в зеркала, которые отражали ее образ, поразивший Помм до глубины души. И то, что другому, любому другому кажется совершенно естественным, когда за него волнуются, про него пишут и тем как бы расширяют рамки его существования, Помм представлялось чудом. Конечно, достаточно ей было бы как следует по-

[1] Вы, которые знаете... *(итал.)*.

думать, чтобы перестать удивляться. Но над такими вещами Помм никогда не задумывалась.

И вдруг у нее вырвалось:

— Ох, Марилен, я так тебя люблю! — И, покраснев, она добавила: — Всех вас люблю.

Марилен поняла, что тут нельзя не расчувствоваться, и в порыве великодушия проговорила:

— Если ты не хочешь ехать к нашим друзьям, я тоже не поеду. Кстати, у нас ведь скоро отпуск. Может, на этот раз в Париже останемся, а?

— Да! — судорожно глотнула воздух Помм.

— Проведем два дня вместе, а заодно выберем, куда ехать в отпуск.

Так Помм узнала, что Марилен собирается взять ее с собой. Вечер они провели у Марилен. Помм купила пять пирожных — два для Марилен и три для себя. Марилен притронулась лишь к корзиночке с кремом, которую осторожно поковыряла ложкой. А Помм в порыве любви, все еще переполнявшей ее, прямо руками съела все остальные пирожные, одно за другим.

Марилен с искренней нежностью смотрела на Помм: ей казалось, что от пирожных Помм становится все круглее и круглее прямо у нее на глазах. А ведь в этом и состояла разница между Марилен и Помм, этим и объяснялась их дружба. Дружба без зависти.

После дня, проведенного в парикмахерской, где Жан-Пьер с любезной улыбкой красил гривы старых кобылиц, он выходил на станции «Реомюр-Себастополь». Вернее, поднимался наверх, как делают все люди, выходя из метро, и затем шел к себе на Каирскую улицу. Жил он в просторной комнате, которую превратил в мастерскую, где писал по памяти замки и морские пейзажи. А поскольку то, что он изображал на полотне, не было похоже ни на замки, ни на морские пейзажи, внизу он подписывал: «замок» или «морской пейзаж» — чтобы отличить одно от другого.

Жан-Пьер сворачивал на улицу Сен-Дени, где девицы у подъездов грубовато окликали его. А он вежливо бормотал: «В другой раз». Но шага не ускорял. И даже время от времени поглядывал на эти создания в туфлях на высоченном каблуке,— они казались ему старообразными девочками, которые надели мамины туфли. Выглядели они, если разобраться, довольно уродливо. И он возвращался к себе один, быть может, немного грустный от того, что всегда возвращается домой в одиночестве.

А ведь Жан-Пьер пользовался успехом у женщин. Особенно у старых. Они оспаривали его друг у друга, желая, чтобы именно он возился с их головой. И когда запрокидывалось кресло, шестидесятилетнему телу казалось, что его опрокидывают в танго, и по нему пробегала сладостная дрожь. В глазах Жан-Пьера появлялась тогда легкая усталость, как у пресыщенного светской жизнью завсегдатая балов. И в этом взгляде можно было прочесть что-то вроде: «В другой раз, в другой раз».

Итак, решили ехать на море — но куда?

Выбирать не приходилось, так как слишком поздно они за это взялись, но в агентстве им сказали, что еще осталась свободная комнатушка в Кабуре, на Ла-Манше. И стоит совсем недорого — особенно для августа. Но решать надо сразу, да или нет. А была очередь.

Позади Помм и Марилен несколько человек сидели в креслах, другие стояли. Поэтому Марилен дала задаток, и ей, как и Помм, вручили проспект с фотографиями: «Кабур, его песчаный пляж, мол длиною в 1800 метров, казино, цветы в садах казино».

Экзотика тут, конечно, была весьма скромная по сравнению с головокружительным путешествием, которым прельщал Марилен директор рекламного агентства с квадратным подбородком. С ним она должна была поехать в Марокко, в какой-то клуб на краю пустыни. Там были бы оазисы и миражи, пальмы и одногорбые верблюды, бредущие враскачку по дюнам. Она купалась бы по ночам, Марилен. А после занималась бы любовью на песчаном берегу. И вкусила бы пьянящего безумия африканской ночи. И слышала бы шум битвы тигра с носорогом, доносящийся из глубин Африки.

В Кабуре у нее будут хотя бы дюны и... телефон (внизу, в лавке хозяев комнатушки). И вообще Марилен ударилась теперь в простоту и скромность. Она сказала как-то Помм:

— Какая ты счастливая! Ведь ты же ни разу не была, к примеру, на Лазурном берегу. Тебя еще столько всего ждет!

Помм никогда не видела моря, разве что на почтовых открытках да на железнодорожных рекламах, которые, правда, изучила в совершенстве, так как ежедневно бывала на вокзале Сен-Лазар.

Комната, которую они сняли, оказалась еще меньше и неудобнее, чем можно было предположить. За окнами шел дождь. Марилен, в чрезвычайно скверном настроении, распаковывала два огромных чемодана. Она вынула оттуда прозрачные платьица и прочие невесомые принадлежности туалета, развернула их перед Помм, а потом в отчаянии швырнула на кровать.

— Я же ни разу не смогу зто надеть!.. И это тоже. А это — ты представляешь себе, как я буду в этом выглядеть?!

Помм заметила, что на улице люди идут под зонтами.

Наконец, небо прояснилось.

— Наверно, это был просто ливень — прошел и все кончилось,— сказала Помм, чтобы успокоить Марилен.

Помм хотелось сразу же пойти взглянуть на море. Марилен тоже была не прочь уйти из этой комнатенки, где над окном нависала водосточная труба и непрерывно слышался звон капели. Они прибыли на мол. Моря не было и в помине! Вместо него — грязная лужа (был отлив). Повсюду, насколько хватало глаз — один лишь песок, и только очень-очень далеко сверкала узкая полоска воды. Несколько живых существ бродили по краю этого мертвого царства в плащах и резиновых сапогах. Да торчали кое-где свернутые тенты. Некоторые, правда, упали и валялись на песке. Ветер гнал тучи к востоку, а с другой стороны неба солнце изредка пробивалось сквозь серую мраморную пелену. Помм стало холодно. Марилен иронизировала, вспоминая о свитерах, оставленных в Париже. Решили продолжить прогулку по «городу».

Раза два или три они прошлись по Морскому проспекту, где можно было поглазеть на витрины. Потом купили несколько открыток, изображавших «сады казино» или «прогулочную пристань» в хорошую погоду. И, наконец, отправились выпить горячего шоколада в кафе при казино, где и днем играл оркестр.

Состоял он из пианиста, контрабасиста и ударника, механически выполнявших свою работу. Иногда рояль и контрабас замолкали — что-то у них не ладилось. Тогда оставался один только мотор, в течение нескольких секунд работавший на полную мощность. Затем пианист гасил окурок в блюдце, плевал хорошенько на руки (или ку-

да-то поблизости) и принимался снова копаться в нотах. После этого все вставало на свои места.

Никто не танцевал, так как возле эстрады сидели лишь две пары женщин, томившихся от скуки и поглощавших горячее питье,— совсем как Помм и Марилен (на самом-то деле сидела только одна пара, тогда как вторая являлась лишь отражением Марилен и Помм в большом зеркале, а вернее, учитывая законы оптики,— отражением Помм и Марилен). Пианист, по возрасту и манере держаться, мог бы сойти за садового сторожа. Он то и дело строил глазки сидевшим в зале женщинам, стараясь никого не обидеть. Когда официант принес сдачу, Марилен спросила, есть ли тут еще какие-нибудь «дансинги». Он сказал, что совсем рядом находится «Калипсотека», там всегда бывает много народу, но они открывают только вечером.

На другой день подруги закончили знакомство с городом. Было еще довольно прохладно, но ветер стих. Временами появлялось солнце и отражалось в многочисленных лужах на тротуаре.

Марилен решила дойти до «Гарден теннис-клуба». Они приобрели там два «гостевых» абонемента, действительных в течение месяца. И пошли по усыпанным гравием аллеям «Теннис-клуба». Помм разглядывала игроков, Марилен же оценивала их, ощупывала глазами, точно выбирала ткань на рынке Сен-Пьер. Помм пришлось несколько раз останавливаться — она была в открытых туфлях — и, опершись на руку Марилен, вытряхивать камешки.

Марилен становилась все мрачнее и мрачнее. Она задумала провести отпуск вдвоем с Помм, чинно и благопристойно. Но тогда им следовало бы жить, скажем, в «Гранд-Отеле». И чтобы портье выгуливал целое семейство болонок Марилен. А она тем временем пила бы утренний кофе в постели, лежа в батистовой ночной рубашке. И просаживала бы деньги в «баккара» и каждый день получала бы букеты роз от прекрасных незнакомцев.

Но, пожалуй, и такой персонаж здесь бы не подошел — не тот здесь был климат, не тот был город, не те дома, сады, даже модных магазинов не было. Наверное, здесь лучше было бы жить в большой, чуть запущенной вилле, вроде тех, что стоят на молу. Правда, тогда Марилен пришлось бы играть в теннис и ездить верхом (возможно, даже в дамском седле). А у нее внешность для этого не подходящая. Здесь нужна женщина, возможно, такая же высокая и красивая, как Марилен, но менее холеная. Для Марилен же больше подошло бы отдыхать в Жюан-ле-Пэн, где носят прозрачные блузки и обтягивающие бедра брюки, такие узкие, что видны очертания трусиков. И никаких плиссированных юбочек, белых носочков и рубашек от Лакоста. Марилен куда больше пристало сидеть в кабриолете, небрежно облокотясь обнаженной рукой о дверцу, чем мчаться на скрипучем велосипеде, с развевающимися волосами, накинув на плечи толстый свитер. Ибо именно такой простой и здоровый стиль был принят в Кабуре. Никакой косметики и уж тем более крема для загара; свежее (чуть обветренное) лицо, открытый взгляд, непринужденность манер и размашистая походка, продиктованная обилием луж. Здесь принято три дня подряд ходить в одном и том же, укрываться в тени, когда светит солнце, а в пасмурные дни надевать старый плащ и линялую косынку.

До сих пор она, Марилен, мечтала о далеких путешествиях на лайнерах «Пан-Американ», о тропическом небе над коралловыми рифами, с пустынных пляжах, где можно лежать, прикрытой лишь ниткой ракушек на шее. Теперь она поняла, что такое дано только тем, у кого на службе отдельный кабинет. Трехнедельное пребывание на Антильских островах, включая все дорожные расходы, стоит

4500 франков, и это еще считается дешево. Так внезапно целая цивилизация рухнула в представлении Марилен. Сгорел, подмигивая витринами, пассаж «Лидо». Марилен только сейчас поняла, что подлинный шик — далеко-далеко за пределами ее возможностей. Она может найти еще одного директора рекламного агентства, самого широкоплечего во всем Париже, и может заставить его обезуметь от ревности, но ее всегда будет грызть то, что она ни разу не провела лето под дождливым небом, у пляжа, в просторной вилле, где каждый звук отдается эхом, а среди чуть припудренных пылью гобеленов звучит детский смех. Она, Марилен, принадлежала к числу «отдыхающих», туристов — тех, кто приезжает и уезжает; есть среди них и богатые—с той лишь разницей, что они останавливаются в больших отелях.

Должно быть, думала Марилен, все тут зависит от того, кем ты родился. Даже богатые старухи, что ходят к ним в парикмахерскую, наверно, не относятся с таким барским пренебрежением к жизни. Им необходимы драгоценности, меха, сумки от Эрмеса, дальние путешествия на самолетах. И Марилен чувствовала, что рядом с ней, рядом со всеми прочими и их мышиной возней живут совсем иные люди, человеческие существа высшей породы, обычно отгороженные от толпы стеной или оконными стеклами своих особняков; они лишь изредка выходят прогуляться в удобной, не броской и далеко не новой одежде. В этой среде вырастают молодые женщины, которые держатся просто, крайне незаметно, а очутившись случайно, ненароком в другом кругу, ведут себя так, точно существовали тут всегда.

Помм не забивала себе голову подобными мыслями. С нее достаточно было того, чтобы на пляже проглянуло солнышко и немножко согрело только что съеденный ею завтрак. (Если становилось слишком жарко, Помм уходила в тень — чтобы не испортилась еда.) Ее совсем не огорчало то, что вода в море часто бывала чересчур холодной: ведь плавать она все равно не умела. По вечерам она ходила с Марилен в «Калипсотеку». И кончиками ногтей отстукивала на столе дробь — в такт дикой музыке, звучавшей в темноте. Ее забавляло, когда прожекторы начинали быстро-быстро мигать — красный, синий, красный, синий, красный. Люди тогда точно корчились в языках пламени. А потом, как ни в чем не бывало, возвращались на свои места. Помм мечтала о том, когда все начнется сначала.

Если Помм приглашали танцевать, она вежливо отказывалась. В глубине души она побаивалась этих красных и синих вспышек, озарявших площадку, но с удовольствием смотрела на замысловатые, исполненные сладострастия фигуры, которые выделывала Марилен, досадуя в душе, что выглядит недостаточно аристократично.

Помм и не догадывалась, что вот уже несколько дней ее простоватая кругленькая мордашка портит настроение Марилен.

Собственно, перемена в Марилен произошла, когда они начали проводить вечера в «Калипсотеке». Там, оглушенная музыкой, Марилен забывала о виллах у мола и о той части человечества, у чьих ног тихо замирает море. И воскресив себя в прежней роли, она с каждым следующим танцем все яростней крутила бедрами, затянутыми в брюки из плотного сиреневого шелка.

Помм же не замечала ничего. Вплоть до той ночи, когда она вернулась из «Калипсотеки» домой одна.

На следующий день Марилен пришла за своими вещами. Она была очень оживлена и страшно торопилась:

— Меня внизу ждут.— И добавила, стоя уже на пороге: — Теперь, крошка, ты заживешь здесь в свое удовольствие.

А вот другая версия тех же событий...

...Ведь в том, что рассказано выше (стр. 79 и след.), есть некоторые натяжки, верно? Как могла, например, Марилен понять особую элегантность девушек, живущих на виллах, чью манеру держать себя мы ранее назвали «барски-пренебрежительной»? Ведь все это бесконечно ей чуждо. И даже если бы она заметила таких девушек, то назвала бы их «выпендрехами».

На самом же деле, наверное, вот что произошло: сначала Марилен скучала. Медовый месяц с Помм не мог долго продолжаться. Все было очень мило, но лишь как временный выход из положения. И вот Марилен появляется в баре «Гарден теннис-клуба». Помм сидит рядом с ней и пьет, ну, скажем, молочный коктейль с гренадином, но мы видим лишь ее контуры, и мало-помалу фигура ее растворяется в полутьме. Марилен потягивает «Джинфиз». Это дорого, но зато ты чувствуешь, что выпил: на щеках загорается румянец, появляется уверенность в себе. Да и вообще так положено в романах.

Помм и Марилен усаживаются на террасе, выходящей на корты. Марилен внимательно разглядывает игроков, привлекая этим их внимание. Далее мы увидим, как она ласкает взглядом спортивные машины, стоящие у поля для гольфа. Услышим ее звонкий смех — всюду, в любую погоду (точно взвизги сирены в тумане). И всегда Помм будет покорно семенить за ней. А Марилен и думать забыла о Помм, которая с трудом поспевает за нашей мятущейся в отчаянии красоткой (бегом на мол, потом на Морской проспект, снова на мол до самого его конца — все 1800 метров и т. д.). Помм начинает потихоньку догадываться, что она — лишняя. Но старается не подавать вида. Она по-прежнему спит в одной постели с Марилен, принимает вместе с ней душ, позволяет себя ласкать, и в этом, право же, нет ничего постыдного,— по крайней мере, в сравнении с тем, как Марилен выставляет напоказ свои страсти. Но в то же время Помм не осмеливается, не хочет порвать сладкие путы их нежного союза, в который она еще верит. Да и потом, чему быть, того не миновать, не так ли?

И вот однажды Марилен исчезла — на всю вторую половину дня. Она сказала: «Я пошла» — вместо обычного: «Пошли». Помм только было хотела встать и уже глотнула побольше воздуха, чтобы не задохнуться, следуя за Марилен,— с некоторых пор она к этому привыкла,— как вдруг до ее сознания дошло это «я пошла» вместо «пошли». Она снова села (вернее, просто осталась сидеть, поскольку встать еще не успела, но у нее было такое впечатление, будто она снова села). А за Марилен уже захлопнулась дверь. Помм услышала ее шаги на лестнице; потом этажом ниже кто-то спустил воду, потом, кажется, раздался звон посуды, а потом наступила тишина. За окном висело знойное марево (в тот день началась столь редкая для тех мест жара, которую до сих пор помнят в Кабуре). Вставать Помм уже не хотелось. Она задремала и проспала довольно долго. Разбудили ее чьи-то шаги на лестнице. Но это оказалась не Марилен. И Помм снова закрыла глаза. Ей было удивительно спокойно. А за окном кричали ласточки.

Ощущение было такое, как в кинозале, когда перед началом сеанса гасят свет. Но фильм начинался только для Марилен. Помм отлично понимала, что ей уготованы всего лишь антракты. Правда, грустно ей от этого не стало, она просто вернулась к неосознанной, но давней и глубокой уверенности в том, что она — лишь незаметный, никому по-настоящему не нужный человечек.

Она посмотрела на часы. Еще можно успеть сходить на пляж. Она очень любила полежать на закатном солнце.

Она приняла душ, так как немного вспотела. И потом прилегла на кровать, чтобы обсохнуть. На мгновение все вокруг показалось ей таким прохладным — и простыни, и потолок, и крики ласточек. Помм встала. Посмотрела на себя в зеркало, вделанное в шкаф. И задумалась — какая же она: хорошенькая или дурнушка. Ей странно было видеть себя обнаженной. Она совсем не знала своего тела — особенно тех его частей, которые обычно скрыты одеждой. Она украдкой рассматривала свою грудь и живот, словно это была не она, а кто-то чужой — быть может, мужчина, а быть может, ребенок. Нельзя сказать, чтобы отражение в зеркале ей не понравилось. Наконец, вдоволь налюбовавшись собой, она надела купальный костюм и платье.

Но очутившись на пляже, Помм обнаружила, что кожа у нее слишком белая и что она слишком толстая по сравнению с золотистыми, стройными девицами, которых сама природа, казалось, создала для солнечных пляжей, позаботясь о том, чтобы они притягивали взгляды всякого, кто на них ни посмотрит. И Помм стало мешать собственное тело: она не знала, куда девать свои руки и ноги, которые нужны ей были лишь в той мере, в какой они выполняли свое назначение. Собственно, это и являлось сутью Помм, именно это отличало ее от всех прочих девиц, лежавших на песке (точно лепестки на золоченом блюде): Помм была рождена для труда. Она не считала себя безобразной, нет,— просто, сама не зная почему, она вдруг почувствовала, что выглядит непристойно на своем банном полотенце. Ей не хватало — по крайней мере в тот день — умения ничего не делать. Теперь она смотрела на тех, кто находился вместе с ней на пляже, как смотрела когда-то в деревне на людей, проезжавших мимо в автомобилях,— их отделяло от нее стекло. По ее сторону стекла, в противовес всем этим обнаженным мужчинам и женщинам, находился мир труда, мир чистоты, тихонько нашептывавший ей, чтобы она оделась.

По дороге домой (Помм не сама решила вернуться — она словно подчинялась чьей-то руке, настойчиво толкавшей ее в плечо) она увидела Марилен. Сидя в длинном красном автомобиле, рядом с очередным обладателем квадратного подбородка, Марилен упивалась своим триумфом. Автомобиль медленно двигался по Морскому проспекту в сопровождении кортежа других машин. И Марилен, словно глава государства, время от времени бросала взгляды на жалкую толпу. Сейчас она была королевой, шахиней, высокородной аристократкой. И Помм почувствовала себя ничтожной песчинкой в море толпы, милостиво приобщенной, однако, к свите Марилен еле уловимой улыбкой, посланной ей настолько свысока и издалека, что Помм даже не осмелилась улыбнуться в ответ.

Войдя к себе в комнату, Помм тотчас увидела, что Марилен увезла свои вещи. На столе лежала записка: «Тебе будет гораздо лучше без меня, лапочка. Я увезла вешалки — они тебе не нужны. Пирожные лежат на подоконнике. Целую тебя крепко-крепко».

На этот раз Помм почувствовала, как жестоко ее унизили: Марилен ушла, а что ей оставила? Еду!

III

Эмери де Белинье проложил себе путь сквозь толпу плебеев и вышел на главную улицу городишка, называвшуюся Морским проспектом. На нем была куртка и теннисные шорты — то и другое ослепительно белое. В левой ладони он нес ракетку в чехле из красной

(искусственной) кожи. Он был всецело погружен в довольно сложные размышления о современном мире и о себе самом, что подтверждал его костюм. Вот тут-то он и заметил Помм, которая сидела на террасе кондитерской и сосредоточенно глядела, как тает шоколадный шар; зрелище это рождало в ней смутное ощущение непоправимости происходящего, а потому она так спокойно и восприняла то, что за ее столик сел какой-то молодой человек.

И, конечно, Эмери де Белинье заказал шоколадное мороженое— себе «и еще одно для мадемуазель».

К тому времени, как подали вазочки с мороженым, знакомство уже состоялось: он учился в Париже, в Институте архивов. Но родом он из этих мест — тут неподалеку находится замок его предков (он, правда, сказал: «моих родителей»), и он каждый год приезжает сюда на каникулы.

— А вы? — спросил он у Помм.

Помм же смотрела на новый шоколадный шар, стоявший перед нею, и раздумывала о том, что можно изучать в Институте архивов.

Эмери она сказала, что работает косметичкой. По тротуару шли люди. Какой-то мальчуган на несколько секунд как вкопанный остановился перед ними. Он сосал розовое эскимо, и по подбородку у него текли слюнки. Вид у этого трех- или четырехлетнего существа был на редкость озабоченный. Он стоял и переминался с ноги на ногу, грустно теребя молнию на штанишках. А потом вдруг кинулся бежать со всех ног.

Помм обладала тем неожиданным очарованием, какое свойственно чему-то идеально-прекрасному, затерявшемуся среди заурядной повседневности, уготованной этому существу — как, впрочем, и всему человечеству — провидением. Однако писатель, избрав себе такую героиню и пожелав сравнить ее с гонимой ветром пыльцой, с трагической песчинкой, только все испортит. Возможно, нет на свете пера, достаточно тонкого и изящного, чтобы обрисовать столь хрупкое существо. «Кружевница» должна, наверно, возникать из прозрачной ажурности сплетенных ею кружев, из просветов между нитками — она одна способна вложить в свои пальцы первозданно чистую частицу своей души и создать нечто более нежное, чем роса,— саму прозрачность.

А у нас получилась лишь простушка Помм; она сидит на террасе кафе и отвечает на ухаживания юного донжуана. Как дать почувствовать, что, несмотря на примитивные капризы жанра и случая, Помм остается все той же песчинкой, которая вызывает щемящую жалость своей беззащитностью и так привлекает своим даром быть на самом деле — в глубине — иной.

Эмери де Белинье имел привычку внезапно и резко поворачивать голову, взгляд его ни на чем подолгу не останавливался, а лоб был таким высоким, точно он уже успел облысеть. Лицо у него было длинное, вытянутое, крючковатый нос слегка нависал над узким ртом и едва намеченным подбородком. Однако отрок сей был далеко не столь неприятен, как могло показаться по первому его появлению на наших страницах.

Правда, крутой лоб и высокородная худоба наводили на мысль о жизни в уединенном, полуразрушенном замке на скале, и потому Эмери частенько давал волю воображению и представлял себе, как он скачет во весь опор на лошади по долине или по дюнам. В дей-

ствительности же он очень осторожно водил свою машину, ибо был слегка близорук. А ездил он на весьма потрепанной малолитражке — из тех, что начинают пыхтеть от любой колдобины на шоссе. Однако сидел молодой человек за рулем этой колымаги с серьезностью и достоинством высшего сановника церкви. Тени блестящего прошлого, которому он был обязан своим крупным носом, своей близорукостью, своей застенчивостью,— словом, всем, чем можно наградить последних отпрысков генеалогического древа Белинье,— только и помогали ему мириться с плебейской несговорчивостью его автомобиля и со всем современным обществом.

Это, во всяком случае, роднило Эмери де Белинье с Помм: оба они жили в некоем ином мире, а тут, на земле, чувствовали себя не очень уютно. Отчасти потому Эмери и решил стать архивариусом. Что же до Помм — ее мир был сродни вечно струящейся бесконечности, отражавшейся в кристально чистых, ни с чем не сравнимых гранях ее души, которой неведомо жалкое благоразумие, диктуемое здравым смыслом.

Эмери же был умен и образован, хотя и неровно, что при его молодости было еще простительно. Кроме того, он был очень застенчив и, случалось, корил себя за то, что не разделяет влечений и радостей толпы, главным образом, из опасения быть отвергнутым, ибо он и не хорош собой, и не богат, и даже не забавен. (Возможно, когда-нибудь он станет главным хранителем одного из крупных национальных музеев. При этой мысли он закурил сигарету.)

Что-то сейчас произойдет. Эмери беседует с Помм. Говорит он торопливо, глотая окончания слов, как пишут некоторые люди. Помм молчит. Лишь какая-то частица ее существа слушает Эмери — совсем маленькая частица. А сама Помм медленно погружается в теплый, быть может слишком теплый, омут смутной мечты. Что-то менялось. Для него тоже. А люди проходили мимо этой пары, похожей на все другие, ничего не замечая и даже не видя их. Впрочем, они тоже никого не видели. Да, собственно, почти ничего и не происходило. Разве что еле уловимо менялся цвет и фактура вещей вокруг них — шоколадного шара, да еще вазочек и круглого столика.

Ни он, ни она не почувствовали всей важности этого мига. И, естественно, не придали ему должного значения. Неизвестно даже, понимали ли они, что уже хотят увидеться вновь?

Вот она и начала раскрываться, наша Помм, до сих пор такая замкнутая, словно улитка, забившаяся в свою раковину; молчание ее, точно маленькие улиточьи рожки, обвивало Эмери с двух сторон,— лишь порой, когда взгляд его слишком долго задерживался на ее лице, она чуть больше уходила в себя, но не совсем.

Какое-то время мысли их, не соприкасаясь, скользили рядом. Каждый замкнулся в себе и даже не пытался вытащить из кокона другого. И оба не понимали, что само их одиночество как раз и рождало у обоих, всего через час после встречи, желание объединить свои жизни.

Желание это, наверное, теплилось в них уже давно. И возникло оно, вероятно, из той глубокой застенчивости, которая делала их в чем-то похожими. Но тут вдруг с такою силой проявилось в них непостижимое безразличие ко всем и вся, а возможно, даже и к собственным эмоциям, что стерло в их памяти и облик, и звук голоса, и взгляд собеседника. Поэтому, когда в тот вечер они расстались, сказав друг другу на прощание, что наверно — даже непременно — встретятся на следующий день, ни один не мог в точности воссоздать

лицо другого, хоть и очень старался, так как обоим пережитый миг вдруг показался очень важным.

Такое погружение в свою душу и в свою затаенную мечту часто кажется почти неприличным,— так в нашем случае, задавая Помм все новые и новые вопросы, Эмери даже не удосужился хотя бы выслушать ее ответы. Ответы эти он узнает в свое время, много позже. Что же до Помм, то ей не было нужды его расспрашивать. Она принадлежала к тем женщинам, которые в определенных обстоятельствах с первого взгляда понимают, кто перед ними. И Эмери тут был ни при чем — просто Помм знала, была уверена, что частица ее души уже принадлежит ему. Пока Эмери говорил, откуда-то вдруг появился малыш лет трех-четырех и застыл перед Помм. Он сосал эскимо, и мороженое текло у него по подбородку. Помм улыбнулась ему. Она и не предполагала, что любит детей. А сейчас ей хотелось приласкать его, отбросить прядь волос, упавшую ему на глаза. Но мальчуган стоял поодаль и переминался с ноги на ногу.

В тот вечер Помм почувствовала, что в жизни ее происходит большая перемена, но не понимала, до какой степени она уже сжилась с этим новым ощущением пылающей души и пылающих щек. Не понимала Помм и того, что встреча эта явилась лишь искрой, которая разожгла огонек, тлевший в ней, быть может, всегда.

Для студента же все выглядело не так просто. Он был человеком сложным. Но он мгновенно подпал под обаяние Помм, а почему — и сам не знал. То, что он вроде бы в ней обнаружил, никогда прежде не интересовало его. Он даже не мог бы сказать, что это было. Но когда-нибудь он узнает. И по-своему, в меру своего разумения разгадает тайну Помм. Ей же предстояло стать — и очень скоро, лишь только он ей скажет об этом,— реальным воплощением того, что он в ней увидел, что хотел получить от нее. Ему уже было мало того, что Помм девушка свободная и, следовательно, о ней можно мечтать, можно ощущать в ней потребность. Женщины, пожалуй, более способны к самообману и могут иной раз всю жизнь прожить с человеком, не имеющим ничего общего с тем образом, который они создали себе.

Помм заснула в тот вечер крепким сном, унесшим ее далеко-далеко, в самую глубину ночи. И снилось ей, будто плывет она под водой, точно утопленница. Быть может, это немного походило на смерть, но смерть очень тихую, какой она могла бы лишь желать, ибо в смерти достигла бы совершенства: тесные рамки жизни уже не сковывали бы тогда подлинную ее красоту. Так проспала она до двадцати пяти минут десятого.

А будущий хранитель музея, наоборот, долго не мог заснуть. Весь во власти видений, он беспокойно ворочался в постели. Думал он, разумеется, о Помм. Вот она скачет на лошади по равнине, бок о бок с ним, в островерхом средневековом уборе. У него на указательном пальце правой руки, затянутой в черную перчатку, сидит сокол, левая же рука покоится на рукоятке кинжала; однако через несколько мгновений до него дошло, что долго так на лошади не продержишься, и ему пришлось переменить позу. А вот он видит Помм, распростертую на кровати под балдахином. Она лежит обнаженная — тело ее просвечивает сквозь прозрачный полог. И у плотно сдвинутых пяток ее растянулась борзая. Светлые волосы Помм

кажутся еще светлее на фоне золотой парчи подушек, где покоится ее хрупкая шейка.

На этом Эмери и заснул, но сон его был тревожен. Одно видение стремительно сменяло другое. Слишком много снов приснилось ему за одну ночь. Проснулся он очень рано, уставший от бешеной смены образов. И тем не менее полный энергии. Только тут он вдруг сообразил, что не назначил Помм свидания. Правда, у него была полная возможность случайно встретить ее — и он обрадовался этой легкой неуверенности, чуть-чуть осложнявшей то, что уже стало их романом.

Отправляться на прогулку в расчете встретить Помм было еще слишком рано, и Эмери решил пойти поиграть часа два в теннис.

Туда же собралась и Помм, только двумя часами позже — когда проснулась. До нее тоже лишь теперь дошло, что они не назначили друг другу свидания, но она была уверена, что непременно встретит Эмери; а поскольку накануне она видела его в костюме для тенниса, то без колебаний направилась в «Гарден теннис-клуб». Она как раз подходила ко входу, когда Эмери отъезжал на своей малолитражке. Он не заметил ее. Но не бежать же ей за машиной! И она потихоньку двинулась назад пешком. Потом она долго гуляла по Морскому проспекту, стараясь держаться поближе к кафе, где они встретились накануне.

Будущий же хранитель музея, играя в теннис, решил, что Помм, естественно, находится сейчас на пляже. В начале одиннадцатого он стал подыгрывать своему противнику, чтобы побыстрее закончить партию. А закончив ее, буквально ринулся в машину и кратчайшим путем поехал на пляж. И вот пока Помм мерила шагами Морской проспект, Эмери дважды прочесал тысячу восемьсот метров морского песка, разглядывая каждое тело, каждую песчинку. Наконец, его осенило: конечно же, Помм отправилась к месту их первой встречи. Он чуть не бегом домчался до кафе, в то время как Помм по другой улице семенила на пляж. Эмери уселся на террасе, чрезвычайно огорченный тем, что не нашел ее, однако полный надежды вскоре ее увидеть, вдруг обнаружить в толпе, медленно текущей в обе стороны по проспекту. Сам не зная почему, Эмери убедил себя, что Помм появится справа. Все, что простиралось влево, казалось ему враждебной пустыней. И тем не менее иногда он поглядывал и туда. Наступил час обеда; Эмери был очень голоден и заказал два пирожных, а тем временем Помм прочесывала тысячу восемьсот метров пляжа, жадно ища глазами тело, которое выделялось бы своей худобой и бледностью. Но того, кого она искала, найти ей не удалось.

Во второй половине дня будущий хранитель музея вернулся на пляж, а Помм торопливо направилась к «Гарден теннис-клубу». Пути их так и не пересеклись.

Теперь обоими уже владела тревога, и, подогреваемое безуспешными поисками, большое знойное чувство вот-вот готово было вспыхнуть в них. Лишь увидеть друг друга, обменяться одним только словом — о подобном блаженстве они едва смели и мечтать. Порой несостоявшееся свидание может связать две судьбы прочнее любых слов, любых клятв.

Наконец, уже к вечеру, оба усталые, измученные долгой беготней, они почти одновременно — с интервалом в несколько минут — направились в одно и то же заведение. Помм пришла первой и села за столик, провожаемая неотрывным взглядом пианиста, так похожего на садового сторожа. А несколько мгновений спустя в кафе при казино появился студент. Ему даже не пришлось изображать удив-

ление, когда он увидел повернутое к нему отчаянно несчастное личико Помм.

Они так и не нашли, что сказать друг другу, и вот уже пять минут сидели бок о бок под откровенно подбадривающими теперь взглядами садового сторожа. Будущий хранитель музея страшно боялся, как бы Помм не захотела танцевать, ибо танцевать он не умел; в то же время он не сомневался в том, что Помм не только не сомневается, а прекрасно знает, что он не умеет танцевать (Помм же от этого он казался лишь привлекательнее). И вот он предложил ей пойти тут рядом «поиграть в шарик». (Утром он взял из дому немного денег, собираясь пригласить Помм пообедать, а потом — почему бы и нет? — и поужинать.)

Читатель не удивится, узнав, что Помм никогда еще не бывала в игорном зале. Она по-детски оробела; каждый нерв ее был напряжен, и всеми фибрами своей души она впитывала новые впечатления — большой стол, обитый зеленым сукном, колесо рулетки, на котором подскакивает шарик, а затем тихонько останавливается, точно завороженный множеством устремленных на него глаз; возле стола сидит человек в черном, который произносит ритуальные фразы и как бы регулирует напряжение, устанавливая контакт между глазами игроков и шариком: «Ставки сделаны?.. Игра». Он тянет немного слово «сделаны» и неожиданно резко отрубает: «Игра».

Доверившись удаче, которая только что улыбнулась ему, будущий хранитель музея разменял десятитысячную бумажку на жетоны по пять франков. Он объяснил Помм правила игры и отдал ей половину жетонов. Между прочим он сообщил ей и о том, что, если хорошо знать законы математики, можно управлять случаем и что он, Эмери, их знает (такое бахвальство удивило его самого). А Помм была совершенно зачарована этим новым, открывшимся перед ней миром и тем, что можно вот так просто, развлекаясь, выиграть кучу денег. Жизнь оказалась куда заманчивее, чем она до сих пор осмеливалась предположить.

Будущий хранитель музея потерял все свои деньги за какие-нибудь десять ставок, так как из боязни показаться трусом ставил по два жетона сразу. Помм протянула немного дольше: ведь это были не ее деньги, и она была очень смущена тем, что проигрывает.

Словом, у Эмери не осталось ни единого су, чтобы пригласить Помм поужинать,— это было весьма некстати. Он ведь еще ничего не успел ей сказать (а собственно, что он мог ей сказать?) — они просто не могли так расстаться.

И тогда Помм пришла ему на помощь и предложила подняться к ней — у нее найдется чем поужинать. Эмери подумал, что это — великолепная мысль, вернее, сказал ей, что так подумал. Однако, едва переступив порог, он понял, что, выбравшись из затруднительного положения, попал в положение куда более трудное: оказался наедине с девушкой, да еще у нее дома. Разве это не значит, что он должен тут же заключить ее в объятия? Он смотрел, как она открывает консервным ножом банку с зелеными бобами, а затем высыпает их в салатницу, предварительно смешав оливковое масло с уксусом и щепоткой соли. Он видел лишь ее спину и не мог понять, выражает ли эта спина волнение, ожидание.

Они уже покончили с салатом из бобов, а наш юнец все еще не мог разгадать планов девушки, у которой, кстати, их вовсе не было. Ей было просто приятно находиться рядом с молодым человеком,

ужинать с ним, и ее ничуть не тревожило его молчание; он же грыз себя за то, что не находит подходящей темы для разговора.

На сей раз, прощаясь, они позаботились условиться о свидании. Эмери заставил ее дважды повторить время и место встречи. И хотя между ними ничего не произошло, ушел он, как уходит из магазина покупатель, который оставил задаток за приглянувшуюся вещь.

В последующие дни Эмери катал Помм на машине, увозя ее как можно дальше от пляжа и от людей. Ему не хотелось, чтобы она походила на других девушек и, подобно им, валялась на пляже. Они посетили Онфлёр с его высокими, крытыми шифером домами, что глядят в спокойную воду старого порта. На Помм была рубашка с короткими рукавами цвета бутылочного стекла, короткая, очень узкая юбка, красные лакированные туфли на высоком каблуке и такая же сумка. Эмери заставил ее купить себе корзинку и сандалии на веревочной подошве. И все, что было из красной кожи, упрятали в корзинку. Эмери решил заняться воспитанием Помм. Ему, например, не нравились два маленьких золотых колечка, висевшие у нее в ушах. Она носила их с восьми лет и рассказала ему, как ювелир проколол ей иголкой уши. В тот день ее впервые привезли в город.

Над Онфлёром, на склоне Граса, они обнаружили часовню, где Помм внимательно прочитала старинные ex-voto [1] парусных мореходцев. С этой высоты видно было устье Сены, а за ним море, порабощенное (зеркало воды на таком расстоянии казалось идеально гладким) огромными махинами танкеров, которые все дальше и дальше отодвигали горизонт.

В другой раз они отправились в Байё любоваться гобеленом королевы Матильды, где тоже изображено море с бескрайним горизонтом. Эмери прочел и пересказал Помм историю Вильгельма Завоевателя, чьи солдаты на гобелене садились на корабли величиной с ванну.

А в следующий раз они ездили к скалам, что между Виллером и Ульгатом. Оттуда видно все побережье — от Котантена до Гавра.

— До чего же красиво! — сказала Помм. И добавила: — Прямо как на карте.

Эмери в ответ произнес что-то вроде: «Море, море, оно вечно...» — что было не лучше.

Теперь, когда Эмери ближе познакомился с Помм, он уже не так боялся вдруг увидеть, что она ждет от него проявлений любви. Разумеется, дело до этого должно дойти, хоть Эмери и не считал, что его чувство к ней и есть подлинная любовь, но жизненные ситуации развиваются по своим законам, которым рано или поздно приходится подчиниться,— это он тоже понимал. Ему хотелось только, чтобы все произошло не слишком быстро. Он подозревал, что образ Помм, созданный его воображением, может рассыпаться в прах, лишь только он станет ее любовником, и пока решил потешить себя, занявшись, так сказать, «нравственным усовершенствованием» невесты, а сюда входили прогулки, осмотр достопримечательностей и введение в поэзию. Он готовил ее к великой минуте, еще не зная сам, когда эта минута должна наступить.

---

[1] Обеты *(лат.)*.

Прохладный, живительный климат Кабура особенно показан детям, старикам и выздоравливающим. На пляже проводятся занятия гимнастикой под руководством дипломированного инструктора. Взрослые тоже могут записаться в эту группу. Помимо тенниса и гольфа к услугам отдыхающих всевозможные виды спорта и развлечения: верховая езда, школа парусного спорта, клуб бриджа и, конечно, казино со своим оркестром, кегельбаном, рулеткой и субботними балами с непременным участием звезды мюзик-холла.

Кабур славится также своими необыкновенно широкими, особенно во время отлива, песчаными пляжами, где можно снять кабину или тент. Все здесь предусмотрено для развлечения детишек и спокойствия родителей: прогулки на осликах и пони, площадки для игр под постоянным надзором специального персонала и каждую неделю — конкурс песочных замков с многочисленными призами.

Среди празднеств, которые регулярно устраивает инициативный комитет, возглавляемый, вот уже двадцать три года, энергичным и вечно молодым П. Л., следует прежде всего отметить парад цветов, проводимый в конце июля. Кабур справедливо называют «пляжем цветов», и в день парада он заслуживает это название больше, чем когда-либо,— такое зрелище устраивают городские торговцы, когда, соревнуясь в изобретательности и вкусе, украшают цветами колесницы, дефилирующие по молу. Ученики окрестных школ и детишки из церковного хора бросают в толпу лепестки роз. Через несколько дней после парада цветов устраивается большой конкурс на самый элегантный автомобиль — тоже на молу. Призы победителям вручают в казино. На этом же вечере присутствующие мужчины избирают Мисс Кабур из числа девушек, которых представляет обаятельный глава инициативного комитета.

Лицо у Помм было открытое и ясное. Однако на нем ничего нельзя было прочесть, кроме крайней, обескураживающей наивности. Но зачем пытаться что-то читать? Студент тешил себя мыслью, что лицо Помм таит в себе откровение, разгадать которое ему пока еще не дано. А материя, из которой была скроена Помм, хоть, возможно, и редкостная, была безупречно непроницаема — под стать драгоценности, все совершенство которой как раз и состоит в том, что она лишена блеска.

И все усилия Эмери завладеть душой Помм, придать ей многогранность и яркость, какие ему хотелось в ней видеть, оказывались тщетными. Хоть Помм и была из податливой глины, однако следы пальцев ваятеля тут же исчезали, не оставляя ничего после себя. Стоило Эмери чуть ослабить внимание — и духовный мир Помм становился первозданно-нетронутым белым шаром.

Казалось, Помм проникалась речами Эмери, пейзажами, на которые он обращал ее внимание, или музыкой, например, той симфонией Малера, которую они слушали по транзистору, забытому Марилен в их общей меблированной комнате.

И молодой человек мало-помалу понял суть того, что, видимо, и составляло неброскую и глубоко запрятанную красоту Помм. Она была подобна ручейку, который течет под сенью огромных черных деревьев баварского леса и питается не подземным ключом, а грибными дождями, что проливаются сквозь густой еловый шатер. В яркий, солнечный день ручеек этот кажется просто тенью на зелени травы.

Когда отзвучала последняя нота симфонии, Помм тихонько поднялась, сняла руки с транзистора и поднесла их к лицу, словно хотела вобрать в себя дрожащие отзвуки музыки, пробудившей высокие струны ее души. А затем — пошла мыть оставшуюся после обеда посуду.

Но разве не в этом вся Помм — Помм, чья мечта утопает в грязной пене, стекающей в раковину, или теряется в пучках волос на кафельном полу парикмахерской? Простота Помм была сродни неуловимому воздействию искусства, и в то же время проявлялась она во взаимосвязи с вещами, с предметами. И одно дополняло другое. Неосознанная красота, внезапным ореолом окружавшая Помм, как только она начинала заниматься повседневными делами, когда она, скажем, стирала или готовила обед, естественное величие ее жеста Кружевницы — все это было, несомненно, таким же необъяснимым чудом, что и симфония Малера.

Но с этим студент не мог примириться. Ему не дана была эта высшая простота. У прекрасного и драгоценного должно быть свое место, далеко-далеко от остального мира, где царят уродство и пошлость. Потому и Помм теряла для него свою прелесть (она уже не имела на нее права), выполняя те обязанности, делая то, что изгоняло ее из сферы духа, с заоблачных высот, где они с Эмери слушали музыку.

В то же время Эмери отнюдь не оставался безразличен к постоянной и, в сущности, неожиданной цельности Помм, ее нерасторжимой связи с предметами, которых она касалась. Но нельзя было требовать, чтобы он мог — да и хотел — восторгаться этим, любить это. И он испытывал к ней что-то вроде неосознанной злобы: в самом деле, она была так близка к тому, чего он от нее ждал, но так далека от того, что он хотел в ней видеть.

С Помм может произойти все, что угодно,— по сути дела это не имеет значения. Она интересна лишь постольку, поскольку интересна история ее жизни, в которой вся Помм, как вся она в своих повседневных делах. Возможно, именно потому, что она — ничто или почти ничто, и возникает это впечатление чего-то потустороннего, бесконечно далекого. А стоит попытаться изъять ее из привычного круга вещей, сталкивающихся в ней или, быть может, вне ее, стоит попытаться, наконец, узнать, что же она собой представляет на самом деле,— и она ускользает, исчезает, точно она — лишь плод воображения, ваша фантазия.

Теперь Помм, как и Эмери, полюбила прогулки и так же, как он, возненавидела пляж. Она читает книгу, которую ей дал Эмери. Это «Астрея»[1] в старом переплете коричневой кожи. Помм нравится обложка.

Однажды будущий хранитель музея заметил, что на Помм заглядываются мужчины. И в глазах их горит неприкрытое желание. Пожалуй, ему даже льстило то, что он идет рядом с девушкой, столь вожделенной для многих; в то же время он был несколько смущен тем, что испытывает к Помм лишь нечто похожее на нежность— чувство, по существу, глубоко целомудренное. Взгляды, которые

[1] «Астрея» — знаменитый пасторальный роман Оноре д'Юрфе (1568—1625), отличающийся тонким психологизмом, прекрасными описаниями природы и оказавший большое влияние на французскую литературу.

мужчины бросали на Помм, бесспорно, придавали ей цену, но в то же время лишали ее чего-то другого, весьма существенного, что он в ней видел. И вскоре эти взгляды стали его раздражать. В нем поднималась необъяснимая ревность — будто у него пытались отнять то, на что он сам не очень и покушался.

И когда через две недели после первой встречи он решил, что настало время обладать ею, решение это было продиктовано темным, беспокойным и в конечном счете трусливым желанием покончить с неуверенностью в своих чувствах, со смутными угрызениями совести, а вернее, с подозрением, что он не знает Помм, не знает, чем она может для него стать. Он уже не пытался убедить себя в том, что когда-нибудь, в будущем, она может оказаться бесценной спутницей его жизни. Наоборот: он боялся полюбить ее, привязаться к ней. Прошло всего две недели со дня их знакомства, а уже каким-то непонятным образом она стала неотделима от него будто привычка, вошла в его жизнь, слилась с ним, как вода смешивается с «Пастисом-51» [1]. Но он и мысли не допускал, что может наступить день, когда ему будет ее недоставать. Он должен высвободиться из-под ее власти и одновременно отдалить ее от себя.

Каникулы подходили к концу. И ему и ей предстояло вернуться в Париж. И молодого человека помимо воли стал обуревать страх, что Кружевница может и вправду распроститься с ним навсегда. Этот страх впервые открыл ему истинную суть Помм: да, она любила его, в этом не было сомнений, но она могла без колебаний перекусить нить их отношений, спрятать кружево в корзинку и сделать вид, будто и не вспоминает о нем. И Эмери решил дать ей понять, что в некотором роде привязался к ней, но ни в коем случае не говорить ей этого впрямую, ибо тогда он выглядел бы смешным, ибо чувство, которое он испытывал к Помм, не могло называться «любовью», даже если снедавшая его тревога в какой-то степени (а значит, и действительно) была сродни любви.

Эмери ведь не стремился обладать Помм. Слишком он был поглощен моральными проблемами, чтобы ее желать. Собственное тело мешало ему. Сколько раз он ощущал, как его губы касаются теплой, золотистой кожи девушки в том месте, где на шее узлом завязаны бретельки пляжного лифчика. Но на самом деле ничего не происходило: он говорил, говорил, как всегда, и звучали только слова, хотя взгляд повелевал действовать губам.

И вот Эмери продолжал говорить. Нескладно — но девушка не смеялась над ним. Она на мгновение задумалась, а потом сказала, что все произойдет, «когда он захочет». Эмери почувствовал облегчение и в то же время был разочарован, услышав столь простой ответ. Это не соответствовало ни усилиям, которых потребовало от него признание, ни тем более, думал он, значимости события. Помм уже дала ему понять, что она — девушка. И он поверил ей. Но тогда почему же, почему она так легко согласилась? Неужели это ничего для нее не значит? Будь он последовательнее, он, без сомнения, не задал бы себе такой вопрос. Ведь он же сам определил, что предстоящее расставание пройдет для Помм «незаметно»!

Они условились, что все свершится в тот же вечер. Остаток дня провели за городом, как обычно, петляя по многочисленным тропинкам, и Помм, казалось, ничуть не была взволнована. Как и в предыдущие дни, она покорно вторила Эмери, что пейзажи в самом деле просто чудо. А когда на обратном пути они вышли из машины, чтобы пройтись по дамбе Уистрамского порта, она взяла Эмери за руку.

[1] Виноградная водка.

Там они и поужинали, сидя друг против друга. И Помм снова и снова накрывала ладонью руку молодого человека. А он с удивлением вглядывался в ее лицо, но на нем по-прежнему ничего нельзя было прочесть. Он вспоминал о решении, которое они приняли всего лишь утром, и ему казалось, что это было давным-давно. Вот сейчас Помм робко держит его руку, и они сидят, сплетя пальцы, словно давно женатая пара, подумалось ему. И нить спокойной нежности протянулась от одного края стола к другому, между тарелками, блюдами и бокалами с недопитым вином. Освещенное этим чувством, лицо Помм вдруг раскрылось как книга, смысл которой сразу стал ясен: перед Эмери было лицо его жены.

Когда они покончили с зеленым салатом, Помм зазнобило. Эмери сходил за шалью, которую она оставила в машине, и накинул ее на плечи Помм. Она сказала «спасибо» и улыбнулась ему улыбкой беременной женщины. Все внутри Эмери перевернулось, он ничего не мог понять: то ли им играют и он попал в ловушку, то ли он задумал надругаться над беззащитным существом. Эмери закурил.

По дороге в Кабур он до самой черты города отсчитывал километражные столбы. Если бы число их было нечетным, он ни за что не поднялся бы в ее комнату.

Итак, речь шла уже не о желании или нежелании — вопрос был решен. То, что сейчас произойдет между Помм и молодым человеком, кладет конец их роману. Эмери догадывался об этом, но уже не мог остановить течение событий,— так бывает, когда во время прогулки вдруг почувствуешь усталость и думаешь: надо остановиться, но впереди ведь обратный путь. А потому идешь вперед, хоть и знаешь, что прогулка уже окончена,— так было и с Эмери.

До самой последней минуты Эмери казалось, что он еще волен приостановить ход вещей или хотя бы изменить их направление (так турист, пройдя какое-то расстояние, еще видит холм, с которого он спустился, и воображение в любую минуту может вернуть его туда). Ведь ничего не произошло, ничего могло и не произойти, если не считать короткой прогулки с девушкой из другого мира, которую он вспомнил бы, скажем, между двумя страницами томика Овидия или грамматики Плавта и Мёнье. Но что считать подлинно «последней минутой», когда уже поздно что-либо менять? Истекла ли она тогда, когда Помм согласилась на его предложение, или же она пробьет, когда они свое решение выполнят?

Во всяком случае, в тот день все разворачивалось так, словно оба они были полонены посторонней силой, которая властвовала над ними,— так правила грамматики властвуют над нашей речью. В конце приходится сказать то, чего можно было бы и не говорить. С первой минуты они были лишь марионетками в руках судьбы, а, возможно, все было предопределено еще до их встречи. И началось до того, как началось на самом деле. А теперь наступил конец, хотя ничего пока не кончено. Возвращаясь из Уистрама, студент с горечью смотрел на проносившиеся мимо километражные столбы. Если бы число их оказалось нечетным, он ни за что не поднялся бы в ее комнату. Но он знал, что их будет восемнадцать. И знал, что то «слишком поздно», с которым он играл, будто ребенок с огнем, уже наступило. А он не хотел ни обладать Помм, ни тем более жить с ней вместе. И однако, они будут жить вместе, по крайней мере, какое-то время. Почему? Да просто потому, что роман начался и существуют определенные правила,— какие, он и сам толком не знал. Но он вступил на этот путь, а у всякого пути есть конец. В тот вечер Эмери поднимался вслед за

Помм по лестнице, будто подчиняясь чужой воле — с таким чувством, словно он совершает нелепейший поступок. Все, что должно было вот-вот произойти, было уже излишним.

Помм разделась сама, не торопясь, как она, вероятно, делала каждый вечер. Она тщательно сложила брюки, прежде чем повесить их на спинку стула. Молодой человек был совершенно ошарашен таким спокойствием, и то, о чем он думал с самого утра,— как впервые прикоснуться к телу Помм,— сейчас, при виде ее спокойствия, показалось ему поистине смехотворной трудностью. Он, правда, не знал, что обычно, раздеваясь, Помм никогда так тщательно не складывала вещи.

Она скользнула под простыни и стала ждать его, по-прежнему не произнося ни слова. Он тоже не знал, что сказать. Но он успел увидеть ее до того, как она, обнаженная, нырнула в постель и вся съежилась, точно ей было холодно. И это приносимое в дар, мгновенно скрывшееся тело, которое стало вдруг бесценным, промелькнув словно воплощение побежденной робости, притянуло к простыне руку молодого человека, и рука эта медленно, в свою очередь неторопливо, стянула с Помм покров.

Он любил Помм, забыв обо всем на свете, стремясь лишь к тому, чтобы раскрыть ее всю для себя. Он не впервые познавал наслаждение, но никогда еще не испытывал такого прилива чувств. Однако чувство угасло, лишь только кончилось наслаждение, точно иссяк источник, питавший его, а ведь источником была Помм.

Потом они принялись обсуждать, как будут вместе жить в Париже, в комнате студента.

Помм уснула. Эмери слушал, как она дышит. Ничто не изменилось. Воцарился прежний, непостижимый, недоступный его пониманию покой. Он был опять один. Ему хотелось разбудить ее, встряхнуть, услышать от нее хоть слово — что она счастлива или несчастна, все равно что. Он встал с постели. Подошел к окну. Небо казалось черным озером. Сверкающего звездного плаща на нем не было. Закапал дождь — теплый. И прекратился — снова тишина. Воздух словно застыл. Далеко вдали слышно было море. Эмери расхотелось будить Помм. К чему, в самом деле? Проснувшись, она не будет ближе ему, чем во сне. И он стал ждать рассвета. Несчастным он себя не чувствовал. Разочарованным тоже. Он просто терпеливо ждал. В Париже наверняка все будет иначе. К тому же, пройдет какое-то время. Интересно, будет ли он вспоминать Помм после того, как они расстанутся. При мысли о будущем ему стало немного грустно.

Молодой человек был представлен матери Помм где-то близ Нантерра или Сюрена. Помм служила переводчиком, точно на встрече глав двух государств, не говорящих на языке друг друга. Все чувствовали себя скованно. Молодой человек держался подчеркнуто церемонно. А матрона по доброте душевной тут же довела до его сведения, что она — «к'слугам вашим».

В тот же день Помм с Эмери обосновались в комнате студента, которая оказалась просто-напросто запущенной мансардой в доме номер 5 по улице Себастьена Боттена. Впрочем, сам дом имел вполне респектабельный вид, если, конечно, не забираться наверх. Помм несказанно удивилась, увидев столь скромное жилище. Оно никак не вязалось с ее представлением об Эмери. И потом — в комнате под крышей должны быть цветы на окне, а на стенах — яркие открытки;

полосатое покрывало на постели, гитара, всюду ноты — даже на полу, свечи вместо лампочек. В конце концов студенческая бедность — вещь преходящая, о ней впоследствии даже приятно будет вспомнить. Помм как-то видела по телевизору молодость Шуберта.

Ей не понадобилось много времени, чтобы завладеть здесь всем, вплоть до самых потаенных уголков. Она вымыла стены и натерла паркет. Она расставила книги по цвету и размеру; она купила материю на занавески; она застелила полки в шкафу глянцевой бумагой, чтоб было чище. А в заключение узкая кровать студента была заменена огромным ложем, в метр сорок шириной. Письменный стол пришлось выбросить, ибо он перекрывал доступ к окну и не давал его открыть. Функции письменного стола исполнял теперь столик ломберный, который можно было засунуть под кровать, когда требовалось открыть окно или освободить немного места.

Помм вызвалась готовить сама. А на ломберный столик решила поставить вазу с цветами. Была куплена электрическая плитка. Теперь надо было переделать один из штепселей. Эмери заворчал, что у него могут возникнуть неприятности с хозяйкой и что он не уверен, имеют ли они право готовить: ведь запахнет едой. Тем не менее он согласился установить на плинтусе новый штепсель — как-никак это мужская работа.

Они купили настенный шкафчик, чтобы хранить в нем разные туалетные принадлежности, так как умывальник иногда превращался в кухонную мойку.

Эмери даже забавляла эта жизнь как на картинке, с белыми в голубую полоску занавесочками. Он вовсе не жалел о том, что ему приходится делить с Помм свое скромное жизненное пространство и скрупулезно пересчитывать бумаги и книги всякий раз, когда так называемый «письменный стол» исчезал под кроватью,— на все эти неудобства смотришь с улыбкой, когда живешь в мансарде с любимой.

По утрам Помм вставала первой. Он смотрел, как она моется,— у нее были две ямочки над ягодицами и круглые плечи. Затем она очень быстро и бесшумно одевалась. Подходила и целовала его в шею. Тогда он делал вид, что она разбудила его, и улыбался, ворча. Вставал он лишь после ее ухода. И спускался выпить кофе со сливками к Жану Барту. К кофе он брал два рогалика. И с полчаса раздумывал над своим будущим. Время от времени в эти размышления вплеталась мысль о Помм.

Помм просто и весело взяла на себя дополнительные расходы по хозяйству; она умела держаться незаметно и исчезать, повинуясь невысказанному желанию юноши с задумчивым челом.

Домой она возвращалась вечером, часов около восьми, купив по дороге продукты. У студента еще продолжались каникулы, поэтому он сидел дома и читал или, пользуясь солнечными сентябрьскими днями, гулял по набережным, по Тюильри. Иногда час-другой он проводил в Лувре. Словом, это был период, пожалуй, самый счастливый в его жизни. Никогда прежде он так не наслаждался ощущением свободы и внутреннего покоя. Почти весь день бродил он по городу. И возвращался лишь на закате — по мосту Искусств, мимо Института Франции, по Университетской улице: он считал, что, проходя по этим чудесным местам, как бы сам внутренне обогащается. Это все-таки не то, что жить где-нибудь на улице Эдмона Гондине в XIII округе или на площади Октава Шанюта, над очередной собственностью Феликса Потена [1]. О Помм он вспоминал, лишь поднимаясь к себе в мансарду. Иногда заглядывал в магазины, пытаясь ее перехватить.

[1] Феликсу Потену принадлежит в Париже ряд бакалейных магазинов.

Он научил Помм одеваться — совсем иначе, чем было принято в парикмахерской. У нее теперь появились джинсы и холщовые туфли на веревочной подошве, в каких ходят на пляже (юбку и лакированные туфли она надевала на работу). Она поддалась уговорам Эмери и перестала носить лифчик. Грудь у нее была тяжеловатая, но округлая и нежная, и она колыхалась в ритме медленного танго. Когда они с Эмери отправлялись в субботу вечером на площадь Сен-Жермен, она щипцами завивала себе кудряшки.

Итак, наши два героя поставлены каждый в свою ситуацию. Помм занимается хозяйством. Эмери — строит планы. У Помм не будет времени принимать участие в планах Эмери. Это — не ее роль: она живет настоящим. Что же до способности юноши строить планы, то это почти целиком избавляет его от необходимости что-либо делать. Помм с Эмери будут жить в искусственной близости, деля крошечную комнатушку, но жизни их пойдут параллельным курсом. Эмери вполне это устраивает, ибо для будущего хранителя музея самое главное, чтобы его не беспокоили. И Помм не будет его беспокоить, мало того, она встанет между ним и житейскими мелочами, чтобы житейские мелочи не отвлекали Эмери от чтения и размышлений.

Но самое главное, что и Помм — особенно Помм — будет довольна таким распределением ролей; когда Эмери из вежливости или машинально сделает вид, будто хочет вытереть только что вымытую Помм тарелку или застелить постель, девушка решительно воспротивится: не должен он этого делать, не должен даже знать, как это делается, ибо лишь тогда он сможет читать, учиться, размышлять, а долг или даже привилегия Помм — дарить ему такую возможность. Умение хорошо справляться со своими скромными обязанностями, заботиться о благополучии студента станет в какой-то мере ее сутью, ее самовыражением. И значит, частица ее перейдет к нему, к Эмери. А большего ей и не нужно.

Стремясь доказать Эмери свое обожание, девушка трудилась не покладая рук, так что словно бы растворялась во множестве домашних дел. И это ее стремление стушеваться и отодвинуть все житейские заботы от любимого создавало вокруг Эмери зияющую пустоту — так расступается толпа перед властелином. Студент же при этом чувствовал себя так, точно его обволакивает, берет в кольцо, зажимает в тиски нечто невидимое, ускользающее в последний момент. Порядок у Помм был налажен безукоризненный. Но было что-то даже бестактное в том, сколь тщательно и упорно юная хозяйка старалась держаться в тени. И молодому человеку порой хотелось, чтобы его поменьше оберегали.

Вскоре Эмери стал все больше и больше ценить долгие дни одиночества, когда Помм была занята на работе. Он убеждал себя, что ждет ее возвращения. И мало-помалу совместная жизнь превратилась для Эмери в череду разлук, когда разлука физическая сменялась разлукой духовной.

Вечер; девушка, синевато-бледная, лежит на разобранной постели. С той минуты, как спустился туман, все естество ее собралось в комок где-то внизу живота. Лампа на стене кажется кусочком льда во влажном воздухе ночи.

Студент, высунувшись из окна, смотрит вниз — под ним проползает крыша автобуса. Он в халате, напоминающем редингот.

Все застыло. Словно в музее восковых фигур.

Девушка медленно закрывает простынёй ноги. Студент закрывает окно. И какое-то время стоит спиной к ней. Одна только лампа кажется живой в комнате.

Было что-то мучительное в этом молчании, существовавшем бок о бок с ним. Быть может, оно лишний раз доказывало — убедительно, почти даже грубо,— что человеческие души это обособленные миры, движущиеся на параллельных широтах, и единение, даже самое интимное слияние двух существ лишь отражает вечную, не находящую удовлетворения жажду встретить подлинно близкого человека? Юноше начинало казаться, что каждое его слово, адресованное Помм,— все равно как несостоявшееся свидание. И он сожалел о минутах откровенности, хотя в действительности его никто не слышал.

Но иногда Эмери убеждал себя, что даже если Помм его и не слышит, он, наоборот, понимает ее и что их все-таки можно назвать парой, хотя бы потому, что он-то в состоянии ее понять без слов, которые она не умеет произнести. А значит, они существуют друг для друга — как статуэтка, погребенная под слоем земли и никому уже больше не нужная, и археолог, который извлек ее на свет божий. Красота Помм принадлежала к другой эпохе, забытой, похороненной под обломками тысяч сломанных судеб, похожих на судьбу ее матери, и вот теперь в этом ничем не примечательном теле, в неискушенной ее душе вдруг возродились из небытия все эти поколения с их тайной, ибо чем же иначе объяснить появление на свет такой драгоценности, как столь чистая девочка. А ведь именно такую красоту искал наш юнец, он же—студент, он же—знаток латыни, он же — будущий хранитель музея. И вечная его неудовлетворенность, его неприятие существующего мира было не что иное, как желание встретить красавицу из красавиц, но не похожую на всех других, не упоенную собой, а появившуюся на свет милостью случая. И Помм как раз была такой.

Эмери же спрашивал себя, а не похожа ли Помм на тысячи других девушек. Не сам ли он наделил ее тем, в чем так нуждался и что, казалось, угадывал в ней? Помм ставила перед ним извечную, трудно разрешимую проблему — проблему доверия: сама ли она хотела завести с ним роман или же, как многие, откликнулась на призыв мужчины, от которого женщина ничего не ждет, но откликается просто потому, что противиться нет смысла? И, быть может, она лишь делает вид, притворяется, что получает наслаждение, чтобы не выпускать его из сетей? Впрочем, едва ли: ведь Помм, казалось, наоборот, была больше его удивлена и смущена таким взрывом чувств и даже как бы пыталась перед ним извиниться.

Эмери говорил себе, что после него Помм найдет десять, двадцать, сто мужчин и станет чьей-то любовницей на вечер, или на год, или на всю жизнь — если кому-нибудь придет в голову жениться на ней. Но эти метания все равно не помогут ей пробудиться, не выведут ее из одинокого сна. Эмери презрительно, не без отвращения относился к девицам, которые подчиняются желанию первого встречного, не потому, что идут навстречу собственному желанию, а наоборот — из стремления ограничить, зачеркнуть его, тем самым зачеркивая одновременно свое «я»; при этом им не только безразличен мужчина — они безразличны сами себе.

В такие минуты молодой человек упрекал себя в том, что отдает свою любовь и уважение существу, которое, вероятно, может принадлежать кому угодно, стоит только поманить.

Его неотступные поиски «особой красоты» привели к тому, что он, Эмери, принял за золото дешевую безделушку, валявшуюся на дороге, которую, возможно, никто и не дал бы себе труда подобрать. Сознание, что он единственный сумел «разглядеть» подлинную Помм, выявив тем самым ее ценность, порою перечеркивалось мучительным сомнением, и он казался себе простофилей, глупцом, дикарем, увидевшим яркую бусину!

Он стал винить Помм: почему она ничего не требует, а значит, и не ценит того, что он хочет ей дать. Правда, казалось, она и не собиралась ничего брать. Иногда он мог надуться и целый вечер с ней не разговаривать, но потом сам первый сдавался, коря себя за черствость, хотя Помм не жаловалась и не просила его ни о чем,— вот и выходит, что надо винить в черствости Помм. Он закурил «Житан» с фильтром.

Теперь Эмери старался занять все свое время, чтобы не оставаться наедине с ней: его пугало это молчание — ее, его и снова ее. Вечером, наскоро поужинав, он снова погружался в книги, взятые в библиотеке. А Помм долго-долго мыла посуду, словно боялась при нем сидеть без дела. Когда же с мытьем посуды или со стиркой было покончено, она садилась и внимательно перелистывала книги, выпущенные издательством «Галлимар», которые Эмери советовал ей прочесть. От рук ее приятно пахло «Лимонным лосьоном».

А ведь были и воскресенья. Иногда Эмери уезжал к родителям; но вообще он не любил оставлять Помм одну (точно ушел, оставив в квартире раскрытое окно). Поэтому чаще всего он никуда не ездил. Тогда его хотя бы не мучили мысли о несчастной, одинокой девушке, не способной даже скучать и придумывающей себе из любви к нему десятки никому не нужных дел. Всякий раз, вернувшись из Нормандии, он обнаруживал очередную подушечку, обвязанную нехитрым плетением, или ему преподносили какое-нибудь заштопанное старье, которое он забыл выбросить прошлой зимой. И Эмери становилось стыдно за нее и за себя — было что-то чудовищное в этом отсутствии взаимопонимания. Но он молчал. Он не мог ей этого объяснить, ей вообще ничего нельзя было объяснить. И он решил проводить воскресенья с Помм — тогда он сможет хотя бы последить за ней, избавить ее от унизительных, дурацких актов самопожертвования, а вернее, избавить от угрызения совести самого себя.

Но ему не о чем было с ней говорить, а она — она считала, что все отлично. Не мог же он целыми днями читать или заставлять читать ее. Она делала какие-то дела по хозяйству — если б он и хотел, то все равно не мог бы ей помешать. Но в то же время, жалея ее, он с горечью думал, что в этой комнате, где проходит их жизнь, нет ничего, заслуживающего столь бережного отношения,— ничего такого, что стоило бы тщательно вытирать, убирать, переставлять.

Друзей ни у Эмери, ни у Помм не было — во всяком случае, таких, с кем хотелось бы познакомить «другого», а потому не было возможности убить время даже на то, чтобы пойти в гости или пригласить кого-то к себе. Помм ни разу больше не зашла к Марилен. Да и Марилен уже не интересовалась Помм.

Итак, наши возлюбленные ходили в кино или просто гуляли. Студент по-прежнему громогласно восхищался отражением Нового моста в Сене или ноябрьскими туманами, обволакивающими сады Тюильри. Его склонность к романтике и неуемные восторги при виде «прекрасного», казалось, даже усугубились с тех пор, как он стал жить с Помм. Эмери не умел просто чем-то любоваться — он непременно должен был высказать суждение, произнести сентенцию. Он всегда стре-

мился докопаться до истины — выяснить, что есть ценность, а что поделка. Так уж он был устроен: вечно что-то исследовал, подсчитывал, препарировал, точно работал в судебно-медицинской экспертизе. В этом заключалось для него все удовольствие — а, впрочем, может быть, в том, чтобы переломить себя и не поддаться душевному влечению (вот только был ли он способен на «душевное влечение»?). Вернее, ему необходимо было все время себя пересиливать, решать новые и новые головоломки.

Ну, а Помм? Научилась ли она хоть немного смотреть на вещи его глазами? Этот вопрос также входил в сферу его аналитических изысканий, несмотря на крепнущее подозрение, что Помм на поверку оказалась пустышкой. Она покорно восхищалась всем, чем восхищался Эмери. А он все мучился сомнениями, выражает ли ее «да» лишь покорность (быть может, смутный страх перед ним, который и заставляет ее так много и бессмысленно «заниматься хозяйством») или же Помм действительно искренна. Но разве могла она быть неискренней? Ведь именно отсюда проистекала ее покорность. И мало-помалу Эмери убедил себя в том, что сомневаться в искренности Помм просто смешно. Видимо, в ней есть что-то такое, что позволяет ей испытывать одновременно с ним подъем чувств. А вот сами чувства — иные.

Однажды Помм все-таки удивила его. Они осматривали церковь Сент-Этьен-дю-Мон (это была обычная для них прогулка с осмотром достопримечательностей, где наш архивариус выступал в качестве гида). Помм захотела на минутку присесть (это было так на нее не похоже — вдруг чего-то «захотеть»); Эмери осведомился, не устала ли она. Она ответила, что все в порядке и она вовсе не устала,— просто ей хочется на минутку задержаться здесь: «В таком месте тянет помолиться». Когда они выходили из церкви, он спросил ее (до сих пор ему и в голову не приходило задать ей этот вопрос), верит ли она в бога. В глазах ее засветилась бесконечная нежность, но — лишь на миг, и она ответила: «Конечно!» И впервые Эмери показалось, что она отвечает не ему, не на его вопрос, а словно бы кому-то, кто стоял позади него и кого Эмери не видел. Они пересекли улицу Суффло у комиссариата полиции V округа. Полицейские, стоявшие у двери на часах, дружно проводили Помм взглядом, в котором сквозила откровенная солдатская похоть.

Молодой человек и девушка сидят у окна друг против друга. В купе они одни. Девушка сидит очень прямо, сжав колени. Такое впечатление, точно она предстала перед судом или вот-вот предстанет. Неподвижная, как терракотовая статуэтка. Молодой человек на нее не смотрит. Лицо его повернуто к окну, где деревья —почти все с облетевшей листвой — раскачиваются под порывами ветра.

В тот день Помм, наконец, увидела владения молодого человека: его замок, его родителей, мир его детства, который он открывал для себя, бродя по узким тропинкам между плотными рядами кустарника и ежевики.

Большую часть замка занимала гигантская кухня, где был очаг величиной с подворотню и витал запах дичи. В кухне было очень холодно, но все же теплее, чем в гостиных и спальнях, по которым Эмери быстро провел Помм. Помимо основного здания существовала еще ферма, куда они не заглянули, и голубятня, которую Помм приняла за одну из башен замка.

Отец молодого человека держался как кавалерийский офицер, а одевался как конюх. Мать молодого человека была исполнена этакой

колючей любезности. Помм совсем оробела. Утром она целый час выбирала, какой бы свитер и какую юбку лучше надеть.

Пообедали. Отец Эмери невероятно много пил и каждый раз причмокивал, опрокидывая бокал. Помм нашла, что он не слишком вежлив, но весьма решителен. В конце трапезы он отпустил два-три отеческих наставления и, не слишком твердо держась на ногах, отправился по своим делам.

Эмери развел в очаге огонь (словно крошечный огарок загорелся в гроте). Его мать приготовила кофе. Помм хотела было помочь убрать посуду с длинного дубового стола, на котором они ели без скатерти. Но дама не позволила. Она нажала на кнопку звонка, и в комнату ввалилась невероятно грязная крестьянка, сбросила посуду в раковину и, со злости отвернув до отказа кран, залила все водой.

Кофе пили без кофеина, сидя у очага. Дама растянулась на диванчике в стиле мадам Рекамье, единственном предмете, напоминавшем о комфорте в этой каменной пустыне. Помм сидела навытяжку на соломенном стуле. Беседовали. Мать Эмери задала девушке несколько вопросов, на которые ответил юноша. Однако даму не интересовали ответы — ей важно было спросить.

Помм молча, скромно слушала, как о ней говорят: она понимала, что не должна вмешиваться в беседу. У нее было такое ощущение, точно она выставлена на аукцион: с одной стороны продавец — Эмери, с другой стороны клиент — его мать. Но конечно же, между матерью и сыном ни о какой купле-продаже и речи не было, как не было речи о том, принять ее в свой круг или не принимать. Весь разговор шел просто так, смеха ради. («Она очень миленькая, но совсем дурочка»,— сказали сыну глаза дамы и тем же взглядом спросили: «Разве ты не слышал, что она сказала?» — «Но... она ничего не сказала»,— так же молча ответил ей сын. И, однако, суровый приговор, недвусмысленно вынесенный матерью, произвел на него не меньше впечатления, чем если бы он был высказан вслух.)

После кофе молодые люди отправились прогуляться по голым осенним лугам, окружавшим замок. Свет дня уже разрезали, раздробили черные ветви наиболее высоких деревьев, и он медленно оседал, исчезал за темной стеной окружавшего луг леса. Помм взяла было Эмери за руку, но тот быстро высвободился и зашагал впереди крупным, тяжелым шагом мелкопоместного дворянина, предоставив ей самой заботиться о том, чтобы не сломать ногу на высоченных каблуках, какие носят парикмахерши.

Возвращались они по каменистой тропинке—Эмери по-прежнему шагал впереди, а Помм ковыляла за ним, проваливаясь в рытвины, спотыкаясь о камни. Эмери — в который уже раз — воспевал при Помм несравненную красоту осени, когда небо точно вымощено белыми и серыми валунами и застывшие деревья тоже постепенно становятся как бы изваяниями. При каждом новом приливе вдохновения вся эта поэзия облачком тумана слетала с губ Эмери. И Помм, глядя на эти облачка, чувствовала, как ее затопляет волна любви. Ведь это была частица его души, с которой она молчаливо, но старательно пыталась слить свою душу.

— Ты хоть слушаешь, что я тебе говорю? — внезапно взорвался Эмери. И решив, что хватит изливаться, быстро зашагал к замку, предоставив далеко отставшей парикмахерше самой заботиться о целости своих щиколоток. Войдя в кухню, он захлопнул за собой дверь. Когда же через минуту-другую появилась Помм, он произнес лишь: — Едем домой!

А его мамаша еще подлила масла в огонь:

— Я бы с удовольствием оставила вас ночевать, но, по-моему, это не совсем удобно.

Помм не промолвила ни слова: два дня отгула, что дала ей хозяйка, можно ведь использовать и в другой раз.

Что-то словно мешало Помм проявлять свой ум — будто ставило перед ней барьер. Она никогда не задавала вопросов. Казалось, ее ничто не удивляло, ничто не поражало.

И вот однажды Эмери понял, что не в силах больше слышать, как она чистит зубы.

Раздражение все росло и росло с неотвратимой быстротой, тем более что у Эмери не было опыта жизни вдвоем,— теперь он уже не мог выносить прикосновения ее ног в постели. Потом не мог слышать по ночам ее дыхание.

Вероятно, Помм смутно догадывалась, что ее присутствие стало раздражать Эмери. И она постаралась сделаться еще незаметнее — еще прилежнее занималась домашними делами, еще больше хлопотала по хозяйству. А на Эмери все сильнее и сильнее давило это безграничное, поистине непристойное уничижение, которое мешало ему восстать, мешало даже мысленно сформулировать хоть малейший упрек. И это незаметно его ожесточало. Невыносимая безгрешность Помм точно связывала его, лишая естественного права взбунтоваться. Это вечное стремление девушки стушеваться изрядно давило на него.

А потом появился стыд, который охватывал Эмери всякий раз, как он видел обращенный к нему смиренный взгляд, оценивавший и его, студента, меркой своего смирения. Но человек, которого видели эти глаза, был, право, не Эмери. И его грызло подозрение, что на самом деле Помм живет не с ним, а с кем-то другим, кто очень на него похож, но все же не он.

Так или иначе, в один прекрасный день Эмери все равно должен был прийти к выводу, что его нежность, даже, как ему казалось, любовь,— всего лишь сделка. Но откровенно признаться в этом нельзя — таковы условия контракта.

С первых же минут его увлечение Помм, хоть и было вполне искренним, уже содержало в себе зародыши будущего ожесточения. Он поддался чувству больше, чем сам того хотел, но в ту минуту, когда это произошло, уже понимал, что все кончится крахом. Так почему бы честно не признать, что он предвидел крах и это входило в его расчеты?

Когда Эмери осознал, что тоска, охватывающая его всякий раз, как Помм оказывается рядом (а эти участившиеся вспышки злости — против кого они? против нее или против самого себя?), рождена (и уже давно) тем, что подруга стала раздражать его, он понял и другое: раздражение это уже укоренилось в нем и оно неразрывно связано с «любовью», которую он до сих пор питал к Помм. Переход от одного чувства к другому — от любви к раздражению — произошел незаметно, ибо по сути дела был следствием «перерождения» любви.

Вот почему Эмери какое-то время пытался бороться с этим раздражением. В нем оставалось еще слишком много нежности к Помм. Не мог он взять и вдруг возненавидеть ее молчание, ее смирение, чистоту ее души, которая покорила его когда-то и покоряла до сих пор, как только он над этим задумывался.

Помм все еще была нужна ему — он это чувствовал, когда ее не было рядом. Ему тогда словно чего-то не хватало — не хватало ее.

Но когда Помм возвращалась с работы и входила в комнату, он не ощущал ни удовлетворения, ни радости. Наоборот, у него тут же пропадало желание ее видеть. И всякий раз он испытывал легкое, едва ощутимое, однако самое настоящее разочарование, и всякий раз его охватывала злость: он целый день ждет встречи с Помм, а вместо нее приходит другая. Но на что же он рассчитывал?

Ирония этой банальной истории заключается в том, что Помм, которая готовила ужин и садилась есть только после Эмери, была как раз наиболее подходящим персонажем для личной драмы молодого человека, только она не сумела выдержать свою роль до конца, чего, по правде говоря, не сумел бы выдержать никто.

Настанет день, и хранитель музея вспомнит, что давным-давно, когда ему было всего двадцать лет и он был еще совсем сосунком, он знал одну бедную девушку, чью тайну так и не смог раскрыть. И он устремит умиленный взор на уже слегка стершийся в памяти, подправленный временем образ,— пред ним предстанет пара, призрачная, нереальная. Он с удовольствием вспомнит тот странный эпизод из своей юности, наслаждаясь главным образом тем, что будет сам не узнавать себя. И он никогда не поймет, что та комнатка, то скромное прошлое, оставившее в нём неизгладимый след (он никому, даже жене, об этом не расскажет), в конечном счете — не что иное, как ловкая спекуляция, небольшое мошенничество в его почтенной, добропорядочной жизни. Ведь эта ностальгия, даже угрызения совести составляют его тайный капитал, кладезь тонких, бесценных чувств, и процентами с этого капитала он будет пользоваться понемногу каждый день.

Он не спит. Он не может заснуть после того, как увидел ее спящую. Сейчас лицо ее открыто. Оно озарено внутренней улыбкой. Ей ничего не снится. Да и не может ничего сниться. Улыбка ее обращена в никуда, и она отдается небытию как любовнику. Много раз у Эмери возникало желание разбудить ее, вырвать из этого одиночества, из покоя, который она вкушает без него и к которому он, не осмеливаясь в этом себе признаться, ее ревнует.

Вот-вот начнутся рождественские каникулы. Эмери поедет в Нормандию. И до отъезда нужно все решить.

Много раз Эмери мысленно вызывал Помм на разговор. Он говорил с ней то мягко, то твердо — будто уговаривал маленького ребенка лечь пораньше спать, растроганно думал он. Ну разве возможен иной выход? Это же в их общих интересах, объяснял он ей. Они пошли по ложному пути. Помм не может быть с ним счастлива. Что ни говори, они — люди разного круга. То, что подходит одному, никак не удовлетворяет другого, и наоборот. Разные вещи доставляют им удовольствие. Слишком далеки они друг от друга по рождению. Кстати, он даже не знает, чего она от него ждет. Он так и не сумел это узнать. Он извиняется. Он сожалеет. Конечно, не следовало ему заходить так далеко. Это его вина. Пусть она возненавидит его за это, пусть обвинит в том, что он надсмеялся над ней. Это, конечно, не так, но он понимает, что у нее есть основания для такого вывода. Она даже вправе презирать его.

На самом же деле разрыв их произошел куда проще. Эмери сообщил Помм, что собирается расстаться с ней,— мягко, но не считая нужным особенно щадить ее чувства, ибо ему казалось, что она вооб-

ще не способна чувствовать. Он столько раз пытался представить себе, как она будет реагировать, когда он сообщит ей о разрыве, и в конечном счете решил, что реакции не будет вовсе. Девушка спокойно, не поднимая шума, простится с ним.

Шума Помм действительно не подняла. Она сумела лишь вымолвить: «Что ж! Хорошо!» И потом: «Я знала, что так будет». Она закрыла коробку с «Кюремайлем», отжала губку и вытерла руки. Она не протестовала. Не плакала. Она казалась настолько спокойной, что Эмери, вместо того чтобы обрадоваться, как он надеялся, столь легкому концу, ощутил, что в нем закипает уже изведанная злоба на это бесчувственное животное — Помм.

Конечно, Эмери не мог не понимать, что причинил Помм непоправимое зло. Она ведь ничего у него не просила — кроме, быть может, согласия принять ее в дар; теперь же ему стало казаться, что она заставила его пойти на неслыханную жертву. Тогда как на самом деле у него не хватило мужества удержать девушку, не допустить, чтобы она принесла себя в дар,— он ведь позволил ей это сделать. Он позволил Помм сжечь перед ним тоненькую свечку своей безграничной преданности — позволил, не задумываясь о последствиях, как не задумываются о последствиях, забыв выключить лампочку перед сном.

Все было так же, как в день их встречи, их первого разговора, их первой прогулки — как в тот день, когда Помм впервые узнала, что такое любовь. И на каждом этапе (тогда он еще не знал, что это были «этапы») он думал лишь, что уже «слишком поздно» поступать иначе. И очередной этап проходил, сопровождаемый легкими угрызениями совести, о которых Эмери тут же забывал. Однако всякий раз он думал о том, что зло, которое он может причинить Помм в дальнейшем, будет неизмеримо больше.

Зато Эмери знал, что Помм не станет защищаться, не станет бунтовать и даже не покажет, как она страдает. И жалость, возникавшая в его сердце, тут же заглушалась вспышкой гнева или презрения.

Если бы Помм попыталась защищаться, если бы у нее вырвалось хоть слово упрека, хотя бы сдавленное рыдание, быть может, Эмери расстался бы с ней иначе. Он почувствовал бы к ней больше уважения (она была бы ему понятней). Он мог бы придать большую значимость их разрыву, и Помм в качестве предсмертного причастия получила бы, по крайней мере, зрелище великого горя. Пока она укладывала вещи в чемодан, он все еще надеялся услышать от нее хоть жалобу, хоть какой-то упрек. Но она молчала. Она только попросила у него коробку из-под книг, освободила ее и сложила туда вещи, не поместившиеся в чемодан. Потом перевязала коробку и ушла.

Он мог бы пройти мимо, совсем рядом с ней и не заметить ее. Ибо Помм была из тех, что сами не проявляются,— нужно терпеливо и внимательно ее расспрашивать, суметь ее разглядеть.

Конечно, Помм была девушкой вполне заурядной. Для Эмери, для автора этих строк, для большинства мужчин девушки такого типа — лишь случайные вехи, мимолетные увлечения, которые занимают вас на миг, потому что красота и покой, даруемые ими, не отвечают вашим представлениям о красоте и покое и о женщине, которая может их дать. Это — бедные девушки. И они сами знают, что они — бедные девушки. Но бедны они лишь тем, чего не сумели в них разглядеть. А кто из мужчин положа руку на сердце не совершал в своей жизни два-три таких проступка?

Помм вернулась к матери, куда-то в район Сюрена или Аньера. В красный кирпичный дом, стоявший между двумя желтыми кирпичными домами. Как и раньше, мать и дочь подолгу сидели на диване, обитом черным дерматином, и ни разу ни та, ни другая словом не обмолвились о молодом человеке. Просто Помм вернулась — и все. Разложила вещи у себя в комнате. И по вечерам смотрела телевизор.

Теперь Помм точно знала, что она некрасивая. Некрасивая и толстая. И достойна презрения, ибо это — лишь внешнее выражение ее внутренней гнусности: на сей счет Помм не сомневалась после того, как Эмери ее прогнал.

Страшнее всего было для нее выходить из дома — оказаться среди других людей, на улице, в поезде, в парикмахерской. Помм видела, как смотрят на нее люди. И явственно слышала смешки за спиной. Она никого не осуждала. Ей просто было стыдно.

А ведь Марилен еще давно сказала ей как-то: «Ой-ой-ой! Ну и разнесло же тебя!» И больно ущипнула за грудь, за бока, за бедра. Теперь-то Помм и припомнила эту фразу Марилен. Слова звучали у нее в ушах, точно Марилен была рядом или чуть позади и снова и снова повторяла, какая она толстая.

Вспоминала Помм и то, как Эмери порой касался ее, будто преодолевая что-то, будто переступая через себя. Наверное, в конце концов она опротивела ему. При одной мысли об этом ее бросало в жар и становилось стыдно. Она вся покрывалась потом. Особенно под мышками. И начинала задыхаться от собственного зловония.

Воскресенья мать и дочь проводили вместе, и это пребывание вдвоем было мучительно для обеих. Днем мать отправлялась с дочерью подышать воздухом — пусть отвлечется, а то совсем зачахнет. Дочь вела мать своим, раз навсегда установленным маршрутом, по самым пустынным улочкам предместья. В воздухе уже ощущалось дыхание холода. Помм ежилась в легоньком пальто. И старалась поскорее вернуться к себе, в свою комнатку. Здесь она была ограждена от посторонних глаз. Наверное, рассеянно слушала фильм, который передавали по телевизору, стоявшему за стенкой. И пыталась заснуть, чтобы проспать до вечера.

Помм чувствовала, что мать сердится на нее. Она никогда и ни в чем не упрекнула бы дочь,— просто ей, должно быть, тоже стыдно. Сначала была Марилен. Но Марилен отвернулась от Помм. Потом был молодой человек; и он тоже от нее отвернулся.

Мать Помм ничего не говорила. Вот если бы она могла сказать дочери, что во всем случившемся нет ни капли ее вины. Но она, как и дочь, не умела высказать то, что было у нее на душе. Она прекрасно понимала, эта продавщица из молочной, что дочери плохо, и изо всех сил старалась не причинить своей девочке еще большую боль. Потому и молчала. И боялась произнести лишнее слово.

Боялась сказать, например, что Помм, конечно же, встретит парня, который составит ей подходящую пару. И они поженятся. Парень будет из скромной семьи, никакой не студент: ведь и сама Помм — человечек скромный. И нечего забивать себе голову мечтами о чем-то другом.

А вот как выглядела бы свадьба Помм.

Произошло бы это событие там, на севере, в ее родном поселке, откуда ей вообще не следовало уезжать. Сначала они пошли бы в мэрию: свидетели — аккуратно подстриженные, с красными от волне-

ния лицами. жених — слегка напыщенный. Потом отправились бы в церковь — на Помм было бы белое платье. И белые, очень длинные, очень тонкие перчатки. В церкви Помм пришлось бы помучиться: не так-то легко их стащить. Снова надевать их она бы уже не стала — чтобы все видели обручальное кольцо. Потом она положила бы их в коробку из-под туфель, вместе со свадебным букетом, чтобы сохранить на всю жизнь.

Затем они пошли бы обедать. И просидели бы за столом до темноты на террасе кафе, что напротив памятника погибшим. На закуску ели бы морских тварей, запеченных в раковине.

Отец жениха пил бы бочками. А жена знай подзадоривает. «Только делаешь вид, что пьешь»,— говорит она. И подливает. Чтоб был не трезвей других! Да только он мужик бывалый. И держится молодцом.

Ну вот, теперь все пьяны. И мужья ушли куда-то далеко в свой собственный мир, где все расплывается и ускользает. А женщины, наконец, овдовели — хотя ненадолго. Они предоставлены сами себе. И веселятся «всухую». Дети, тоже предоставленные сами себе, берут штурмом памятник погибшим.

Жених сидит трезвый. Он не любит вино. Ему скучно. До чего затянулось застолье! Он молчит, потому что сказать ему нечего.

К вечеру все общество перемещается к маме Помм. На столе стоит игристое вино, пиво, пирожные. Мужья обрели наконец своих жен. Они трезвеют. Но ненадолго, ибо уж очень мерзко себя чувствуешь, когда начинаешь трезветь, а предстоит еще выпивка. Жены ведут их — каждая тянет за руку своего слепца или паралитика по тротуару вдоль шоссе; дети вдалеке следуют за ними: слишком хорошо они знают, что сейчас можно и подзатыльник получить.

Все рассаживаются парами, детишки — вокруг. Каждая семья — на двух плотно сдвинутых стульях. Пары глазеют друг на друга и, вероятно, думают: неужели вот так все и будет до скончания веков. Впрочем, нет! Ни о чем они не думают. Начинаются танцы. Время оплеух прошло. Теперь все довольны, все.

Прабабка Помм сидит в углу и бормочет себе под нос непристойности. Не слишком-то доброжелательная старушка! Смотрит на молодежь всех возрастов из своего далека, которое тихонько бурчит в ней.

Ночь окончательно вступает в свои права. Теперь уже никто не пьет и не танцует. Все осоловели, точно под наркозом. Однако каждый все еще чувствует себя участником празднества,— так колесо велосипеда продолжает вращаться, хотя сбитый велосипедист уже лежит на земле. Женщины начинают поглядывать на часы. Дети, пытаясь завязать игру, яростно пинают друг друга. Взрослые мужчины вдруг разом поднимаются и выходят на улицу помочиться у стены. Женщины пользуются моментом и, забрав детей, тоже выходят.

Вот такой, наверное, была бы свадьба Помм. Но самое печальное во всей этой истории — идет ли речь о свадьбе или о несчастной любви — то, что жалеть, пожалуй, ни о чем не надо. И, должно быть, именно эта мысль постепенно проникала в сознание Помм из глубины того, что мы — мы назовем ее горем.

Представим себе, что мать и дочь вдруг решили бы поговорить — по-настоящему, серьезно. Обеих душили бы слезы, и они охотно тихонько поплакали бы вместе,— только они не умели плакать, как не умели говорить. И вот вместо того, чтобы искать поддержки у матери, которую та ждала лишь случая оказать, Помм изо всех сил ста-

ралась держаться с достоинством и не выказывать, что сломлена своим позором. Так она и превратила единственного близкого ей человека — наперсницу, которую дала ей судьба,— в свидетеля, в судью, чье молчание она страшилась разгадать, ибо видела в нем лишь упрек.

В конце зимы Помм начала худеть — сначала незаметно, потом с удивительной быстротой; она сильно побледнела, и кожа на скулах у нее сделалась почти прозрачной. Продавщица из молочной шла на любые ухищрения, чтобы заставить дочь хоть что-нибудь съесть; вначале она надеялась, что Помм вновь обретет былую любовь к вкусным блюдам, но когда она увидела, что у дочери при первом же глотке к горлу подкатывает тошнота, у нее опустились руки. А Помм за весь день выпивала лишь каких-нибудь два-три стакана молока, съедала несколько фруктов и немного сахара. И не потому, что соблюдала диету,— просто она не могла ничего есть.

Тогда, невзирая на снедавшую ее тревогу, продавщице из молочной пришлось смириться с отвращением дочери к еде: она поняла, что Помм не притворяется. По вечерам она варила ей компоты и добавляла ложку свежих сливок в стакан молока перед тем, как подать его Помм. А помимо своих ухищрений горячо молилась, чтобы «это прошло». Она, правда, уже поняла, что для Помм теперь единственная радость —похудеть.

Конечно же, конечно, твердила про себя славная женщина, дочка заболеет. Но надо ли ее еще мучить? И продавщица из молочной виду не подавала, что здоровье дочери беспокоит ее. Даже если бы Помм пожелала умереть (а разве не этого она в глубине души хотела?), мать не воспротивилась бы ее желанию. Слишком хорошо она знала, что такое горе, чтобы не уважать горя дочери. Она была из тех, кому потом говорят: «Как! И вы ничего не сделали? Вы видели, что она умирает, и ничего не сделали?» Какая беда!

И вот месяца через четыре после начала этого поста наступил день, когда Помм почувствовала дурноту по дороге на работу, куда она упорно продолжала ходить. (А ведь хозяйка как уговаривала ее показаться врачу и немного отдохнуть! Но Помм твердила, что чувствует себя «преотлично»; она суетилась даже больше обычного и последнее время была как-то истерически весела.)

Помм упала навзничь посреди перехода через улицу. Тут же на несколько минут образовалась пробка, так как первая машина — та, что затормозила возле Помм,— естественно, не могла сразу тронуться с места. Пришлось ждать, пока освободится проезд. Водители сзади (машины Б, В и т. д.) начинали терять терпение. И неистово гудели. Тип, сидевший за рулем машины А, широко разводил руками, показывая, что ничего не может сделать.

Две женщины подбежали к Помм и попытались помочь ей встать. Но Помм безвольно повисла у них на руках. Заставить ее идти было невозможно.

Тогда владелец машины А вышел, чтобы помочь женщинам оттащить Помм. Ее отнесли на тротуар. Владелец же вернулся в свою машину, оснащенную противотуманными йодистыми фарами и автоматически поднимающимися стеклами. Нажав на газ, он включил радио и взглядом проследил за тем, как на кузове бесшумно выросла антенна; на секунду у него мелькнула мысль о несчастной девушке, распростертой на мостовой, но он тут же вспомнил об овечьих шкурах, покрывавших сиденья его машины. Каждая из этих шкур была размером 50 на 120 сантиметров. И прикреплены они были к спинкам коричневыми резиновыми ремешками. Мех, покрывавший переднее сиденье,

то, что рядом с шофером, был слегка вытерт в двух местах — там, где должны покоиться плечи и ягодицы пассажира (или пассажирки).

Водитель бросил взгляд на тахометр, где белая стрелка двигалась по полукругу, слева направо, по зеленым цифрам, указывающим скорость, начиная с 20 км/ч и дальше — через каждые 20 единиц.

Щиток с приборами был, кроме всего прочего, оснащен спидометром и электрическими часами. Они опаздывали почти на десять минут. Спидометр, заграничного образца, как, впрочем, и вся машина, представлял собой полукруг вроде тахометра, только на нем было меньше цифр — от 10 до 80. Расстояние между цифрами 60 и 80 было ярко-красного цвета, резко контрастировавшего с ровным серым фоном счетчика. В центре круга таинственные буквы гласили: «об/мин-100», а прямо под ними что-то вроде подписи: «Велья Борлетти».

Сквозь ветровое стекло, расположенное под углом в 130° к капоту (где разместились шесть цилиндров мотора), тип увидел, что путь свободен — ни одной машины далеко впереди.

Ну, а Помм отвезли в больницу. Нам ведь не обязательно знать, будет она жить или умрет, не так ли? В любом случае под судьбой ее можно провести черту. Она сама так решила в тот день, когда перестала есть, когда перестала что-либо требовать от этого мира, который столь мало ей дал.

Уезжая из Парижа — а ее переводили в другую больницу, находившуюся далеко в провинции,— Помм попросила мать оказать ей услугу и сходить к молодому человеку, сказать ему, что она чувствует себя виноватой. Она ведь прекрасно понимала, как ему было скучно с ней, она часто его раздражала. Так уж сложилось, она и сама теперь не знает почему. Но ей бы очень не хотелось, чтобы молодой человек вспоминал о ней плохо.

Мать Помм отправилась выполнять поручение в ближайший же понедельник. Но студент уже не жил в той комнате. И привратница не знала, куда он переехал. Правда, дамочка может послать письмо на адрес его родителей, в Нормандию. И привратница дала адрес — теперь уж письмо наверняка до молодого человека дойдет.

И в самом деле несколько дней спустя Эмери де Белинье получил письмо с извинениями Помм и продавщицы из молочной.

Но побудем еще минуту с будущим хранителем музея; понаблюдаем за тем, как он читает письмо, а потом удалимся, покинем его — пусть замыкается в своем одиночестве. Ведь что бы ни произошло с Помм, Эмери в еще большей мере труп, чем она. И лицо молодой утопленницы не исчезнет, когда его не станет, как кучки хвороста. Оно, так сказать, будет вечно сиять своей чистотой, пережив все горести Помм и самое ее смерть.

Будущий хранитель музея обосновался в скромной меблированной квартирке напротив Пантеона. Его прельстил контраст между простотой жилища и величием памятника, который возвышался прямо перед окном. Подойдя к нему, Эмери с волнением видел совсем рядом то, что, возможно, готовила ему судьба. Он часто представлял себе свою смерть вот так. И совсем это было не страшно: душа покидает кокон плоти и летит над собственным похоронным кортежем. Эмери восхищался строгим порядком процессии. Впереди шествуют академики (он узнал свою шпагу и ордена на черной бархатной подушечке, которую несет ученый секретарь). За ними — министр культу-

ры, за ним — члены парламента, художники, писатели. А дальше, насколько хватает глаз, колышется черное великолепное море толпы.

В глубине души Эмери испытывал облегчение от того, что расстался с Помм. Теперь он мог в свое удовольствие предаваться мечтам о себе, не стесненный молчаливым, но бестактным осуждением девушки.

Он прекрасно понимал, что тщеславия у него хватает,— как, например, он ликовал, воображая, что́ говорят о нем в его отсутствие, и картина собственных похорон являлась как бы апофеозом его мечтаний. Но при этом Эмери убеждал себя в том, что ребяческое его тщеславие (быть может, чуть смешное?) — лишь изнанка глубокой застенчивости, неуверенности в себе, скребущей его даже в минуты самых безумных фантазий.

Ибо наряду с ними у него бывали периоды депрессии, отвращения к себе. Тогда и собственное тело и душа казались Эмери тщедушными и хилыми. И ему необходимо было взять реванш, хотя бы помечтать о будущем величии.

Итак, Эмери расстался с Помм без особых переживаний, но именно поэтому он был недоволен собой: ведь это принижало его, лишний раз доказывало прозаичность его натуры. Нет, не дано ему пережить сильную боль,— он пережил лишь сильный насморк, который подхватил, гостя у родителей. В Париж он вернулся с мучительным кашлем и слезящимися глазами. Он не мог даже читать, так как яркий свет и белая бумага раздражали глаза. И все из-за чудовищного насморка. Он глотал таблетки аспирина и думал, что, возможно, в эту самую минуту Помм принимает снотворное. Это унижало его. Он завидовал Помм — завидовал тому, что она в своем чемоданчике унесла, быть может, большие чувства. В конце концов он выбрался из мучительных сомнений, убедив себя в том, что для него, при любых обстоятельствах, не настало еще время лететь над собственным похоронным кортежем.

Главная его претензия к Помм заключалась в том, что она увлекла его в мир, где царят вещи. Вспоминая Помм, он всегда видел ее с метлой или консервным ножом, в розовых резиновых перчатках. Из-за этого он и решил поменять комнату: ему хотелось избавиться от вещей, которыми Помм наводнила дом.

Но и в своей новой комнате он обнаружил эти вещи или почти такие же. Здесь тоже стояла раковина, на ней — выщербленный стакан для полоскания зубов... и все это с немой иронией неотступно взирало на него. Он пытался найти спасение в книгах, но и они, хитрецы, превращались в вещи, когда лежали стопкой на столе. А в довершение всего каждое утро на лестничной площадке он встречал уборщицу с тряпкой и ведром в руках, которая тоже застывала, словно вещь, и тупо смотрела, когда он проходил мимо. Да, не каждый день наблюдал он собственные похороны в Пантеоне!

А потом однажды вечером на Эмери вдруг снизошло озарение. Он нашел способ удалить размолвку с вещами, наполняющими мир. Он будет писать! Он станет писателем (великим писателем). И Помм вместе с вещами, окружавшими ее, окажется, наконец, всецело в его власти. Он распорядится ею по своему усмотрению. И сделает из Помм то, о чем мечтал,— произведение искусства. А в конце повествования даст читателю понять, что в самом деле знал Помм. И соблаговолит признать, что не сумел полюбить ее. Он видоизменит живущий в нем стыд и легкие угрызения совести, из слабости сотворит *произведение искусства*. И читателя оно взволнует до самой глубины души.

Заснул он в разгар коктейля, окруженный литературными знаменитостями, журналистами и стрекотом кинокамер. На секунду его кольнуло что-то вроде благодарности к Помм. И он чуть не проснулся.

IV

Когда мы расстались — Кружевница и я,— это никак нельзя было назвать разрывом. Мы и словом об этом не обмолвились. Ведь о будущем мы никогда не говорили.

Мне она очень нравилась, моя Кружевница. Мы жили рядом, бок о бок, но взгляды на жизнь у нас были разные, и по-разному распределялось время, поэтому виделись мы мало. Мы никогда не ссорились. Для этого не было повода. Мы просто уехали из нашей комнаты — и все.

Что до меня, то я на год или на два отправился в провинцию. Кружевница вернулась к себе. Мы условились, обещали друг другу, что будем видеться часто. А потом так и не увиделись. Не было повода. В этом мы тоже очень скоро убедились. Во всяком случае, я. Но и она, по-моему, тоже не пыталась меня увидеть. Мы расстались, расставшись с комнатой.

Комнату эту я отлично помню. Мы снимали ее у очень старой русской дамы, неподалеку от Трокадеро. Этакая мрачная помойка. Должно быть, старуха ни разу не ремонтировала ее. Все стены были исцарапаны какими-то рисунками. Занавески словно прилипли к стеклам. Они были не просто грязные — они стали как пергамент. Пыль не отходила от них, она словно окаменела. Ее можно было бы лишь соскоблить. Я сам решил побелить стены, но сделал это так неумело, что местами краска лежала комьями. Словно я вымазал стены глиной пополам с соломой.

Старуха питала ко мне известную симпатию и разрешала проникать во все закоулки ее катакомб. Жильцом я был удобным, нескандальным. Платил регулярно, благодаря урокам латыни, которые хозяйка частенько слушала, стоя за дверью. Сама она преподавала русским детям, живущим поблизости, но, как мне кажется, родную грамматику к тому времени изрядно подзабыла. Французский она тоже не знала. Во всяком случае, говорила с трудом. Словом, хозяйка моя не могла как следует объясниться ни на одном языке. В свое время она изучала их все понемногу. И страшно путалась. Правда, большого значения это не имело, поскольку словоохотливостью она не отличалась. Главное, умела считать. И на удивление ловко навострилась управляться с новыми франками. Вот тут — ни малейшей ошибки. В общем, она знала все нужные слова и знала, как их употреблять!

Короче говоря, она была очень ко мне расположена. И не раз показывала мне все свои комнаты, все салфеточки и все столики. Сколько у нее было вещей! И на них совсем не было пыли. Наверное, она каждое утро протирала и пересчитывала все свои безделушки.

Когда Кружевница со своим чемоданчиком перебралась ко мне, я немного испугался, как бы моя старушка не рассердилась. Ведь она могла увеличить плату за квартиру, а для меня это был бы конец. С первого же дня она предупредила меня — раз и навсегда: никаких гостей, никаких сборищ. И, разумеется, никаких девиц! Она разрешила мне принимать лишь учениц двенадцати-тринадцати лет. В случаях, когда возрастной ценз превышался, она битый час стояла под моей дверью. И я чувствовал, что она следит за мной в замочную скважину.

Как ни странно, Кружевницу она почти признала. Я был, право же, удивлен. Старуха даже предложила ей пользоваться кухней. И они тут же нашли общий язык. Прямо идиллия, да и только!

Она изо всех сил хотела влезть в нашу жизнь, эта старушенция. Для нее это было развлечением, страстью, последней радостью на склоне лет. По вечерам она буквально вламывалась в нашу комнату. И непременно хотела знать, все ли у нас хорошо или мы вдруг поссорились (но, конечно же, это несерьезно, пустяки, все само уладится; и напрасно я так вспылил). На самом же деле мы никогда не ссорились. Она по всем правилам искусства придумывала наши ссоры.

Раза два или три мы приглашали старушенцию — даже упрашивали — поужинать с нами. Но она всякий раз отказывалась. Ведь мы были все-таки ее жильцы. А не друзья.

По-моему, в глубине души старушенция надеялась, что мы с Кружевницей поженимся. Во всяком случае, однажды она сказала, что если мы захотим, она может уступить нам еще одну комнату. А ей места хватит, даже с избытком. У нее осталось бы еще целых пять или шесть комнат для всех ее столиков, икон и призраков прошлого. Не раз она отводила Кружевницу в сторону и спрашивала, «достаточно ли она бережется».

С Кружевницей хозяйка болтала куда охотнее, чем со мной. Я часто ее переспрашивал. А наша русская старушка не любила, когда собеседник давал понять, что плохо ее понимает. Повторять она не любила. Кружевница же отлично понимала все. Тут никаких недоразумений быть не могло — это я знаю по опыту.

Старушенция показала Кружевнице, как вязать. И та охотно стала учиться. Никакого намека она тут не заметила. Она вообще никогда не замечала зла. Они вязали вместе салфеточки. И пили крепкий чай. Ели печенье. Рассказывали друг другу истории — хотел бы я знать, на каком языке!

Когда я объявил старушенции, что мы съезжаем, для нее это, видимо, явилось чуть ли не ударом. Мне кажется, она привыкла к нам обоим, и ей было жаль расставаться с нами — даже больше, чем с деньгами, которые мы платили ей. Причем не только за комнату, но и за газ — с тех пор, как стали пользоваться ее кухней.

Скупость, с какою она хранила все свои безделушки, все эти ненужные вещицы, была, конечно же, продиктована стремлением защититься от одиночества в непомерно большой квартире. И если кто-нибудь действительно страдал в минуту нашего отъезда, вернее, разрыва между Кружевницей и мной, так это была русская старушенция.

Потом я видел Кружевницу всего лишь раз. Много лет спустя.

Я по-прежнему преподавал латынь. И начал преподавать литературу. Всего пятнадцать часов в неделю да еще три, чтобы оплатить квартиру. На что-либо большее я не был способен.

И вот однажды пришло письмо. Из Аньера или из Сюрена, точно не помню. В письме сообщалось, что «дочка очень болела», но теперь ей лучше и даже «разрешили принимать посетителей». И выражалась надежда, что я не откажусь навестить ее, если выберу время.

Целую минуту я соображал, о ком и о чем идет речь. Память мою можно было сравнить с бутылкой прокисшего уксуса, который взболтали. Со дна поднялся осадок, жидкость замутнела, утратила прозрачность. В конце концов мне удалось привести в порядок воспоминания. Мать Кружевницы я видел всего один раз, но ее трудно было с кем-либо спутать. Манера выражаться, детский почерк — это мог-

ла быть только она. Но почему она вдруг решила мне написать — именно мне? Я несколько лет не виделся с Кружевницей. Я должен был бы исчезнуть из ее памяти, как она стерлась из моей.

Я будто увидел свою фотографию в семейном альбоме незнакомых людей: вот — дедушка, там — маленькая племянница, разряженная для первого причастия, а вот и вся семья на свадьбе старшего сына. И вдруг среди всех этих чужаков вы видите себя! Да-да, вне всякого сомнения, это — вы! Если только... И вы спрашиваете: «А это кто?» — «О, это наш дальний родственник. Он живет за границей». И вы переворачиваете страницу — слава богу! Вы видите новые, совсем незнакомые, совсем безразличные вам лица. Вы обманулись — это была лишь иллюзия, простое совпадение. Кстати, только вы его и заметили.

Так или иначе, а письмо, которое я держал в руках, означало, что моя персона занимает какое-то место и в альбоме и в памяти этой семьи. И я решил отправиться по адресу, указанному в письме.

Больница располагалась в трех или четырех корпусах, окруженных деревьями, в тридцати километрах от столицы, по пути в Шартр. Стоял июнь; посетители и больные сидели на скамейках, рассеянных по парку. Я тоже сел на скамейку, рядом с Кружевницей.

Я мог бы вполне представить себе, что мы отдыхаем с ней в каком-нибудь местечке на водах в окружении других курортников (правда, некоторые из них — в халатах). Но я видел перед собой щемящую душу хрупкость и неподвижный, точно зачарованный взгляд. Все это принадлежало иному миру, не имело ничего общего с цветущими клумбами и тенью ветки, тихонько колыхавшейся над головой Кружевницы. Я спросил ее, давно ли она здесь. С весны. А раньше? Раньше — ничего. Она все время болела. Могу я представить себе: она просто не могла есть?! Ничего не в силах была с собой поделать. При всем желании куска не могла проглотить. Какая-то странная болезнь. Вот ее и положили в больницу, сначала —в Париже, а потом перевели сюда. Теперь все хорошо, я могу не волноваться. Да меня это и не волновало, во всяком случае если и волновало, то не это. Я продолжал настаивать: «Ну, а раньше? Что же все-таки было раньше?» Она ответила: «Ничего».

А как раз это-то мне и хотелось понять, выяснить, что значит «ничего», за которым стоят годы, прошедшие между нашим разрывом и сегодняшним днем; годы, погрузившие в неизмеримое одиночество это тело, словно уже ушедшее из жизни.

Да нет же! Все осталось по-прежнему. Даже говорить с Кружевницей мне было так же трудно, а она, слушая меня, замыкалась в еще более глубоком молчании. Внешне она стала иной, но я чувствовал — по мере того как просыпались во мне воспоминания,— что Кружевница по сути своей не изменилась. Как и прежде, она словно отсутствовала, сидя рядом со мной. И казалось, ее совсем не огорчало то, что она находится в этой больнице (правда, и раньше я никогда не видел, чтобы ее что-либо огорчало). Просто она была чужой, иной, пленницей — и даже не больницы и не своей «болезни», а того далекого мира, в котором жила всегда. Быть может, в этом и заключалось ее безумие?

Я сидел и размышлял над этим «ничего», произнесенным Кружевницей, пытался несмотря ни на что заполнить его романами, историями вроде нашей. Сколько же их было, этих «ничего», не вызвавших

у нее, вероятно, ни эмоций, ни сожалений и пришедших, должно быть, к одному и тому же концу? Все остановилось в тот день, когда Кружевница перестала принимать пищу и отвернулась от уродливого высохшего родника, который подсовывала ей жизнь. Она сама отсекла себя от мира — окончательно и бесповоротно. До сих пор особенности натуры отделяли Кружевницу от окружающего, а теперь она по своей воле отказалась от него. Отказалось ее тело — молча, искренне.

И теперь мир Помм — это корпуса психиатрической клиники, история болезни, свидания с посетителями в полутьме под деревьями в отведенное для этого время,— так в одиночество Кружевницы вторглось одиночество другого рода. В ней уже появилась та застенчивость, приниженность и вежливость — главное, преувеличенная вежливость, которая отличала здешних больных. К тому же время от времени спокойную полутьму парка вдруг разрывал белый силуэт санитара, быстро и бесшумно шагавшего куда-то.

Я спросил Кружевницу, начала ли она хоть теперь есть. Она загадочно улыбнулась и достала из кармана небольшой кошелек, куда складывала таблетки, которые она ухитрилась не проглотить. Вот это и есть ее еда, сообщила она мне. Я стал убеждать ее — глупейшим образом,— что надо принимать все, что прописывают.

Мимо прошел человек, на секунду задержав на нас внимательный взгляд.

— Это доктор,— сказала Кружевница,— он как раз меня и лечит.

Глаза доктора встретились с глазами Кружевницы, потом он перевел тяжелый взгляд на меня (быть может, он, как и я, искал виновного?) и отвернулся. Но тут Кружевница поднялась.

— Я хочу познакомить тебя с доктором,— неожиданно весело сказала она.

Мы снова очутились на курорте. Вроде как в отпуске. И меня сейчас представит доктору одна из отдыхающих. А таблетки, лежавшие в ее кошельке, в конце концов не что иное, как дань светским привычкам,— все равно что пить воду из серного источника, заниматься болтовней под сенью кедров, прогуливаться по парку, играть в бридж в гостиной отеля.

Кружевница сделала было несколько шагов следом за врачом и тихонько окликнула его. Но врач даже не обернулся,— он продолжал свой путь, точно и не видел и не слышал Кружевницу. Он вновь стал психиатром, стражником. Бросать пищу животным запрещено. И Кружевница вернулась на скамейку, вернулась в свою клетку, под стекло.

Я спросил ее, не чувствует ли она себя здесь несчастной, хватает ли у нее терпения. Она заметила, что я в первый раз задаю ей такой вопрос. Наверное, она была права. Но почему она так хорошо помнит все, что касается меня, нас обоих? Она в мельчайших подробностях описывала прогулки, которые мы совершали когда-то вместе. В ее памяти поразительно точно запечатлелось все — и ex-voto, которые мы видели в часовне, и корабли на гобеленах, и история Вильгельма Завоевателя. А я-то всегда считал ее рассеянной, невнимательной! Значит, все это было ей дорого?

Меня охватило томительное чувство вины; мне показалось, что безумие Кружевницы, ее худоба, пребывание здесь, в этой темнице для душевнобольных — все это моих рук дело.

Я попытался заглушить в себе это чувство, стал расспрашивать Кружевницу о мужчинах, которых она узнала после меня. Она сказала, что их было много; она рассказала мне о других комнатах, где

она жила с ними, о других прогулках и даже о далеких путешествиях.

— Я ездила в Грецию, ты там не бывал? Мы добрались до самых Салоник, представляешь себе?

И тревога, поднявшаяся было во мне при мысли, что я, возможно, был единственным в ее жизни мужчиной, стала мало-помалу стихать. Несколько секунд Кружевница смотрела на меня с выражением почти материнской нежности. Мне показалось, что она догадалась о моих мучительных сомнениях и пожалела меня.

Послесловие

На светлом холсте Яна Вермеера из Дельфта изображена юная мастерица, поглощенная своим рукоделием. На переднем плане картины — ее проворные руки, подушечка с коклюшками. Лицо Кружевницы, округлое, милое, исполненное внутренней гармонии, как бы отгорожено от зрителя опущенными веками — она вся ушла в себя, в свою работу, в свою грезу. Подобно Вермееровой Кружевнице, героиня повести Паскаля Лэне Помм выражает себя только на языке «рукоделия»: убирает, моет посуду, шьет, штопает. Ее сокровенная сущность не выявляет себя ни в слове, ни во взгляде. Ее красота подобна непрозрачному драгоценному камню, лишенному блеска, красота «безупречно непроницаемая». Красота подлинного искусства.

В «Кружевнице» нет прямой политической злободневности, как в предыдущем романе П. Лэне «Ирреволюция», написанном под свежим впечатлением майских событий 1968 г. во Франции, активным участником которых был и сам автор. Сюжет «Кружевницы» нарочито банален — заурядная, не раз описанная в литературе история короткого романа молодого буржуа (или дворянина) и девушки из народа, которую эта любовь так или иначе губит, тогда как герой о ней скоро забывает. Тривиальность того, что произошло с Помм и Эмери де Белинье, подчеркивается в повести своего рода «дублем» — рассказом о подобном же эпизоде в жизни самого повествователя.

Автору повести, однако, сама заурядность житейской ситуации, положенной в основу фабулы, интересна именно тем, что она позволяет выявить некие общие закономерности социально-психологического порядка. Здесь его (как, впрочем, и в предыдущей книге) занимает непреодолимость «языкового барьера», играющего, как ему кажется, в современном обществе роль античного рока. Перемещая конфликт своей повести из фокуса прямой политической проблематики на периферию частных отношений, Паскаль Лэне не только не мельчит, не суживает значимость поставленной им проблемы, но, напротив, сообщает ей бо́льшую глубину и объемность.

Преподаватель философии Сотанвильского техникума, от лица которого велось повествование в «Ирреволюции», тщетно пытался преодолеть «языковой барьер», проникнуть во внутренний мир своих учеников — он мог лишь догадываться, что этот мир существует. Рассказчик же «Кружевницы» видит Помм не только извне — глазами Марилен или Эмери де Белинье, но и изнутри, ему доступно то, что недоступно и самой Помм. И оттого он так свободен в развитии им традиционного сюжета, переходит с иронической интонации на лирическую, прерывает порой ровный ход повествования своими предположениями, догадками, размышлениями о нераскрытых возможностях своей скромной героини.

Трагическая «вина» Помм — ее естественность в мире, где все отношения извращены, регламентированы социальными условностями, стереотипами поведения и оценки, будь то дешевые стереотипы «массовой культуры», которым поклоняется Марилен, или стереотипы «высокой» элитарной культуры, сквозь призму которых все видит, в которые обращает все с ним происходящее Эмери. Помм же непосредственна. Она не только не знает, как выгоднее «подать» себя, но и самая мысль о показном, обдуманном, рассчитанном поведении совершенно чужда ее натуре. В ней все естественно — и ее красота, не укладывающаяся в модные стандарты, и ее округлость, и ее румянец, и ее не ведающая себя душа.

Но сама Помм — не случайно она прозвана Яблочко — не может, как и Природа, познать себя, ей не дано для этого языка. Единственный язык, которому обучена Помм,— это все тот же язык стереотипов, так удачно используемый для своих «практических» целей Марилен. Только Помм он ни к чему, ибо это язык, не пригодный для самопознания,— напротив, он для того и создан, чтобы жить на поверхности, напоказ, расплачиваясь за это душевной пустотой, никчемностью. Однако все это ведомо лишь автору — отсюда его ирония, когда он говорит о Марилен, этой законченной, совершенной модели «массовой культуры», словно сошедшей с обложки иллюстрированного еженедельника или рекламного буклета, или об Эмери де Белинье, будущем архивариусе, засушенном образчике культуры элитарной, в конечном счете столь же бесплодной, как и псевдокультура парикмахерши. Отсюда же глубокая серьезность, проникно-

венность повествования о Помм, о Кружевнице, для которой нет места в мире ложных ценностей, которая должна в этом мире погибнуть.

Сама Помм ничего этого, разумеется, понять не может. Она живет на стыке, на грани двух непримиримых миров — мира естественной человечности и мира мнимых, искусственных норм, навязанных человеку обществом. Ее сознание, приемлющее эти нормы (а как может быть иначе, если Помм не дано языка, чтобы проникнуть в себя и противопоставить то истинное, что есть в ней, тому ложному, что ей навязано извне?), подобно кривому зеркалу. Оно возвращает ей собственный облик искаженным, уродливым — ведь он не соответствует стереотипу общепринятого. И это, внушенное извне, ощущение своего безобразия, своей ненормальности отнимает у Помм жизненные силы, лишает ее способности бороться за свое чувство, отстаивать свою правоту, приводит ее к безумию. Парадоксальность ее судьбы в том, что именно душевная полнота оказывается ненормальностью в опустошенном обществе, именно душевное здоровье обрекает Помм на прозябание в приюте для душевнобольных, губит индивидуальность, которая не может осознать и выразить себя в естественных для нее формах.

Но какова же во всем этом роль Эмери де Белинье, этого представителя Культуры? Казалось бы, знание, опыт соприкосновения с Прекрасным должны были помочь ему понять и оценить Помм. Но этого не случилось.

Иронический взгляд автора «Кружевницы» на Эмери де Белинье, этого потомка старинного дворянского рода, студента Института архивов и будущего хранителя культурных ценностей, вовсе не означает иронического отношения к самим этим ценностям: Паскаль Лэне отрицает только культуру склерозированную, «овеществившуюся» (даже книги могут превратиться в вещи — и превращаются в них на столе Эмери); он отрицает мертвый язык культуры, которая, отгораживаясь от жизни, обрекает себя на бесплодное, музейное, архивное существование.

В противоположность Помм, Эмери де Белинье владеет Словом — он умеет все назвать, найти всему должное место, свой ящичек, свою этикетку. И этого, вероятно, вполне достаточно, чтобы пожать те академические лавры, о которых он мечтает, и даже для того, чтобы стать писателем — из тех, что скользят по поверхности вещей. Но живая душа Помм не укладывается в готовую формулу, в книжное определение — и она непостижима для эрудита, раздражает его своей неуловимостью, своей несхожестью с образчиками, хранящимися в его культурном архиве.

Эмери влечет к Помм чувство, подсказывающее ему, что в этой безыскусной, простодушной девушке есть нечто незаурядное. Но он не умеет «просто любить, без суждений и сентенций». Она же ничего не может ему подсказать, объяснить — язык Помм, язык «рукоделия», столь же непонятен для Студента, сколь чужд Кружевнице словарь архивариуса.

Эмери де Белинье отнюдь не плакатный буржуа, которого интересуют только деньги, вещи, комфорт. Паскаль Лэне не случайно выбирает своего героя из вымирающей породы дворянских интеллигентов: он уходит от вульгарной, левацкой постановки вопроса о Культуре как носительнице буржуазной идеологии, выводит эту проблему за рамки сиюминутной журнальной полемики. Дело в том, что Эмери владеет не культурой, но лишь омертвелой ее шелухой, а в сотворении живой плоти культуры извечно принимали участие люди, подобные Кружевнице, рукодельцы, безымянные строители соборов — тех самых творений, которые будущий архивариус может только назвать и классифицировать. Сама того не зная, Помм сопричастна культуре. И именно поэтому она — предмет искусства.

В этом смысле повесть Паскаля Лэне полемически заострена против того направления современного западного искусства, которое отказывается от проникновения во внутренний мир человека, как от чего-то безнадежно устаревшего, «насквозь буржуазного». Литература не может быть «игрой в бисер»,— отказываясь от человека, она не только обрекает себя на иссякание, но и укрепляет «языковой барьер» между теми, кто владеет ее мертвой буквой, и теми, кто обречен на немоту, на слепоту, теми, кого принято называть «нищими духом», но кто несет в себе его подлинные сокровища.

Паскаль Лэне, один из самых талантливых французских писателей своего поколения,— убедительный пример творческого преодоления не только «нового романа» с его принципиальным отказом от «воспроизведения» реального мира, но и тенденции изображать этот мир как торжество вещей, обращающих человека в своего раба и свое подобие, в вещь среди вещей.

Автор «Кружевницы» не смягчает остроты противоречий. Трагическая судьба Помм свидетельствует о том, что человеку с его живым чувством невозможно существовать в мире мертвых номиналов культуры, как массовой, так и элитарной. Но при этом повесть не оставляет сомнений: подлинно человеческое, как бы глубоко оно ни было загнано, в конечном итоге непреоборимо. «Что бы ни произошло с Помм, Эмери в еще большей степени труп, чем она»,— утверждает автор и именно поэтому, говоря о Помм-Кружевнице как о «нерасшифрованном послании», уточняет: «Пока еще нерасшифрованном», «в р е м е н н о нерасшифрованном».

Недаром «Кружевница» была удостоена в 1974 году Гонкуровской премии, ибо, по словам президента академии Гонкуров известного французского писателя Эрве Базена, академия ставит своей целью поощрять реалистические произведения.

Л. ЗОНИНА

Молодые поэты Японии

Перевод с японского А. ДОЛИНА

ФУДЭ ФУДЗИБАРА

Ты не должен молчать!

Ты не должен молчать!
Промолчишь —
разорвется, не выдержит сердце.

Ты не должен молчать!
Назови имена
посягнувших на душу твою.

Ты не должен молчать!
Промолчишь —
от себя отречешься.

Ты не должен молчать!
Назови имена
посягнувших на совесть твою.

Ты не должен молчать!
Призывая хозяев к ответу,
грозный голос возвысь,
голос праведной ярости нашей.

Ты не должен молчать!
Промолчишь —
и солдатскую форму наденешь.

Пусть услышат наш клич
все, кто верит в победу,
все, кто видит зарю
обновленного мира.

Ты не должен молчать!
Промолчишь —
и под пулей бесславно погибнешь!

Ты не должен молчать!

ТОСИО ТИКАНО

С войной я близко не знаком...

Война — она всегда
намотана на ролик.
Война — она всегда
раскручивается с кассетой,
разворачивается на 70-миллиметровой пленке
и оживает на экране.
Война — она всегда
пропущена через проектор,
знаете, такой, 14-дюймовый.
Не сомневайтесь,
когда случится война,
я непременно увижу ее в кино
или, по крайней мере, в телепередаче.
Скажем, развалюсь поудобней в кресле,
подвинусь поближе к жаровне...
А без этого
как же смотреть на войну?

Вот, к примеру,
на экране Тосиро Мифунэ[1] или Джон Уэйн[2],
Ну там
кто-то нападает, кто-то защищается,
а я жую резинку
да похлопываю рукой по колену.
Или вот —
идет вьетнамская хроника.
Я, конечно, сперва пропущу стаканчик,
а уж потом стану возмущаться.

Война — она всегда
намотана на ролик...
А выхожу из кино —
разгуливают по улицам
точно такие же солдаты,
и в порту стоят
точно такие же авианосцы.
Вроде бы
экран давно погас,
а самолет все ближе, ближе.
То ли он на заправку,
то ли на боевой вылет —
словно знакомый кадр
с той самой ленты,
что крутилась в зале...

---

[1] Тосиро Мифунэ — японский киноактер.

[2] Джон Уэйн (Мэрион Айкл Моррисон) — американский киноактер. Один из постановщиков и исполнитель главной роли в лживом фильме «Зеленые береты» (1968), прославляющем преступные действия военщины США во Вьетнаме.

Рассказы португальских писателей

ВЕРЖИЛИУ ФЕРРЕЙРА

Письмо

Как никогда, ты нужна мне сейчас, как никогда, я жду тебя. Если бы ты пришла... Дом стоит среди оливковых и фруктовых деревьев. Неторопливо над его крышей проходит время, оставляя свои приметы: весной — цветущие яблони и желторотых цыплят во дворе, летом — дивные утра, осенью — золото созревающих хлебов. Я вспоминаю эти утра, прохладный блеск воды в душные июльские ночи и трепет земли в предрассветный час. Когда я уезжал, мой отец сказал мне:

— Возвращайся.

А мать молчаливо глядела на меня, покорная и в то же время безмятежно-спокойная, как будто судьба моя была в ее руках или она по опыту знала, что в этой жизни чему быть суждено — родиться, уехать, умереть, — того не миновать.

— Возвращайся, — повторил отец.

И вот я вернулся, вернулся этим зимним вечером, когда круг жизни почти замкнут. Я открываю двери опустевшего дома, открываю окна и веранду. С наступлением темноты травы становятся высокими, а оливковые деревья темнеют. На сырой земле около дома лежит бочарный обод, заржавевшая мотыга без ручки, лейка. Мой отец любил землю. И я помню, как помогал ему резать подпорки для виноградной лозы и носить воду для поливки лука. Мать смотрела на нас с веранды, и сердца наши молча полнились теплом взаимопонимания.

Сколько я пережил, выстрадал, передумал. А теперь все, чем жил и дышал эти годы, кажется мне пустым и никчемным. Как видно, кто-то задолго до моего рождения предопределил мою судьбу, поставив передо мной трудную задачу жизни. Когда я приступал к ней, другие, те, что постарше, были уже у финиша. Сегодня я завещаю ее идущему на смену молодому поколению. Меня же сейчас из всего, что было дано в ее условии, волнуешь только ты и твой вопрос, который до сих пор звучит в моих ушах:

— Вернешься ли?..

Я вернулся. Растапливаю камин, и пламя оживает как память прошлого. Тишина будто в былые годы, когда не было нужды в разговорах и уже одно то, что мы рядом, было счастьем. Я тяну свои руки к огню, всматриваюсь и вслушиваюсь в тишину. От тепла кровь приливает к пальцам, и они краснеют, точно угольки в камине. Ты говорила:

— Никто не знает своих рук. Чаще знают руки других. Лучше бы твои, такие ласковые, остались со мной.

Удивительны зимние ночи. Безмолвны. Только собаки всю ночь напролет до хрипоты лают в соседских дворах. Вот и сейчас одна никак не умолкает, старается сказать последнее слово. Когда-то и у нас в доме был пес. Я нашел его дождливым утром насквозь промокшего и дрожащего у порога кухни. Мать не любила собак:

— Пачкают, грызут все подряд.

Я обсушил его, дал кусок хлеба, дал имя. Мать смирилась. Хороший нюх сделал его помощником на охоте. Однажды... Как? Никто не знал. Его подстрелили. Это была легавая собака с человечьими глазами.

Пламя опадает. Пирамида из тлеющих угольков рушится. Лай наконец стихает. Ни луны. Ни ветра. Только звезды мерцают на черном бархате неба. Если бы ты пришла... Я, бесконечно усталый от пережитого, представляю тебя такой же тихой и значительной, как этот час на исходе ночи. Взываю к тебе после стольких канувших в вечность лет. У тебя под глазами лежат темные круги, твое присутствие согревает как ласка. Но тщетно, тщетно. А может, нет, может... Может, я смею надеяться на ответное чувство, которое я хочу увидеть на твоем лице, на то чувство, которое я пронес через жизнь и сохранил в своем сердце, диктующем мне сейчас эти строки? Рядом с камином стоит глубокое кресло с подлокотниками. В нем любила сидеть моя мать. А отец — в том, в котором сейчас сижу я. Холодными ветреными вечерами они молча сидели здесь, смотрели на огонь и дремали. Ты говорила:

— Им не о чем разговаривать. Все сто раз говорено и переговорено!

Я снова открываю дверь на веранду, и холодный воздух освежает мое пылающее лицо. В глубине двора раньше росло фиговое дерево. Мать обычно развешивала веревки с рыбой на его ветвях. Я же качался на этих веревках.

— Смотри, сломаешь дерево. Вон уже и веревки оборвал.

В одну из суровых зимних ночей дерево погибло. Но мать всегда говорила, что случилось это потому, что я на нем качался.

Сколько воды утекло с тех пор, но память моя хранит и оживляет все в этот долгий, волнующий душу тишиной час ночи, и я взываю к тебе. Я смотрю на мерцающие звезды, которые посылают свой свет на забывшуюся сном мерзлую землю. И думаю: «Они хотят мне сказать что-то значительное, что-то предсказывают. Что-то должно произойти!»

— Да, надежда — лучшее, что есть у нас в жизни.

Это говорила ты. Не потому ли моя надежда окрашена в цвета усталости и отречения. Ведь все, о чем я мечтал, что хотел видеть цветущим, все новое, что увлекало меня, захватывая целиком, без остатка, волнуя кровь, заставляя хрипнуть от крика, дрожать от злости, плакать и радоваться, — все, абсолютно все растворилось, исчезло, оставив одно-единственное — желание припасть к твоей теплой груди, в которой бьется отзывчивое сердце. О, если б завтра, проснувшись рано утром, после еще одного никчемно прожитого дня или еще многих ночей и дней, что мне отпущены небом, увидеть тебя хлопочущей у очага, почувствовать ни с чем не сравнимые запахи родного дома... Если б завтра ты села в глубокое кресло с подлокотниками, что стоит рядом с камином, и мы, забыв слова, молча сидели друг подле друга и смотрели на огонь... Смотрели до тех пор, пока наконец не сомкнулись бы наши веки.

Звезда

Однажды в полночь он увидел ее. Это была самая красивая звезда на небе, и светила она особенно ярко, когда появлялась над колокольней. И почему ее еще не украли? Ведь даже он, маленький Педру, если б захотел, мог бы достать ее: стоит только руку протянуть. Но, если говорить правду, он не знал зачем. И все-таки она была очень красивая, и ему хотелось такую. Может, он выпустит ее дома, может, спрячет на груди. А может, отдаст матери — пусть воткнет в волосы. Ей пойдет звезда в волосах.

В эту ночь он решился. Лег он, как обычно, как ложился каждый день. Мать унесла свет, но спать он не стал. Это было трудно, потому что он хотел спать. Чтобы не заснуть, Педру несколько раз сел на кровати, потряс головой, сказав сну свое твердое «нет!». Когда же по его расчетам мать и отец уже спали, он потихоньку открыл окно и спрыгнул на улицу. Окно было почти на уровне земли. Но даже если бы оно было высоко, он без труда преодолел бы эту преграду. Ведь с семи лет он лазил по деревьям, особенно в ту пору, когда птицы обзаводились потомством. Педру интересно было посмотреть гнезда, яйца или только что вылупившихся голых, неоперившихся уродцев с большими раскрытыми клювами. Ну, а если еще не время было птицам высиживать птенцов, он развлекался иначе: лазил по горам, прыгал по оврагам или играл дубинкой.

Оказавшись на улице, Педру со всех ног бросился к церкви. Бежал он быстро потому, что за ним по пятам бежал страх, и еще потому, что холодно было ногам: босой он был. Церковь стояла на самом высоком месте в деревне, а сама деревня стояла на горе. Так что бежал он все время вверх, в гору. Тяжело, но все же добрался — и теперь был у цели. Он посмотрел на звезду: она сверкала спокойно, ободряя его, будто ждала. «А вдруг,— подумал он,— дверь, ведущая на колокольню, заперта?» Педру решил проверить. Колокольня была очень высокая, и подняться на нее можно было, только войдя в дверь, что выходила на улицу. Легонько он толкнул ее, дверь подалась. Педру был удивлен, и не только этим. Раз дверь открыта, то колокола не воруют, потому что они тяжелые. А звезды? Неужели никому не пришло в голову... Это так просто. Он был доволен, что дверь оказалась открытой, и на скрип ее не обратил никакого внимания, даже не сообразив, что кто-нибудь мог слышать. Потом — испугался. Еще раз тихонько толкнул ее, она опять скрипнула. Слабо, еле слышно. Но Педру в полной тишине казалось, что она скрипит на всю

округу. Он замер. Холодный пот выступил у него на лбу. Дверь теперь была приоткрыта. Оставалось решиться и войти в нее. Осторожно, боком, чтобы она опять не заскрипела, он проскользнул внутрь. Было темно. Он, конечно, представлял, что здесь темно, но вообразить такую кромешную темноту просто не мог. Пахло мышами, воском и гнилью. Вперед он шел на ощупь. Холодные камни, к которым он прикасался руками, пугали его, как что-то мертвое. А те, по которым он ступал ногами,— нисколько: он был босиком, без ботинок. Что же тут особенного? Дойдя до первой ступеньки, он стал подниматься вверх. От тяжелого запаха начало поташнивать. Но поднимаясь все выше и выше, он уже чувствовал идущий сверху свежий воздух. Оказавшись на последнем повороте, который делала винтовая лестница, он вдруг, взглянув вверх, увидел черное гладкое небо. И звезды. Эти он и раньше видел, и не однажды. Он знал, что их достать невозможно. На звоннице он решил перевести дух. Подтянул спадавшие штаны. Здесь были два больших колокола и один маленький. А рядом с ними зияла черная дыра. Теперь он должен был подняться по совсем узкой лестнице, а потом еще по одной, железной, идущей снаружи, с которой хорошо был виден церковный двор. Но когда полез по ней, вниз не смотрел. Только вверх, на звезду, которая теперь была особенно хорошо видна. Когда же и эта лестница кончилась, Педру увидел, что до звезды ему не дотянуться. На четвереньках он стал карабкаться выше, то подтягивая, то выпрямляя ноги, как лягушка. Колокольня заканчивалась каменным шаром с вделанным в него железным прутом, на котором сидел петух, указывающий страны света. Уцепившись за прут, Педру понял, что должен взобраться на петуха. И взобрался. Осторожно, очень осторожно — ведь тот качался под его тяжестью. Оседлав петуха, Педру крепко обхватил ногами железный прут. Теперь руки его были свободны. Петух качался, но Педру не смотрел вниз. Только крепче сжал ноги и, опершись на левую руку, правой дотянулся до звезды и взял ее. Это было не трудно: она не была прибита. Педру сунул ее за пояс штанов — карманов у него не было — и стал спускаться. Очень досадно будет, если теперь она выскользнет и, упав на камни церковного двора, разобьется вдребезги. Поэтому он решил взять ее в зубы. Но и тут он все время боялся, что уронит ее, и в особенно трудных для спуска местах что есть силы сжимал зубы. А став на твердую землю, он побежал домой. Но не быстро, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться звездой. Она была прекрасна. Чем-то напоминала светлячка, но больше, значительно больше. Да нет, совсем другая. Теперь Педру это видел. И вдруг он усомнился и, повернувшись назад, решил проверить, действительно ли та звезда в его руках. Да. Это была та звезда. Потому что на ее прежнем месте зияла некрасивая черная дыра, очень похожая — чем именно, он не знал — на ту, которая появилась у него во рту, когда выпал зуб. Подойдя к дому, он влез в оставшееся открытым окно и лег в постель. Какое-то время он любовался звездой, держа ее в руках, но потом спрятал ее в коробку и крепко заснул.

Проснулся он поздно. Мать даже удивилась, что он так заспался. Впрочем, ничего особенного не было: кто скачет целый день, должен же выспаться. Но вдруг Педру закричал на весь дом не своим голосом. На крик прибежала встревоженная мать, не понимая, что с ним такое могло приключиться. А Педру, до конца не проснувшись, бормотал:

— Украли! Украли!

Мать, конечно, попыталась узнать, что же у него украли. Но тут он умолк. И она, решив, что ему приснился дурной сон, сказала:

— Давай-ка вставай. Совсем заспался. День на дворе!

Но то не было дурным сном! То было явью. Как только Педру проснулся, он сразу же открыл коробку, чтобы посмотреть на звезду. Ее не было! Вернее, была, но не та, а совсем другая, очень похожая на все звезды, сделанные из жести. И тут ему пришло в голову, что кто-то, пока он спал, подменил ему звезду, не иначе. Ну что еще можно было подумать, увидев такое. Правда, она поблескивала. Так ведь и жестяные звезды блестят, особенно днем, когда светит солнце. Как раз так, не больше, и блестела она этим утром. На солнце все блестит — это ни для кого не секрет. А вот вчера ночью звезда излучала свой собственный свет. Но Педру ничего не сказал матери о звезде, потому что был уверен: задаст она ему трепку. А отцу и подавно — подбавит. И Педру молчал и весь день сидел дома грустный: бегаешь и прыгаешь, когда тебе весело. К еде, которую поставила перед ним мать, он не притронулся.

Она заволновалась:

— Да уж не заболел ли ты? Что с тобой?

Педру очень серьезно сказал, что у него болит голова. Но у отца на этот счет были свои соображения. Видно, напроказничал, и не сошло с рук. И он спросил его:

— Ты что-нибудь натворил или собираешься?

Покраснев до корней волос под пристальным взглядом отца, Педру принялся за еду и съел все подчистую, чтобы скорее отстали.

И вот вечером, когда мать, уложив Педру, ушла и унесла свет, оставив мальчишку одного, случилось невероятное. Мать велела Педру спать, но сон не шел к нему. Ну а так как ему не спалось и он устал ворочаться с боку на бок, он открыл глаза и лежал с открытыми глазами. Тут он заметил льющийся из-под кровати свет. Педру испугался и уже было хотел закричать не своим голосом, как вспомнил о ней, о звезде. И в самом деле, свет исходил от нее. Он в этом убедился, как только вытащил коробку, крышка которой оказалась приоткрытой. Открыв ее, Педру увидел свою звезду. Она сверкала так же, как вчера ночью, когда он принес ее домой. Осторожно вытащил он ее из коробки, и вся комната наполнилась светом. Так со звездой в руках и сидел Педру до тех пор, пока глаза его не стали слипаться. Тогда он, как и в прошлый раз, убрал ее в коробку. Проснувшись чуть свет, он опять решил проверить, на месте ли она. Она была на месте. Но не светилась. Тусклая, со ржавчиной по краям. Зачем ему такая? Ведь даже та, что украшала носилки в дни церковных процессий, или те, которые он иногда находил на улице, сделанные из серебряной бумаги от шоколада, и то лучше. Его бросало то в жар, то в холод от этих раздумий. Неужели это всего-навсего ничего не значащая безделка? Он несколько раз открывал и закрывал коробку, надеясь увидеть звезду сверкающей. Но тщетно. Она была жалкой и ржавой. И только вечером, когда Педру лег спать и мать унесла свет, он вытащил коробку из-под кровати и застыл от изумления: сквозь щели настойчиво рвался яркий свет. Он открыл крышку, и в комнате стало светло, как днем. Он был рад, хотя немного грустно, конечно, что звезда его светила лишь ночью, когда он спал.

На следующий день в деревне поднялся страшный шум. Такого не случалось, даже когда, заспорив друг с другом, мужчины пускали в ход ножи. Виновником был дряхлый-предряхлый старик, который, сидя на балконе своего дома — он давно уже не двигался,— стал громко кричать о каких-то странных, никому не понятных вещах. Всем было интересно узнать, что в конце концов его так встревожило, но никто не мог разобрать ни единого слова, потому что старик то и дело замолкал — от душившего его кашля или от усталости. Обратились

к Сигарре-гитаристу. Тот, поднявшись на балкон и приложив свое музыкальное ухо ко рту старика, сумел разобрать и понять вылетавшие из его уст невнятные слова. А когда Сигарра понял, он сам оглушительно заорал:

— Звезду украли!

Какую звезду? Обалдевшие люди переглядывались, пытаясь что-либо понять. Но никто ничего не понимал, а Сигарра, не объясняя, продолжал вопить, весь пунцовый от злобы, потрясая воздетыми к небу руками:

— Бандиты! Воры! Все равно дознаемся, какой такой сукин сын совершил это преступление. И в тюрьму, в тюрьму!

Педру тоже был там и, услышав все это, бросился бежать прочь. Отбежав на довольно приличное расстояние, он обернулся. Сигарра не унимался, а, наоборот, еще громче кричал, все больше и больше распаляясь.

Педру хорошо знал старика. Тот, сидя на балконе, частенько, бывало, подзывал его, чтобы поговорить с ним. Нравился ему Педру. Старик даже фантики ему дарил, а совсем недавно подточил острие волчка, чтобы он мог расщепить им волчок Руя — соседа, который все время побеждал Педру в игре. Но больше всего нравились Педру бесчисленные истории, которые знал старик. По правде говоря, тот знал не больше трех-четырех историй, но Педру они так нравились, что он мог слушать их без конца. Вот и выходило, что старик знал их очень много. Добрые были у старика глаза. Все в морщинках от старости, но добрые. Если бы не он, никто бы и не заметил пропажу. Да если бы и не спали, им некогда было смотреть на звезды — хлопот хватало и без них. А старик, тот не только не мог работать, но и спать не мог. Вот и коротал он свои долгие бессонные ночи, глядя на звезды. Только потому и обнаружил он, что нет одной звезды на месте. Конечно, кому же понравится, когда то, что считаешь своим, исчезает. Ведь все, кто днем работал, ночью, когда загорались звезды, спали. Но в такой-то жизни звездой больше, звездой меньше — не все ли равно?! И сеньор Антониу Говерну, очень богатый и очень уважаемый человек в деревне, тут же высказал вертевшиеся у всех на уме мысли:

— Нет, подумать только. Поднять такой шум из-за какой-то звезды! Не нашли ничего поважнее. По мне, пусть хоть все украдут, я не лишусь сна.

Но Сигарра стоял на своем, твердо убежденный, что это совсем не такой пустяк, как кажется:

— Вот уж нет, сеньор Говерну. Вот уж нет! Сегодня одна звезда, завтра другая. Звезды жизнь украшают — это ни для кого не секрет. А украли самую красивую. Могли бы взять похуже. Так нет, именно эту, самую красивую. Нельзя это так оставить, нельзя.

Сигарра говорил без умолку, приводя все новые и новые доводы и так возмущаясь, что очень скоро многие стали на его сторону. Потому что не может же человек возмущаться просто так, без причины. Матери Педру, говоря откровенно, было наплевать на то, что украли звезду. Звезд много, и кричать о пропаже одной звезды все равно что кричать о пропаже одной маслины. Потом, она только летом, после трудового дня, и то не каждый вечер, выходила на порог дома подышать свежим воздухом и смотрела на звезды. А чаще не смотрела. Какая нужда смотреть на них все время — раз видела, и хватит. Отец же просто смеялся: с ума, что ли, все посходили? У него украли мула, одну-единственную курицу, которая вот-вот должна была снести яйцо, горшок с коровьим навозом, который он целую неделю собирал, чтобы удобрить землю под капусту,— и никому ни-

какого дела! А тут звезда. Но так как он не хотел поддерживать этого не по заслугам спесивого Говерну и очень хотел уважить старика, приходившегося крестным отцом его жене, он тоже спросил, кто же этот прохвост, который украл звезду. За ужином только и разговоров было что о звезде. Педру делал вид, что ничего не слышит. Он, чувствуя себя виноватым, старался как можно скорее поесть и забраться под одеяло, чтобы его не видно и не слышно было. И коробку не трогал: не дай бог, мать и отец увидят звезду. А когда о ней все забудут — должны же когда-нибудь забыть, все забывается рано или поздно,— он снова будет открывать коробку и любоваться своей звездой.

Со временем о звезде забыли. Тогда-то он и открыл коробку, но чуть-чуть, чтобы не искушать дьявола.

Как раз этой ночью, когда уже все спали, мать вдруг вспомнила, что вроде она забыла пригасить огонь: не случилось бы пожара. На самом деле она его оставила таким, каким оставляла всегда, чтобы не ходить к соседке Питароте. Та обычно поднимала такой шум, когда к ней приходили за огнем, как будто по меньшей мере приходили за ее душой. Проходя мимо комнаты сына, она вдруг заметила под дверью яркую полоску света. Какое-то предчувствие охватило ее. Ей стало страшно — не решил ли сын подпалить дом. Ей хотелось поймать его на месте преступления и узнать, где это он раздобыл огонь, поэтому она тихо приотворила дверь и заглянула внутрь. Да так и застыла на пороге с раскрытым от изумления ртом. Педру сидел на кровати, а в руках у него была звезда. Лицо его светилось счастьем, руки, казалось, горели огнем. Мать не поверила своим глазам, но, видя восторженное лицо сына, пришла в ярость, подошла к нему и выхватила звезду. Но тут же, громко закричав, бросила ее на пол. На крик ее прибежал проснувшийся муж и застал обоих плачущими. Педру плакал, сам не зная почему. Скорее всего потому, что всем было безразлично, почему он плачет, а мать плакала от боли: на руке ее был ожог. Звезда же не разбилась. Она лежала на полу и заливала своим светом комнату. Мать, придерживая здоровой рукой обожженную, продолжала громко кричать. Пожалуй, слишком громко: могли услышать соседи, и отец решил положить этому конец, прикрикнув на них. Матери он сказал:

— Смочи руку уксусом и приложи соль. Утром поговорим.

Утром весь приход болтал о случившемся. И главное, болтали о том, что некрасиво так обманывать людей и называть вещи не своими именами. Потому что какая же это звезда? Ничего похожего. Спросили лудильщика, и тот подтвердил, что не звезда это вовсе. Она даже не из железа, а из какого-то странного, неизвестного ему металла. Теперь и сомнений быть не могло. Не звезда это, нет! Разве что поделка, годная как украшение на масленой неделе. И все хором подхватили, что на масленице она сгодится, хотя несколько минут назад никому это в голову не приходило. Тут с перепугу плачущий Педру сказал:

— Она же только ночью звезда! Только ночью!

Да, она была звездой только ночью, и Говерну, выдавая себя за человека знающего, сейчас же стал объяснять этим болванам, что звезды — это каждому известно — светят только по ночам. Только в полночь станет ясно, звезда это или не звезда и где ей положено быть. И вот в полночь вся деревня собралась на церковном дворе. А поскольку Антониу Говерну любил подавать пример, он позвал своего сына и сказал, что тот должен показать себя мужчиной, вернув звезду на место. Сын Говерну позвал в свою очередь Пананана, чтобы тот помог ему принести из магазина две лестницы. Педру стоял со звез-

дой в руках. Пананан пошел за лестницами. И вот, когда он принес их, сын Говерну, который то ли потому, что не поверил в эти бредни об ожоге, то ли потому, что забыл об этом, то ли потому, что торопился показать себя мужчиной, взял звезду из рук Педру и, взвыв от боли, выпустил ее из рук. Адским огнем обожгла она его. Педру успел ее подхватить: он боялся, как бы она не разбилась. Вот тут-то отец Педру, подняв руку, потребовал тишины. Когда все замолчали, он сказал:

— Мой сын взял звезду, он же должен и вернуть ее на место.

Все в деревне нашли его решение справедливым. Вот это отец, вот это рассудил. Педру молчал: ведь его никто не спрашивал. И так же молча со звездой в руках пошел он к колокольне. Все ждали, что он вот-вот появится там, на самом верху. И действительно, они скоро увидели его, когда звезда, как яркий костер, вспыхнула меж колоколов. Каждый был уверен, что Педру будет подниматься по лестницам, принесенным для сына Говерну. Отец крикнул ему снизу:

— Держись крепче за поручни, слышишь?!

Но Педру даже не взглянул на него и исчез внутри колокольни. Внизу все в ожидании замерли. И снова со звездой, теперь привязанной к поясу и освещавшей все вокруг своим светом, появился Педру. Спокойно, очень спокойно поднялся он до вделанного в каменный шар железного прута, потом стал карабкаться на петуха. Отец, стоя внизу, подбадривал сына. Все в голос вторили ему. И только мать, опустив глаза, призывала на помощь всех святых. И они помогли. Педру очень быстро оказался на петухе. Не торопясь отвязал звезду. Красивая, она сверкала в его простертой к небу руке. Он поставил ее на место. Все онемели от восторга. Только хриплый вздох, похожий на рев, вырвался из груди каждого. Но никто не заметил, что, оказавшись на своем прежнем месте, звезда вдруг стала не такой яркой, как была раньше. Почему?.. Может быть, потому, что ее испугал этот всеобщий вздох, а может... Может, потому, что нога Педру, когда тот спускался, соскользнула с железной лестницы и он, потеряв равновесие, широко раскинув руки, полетел вниз на булыжник церковного двора.

Все оплакивали его смерть. А Сигарра целый год носил траур. Он посвятил Педру несколько стихотворений, положил их на музыку и пел под гитару. С тех пор прошло много лет, а песни о Педру и его звезде еще поют. Звезда там, на своем месте. И теперь каждый знает эту звезду.

Всего лишь люди

Руки он сунул в деревянные башмаки, к культям ног прицепил резиновые полупротезы и на четвереньках, как в детстве, выполз на улицу. С лацкана его пиджака, напоминая орденские ленты, свисали, почти касаясь земли, лотерейные билеты. Жаркое солнце, ободряя, похлопывало по лопаткам и искрами рассыпалось на булыжной мостовой. Дарованную небом жизнь Шоурису видел и воспринимал как четвероногий: снизу вверх. На площади, где он, как правило, болтался весь день, ему встретились сапоги полицейского Жоакина.

— Опять из починки?

— Опять, Шоурису.

Согнув в коленях жалкое подобие ног, он сел на несуществующие пятки. Глубоко вздохнул, довольный, что какое-то время может

видеть мир как человек, и, окинув взглядом почти пустую площадь, как всегда, громко закричал:

— Одна тысяча пятьдесят один. Есть шанс выиграть пятьсот конто[1]. Во что же стала починка, Жоакин?

— Бешеные деньги. Косме дешевле чем за шестьдесят не чинит.

— Мерзавец. Но зато выглядят на все сто.

Опустившись на четвереньки, он двинулся дальше. Перед глазами промелькнули сапоги и трость судьи, босые ноги каких-то незнакомых ребятишек, а когда Шоурису увидел заскорузлые ноги приближающейся Фелисии, торговки рыбой, он снова принял вертикальное положение и закричал:

— Есть номер тысяча пятьдесят один!

Фелисия тоже кричала: «Покупайте дары моря», — но они даже не взглянули друг на друга. Она ненавидела Шоурису, а он никак не хотел расстаться с теплившейся надеждой и упорствовал.

Только ему одному известным и не раз испытанным приемом преодолел Шоурису ступеньку за ступенькой треклятой лестницы, которая вела к кафе Лазаря; но стоило Шоурису появиться на пороге, как со всех сторон в него полетели смачные плевки. Поспешно и молча, боясь схлопотать чего-нибудь похуже, он уполз под бильярд, считая, что дешево отделался, хотя игравшие в карамболь братья Сейшасы продолжали издеваться над ним, возмущаясь его присутствием. Время от времени, сидя под бильярдом, Шоурису оглушительно кричал: «Тысяча пятьдесят один». Торговец автомобилями Сантуш заглянул под бильярд:

— Эй ты, дьявол! Слышь, что ли?

— Слышу, сеньор Сантуш.

Шоурису окружили белые ботинки и острые кии. Сверху, с балкона, хитро улыбаясь, смотрел на него слуга. Сантуш сказал:

— Съешь за минуту пачку творога — получишь целую бутылку вина. Но пить будешь при нас, до дна. Идет? Не съешь — оплатишь расходы. Все! По рукам?

Кто-то начал подначивать:

— За минуту-то! Карапау съест две пачки. Так ведь то Карапау, у него челюсти что надо.

— Карапау поклялся, что украдет твои передние деревянные и задние резиновые конечности. Муха его какая-то укусила. Зол как дьявол.

Все притихли в ожидании потока бранных слов, который Шоурису тут же, зная, что доставляет им удовольствие, обрушил на Карапау:

— Пархатый черт с вшивой бороденкой, напялил кепку с лаковым козырьком и воображает. Подумаешь, автобусы моет. Работа какая! Лучше не нашел ничего?!

Не зная, что бы еще придумать пообиднее, Шоурису сделал довольно выразительный жест и умолк. Сантуш не отставал:

— Так да́ или нет? Ешь или не ешь?

— Я да не съем?! Было бы что есть.

Креста на них нет. Творог! Ведь этот подлый галисиец и понятия не имеет, что у Шоурису со вчерашнего дня во рту не было ни крошки. А тут творог!

Слуга принес пачку. Сантуш разделил его на две части, чтобы облегчить задачу, и, взмахнув рукой, засек время:

— Давай.

---

[1] Конто — португальская денежная единица.

Вначале все шло хорошо. Потом творог начал застревать в горле и идти обратно. Кадык перестал двигаться, как готовый заглохнуть мотор.

— Осталось двадцать секунд. Десять. Только десять!

Обозленный, Шоурису стал подталкивать рукой застревающую массу. Бесполезно.

— Все! Проиграл!— заорал Сантуш.

Всем так хотелось повеселиться, что один из Сейшасов, решив не упускать случая и доставить удовольствие собравшимся, поспешил на помощь Шоурису с кием в руке, намереваясь протолкнуть им остатки творога. Напрасно. Никто даже не улыбнулся.

— Проиграл — плати. Таков был уговор. Счастливо оставаться, сеньоры.

— Обожди, сеньор Сантуш! Обожди! — что есть мочи завопил Шоурису, давясь творогом. — Творог-то порченый. Он как клейстер.

— Творог нормальный. Это я ненормальный, что с тобой связался. Но теперь все. Кончено. Вот Карапау — да! Челюсти что надо, будь здоров. Недавно он съел полдюжины апельсинов с кожурой и косточками. И не охнул! Вот так-то! Верь не верь — дело твое. Ему есть чем похвастаться. Верно говорю. Эти соврать не дадут!— Сантуш полез в карман. Слуги заулыбались. — Плесни ему, чтоб отстал. Но знай, в последний раз.

— Клейстер ведь, истинный клейстер.

Сантуш подмигнул слуге, и тот принес большой стакан вина пополам с водкой. Шоурису это понял сразу. Но делать было нечего, да и выпить хотелось.

— Нет, так не пойдет! До дна, до дна! Вот хорошо. Счастливо оставаться, сеньоры. Прощай, Шоурису. С тобой все! Кончено. Помни!

— О, тысяча чертей, сеньор Сантуш! Я так старался...

Но Сантуш уже не слышал его. Он пулей вылетел на улицу, чтобы не упустить проходившего мимо Рошу, который никак не хотел покупать у него «форд» за сто конто. Шоурису дополз до скамьи, где сидел Карапау, греясь на солнышке и почесывая свои жесткие всклокоченные волосы. Сантуш и Роша, увидев их, тут же подошли к скамье и принялись за старое. Карапау пришлось обзывать Шоурису пауком, а Шоурису тупо, бесчисленное количество раз повторял, что Карапау уморил свою мать голодом. За это они оба получили по тостану[1] на водку. Но Шоурису уступил свою долю товарищу: сегодня его уже напоили.

— Есть тысяча пятьдесят один!

Он двинулся по направлению к мосту, но тут вдруг услышал: «Покупайте дары моря!» — и замер в ожидании, уставившись в землю, по которой вот-вот должны были пройти обутые в деревянные башмаки ноги Фелисии. Когда они оказались около его лица, он мгновенно принял вертикальное положение и просительно сказал:

— Фелисия, послушай...

Она обернулась:

— Чего тебе, жаба?

— Перестань, будь ласковей...

Фелисия прыснула со смеху. Шоурису даже обалдел от неожиданности и тупо, долгим тоскливым взглядом уставился на ее бедра. Мимо него пробегали собаки, некоторые задерживались около, обнюхивали лицо, задевали хвостом. Проехавшая мимо повозка

[1] Тостан — мелкая монета.

обдала пылью, а вол — теплыми брызгами навоза. Ну и жизнь. Свинство! Когда глаза его замечали мелькавшие у самого носа красивые женские ноги, ему совсем становилось худо. Стараясь отогнать наваждение, он кричал что было мочи:

— Тысяча пятьдесят один. Глядите таблицу! Глядите таблицу!

Вдруг уже прошедшие было мимо блестящие со шнуровкой сапоги остановились. Шоурису скользнул глазами по сапогам, полосатым брюкам, портфелю, в который опустилась рука его владельца.

— Полбилета.

— Пожалуйста, но с заходом в магазин.

И Шоурису, как обычно на четвереньках, пополз впереди покупателя по направлению к магазину, где продавались лотерейные билеты. Его фигура напоминала тележку, которую толкал идущий сзади. Спустя какое-то время Шоурису уже выкрикивал новый номер: 5702. На миг он остановился, прислонил голову к решетке моста и, глядя на ломаную линию гор и видневшуюся там, внизу, кривизну побережья, подумал в раздражении: «И чего эта дрянь ломается в конце-то концов? Подумаешь, красотка беззубая! Только два гнилых и торчат. Плоская, трухлявая доска! Не я буду, если за двадцатку не закину ей юбку на голову».

— Шоурису!

Он увидел альпаргаты[1] Карапау и очень удивился, что у того дрожат ноги. Шоурису поднял глаза: Карапау сгибался под тяжестью огромного чемодана.

— Что, работенка привалила?

— Да ну, дерьмо. Получу всего два мильрейса[2].

— Ишь, привык лодырничать. Даром денег не платят. Пять тысяч семьсот два! Есть шанс выиграть пятьсот конто. Ты далеко?

— Нет, тут рядом.

И Карапау пошел, с трудом передвигая дрожавшие от непомерной тяжести и напряжения ноги, почти невидимый за чемоданом. Вернулся он быстро. Принес две папироски и одну предложил Шоурису.

— Я сегодня ел творог на пари.

— Везет же. А мне приходится есть апельсины с кожурой. Однажды даже сухой коровий навоз с четвертушкой хлеба ел. Верь не верь — дело твое. Ты никогда не веришь. Спроси у Сантуша. Так бы он и заплатил за стакан водки, если бы я не съел это дерьмо.

— Скоро камни жрать будешь.

— И буду, Шоурису. Только, прошу, не говори, что я уморил свою мать голодом. Не делал я этого, нет.

— Ну, а что же мне тогда говорить, если именно это тебе не нравится?

— Прошу, не говори. Она была плохой матерью, но я не морил ее голодом. Работы, как всегда, не было...

— Мог бы продавать лотерейные билеты.

— Как же, держи карман. Это у тебя покупают — калека. Счастливчик. Повезло! И спать можешь на улице, никто не шуганет. Ну ладно, я пошел.

— Пять тысяч семьсот два! Есть шанс выиграть пятьсот конто. «Магазин удачи» вам предлагает выиграть пятьсот конто. Глядите таблицу!

---

[1] Альпаргаты — вид сандалий.

[2] Мильрейс — старинная португальская монета.

Только Шоурису и Карапау собрались разойтись в разные стороны, как опять к ним прицепились, стравливая точно собак. В арсенале Карапау, который он все время обновлял, было много бранных слов для Шоурису — «жаба», «паук» «голова скарабея». А у Шоурису только одно — «голодом мать свою уморил».

— Опять ты за свое. Опять говоришь, что я мать уморил голодом.

И вот однажды, когда Шоурису уже кто-то довел до бешенства, мимо его носа прошлепали ноги Фелисии. Всю жизнь привыкший сносить оскорбления, он вдруг, ослепленный гневом, утратил эту способность при ее появлении. Подняв руку с деревянным башмаком, Шоурису зло заорал, сотрясая воздух своим громовым голосом, обычно выкрикивавшим номера лотерейных билетов:

— Зови жабой своего дедушку, дрянь! Дерьмо собачье!

Неожиданно сорвавшаяся с уст Шоурису брань для всех Сантушов и Сейшасов была настоящей находкой. Все эти перебранки с Карапау порядком поднадоели, а тут нечто новое. Представление на любой вкус. Шоурису разряжал обойму копившихся всю жизнь оскорблений, и ему становилось легче. За это ему, как шарманщику, кто-то швырнул четыре монетки.

Теперь Карапау никому не был нужен. Появлялся ли он на площади, заходил ли в кафе, только Шоурису и замечал его. Да, пожалуй, только Шоурису и знал, что тот жив. Страсть Шоурису к Фелисии, став притчей во языцех по милости Сейшасов, приносила доход.

— Эй, Шоурису, приятель. Получишь пять крон, если три минуты будешь слушать, что я буду говорить.

— Давай сюда кроны.

— Не торопись. Сначала послушай! — Сейшас повертел перед носом Шоурису блестящие монеты. Завороженный их блеском, Шоурису сдержал себя и не выругался.

— Фелисия говорит, что у тебя не только ног нет, но и... А ты воображаешь...

— Идиотка! Ну, теперь я...

— Она еще говорит, что ее тошнит от одного твоего вида и что тебе нянька нужна, чтобы купать, как маленького.

— У, твою... Ну я...

— А вот Карапау ей по душе. Я сам их видел около одиннадцати на дороге, которая ведет к заводу.

Пропади они пропадом, эти деньги. Шоурису не может больше выносить эту пытку и, послав ко всем чертям собравшихся повеселиться, опускается на четвереньки и направляется к двери.

— Забери свои кровные, эй ты, дьявол.

— Сукины дети!

— Бери, бери!

Сейшас швыряет ему монеты, и Шоурису, умолкая, ловит их ртом на лету, как собака.

И вот в субботу, в день розыгрыша лотереи, радио объявило, что главный выигрыш пал на билет номер 1051. Шоурису быстро — правда, его все время заносило то в одну, то в другую сторону — обошел город в поисках блестящих сапог со шнуровкой. Обладатель счастливого билета был уже в «Магазине удачи» и справлялся о калеке, торговце лотерейными билетами, намереваясь вознаградить его. На это самое вознаграждение и какие-то сбережения Шоурису

купил инвалидное кресло на колесах, которым он ловко управлял с помощью ручки. Теперь он видел окружавший его мир как человек. Когда Шоурису, выкликая очередной номер лотерейного билета, появился на площади, ему попытались устроить «пышную встречу», но он даже ухом не повел, слыша их подначки. Сознавая перемену в своей жизни, он теперь не реагировал на злые шутки. Ему что-то сказали о Карапау, он пожал плечами. Что у него общего с неудачником Карапау, жалким обладателем кепки с лаковым козырьком? Ведь он, Шоурису, начал новую жизнь, ничего не имеющую общего с прежней. Он выбросил деревянные башмаки для рук и резиновые полупротезы. У него было кресло о трех колесах. Пожалуй, даже к Фелисии он изменил свое отношение: теперь, когда он видел жизнь как все люди, он не мог не заметить ее торчащие огромные гнилые зубы и тонкую ниточку злых губ. Как-то в сумерках они встретились, но на этот раз заговорила Фелисия:

— Что, Шоурису, разбогател?..

— Как видишь. А ты? Высохла, как сломанный сук. Если бы ты была благоразумна...

— Ты это о чем?

— Я тебе говорил. Ты не хотела...

Фелисия поставила корзину на землю. Спускалась ночь. Лотерейные билеты, прикрепленные к лацкану пиджака, трепетали на ветру, как флажки.

— Всему свое время, Шоурису. Ты ведь ни разу не сказал как положено. Хочешь жениться на мне?

Он посмотрел на нее долгим испуганным взглядом. Подумал и сказал:

— Жениться-то нет. Но помочь...

Фелисия живо повернулась и поставила корзину на голову:

— Дьявол тебя побери, паук несчастный.

— Чего орешь, дура. Слушай, что скажу.

— Только мне и дело, что тебя слушать. Прощай. Поздно уже.

Криво улыбаясь, Шоурису полез в карман. Фелисия сразу стала серьезной, огляделась по сторонам. Никого. Молча, на некотором расстоянии друг от друга, они стали спускаться вниз по дороге до поворота, где росли высокие заросли дрока. Здесь они заспорили. Упрямая Фелисия хотела получить плату вперед.

— Ишь, умная какая! Знаем эти штучки.

— Да ладно, ладно! Поторапливайся, и без тебя дел хватает.

Когда руки Шоурису уже были на земле, выхода не было, он сунул ей деньги. Вот тут-то Фелисию прорвало, она дала волю своей злобе: смех, оскорбления, издевки посыпались на голову Шоурису, а под конец взбешенная Фелисия толкнула кресло прямо на него. С большим трудом ему удалось вскарабкаться на кресло и двинуться в город. Он взмок от злобы и невероятных усилий.

На дороге братья Сейшасы наткнулись на бормотавшую что-то себе под нос Фелисию, но ничего не заподозрили. Не заподозрили они и тогда, когда следом за ней, прямо им навстречу, яростно крутя колеса, появился задыхающийся Шоурису. Он призывал на помощь ночную темноту и, всеми силами стараясь скрыть гнев и досаду, набрал воздух в легкие и бессмысленно во все горло заорал:

— Тысяча шестьдесят семь! Глядите таблицу!

ФЕРНАНДУ НАМОРА

Саботаж

Было раннее утро. Мертвенно-бледный неверный свет освещал землю, устланную опавшими листьями каштана; на востоке, на фоне разгорающейся зари, начинали вырисовываться контуры гор, и только река и выходившие на ее берег разверстые пасти галерей все еще были окутаны плотным туманом, лежавшим в долине. В это холодное утро появлявшиеся и исчезавшие фигуры людей казались особенно большими и мрачными. Когда я поднялся наверх, на горизонте театрально, как на сцене, вставал день. От табака во рту было горько, но усталость, чувствовавшаяся во всем теле, была безотчетно приятной, будто тело мое существовало само по себе, независимо от меня. Еще одна бессмысленно прошедшая ночь! И теперь, после нескольких бессонных часов, после сильного нервного напряжения, мне казалось странным, что рудник вот-вот может навсегда прекратить свое существование.

Когда-то он был во власти постоянных случайностей. Работы на руднике замирали из-за нехватки динамита и капризов природы. То целые месяцы стояла засуха и река, высовывая свой шершавый песчаный язык, убывала и останавливала обогатительные, вынуждая рабочих сидеть сложа руки или брать расчет. То зарядившие надолго проливные дожди разрушали плотины и мосты, уносили с берегов вырванные с корнями ивы и застигнутый врасплох скот и, заливая шахты, заливали штреки, в которых рушилась давно подгнившая кровля. Все нужно было восстанавливать, восстанавливать каждый божий день заново. Ни один из нас не был и не мог быть повинен в происходившем — это мы хорошо знали,— но когда шеф, собрав технический персонал, писал мотивированное объяснение случившемуся, мы чувствовали, что он выворачивается, хитрит, лишь бы в конечном счете виноваты оказались мы: «Засуха, нарушение режима добычи, поломка машин» и так далее и тому подобное. Сомнения исключались— ответственность целиком ложилась на нас. Но Лиссабон не сокращал расходы, молчал о руднике и его местонахождении. И это молчание, эта сдержанность угнетали нас больше, чем самая злая критика. Мы упорно делали все новые и новые съемки местности, брали новые пробы, чтобы хоть этим оправдать временный простой рудника.

Теперь же, когда все шло хорошо и богатые шахты Монсантелы давали постоянную прибыль, то и дело из строя выходили насосы. А когда выходили из строя насосы и в шахтах скапливалась вода, нужно было, не теряя ни минуты, принимать срочные меры, делать все возможное, лишь бы она не достигла горловины. В таких случаях в шахту на веревке опускался человек и с большим трудом, орудуя отсосом, поддерживал определенный уровень воды. В аварийном состоянии находились две шахты. В одной из них мы сделали водо-

сборник. Внизу несколько шахтеров откачивали воду, которую другие с помощью ворота поднимали наверх.

Всю ночь, хотя люди у ворота менялись, я бессменно дежурил возле шахты. От холода и нервного напряжения у меня не попадал зуб на зуб. Из щелей стоявшего неподалеку барака, где находился сторож, сочился ярко-оранжевый, почему-то раздражающий свет. Казалось, нас не охраняли, а следили за нами и нашей работой. Когда выпадала минута отдыха, шахтеры заходили туда, чтобы выпить чашку кофе, а то и рюмку водки или посмеяться над брюзжанием лежавшего на сене старого сторожа, которому наши вторжения не всегда нравились.

Однако не эта тяжелая ночь была причиной тому, что я вспомнил эту историю. Подобных ночей на руднике я провел не одну и не две, и впереди, как видно, их было предостаточно; признаюсь только, что все они оказались одинаково и неожиданно тяжкими, как тяжек был труд, возвращавший шахту к жизни. Все мы, работавшие на руднике, чувствовали себя отрезанными от внешнего мира, живущими на краю света и все время искали предлога для стычек, чтобы ощутить себя живыми, сохранившими свои привычки, желания, надежды. Наши эмоции требовали выхода.

Утро, как я уже сказал, стояло холодное, хотя резкого, обычно дующего из Испании ветра не было. И все же холод заставил меня спрятать руки в карманы и, постукивая нога об ногу, ходить вокруг спуска в шахту. Потом я тоже решил погреться в бараке. Когда я вошел, все находившиеся там с испугом посмотрели на меня. Я понял, что причиной было жесткое выражение моего лица. В этот самый момент я увидел рядом с собой Кандоласа. Он панибратски положил мне руку на плечо и твердо сказал:

— Бросьте, патрон. Это обычный саботаж...

Мне не нравился Кандолас. Рудник, по сути дела, напоминал сточную канаву: здесь можно было встретить кого угодно. И голодного крестьянина, сбежавшего из-за низких заработков с фермы в надежде, что эта работа окажется хорошо оплачиваемой, и оставшегося без средств к существованию актера, который пришел сюда, обегав все городские и провинциальные конторы, и обедневшего сеньора, не желающего унижаться и просить милостыню, и даже деклассированные элементы. Здесь были и бродяги, и убийцы. Кандолас, по моему мнению, принадлежал как раз к этой последней категории. По меньшей мере это был законченный бродяга. Я прилагал все усилия, чтобы рудник жил единой, дружной, большой семьей, не допускал несправедливости, подхалимства, жульничества. Каждому свой хлеб и право чувствовать себя человеком. Именно потому, что я вел себя естественнее и проще, чем мои коллеги, и предпочитал коротать долгие вечера в обществе проходчиков штреков и шахт, а не среди технического персонала, который собирался, как правило, на попойки в своей комнате, где играло радио, а может, почему-либо еще шахтеры уважали меня. И все-таки панибратское отношение Кандоласа — хотя именно с такими, как он, я старался держаться строго — коробило меня. Однако все отребье рудника одобряло его расположение ко мне, и частенько деревенские парни слышали: «Инженер Роша — свой!»

Я считался «своим». И работяги почтительно кланялись мне, не пытаясь разгадать эту загадку или, наоборот, надеясь, что и им выпадет счастье вступить в это таинственное братство.

Я ничего не ответил Кандоласу. Тем временем сторож, нацепив на длинную вилку кусок свиного сала, отправил его в огонь. От жара

в печи сало съежилось, как картон, и по вилке побежал, пачкая руки, жир.

— Сало... Что может быть лучше...— сказал сторож.

— Просто ты не знаешь ничего лучшего!— бросил кто-то.

Все улыбнулись. Я же, глядя на огонь и продолжая думать о том, что происходило за пределами барака, в шахте, никак не реагировал.

— Послушайте,— снова заговорил Кандолас,— на вашем месте я не обращал бы внимания...

Он говорил медленно, то и дело вставляя смешно звучащие для нас, португальцев, испанские слова и растягивая гласные.

Я не нашелся что ему ответить, а он, видя мое нежелание разговаривать с ним, тут же оставил меня в покое.

Мне было хорошо в бараке: запах человеческого пота, аромат кофе и жареного сала создавали приятную, умиротворяющую атмосферу. Я принялся смаковать маленькими глотками кофе, чувствуя, как постепенно мною овладевает усталость. Но я не мог позволить себе расслабиться, нужно было действовать; я встряхнулся, встал и пошел к двери. Кандолас стоял там и, прислонившись к косяку, курил. Он явно ждал меня и, когда я подошел поближе, заговорщически шепнул, как бы продолжая начатый разговор:

— Bueno[1]. Я знаю, вы свой. Мы вынуждены саботировать. Нельзя забывать, что работаем на немцев, на нацистов. Многие уже догадываются об этом и начинают возмущаться, считая, что прежде всего виноваты мы сами. Bueno, патрон...

Я знал, что Кандолас хитер, сообразителен и немало повидал в жизни. И если бы не его задиристость и отлынивание от работы, он был бы для меня даже интересен. Но Кандолас все время хвастался, что пропивает заработанные деньги и соблазняет деревенских девушек, которые приходят наниматься на обогатительную. Доходили до меня слухи и о кражах.

Я смело взглянул в его большие и, надо сказать, добрые глаза, воспаленное, припухшее лицо и опять ничего не ответил; однако слова Кандоласа стряхнули мою сонливость и заставили задуматься. Я вернулся в барак, чтобы осмыслить услышанное. Что правда, то правда: мы работали здесь, чтобы создавать ненавистное всем оружие. Конечно, это не стоило и секунды, проведенной нами без сна, не стоило нашего нервного напряжения, не стоило такой безумной затраты сил.

Но сам рудник — творение наших рук и нашего мозга,— который, как нам казалось, не был связан со смертоносным оружием, угрожавшим каждому, был рожден в муках и радости. Это было живое существо. А добытая из его чрева руда переставала интересовать нас, как только по рельсам уходила за пределы концессии. И без сомнения, никто из нас всерьез не задумывался ни над тем, чем вынужден был заниматься, ни над тем, какие плоды приносил его труд. Только в те дни, когда немцы появлялись на руднике, как всегда без предупреждения, мы, технический персонал, чувствовали беспокойство, и это странное беспокойство передавалось всем остальным.

Чуть позже, выйдя из барака и оставшись наедине с самим собой, я понял ту неприглядную роль, которую невольно играл в этой сложной ситуации. На востоке уже разгорался день. Ветер гнал прочь опавшие листья каштана. По мере того как рассветало, стоявшие ряды домов обретали форму и плотность и все ярче искрилась окаймленная ивами излучина реки. Из северной галереи выходила ночная смена. Я стоял на холме и смотрел на рудник, как будто видел его впервые. Теперь, спустя два года, я осознал, что он чужой. Мне захотелось до-

[1] Хорошо *(исп.)*.

вести до конца разговор, начатый Кандоласом, хотя этот бездельник был мне неприятен. Надо признать, что его намеки постепенно стали до меня доходить. Я пошел к бараку, отбросив всякие колебания. У двери я задержался, вслушиваясь в обрывки разговора, перемежавшиеся долгими паузами, во время которых барак погружался в тишину.

(Такая же тишина бывала перед обвалом, когда начинали потрескивать еловые стойки!)

— Bueno,— говорил Кандолас,— когда товарищ врач получил письмо, он показал его мне. Я пристально посмотрел на того, кто принес, и увидел законченного нациста. Глаза всегда выдают. Я повернулся к Пепе: «Пепе, не ходи! Не ходи, Пепе. Это западня! Нацистские свиньи решили тебя заманить в нее. Твоя жена не собирается рожать! Не ходи, Пепе, они убьют тебя. Мерзавцы! Если ты разрешишь, я этому типу сверну шею». Пепе был поражен моими словами, и мне пришлось потрясти его за плечи: «Если твоя жена собирается рожать, они могут позвать других врачей. Это ты понимаешь, Пепе? Не ходи, друг, а этого я сейчас отправлю...» Пепе взял меня за руку, глаза его налились кровью, он готов был совершить безрассудный поступок. «Не трогай его, Кандолас: я пойду с ним... к моей жене». Bueno! Я пожал плечами и не двинулся с места, а мой товарищ пошел навстречу смерти.

— И его убили?

— Что за вопрос! Конечно убили, сволочи! Эти письма, будто бы написанные женами, были всем известной хитростью. А та свинская рожа так и стоит у меня перед глазами. Как сейчас, его вижу.

Неожиданно я открыл дверь. Один из тех, кто находился в бараке, зевнув, спокойно сказал мне:

— Теперь, сеньор инженер, самое время сказать друг другу «доброе утро». Солнце вот-вот взойдет!

Кандолас медленно скручивал сигарету, а лизнув край папиросной бумаги, нагло улыбнулся мне.

— Наш Кандолас во время гражданской войны в Испании был командиром партизанского отряда,— сказал кто-то из присутствовавших, будто был уверен, что я слышал весь разговор.

— Командиром? — беря чашку кофе, недоверчиво переспросил я просто для того, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, и не из худших,— подтвердил Кандолас, проведя рукой по крупному красному носу.

Я пошевелил тлеющие в золе угли и спросил, стараясь уколоть его своим безразличием:

— И долго вы были в Испании?

— Как сказать, патрон. Женился там, там у меня осталась семья. На днях я послал жене записку, надеялся, что удастся встретиться на празднике в Терра-Фриа. К сожалению, я даже не мог повидать ее. Мне в Испанию пути заказаны. Стоит перейти границу, и с меня спустят шкуру.

У него вырвался смешок. Тут я впервые увидел, что у Кандоласа почти нет зубов.

— Сведение счетов? — продолжал я держаться своей версии.

— Если хотите, патрон, можно и так это назвать... Только с той свиньей я уже имел встречу. Его рыло запомнилось мне на всю жизнь, и я его сразу узнал, когда столкнулся с ним в Вила-Нуэва. Он меня тоже узнал, потому что дурак. Я хотел избежать столкновения — не то было время — и сказал ему: «Давай отсюда, боров! Давай, а то я за себя не ручаюсь». И пригрозил пистолетом: «Уходи отсюда, за тобой стоит тень убитого Пепе. Я спрашиваю тебя, что ты сделал с

моим другом Пепе? Что ты сделал с его женой? Что ты сделал с товарищами, которых предал, свинская рожа?».

Во мне безотчетно росло восхищение этим с виду порочным человеком, который рассказывал кровавую историю. Но я не хотел так быстро сдавать своих позиций и попытался смутить его:

— Если я правильно понял, вы забыли о своем друге Пепе или не имели твердого намерения отомстить за него?

Кандолас спокойно, с достоинством встретил мой взгляд. Потом вынужден был ответить:

— Послушайте, человек не должен быть ослеплен жаждой мести, к тому же в жизни есть кое-что поважнее, чем личное.

Я не понял, было ли сказанное ответом на мой вопрос или продолжением начатого им ранее разговора. Во всяком случае, я чувствовал явное унижение и жгучее желание любым способом доказать ему, что моя любовь к руднику совсем не вызвана стремлением получить прибыль и ничего не имеет общего с планами и намерениями его хозяев.

Стукнула дверь, и неожиданно вошедший в барак человек прервал наш разговор:

— Не могу справиться с водой, вымок весь. Пусть кто-нибудь сменит меня.

Тут я забыл и о Кандоласе, и о его историях. Но в тот самый момент, когда я вставал со скамьи, ужасный крик разорвал утреннюю тишину. Оказалось, один из парней, стоявших у ворота, случайно выпустил вал, и ничем не сдерживаемая бадья, которой вычерпывали воду, полетела на работавшего внизу шахтера. Красный туман застлал мне глаза, и сдерживаемая все эти дни злоба вырвалась наружу: я бил по лицу виновника случившегося. Вдруг чьи-то пальцы крепко впились в мою руку, сжали ее, сдавили. Это были пальцы Кандоласа.

— Патрон, остановитесь, вы на всю жизнь сделаете человека несчастным.

След от его пальцев так и остался на моей руке. И теперь, вспоминая эту историю, я то и дело трогаю руку, будто она все еще болит.

Самой суровой порой для меня были годы работы на руднике. Рудник был для меня ни с кем и ни с чем не сравнимым наставником. И одним полученным здесь уроком я обязан Кандоласу. После того памятного утра я увидел его лишь спустя три дня. Все это время я провалялся в постели, держа под рукой бутылку с джином. Спал, просыпался, прикладывался к бутылке и снова засыпал. Среди шахтеров это было делом обычным. Всегда, когда неврастения или усталость достигали предела, все прибегали к этому единственному средству: лежать, поплевывая в потолок, спать и пить. Чувства притупляются, сворачиваются, подобно ежу перед опасностью. И эта своеобразная форма анестезии позволяла даже бесконечно долгими ночами не слышать ударов перфоратора, шум которого обычно изводит, сотрясая мозг и разрушая кости.

Надев спецовку, я вошел в галерею. Мне говорили, что ничего нет более предательского, чем глинистые слои, приходящиеся на кровлю. Когда они появляются, жди самого худшего. Почва не предупреждает — она обрушивается внезапно.

Я шел по рельсам, и рождавшееся от стука моих резиновых сапог эхо сжималось в бездонном и черном конце галереи. Заключенные в футляры лампочки убегали вперед и искали мою тень. Огромная, зловещая, она то опережала меня, то отставала, когда я вступал в новую полосу света. Когда ты один, это производит большое впе-

чатление. В боковом отсеке я столкнулся с Кандоласом. Здесь, в штреке, ему делать было нечего: он выполнял наземные работы. Именно поэтому и еще потому, что мне надоела его навязчивость, я набросился на него:

— Что вы здесь разнюхиваете?

Но он даже не изменился в лице и спокойно, будто и не слышал моего вопроса, попросил:

— Дайте сигарету.

Он размял ее, и, когда я поднес ему спичку, на губах его играла загадочная улыбка.

— Вы мне нравитесь, патрон,— сказал он.— Вы свой. Это за версту видно. А вот инженера Браза я бы сбросил в шахту не задумываясь. Вы другое дело. Вы свой. Это я знаю. Так ведь? Не надо говорить, что нет. Я, конечно, пьяница, оборванец, вы испытываете ко мне отвращение, но я все вижу, патрон.

Он таращил помутневшие от водки глаза и грозил кому-то красным пальцем. Эхо разносило его слова во все боковые отсеки — казалось, будто дюжина ртов громко повторяла то, что следовало хранить в тайне.

— Пошли отсюда,— сказал я грустно.

Его тень — она была внушительнее и больше, чем моя,— слилась с моей тенью, словно они готовились пожрать друг друга. У выхода из галереи нас встретил сырой порывистый ветер, швырнувший нам в лицо сухие листья. Здесь, во дворе, сигналил автомобиль.

— Вы меня извините, что я вступился за того парня. Может, не мое это дело. Но поймите, патрон, ведь даже справедливое наказание может погубить человека. Парню-то теперь каждую ночь будет сниться погибший товарищ. И в этом виноваты вы — прижгли больное место каленым железом.

Ноги подкашивались. Я замерзал.

— Но если вы,— снова хрипло заговорил он,— если вы так строги к другим и проповедуете высокую мораль, как же вы сами позволяете себе подобные поступки?

Я почувствовал, что он сжал кулаки. Глаза его зло сверкнули, но тут же гнев погас в них.

— Так вот, все мы с дрянцой. И стоит только распустить себя, таких дров наломаешь! А когда тебя ткнут носом, сразу сообразишь, что к чему. Ну, а тот, кто не выносит собственной вони...

Я еле сдержал улыбку.

Мы были около генератора, и вибрация передалась моему телу. Ветер с Гордуньи дул все сильнее и сильнее, обжигая сухую, потрескавшуюся кожу. Я пошел по берегу реки и сел на пень. Кандолас встал против меня, потирая глаза и позевывая, будто хотел спать, потом вдруг мягко сказал:

— Когда вы били того парня, патрон, мне казалось, вы меня бьете. Чертовщина какая-то! Вы знаете, что я был в исправительном доме? Попал туда за то, что слонялся без дела. Там меня били, но когда тебя бьют, тебе хочется быть хуже, чем ты есть. Вот так. Однажды в исправительный дом приехала труппа актеров, и, поскольку я был плотником, мне велели монтировать декорации. Это означало свободу, самую малость, но свободу, понимаете? Ведь от одного сознания, что дверь открыта, легче дышится. Вот так. Только может ли это интересовать вас?

Я утвердительно кивнул. С первых же слов я жадно, почти с болезненным нетерпением слушал Кандоласа, мне казалось, что вот-вот приоткроется тайник этой мрачной и в то же время притягатель-

ной личности и я найду оправдание себе, своему желанию понять его.

— Продолжайте, Кандолас.

— Зачем, патрон? У вас есть дела поважнее. Есть о чем болеть душе. Есть что решать, и решать быстро.

Снова этот тип нагло и с определенным намерением изводил меня. Он хотел заставить меня действовать. Бунтовщик. И почему я все это терплю? Чем я дал повод для этих издевок? Мне хотелось пнуть его, чтобы он отстал от меня. Однако вместо этого я решил сказать ему, вернее, вообразил, что говорю: «Хватит, Кандолас! Последнее время я много думал и... Так как нам саботировать?»

Я предположил, что он мне ответит, по обыкновению, уклончиво и хитро: «Ну что же, патрон: иногда могут рушиться перекрытия... с кровлей всегда много хлопот... Но ты вряд ли станешь это делать, ты парень тщеславный, трусливый и все-таки их поля ягода».

«Я не боюсь, Кандолас, нет. Но у меня действительно, как ты говоришь, есть о чем болеть душе».

Да. Именно так. Душа болела, но о руднике. Ведь шахты Мансантелы родились благодаря моим разведывательным работам. Я сам, как рядовой, привычный к своему ремеслу горняк, проходил ее первые штреки, неся во рту капсюль и поджигая бикфордов шнур. И первые добытые образцы чистой руды хранились не где-нибудь, а в моей комнате. Рудник был частью меня самого, моей плотью. Он принадлежал мне и всем тем людям разных профессий, которые пришли сюда трудиться из разных мест, поднимать к жизни из недр земли и оврагов процветающие теперь шахты. Иными словами, рудник — это был я, Кандолас, осветители, отбойщики, бурильщики и все машины, капризы и болезни которых мы знали хорошо и которых выслушивали, как выслушивает врач людей. Любые неполадки только крепче, сильнее привязывали нас к руднику. Вольфрам, сделки, война? Это было делом городских торговцев, которые приезжали на рудник и заключали сделки с иностранцами, превращая наш труд в деньги. Потом какими-то темными путями отправляли вольфрам за границу. Мы и эти торговцы презирали друг друга. И вот теперь и наше презрение, и наше равнодушие к этой мрачной стороне рудничной одиссеи, героями которой были мы, означало попустительство, легкомыслие, предательство. Саботировать? Но ведь шахты, штреки, галереи были плоть от плоти моей и того парня, которого я отхлестал по щекам. Ведь саботировать работы на руднике значило рубить сук, на котором сидишь. Мне нужно было время, чтобы все обдумать, обдумать как следует. Нужно было...

— Ну что ж, патрон, когда вам еще захочется послушать мои байки, скажите, расскажу конец этой истории.

— Я понятия не имел, что вы были в исправительном доме.

— Да, был. Но не в этом дело, патрон. Дайте еще сигаретку. Мне ваши нравятся. Неплохо зарабатываете на руднике, а?

Опять издевка? Кандолас никогда не упускал случая подпустить мне шпильку, потрепать нервы.

— Продолжайте, продолжайте в том же духе, я уже привык. Если вам так нравятся мои сигареты, возьмите все, что остались в пачке.

Он пожал плечами, но сигареты взял.

Какое-то время он не знал, куда их положить, потом сунул в карман куртки и старательно застегнул его.

— Bueno, патрон. Так я вам говорил о театре. Вот как раз в одной из сцен актер должен был закурить,— нет, конечно, не такие, как эти, а жалкие окурки, хранившиеся в актерской уборной. Но в нуж-

ный момент их не оказалось. Понимаете? Ну, нас тут и посадили под замок. Я даже не очень мучился этой несправедливостью. Честное слово. Голова моя занята была мыслями о побеге и о том, как найти работу.

— Вас посадили под замок за такую малость?

— Да, только тюрьма была при исправительном доме. Вернее, карцер, где наказывали, понимаете? Вот там-то нас и заперли.

— Дальше.

— Не верите?

— Я не всегда знаю, когда вы собираетесь меня обмануть.

— Патрон, вы...

Кандолас, конечно, не догадывался, что, говоря это, я хотел толкнуть его на откровенность, на которую и намека не было в его россказнях, хотя что-то и сблизило нас.

— Bueno, у меня были припрятаны кое-какие деньги, я получил их от священника, которому обещал сделать удобную повозку. Это был недоверчивый тип, но я уговорил его дать задаток. На материал. В карцер нам принес еду парнишка. Как только он открыл дверь, мы навалились на него, отобрали ключ и заперли его вместо себя. Мы все обдумали заранее и поэтому очень просто выбрались за пределы исправительного дома. А когда оказались на дороге, мой спутник вдруг сказал: «Теперь мы подождем автобус и с шиком поедем на твои денежки!» У меня глаз наметан, и этому умнику я дал отпор: «Брось шутить, этим, из исправительного дома, схватить нас ничего не стоит. Соображаешь? Вот так. Чесать нужно что есть духу, а не автобуса ждать». Но сил идти пешком у нас не было, и мы спрятались в сосновом лесу. Совсем рядом оказался богатый фруктовый сад. Увидев его, мы, не сговариваясь, перемахнули через забор. Но в самый разгар нашего пиршества появился сторож, черт бы его побрал. Мы стали спускаться с дерева, и товарищ мой угодил ему в лапы. Сторож сказал: «А-а, попались, разбойники!»— и стукнул свою жертву дубинкой по голове. Я тут же свалился на него сверху и отобрал дубинку. Перепуганный насмерть сторож лежал, растянувшись на земле, без движения, со лба его бежала струйка крови. Все лицо у него было в крови, и он стал кричать, что ослеп. Ничего подобного, не ослеп он вовсе. Это кровь залила ему глаза.

Вдруг Кандолас поднялся и умолк, услышав шум приближающегося грузовика, который взбирался на холм. Этот черный грузовик, как правило, высылался вперед. За ним на джипе ехал управляющий концессией. Немцу нравилось подобным образом оповещать нас о своем прибытии, чтобы потом, подобно коршуну, самому обрушиться на нас, ожидающих его в страхе.

— Они едут, патрон.

— Пускай едут, что было дальше?

— Так вы же нужны им...

— Подождут.

Я даже не взглянул на него во время этого короткого разговора. А если бы взглянул, думаю, возненавидел бы, и не без основания.

— Так вот, удрать-то не удалось. И кончилось все это для меня очень плохо. Понимаете? Но думать было некогда, я бросился за водой в поместье. Смочил платок, наполнил старый черепок. Первым делом я занялся товарищем. Шишка у него была большая, с куриное яйцо. Потом несколько раз я порывался уйти, но, дойдя до дороги, возвращался: оба они были словно в бреду и пороли всякую чушь. Я злился, что не могу ни привести их в чувство, ни бросить. Bueno. И решил я их тащить на себе, сколько сил хватит. И тащил, а увидев вдалеке деревню, закричал, прося прийти на помощь раненым. Ране-

ным! Глупость какая, понимаете? Но тогда я считал преступлением их бросить. До сих пор простить себе не могу, что сам сунул голову в пасть волку.

Появился джип. Поднимаясь на холм Каррокейру, он казался игрушечным. Потом изменился ветер, и столб пыли скрыл его из виду. Я уверен, что как только появился грузовик, Кандолас, как и я, конечно, думал только о немцах и ни о чем другом. С минуты на минуту за мной должны были прийти. Тот, кто приехал на джипе, возможно, уже сидит за столом в комнате технического персонала и, ожидая меня, нетерпеливо постукивает карандашом. Сверяется с картами. «Плохо идут дела, инженер, плохо. Думайте, думайте. Нельзя, чтобы работы в руднике замерли. Ясно? Думайте! Больше вольфрама — больше пушек. Рудник затем и существует».

— Подобрали их или нет?

— Конечно, патрон. Усталый, я нашел сеновал и заснул там. Проснулся от пинков. И очень скоро оказался в кабинете директора исправительного дома. «Всыпьте ему как следует, пока я рисую куклу». Надзиратель приступил к исполнению приказа. У меня потемнело в глазах. Что можно было ждать хорошего от этих скорпионов? Выходит дело, я должен был бежать, бросив товарища и сторожа в беде. Понимаете? Надзиратель, увидев, что я теряю сознание, спросил: «Может, хватит, сеньор Маркос?» — «Нет, я еще рисую руки»,— ответил тот. А мне надзиратель в это время выворачивал руки. Я их уже не чувствовал. Они были деревянными. На такое только фашист способен.

Мускулы на моем лице напряглись. Захотелось сделать больно себе самому, и я прикусил губу. И вдруг вспомнил сказанное Кандоласом: «Каждый человек с дрянцой». Значит я, директор исправительного дома, немец, который давно ждет меня, и все те, кто осуждал Кандоласа, сами были с дрянцой.

— Пошли, патрон, забудьте про того парня. Всегда кто-нибудь вынужден быть жестоким. Думаю, на вашем месте я поступил бы так же.— И он, пощупав запястье левой руки, привычно сжал ее в кулак. Потом, указав на бежавшего ко мне человека, сказал:— За вами, патрон. Вы нужны немцу.

Я тоже пощупал свое запястье, будто и его когда-то выкручивали. Хотел заговорить, но язык присох к горлу. А мне так нужно было сказать Кандоласу, что я уже не тот, я другой, я с ним, его союзник. И все это вылилось в сдавленном, разрывавшем душу крике:

— Я согласен, Кандолас. Будем саботировать!

ЖОЗЕ ГОМЕШ ФЕРРЕЙРА

Серебряные руки

С тех пор как я переехал в район, соседствующий с деревянными лачугами и жалким жильем цыган — этим живым музеем обездоленных людей, которые нет-нет да напоминают мне о нищете мира (не знаю зачем), меня еще сильнее

мучают мои бесконечные угрызения совести. По всей вероятности, чтобы жить счастливо и весело, мне необходимо приправлять горечью каждую свою радость.

И сейчас мне вспоминается маленький сопливый босоногий мальчишка — ноги у него были как две ржавые трубки, — который ни на минуту не выпускал из рук юбку матери, вечно грязной, растрепанной женщины, рывшейся каждое утро, задолго до появления мусорщика, на помойках, уже перерытых за ночь бездомными псами.

Этот уличный мальчишка, покрытый коростой грязи, казался младше своего возраста. Поразил он меня своими руками, протянутыми за подаянием. Красивыми, изящными руками с длинными серебристо-белыми, прозрачными пальцами, так не соответствовавшими волосатым, очень похожим на лапы животного, обреченного на тяжелый, безрадостный труд, предплечьям. Руками аристократа.

— Дворянина! — кричала свирепевшая по неизвестным причинам мать.— Я дала тебе дворянское происхождение, лодырь!

— Почему вы не отдадите его учиться? — услышал я случайно чей-то вопрос (вам уже известно, что с несчастьем и нищетой я знаком лишь понаслышке).

— Учиться? Он должен работать! Работать! Найти себе ремесло!— с отвратительным упрямством ответила она. — Я не содержу бездельников!

И я убедился, наблюдая со стороны за судьбой паренька, что мать осталась верна себе: в течение нескольких лет он занимался всем, чем только мог. Как сейчас помню, продавал каштаны, носил корзины, служа рассыльным, и даже (думаю, не очень долго) без особого усердия учился мастерству брадобрея у одного тщеславного парикмахера, о чем не трудно было догадаться, видя его в грязном халате ученика, привлекавшего внимание клиентов. И всякий раз он был ко всему безразличен и удивительно неловок. И всякий раз его серебристо-белые руки казались еще более тонкими, еще более изящными и никак не сочетались с его грубо скроенной фигурой, большой головой, взъерошенными, вечно немытыми волосами, узким лбом, крупным носом и глуповатым взглядом.

Нет, нет. Я не собираюсь описывать во всех подробностях жизнь этого паренька (тем более что чаще всего я о ней только догадывался), которого преследовали неудачи и которого озлобленная мать, подбадривая подзатыльниками, заставила перепробовать все известные ей профессии: сапожника, столяра, подсобного рабочего, обойщика, мебельщика, каменщика, портного и кто знает какие еще! Однако все напрасно. Бедняге, который в этой жизни, так несправедливо встретившей его, мог быть разве что последним дворником, его собственные руки как бы по воле злого рока отказывались служить. Однажды в сумерках я увидел его на улице одного, с траурной повязкой. («Умерла мать?— подумал я, потрясенный.— Что же с ним теперь будет?»)

Минутой позже я забыл о нем (мне бы очень тяжко жилось, если бы все, что меня трогает, я помнил). Несколько месяцев я не видел парнишку. Очень может быть, что его выбросили из того барака, в котором они ютились с матерью, и несчастный бродил по городу, прося милостыню.

Так, должно быть, и было. Но он оказался гораздо ближе, чем я предполагал. И очень скоро жизнь снова свела меня с ним. Или, если быть точным, втолкнула его в мой дом. Паренек был послан ко мне той мастерской, в которую я обратился с просьбой повесить мне в ванной комнате зеркало. И вот, готовый к услугам, он стоял в моей прихожей, ухмыляясь и держа на плече ящик с инструментами.

— Добрый день. Я пришел по...

— Да, да, входите.

Я глянул на его руки. Они не изменились. Все те же длинные, изящные пальцы, та же прозрачность, та же серебристость кожи.

Мы сделали вид, что не узнаем друг друга, так было проще, и я проводил его в ванную.

Вот зеркало... пластмассовые пробки... ну и все остальное.

С сердцем, сжавшимся от тоски, я снова сел за свой рабочий стол, продолжая слушать симфонию Малера; между тем пришедший уже изо всех сил стучал молотком, что сразу встревожило меня. Вскоре стук молотка, удары стамески и звук сыпавшейся штукатурки и камней слились в шум, сопровождаемый звуками траурного марша из симфонии Малера, становившимися с каждой минутой все более и более грозными.

Бог мой! Что происходит там, в ванной? Поглядеть бы хоть одним глазом! Но я не поддался искушению, пока ужасающий грохот и звон разбившегося на тысячи осколков стекла не достиг моего слуха. Потом воцарилась зловещая тишина.

Тут, уже более не сдерживаясь, я бросился к двери ванной комнаты, распахнул ее и увидел несчастного. Лицо его было белее полотна, а вытаращенные, испуганные глаза неотрывно смотрели на осколки. Ни на что не пригодные окровавленные серебряные руки висели вдоль тела как плети.

Не замечая меня, он сел на край ванны и расплакался.

Перевод ЛИЛИАНЫ БРЕВЕРН

МАРИУ ДИОНИЗИУ

Бег

Молодой человек в выцветшем сером пальто с поднятым воротником зашел в закусочную на углу и направился прямо к стойке. Девушка за столиком в глубине, сильно накрашенная, в юбке выше колен, лениво пробегала глазами газетные столбцы. Она подняла было голову, но, пристально взглянув на вошедшего, привычно поняла, что ждать тут нечего, и снова уткнулась в свою газету.

— Добрый день,— сказал посетитель у стойки,— дайте мне стакан молока и булочку.

Когда хозяин нагнулся к окошечку кассы, чтобы перекинуться словом с кем-то за перегородкой, посетитель окинул быстрым взглядом гору булок на витрине. Вид у них был аппетитный. А вдруг они стоят больше пяти тостанов? Он задумался и мысленно пересчитал деньги, лежавшие в жилетном кармане.

— Извините,— сказал он хозяину, когда тот пододвинул ему стакан молока и булочку,— я передумал: только молоко.

Хозяин рассеянно взглянул на гостя и кинул булочку в витрину. Он был толст, лыс, приземист, а усы у него были коротенькие и колючие и торчали, как швабра. От горячего молока шел пар. Посетитель поднес стакан ко рту и почувствовал, как ему обдает лицо теплотой. Ощущение было приятное. Он, однако, не смог бы выпить весь стакан залпом. Да и не было в том необходимости: оставалось еще четверть часа.

Он взял стакан и сел за столик у самой стойки. Он не привык сидеть. Но когда садился, чувствовал огромное удовольствие и думал, что давно уж пора было это сделать. Он всегда был усталый или, по крайней мере, никогда не мог отделаться от ощущения, что устал. Ему никак не удавалось отвлечься от навязчивой мысли, что сидеть некогда, что это принесет вред, что он не имеет возможности, как другие, смотреть по сторонам. Девушка за столиком в углу, по всей вероятности нашла в газете что-то чрезвычайно интересное. Он знал наизусть все, что там написано: возможно, ее заинтересовало преступление, о котором шла речь на второй странице, или какое-нибудь объявление о продаже с аукциона вещей, сданных в заклад, помещенное на предпоследней. Не отрываясь от чтения, она высоко задрала юбку и стала яростно чесать себе ногу. Но затем, все не глядя, резко одернула юбку, так что даже закрыла колени. Ему показалось, что его словно бы обошли в чем-то, и он крепче сжал свой стакан с молоком. Он пил его медленно, притворяясь, что ему нет никакого дела ни до любопытного взгляда хозяина, ни до девушки за столиком. У него оставалось еще четверть часа, и он мог сидеть здесь, ничего больше не платя. Он сам принес стакан, чаевых не полагалось.

Мимо, по улице, шло много людей. Это был рабочий квартал. Против двери закусочной, у самой панели, старичок в заплатанном пальто и старой шляпе, надвинутой на глаза, продавал каштаны. Прохожие толпились вокруг его тележки, наклонялись над закоптелой жаровней, протягивали руку, кидали маленькие медные монеты и шли дальше. Босоногие мальчишки незаметно проталкивались сквозь толпу и подступали к тележке в надежде стянуть каштан, когда старик отвернется. Или подобрать на земле кем-то потерянный.

Человек в выцветшем пальто внезапно поднялся и спросил, сколько должен. Расстегнул пиджак, вынул две монеты, получил сдачу и аккуратно спрятал в карман. Потом наглухо застегнулся и вышел. Сквозь витрину он увидел, что девушка за столиком в глубине продолжала читать, не подымая глаз. Так и должно было быть.

Он завернул за угол и очутился в переулке. Переулок был узкий, с покосившимися дверями и подслеповатыми окошками. В самом конце его, в тупике, виднелась вывеска школы. До нее оставалось пятьдесят метров. Было рано. Еще не пробило два.

По мере того как он приближался к цели, он все сильнее чувствовал, что ноги словно бы несут его назад или, по крайней мере, хотят замедлить шаг. И он, против воли, шел медленнее. Множество преград, встающих между ним и человеком за этой почернелой дверью, который мог бы обеспечить ему год нормальной жизни, неумолимо возникали в его сознании. Если б и хотел, он не мог бы определить, что это были за преграды. Но он чувствовал их всем своим существом. Неприязнь? Но почему? И быть может, это просто неумение понять друг друга. Быть может, не хватило десяти минут разговора, какие побуждают нас взглянуть без враждебности на незнакомца, с которым судьба случайно столкнула нас на улице. Ну, а если тот за последние пять лет пошел в гору? Если не могло быть попросту между ними никаких переговоров? Ведь это директор школы, это директор большой школы. Если пошел в гору? Так или

иначе необходимо было разрешить эти сомнения. А чтобы скорей разрешить их, необходимо было ускорить шаг. И он ускорил шаг.

Через растворенные двери и через окна домов виднелось скромное жилье с обеденными столами, прижатыми к железным кроватям, с застиранными занавесками, разделяющими комнаты. Вид, к которому привыкаешь и вскоре перестаешь замечать, особенно если проходишь здесь изо дня в день. Вид, на котором никто не останавливает взгляда, когда спешит мимо, занятый своими мыслями.

Человек в выцветшем пальто закашлялся и остановился. Кашель стал мучить его сызнова дня два тому назад. Упорный, приводящий в отчаяние. Ибо в конце концов это был, наверно, *тот самый* кашель, а не кашель вообще, вызываемый, скажем, неумеренным курением... Но не кашель сам по себе занимал его... Он думал о другом. Каждый раз, когда чувствовал эту щекотку в горле, что все росла, росла, пока не разрешалась кашлем, он останавливался в тревоге. Он мог кашлять свободно, как все люди. Но, однако, он всегда нервничал, словно ждал чего-то неожиданного. И стоял как вкопанный, пока приступ не пройдет. Он нервничал все больше, думая, что ведь нельзя кашлянуть ни одного раза во время предстоящего разговора или когда ему придется ждать в коридоре, темном, как, верно, все коридоры этого здания в тупике. В конце концов все имеют право кашлять. Но он не имел этого права. Ибо *они* знали. Все они знали. Никто не примет его кашель за вульгарный бронхит, который быстро проходит. А надо было убедить их как раз в этом. Надо было лгать И идти вперед.

Он не испытывал никаких угрызений совести. Избитые фразы все звучали у него в ушах: миллионы бацилл носятся вокруг нас повсюду, и никто не в силах преградить им путь: на спичке, которую ты берешь в руки, чтоб закурить сигарету, на билете, что тебе протягивает кондуктор в электричке, на безупречно чистой чашке, что тебе подают в кафе, на любой вещи в твоем собственном доме, на твоих собственных руках...

Когда директор спросит его о здоровье, он должен ответить: в порядке. Когда он спросит: совсем поправился? — он должен ответить: совсем. Со спокойной улыбкой. Твердо. Без колебаний. Малейший намек на кашель может испортить все.

Он сам сердился на себя за эти мысли. Выдуманные осложнения. Не надо поддаваться. И кто сказал, что он застанет директора? Он ведь только намеревался узнать у сторожа, нет ли для него письма. В письме все будет сказано: или расписание занятий, или отказ.

Может, однако, случиться, что директор пожелает лично увидеться с ним, убедиться своими глазами, что здоровье его улучшилось, поскольку люди так уж твердо верят в свою наблюдательность... Может быть, директора интересует внешний вид подчиненных. В таком случае вот что надо: отвечать как можно короче, произносить лишь самые необходимые слова. Не касаться ни политики, ни религии, ни даже образования. Да, в особенности последнего — образования.

Колокольчика на двери не оказалось. Это была огромная железная дверь, вся поцарапанная и поржавелая, и здесь, в самом темном углу переулка, она возвышалась неприступной стеною. На ней не было обычного объявления, что вход воспрещен. Все указывало на то, что следует просто толкнуть ее и войти внутрь.

Человек в выцветшем пальто толкнул массивную, черную, холодную ручку двери, намереваясь войти в открывающийся перед ним темный мир темных коридоров.

И отпрянул, пораженный. Как только тяжкая дверь чуть-чуть подалась, за нею неожиданно возникло целое море сияния, полня-

щееся веселым шумом. Исчезли тени переулка. Резкий свет ударил его в самые зрачки.

Полуприкрыв веки, он несмело приоткрыл дверь. Затем растворил ее настежь и вошел. И остановился, почти в испуге. Огромная железная дверь, оказалось, вела в зеленый, обсаженный деревьями парк, по дорожкам которого бегали дети. Парк был просторный, и его окружали не темные громады домов, как можно было ожидать, но высокая, легкая сеть, по другую сторону которой, далекая и синеголубая, виднелась река. Он попробовал пересечь этот внутренний двор. Крошечная девочка с льняными волосами, убегающая от других малышей, столкнулась с ним на бегу. Это длилось лишь краткое мгновение. Он легко коснулся головы ребенка, чтобы защитить от удара, и это было словно приобщение к чему-то доброму и нежному, что, как он знал понаслышке, существует в жизни. Удовольствие, о каком он совсем позабыл и какого не чувствовал ни разу с тех пор, как стал избегать людей вообще и в особенности избегать всякого контакта с детьми. Но это длилось лишь краткое мгновение. Преследователи кричали: «Мануэла! Мануэла!» — и в конце концов, запыхавшись и отчаянно шумя, нагнали малышку у самой ограды.

Он оглядел восхищенным взглядом всю эту толпу мальчиков и девочек. Так вот какова, значит, его новая среда, подумал он и улыбнулся широкой, полной светлой надежды улыбкой, которую здесь некому было заметить.

По парку прыгали мячики. И повсюду царила та невинная и радостная суматоха, какой он не видел уже столько времени, что и не знал наверное, видел ли вообще хоть раз в жизни.

Он не заметил сторожа или кого-нибудь еще, к кому можно обратиться. Три женщины вязали под невысоким навесом. Матери учеников. И больше ничего, кроме солнца, невысоких деревьев, синего отрезка реки там, за оградой, и голосов — свежих, захлебывающихся смехом, выкрикивающих имена, из которых слух различал лишь ударный слог: Кар, Нел, То, Бел. Из беседы вязальщиц, достаточно громкой для того, чтоб можно было услышать каждое слово, следовало, что они ждут своих дочек, а потом пойдут в кино.

Он пересек двор по диагонали, осторожно обходя детей. В большом здании справа дверь была раскрыта настежь. Там тоже никого не оказалось. Передняя, высокая и светлая, стены сплошь увешаны объявлениями и плакатами. Через эту дверь ему придется входить каждое утро в толпе мальчишек и девчонок, бурно устремляющихся вперед, весело толпящихся на лестнице, силясь пройти все сразу. Он дернул за цепочку колокольчика раз, другой, третий.

Опять никого. Наверно, большая перемена. Ждать придется долго. Он подождет. Он будет ждать столько, сколько нужно. Он подождет без труда, любуясь детьми, резвящимися под солнцем. Та группа у изгороди все еще толклась ярким цветным пятном вокруг Мануэлы. Девчушка была крохотная, беленькая, со светлыми глазами и распущенными волосами цвета маиса. Быть может, будущая ученица. Смышленая или нет? А другие? Кто знает, а вдруг все они станут его учениками? Это хорошо. Ему бы хотелось получить первый класс. Быть может, там еще возможно встретить учеников, не успевших окончательно возненавидеть книги. Быть может, там еще возможно встретить детей, которые захотят и постараются вырасти людьми. Людьми, а не палачами, подумал он с гадливостью. Или шпионами палачей, подумал он с гневом. Он хотел бы получить первый класс и суметь сохранить на занятиях тот веселый дух, ту непосредственность, ту *человечность*, какие видел сейчас перед собою. Забавно! А вдруг в нем и впрямь проснется призвание педагога? Нет, сразу же

подумал он, мрачно нахмурясь. Он не педагог, и совершенно ни к чему быть хорошим педагогом. И, однако же, он чувствовал сейчас, вопреки своей воле, что его снова властно тянет к этому миру, которого он лишил себя уже так давно. (Миллионы бацилл носятся вокруг нас повсюду, и никто не в силах преградить им путь: на спичке, которую ты берешь в руки, чтоб закурить сигарету, на билете, что тебе протягивает кондуктор в электричке, на безупречно чистой чашке, что тебе подают в кафе, на любой вещи в твоем собственном доме, на твоих собственных руках...)

Внезапно он снова почувствовал, что давит в горле. Он закурил, вот в чем дело. Дым раздражает горло. Он быстро выдохнул дым и стал ждать. Неужели опять приступ кашля? Он нервно бросил сигарету и оглянулся испуганно: нет ли рядом кого-то, кто мог заметить. Никого.

Приступа, однако, не последовало. Потому, может быть, что это не обычный кашель, вызванный курением, а *тот* кашель? Размеренная жизнь, какой потребует преподавание, вылечит его, окончательно вылечит. Не будет больше беготни по бесконечным школам. Не будет, уже спозаранку, отчаянных поисков объявлений в газетах. Не будет той жизни, на которую ссылались врачи, называя его безумцем за то, что он отказывается от полного отдыха.

Иногда обстоятельства меняются, подумал человек в выцветшем пальто, закуривая вторую сигарету. Происходят малые перемены, дающие нам силу для больших перемен. Быть может, удастся добиться здесь не очень уплотненного расписания, совместимого с его режимом, и выкроить, действительно в первый раз в жизни, часы полного отдыха. Все здесь казалось приветным и таким отличным от враждебной суеты переулка и прилегающих к нему улиц. Все здесь казалось паузой...

Девочка-подросток прошла мимо него и остановилась посреди двора, прислонившись к дереву, чтоб почитать книгу. Пятнадцать, шестнадцать лет? Она казалась декоративной деталью пейзажа. Девочка в голубом платье с золотистыми волосами. Бурый ствол дерева в алых солнечных бликах и с короткими ветками, словно нанесенными шпателем[1] на бледно-зеленый фон безоблачного неба.

Человек в выцветшем пальто подумал печально: пятнадцать лет. Несмотря на молодость, он уже завидовал этому возрасту. Свежести, присущей этому возрасту. Ощущенью здоровья, исходившему от этих голых ног в прохладе зимнего дня, клонящегося к вечеру. Алой яркости губ. Интересу, с каким девочка читала.

У него подгибались колени. Ему ужасно хотелось сесть. Он прошел столько улиц, прежде чем прийти сюда. Поднимался по стольким лестницам. Сколько раз возникало у него желание поскорей унести ноги, прервав на середине слова́ неискренней благодарности и неискренних извинений.

Как давно начался сегодняшний день! Он выпил стакан молока в закусочной. Был в двух конторах, где требовался практикант за поденную плату, и в старой школе на самой окраине города. Директором ее был его старый товарищ по университету. Но в образе директора старый товарищ перестал существовать. Время шло, переплавляя людей на своем пути. Только ли время? Нет, не только. Человек в выцветшем пальто превосходно знал, что дело не только во времени. Причиною здесь эта потеря уверенности, которая постепенно вселялась в людей, это скрытое, но подавляющее всех ощущение угрозы, надвигающейся опасности, рассеянной повсюду, это

[1] Лопатка для растирания краски.

сосредоточение на собственных интересах и преступное равнодушие к окружающим. Каждый начал с жадным нетерпением строить свой дом под предлогом, что, вообще говоря, никто не может обойтись без собственного дома. Но затем каждый начал расширять этот дом, украшать его, совершенствовать и в конце концов закрыли на замок. Нет, не старый товарищ по университету стоял в тот раз перед ним. То был директор школы, отвечавший ему с ненавистной вежливостью официального лица. Обещавший ему сделать все, что возможно. Спросивший его адрес и номер телефона. И старый товарищ тоже знал, что не одно лишь время воздвигло между ними столь высокую преграду. Старый товарищ смотрел в сторону и был явно смущен, когда человек в выцветшем пальто подчеркнуто четко ответил, что у него никогда не было телефона.

И вот он оказался здесь. И усталые ноги требовали отдыха и скамьи. Но не было скамьи. А будущему преподавателю не подобало сидеть на ступеньках в ожидании сторожа. У него всегда хватало сил ждать. Один знакомый уже говорил здесь о нем и обещал, что место будет. Знакомый, в которого он верил. Так что на сей раз он надеялся более, чем когда-либо (он, как всегда, надеялся более, чем когда-либо). И в конце концов он немногого просит. Любой может быть школьным учителем. Любой ухитряется преподавать в двух или трех школах одновременно. Ему же достаточно уверенности в том, что у него будет каждый день обед, что он сможет выкроить эти пресловутые часы отдыха, на которых *они* так упорно настаивают, и даже иногда показаться врачу.

И тогда все можно будет начать сначала. И через короткое время он снова сможет стать человеком, не чувствовать более этого постоянного дикого желания бежать прочь, за которое он сам себя ненавидел, но от которого никак не мог излечиться. Идешь по улицам в дырявых ботинках и испытываешь безудержный гнев ко всем этим невидимым свидетелям твоих бед, которые, конечно же, прячутся за каждой дверью и каждым закрытым окошком. Но в то же самое время непонятным образом тянет тебя войти, прямо вбежать в первую открытую дверь первого попавшегося кафе, откуда не просунется враждебная рука, чтоб выбросить непрошеного гостя на улицу.

Солнце заливало парк и подступало к самым дверям. Лизало ему ноги до колен, ласковым теплом расходясь по всему телу. На пальцах правой руки осталось сладкое ощущение мягкости детских волос Мануэлы, до которых он недавно дотронулся. Сладкое и почти чувственное. Нежное, пьянящее чувство, подогретое солнцем.

— Сеньор,— послышался голос у него за спиной.— Кого вы ждете?

Он вздрогнул. Ждешь терпеливо чего-то желанного и в то же время боишься дождаться. И чем дольше ждешь, тем более удивляешься, когда наконец достигнешь цели.

Приближается решительная минута, а с нею вместе — досадное предчувствие, что все обернется худо.

— Вы сторож? — спросил человек в выцветшем пальто. В глубине души он надеялся, что это не сторож. Тогда все отложится еще на некоторое время.

Но незнакомец сказал медленно и как-то испуганно:

— Да, сеньор, я сторож.

Испуганно, словно хотел прибавить: что ж из этого?!

Он был высок и худ. Но горбился и потому казался не выше пришельца. Пышные усы, порыжелые на концах от привычки вновь зажигать сигарету, когда от нее остался лишь крохотный окурок. Дряблая, высохшая, в морщинистых складках шея. И широкие мох-

натые брови, под которыми поблескивали маленькие светлые глазки, глядящие на собеседника то ли сердито, то ли с любопытством человека, чья жизнь проходит в постоянном ожидании.

— Директор уже пришел?

Сторож отозвался как автомат:

— Директор никогда не приходит раньше половины третьего.

Сказав это, он вынул свой табак и стал с недовольным видом скручивать цигарку. На гостя он не обращал никакого внимания. Ему до смерти надоело глядеть на всех этих парней в выцветших пальто, которые приходили к начальнику.

— Послушайте,— сказал посетитель, глотнув воздух.— Вам не оставляли для меня письма?

— Письма?

И сторож направился в глубину передней, где стояла черная конторка, и выдвинул верхний ящик.

— У меня тут три письма. Поглядите, может, одно для вас.

Человек в выцветшем пальто взял конверт, но не вскрыл в присутствии сторожа. Он поблагодарил и повернулся, чтоб уйти. Но дойдя до конца парка, не выдержал. Ему казалось, что он уже учитель, и хотелось побыть еще среди своих учеников. Ребятишки скакали вокруг, бегали туда-сюда. Он торопливо разорвал конверт и вынул листок, ища глазами прежде всего подпись.

Вязальщицы разговаривали все громче, чтоб расслышать друг друга в шуме ребячьих голосов. Подходили все новые дети. Они пообедали у себя дома и спешили назад в школу, чтоб успеть еще набегаться перед вечерними занятиями. Кое-кто приходил самостоятельно. Других провожали. Девочек вели за ручку служанки в голубых и розовых фартуках, каждое утро собирающие их в школу, одевая аккуратные школьные передники, поправляя чулочки и заплетая косички.

Человек в выцветшем пальто с минуту молча смотрел на директорское послание. К сожалению, просьба его не может быть в настоящий момент удовлетворена. Директор настойчиво просил зайти еще раз. В последних строках искренно желал ему здоровья. Чтоб обязательно зашел в другое время. Чтоб оставил свой адрес и номер телефона.

Вот так, в тысячный раз подумал человек в выцветшем пальто, пускаясь в обратный путь, одни люди высасывают последнюю каплю крови у других. Они нас скручивают и выжимают. И когда в мгновение последней боли упадет последняя капля, они с отвращением сметают нас с дороги и галопом проносятся мимо. Он думал так после каждой новой неудавшейся попытки.

Веселый звонкий колокольчик позвал детей в классы.

Несколько детишек побежало к навесу, где сидели вязальщицы, чтоб схватить со скамьи свои ранцы. Другие с веселыми криками продолжали свою беготню, покуда не прозвенел второй звонок. Никто не заметил молодого человека в выцветшем пальто — ни как тот вошел, ни как вышел. Да и то сказать, путь их всех так резко расходился с его путем.

Он толкнул уже знакомую поржавелую дверь и снова очутился в переулке. Много народу шло по направлению к школе. Верно, учителя или служащие. И ученики, разумеется. Он шел в противоположном направлении, к выходу из переулка. Через открытые двери и окна виделась ему все та же картина: маленькие комнаты, забитые вещами, с занавеской, делящей тесное помещение надвое, о которых он позабыл было в веселой суете школьного двора. Ничто более не удивляло его. Ни новая неудача, ни этот заброшенный переулок. Все

это были неприятные неизбежности, к каким он привык, но к каким не хотел привыкать.

Медлительный шаг, каким он плелся по переулку, убыстрялся по мере того, как утверждалась в нем эта мысль: он не хотел привыкать. Иные опускались, иные кончали самоубийством. Нет, он не окажется ни среди первых, ни среди вторых. Он не хочет привыкать.

Бег его еще не кончен, он не должен останавливаться на полпути. Все его попытки рушились одна за другой, но он будет крепок, как железо. За целый день он не ел и не пил ничего, кроме утреннего стакана молока, но он будет крепок, как железо. Кашель вновь одолел его два дня тому назад, но он будет крепок, как железо. Ах, так ведь уже наступил час, когда пора лечиться полным отдыхом, подумал он с иронией. Последний врач, осматривавший его, так и сказал: отдых, отдых и еще раз отдых.

Вот и снова знакомая закусочная и старик с каштанами на противоположной стороне. Если бы у него было больше денег, он купил бы несколько каштанов, чтоб съесть их по дороге. Он остановился и пересчитал то, что оставалось. Сквозь витрину закусочной он вновь увидел девушку за столиком в глубине. Короткая узкая юбка все так же позволяла видеть голые колени, а напротив нее сидел мужчина, которого она подцепила и лица которого не было видно. На столике стояло теперь два блюда — одно с сандвичами и другое с булочками.

— А ну, посторонись! — прокричал у него над ухом человек с огромным узлом на спине, собиравшийся пересечь улицу.

Он посторонился и решил не покупать каштанов. Он продолжал свой путь вниз по улице.

Если б он потерпел немножко тогда, утром, он бы только сейчас входил в закусочную. Только сейчас почувствовал бы приятный вкус горячего молока, льющегося в горло. От этой мысли у него высохло все во рту. Только сейчас он почувствовал бы, как пар обдает ему лицо теплотой, как горячее молоко льется на язык и течет в горло.

Лицо старого товарища по университету встало у него перед глазами. Ему вспомнились светлые волосики Мануэлы, колени девушки за столиком в глубине, усы школьного сторожа, блюдо с сандвичами, хозяин закусочной, с любопытством разглядывавший его, бросая не купленную им булочку в витрину.

Он ускорил свой шаг по кишащим народом улицам. Он еще не окончил свой бег, он прошел лишь полдороги, он не остановится. Он никогда не остановится. Быть может, это к добру, что все его попытки оканчивались неудачей. Быть может — к добру. *Быть может — к добру*, подумал он, яростно запахивая полы своего выцветшего пальто.

Внезапно он начал страстно желать, чтобы и далее все поворачивались к нему спиной и все двери закрывались перед ним. Чтоб все его ранили и гнали прочь с ненавистью. Резко и грубо.

Что-то новое неумолимо рождалось в нем с каждой протекающей минутой. Что-то незнаемое и чудесное вырастало в нем.

Он шел все быстрее, из улицы в улицу, с поднятым воротником, среди многих других людей в выцветших пальто с поднятыми воротниками.

Перевод ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

ЮХАН БОРГЕН

Рассказы

С норвежского

Несколько слов об авторе

Нелегко добраться до Юхана Боргена. Для этого надо прежде всего прилететь в Осло. Потом отыскать его загородный адрес — в норвежской столице писатель почти не живет,— около ста километров ехать машиной, миновать шесть длиннющих мостов, где взимают средневековую «мостовую» пошлину, и, наконец, переплыть на моторной лодке залив. Вы окажетесь на каменистом острове, где, открытый всем ветрам, стоит вековой деревянный дом с новой пристройкой. Здесь, в окружении книг, картин (среди них полотна знаменитого Мунка), рисунков, гравюр, народных изделий, домотканых ковров, тихо и замкнуто, с женой и сыном-рыбаком (еще девятнадцать детей Боргена — своих и приемных — давно отделились от родителей), обитает лучший норвежский писатель семидесятичетырехлетний Юхан Борген. Его книги переведены на все языки, его роман «Маленький лорд» вошел в сокровищницу прозы двадцатого столетия, но в сегодняшней Норвегии его читают лениво и мало, и старый писатель чувствует себя забытым. «Ко мне относятся лишь как к ветерану,— сказал он с грустной усмешкой.— У норвежской молодежи другие кумиры». Но это кумиры на час, а Юхан Борген — один из тех, кем явлена человечеству душа Норвегии. Он очень норвежский писатель, но он же писатель, принадлежащий всему миру. В каждом, даже самом маленьком, рассказе мы видим неповторимое лицо Юхана Боргена: лиричного и насмешливого, доброго и беспощадно проницательного, нежного и мужественного, пустившего глубокие корни в толщу народной жизни и современного до мозга костей, не потерявшего и ныне в своем сознательном, а может и вынужденном, уединении крепчайшей связи с нашим тревожным веком.

Больной, держащийся за сердце тонкой, узкой рукой, словно боясь, что оно выпорхнет из слабой грудной клетки, Юхан Борген был трогательно взволнован приездом гостей издалека и тем, что его знают и читают в Советской стране. «Меня забыли соотечественники, а помнят так далеко от дома!..» Он прислал удивительное по какой-то детской искренности и доброте письмо. Там есть такие слова: «Эта встреча была для меня очень стимулнрующей. И да не будет она последней». Ах, как я желаю того же!

ЮРИЙ НАГИБИН

Кровать

Кажется, ему исполнилось тогда одиннадцать. Ведь это бывало в год, когда они переехали. Да, конечно, ему уже стукнуло одиннадцать. «Квартира»,— говорили взрослые о новом жилье и вроде бы с легким пренебрежением. «Домина» — называли они покинутое место, и в этом звучало уважение. Но ему квартира нравилась больше. Здесь царила упоительная теснота. А в

© Gyldendal Norsk Forlag, 1975.

домине было просторно и одиноко. «Всем троим придется спать в одной комнате», — объявили братьям с трещинкой вины в голосе. Подумаешь, беда! Да так куда лучше: три мальчика в одной комнате. Теперь им не придется дрожать от страха долгими осенними вечерами, когда парафиновые лампы уже погашены и ты один в непроглядной мгле.

А еще сказали: «Кровать» — и добавили: «Мальчик больше не может спать на этой кровати!» То была его детская кроватка, маленькая глубокая деревянная клетка, в которой лежишь будто на самом дне мироздания. «Разве это кровать для такого большого мальчика? Он же должен вытянуться». Справедливо — он навсегда запомнил, как трудно было уместить всего себя в тесном пространстве и как мешали ему руки и ноги. «Мальчик растет на глазах», — последовало глубокомысленное заключение.

О, это было зрелище, когда привезли кровать: громадный фургон, два гнедых тяжеловоза и еще два грузчика, чтобы перетащить невиданное диво по лестнице на второй этаж, и ворох шуршащей бумаги, и сколько веревок, и целая гора мусора! И вот она, кровать, — из железа, а может, еще из чего-то замечательного, сверкающая, с блестящими шарами на спинке. А уж и высока — взрослому под стать. И никаких решеток по бокам. Длиннющая, как... Не знаешь, с чем и сравнить. Надо немедленно ее испытать. Он забрался на кровать, вытянулся во всю длину, потом стал ползать по ней, сворачиваться клубочком то тут, то там. Ну и кровать! Дом, а не кровать. И вот что еще удивительно — она была твердой и мягкой одновременно, мягкой по твердому или упруго-твердой под мягким.

Первую ночь он почти не спал. Не мог заснуть. Он должен был ежеминутно ощущать свою кровать, ее длину и ширину, упругость и мягкость, он растворялся в ней. Рядом тихо дышали братья. Он один бодрствовал в ночном мире, но не испытывал ни страха, ни одиночества. Дыхание спящих братьев и эта кровать обеспечивали ему сохранность. Ему было легко и покойно, как в раю. Да, да, теперь вспоминается, именно «райской» называл он свою кровать. Он не слишком отчетливо представлял себе рай — что-то с пальмами или арфами. Прутья решетки в голове и ногах наводили на мысль о струнных инструментах. Он слегка касался их пальцами рук и ног, перебирал, будто струны, эти прохладные прутья, выкрашенные в голубой цвет эмалевой краской. Чем не рай?.. Раньше в гостиной покинутого дома стояли три веерные пальмы, они куда-то исчезли во время переезда. Многое исчезло. Кто-то сказал тогда, что надо «ограничиваться», но потом это слово было заменено другим, вовсе непонятным: «модернизироваться». Он ни о чем не жалел. Арфы были, а пальмы можно вообразить.

С Кроватью началась новая жизнь. Конечно, это выражение пришло к нему позже, но он делал перед собой вид, будто всегда знал его. Возможно, явление кровати вовсе не было таким уж грандиозным, но в воспоминаниях детское его ложе превратилось в Кровать с большой буквы. Не в кровать даже, а в «местопребывание» — слово, которое он тоже узнал позже. Он не лежал в кровати, а пребывал в ней. Ему советовали хорошенько вытянуться. Излишний совет, он и так вытягивался что было сил. Кровать оказалась противницей школы. То и дело возникал соблазн пропустить уроки. Он шмыгал носом, притворяясь больным. «Чепуха! — сердились братья. — У него ничего не болит, просто он помешался на своей кровати». Правда торжествовала: поскольку у него и в самом деле ничего не болело, приходилось покидать теплое укромье. Прощай, кровать!.. Конечно, он не произносил вслух этих слов, но они зву-

чали внутри него. Было мучительно каждое утро расставаться с кроватью. Он никому не позволял прикоснуться к ней. Сам заправлял, разглаживал каждую складочку и, окинув прощальным взором, выходил из дома. Не было ничего лучше Кровати. «Помешанный!» — дразнили его братья. Ну и пусть... А как легко было уложить его вечером! Он никогда не тянул, не мошенничал — нет, ложился по первому слову. Если же слово запаздывало, то говорил усталым, взрослым голосом, предварительно зевнув и с хрустом потянувшись: «Вроде и на боковую пора». Наверное, над ним посмеивались.

Как много оживает в памяти, когда состарившийся человек обращается мыслями к былому, к дням своего начала. Это было в тот год, когда разразилась война. Не в Норвегии, конечно, вовсе нет, а далеко, на Балканах. Но потом она захватила всех. «Война!» — вздыхали взрослые, и взгляд их куда-то проваливался. Они старались говорить о войне так, чтобы дети ничего не поняли. В своих разговорах они мешали войну с повседневностью, большое с малым, и оттого даже самые простые, обычные слова обретали какой-то второй смысл. Он пытался понять этот тайный смысл, и, бывало, взрослые отсылали его спать. Но чаще он сам заботился о себе. «Времяложитьсяспать» означало кровать, а кровать по-прежнему оставалась тем добрым, надежным, защищенным местом, где он мог схорониться от всего злого. Не то чтобы их дню что-нибудь угрожало, но смутная опасность витала в воздухе. И это связывало их день с днем других людей. С жизнью и смертью других, далеких людей, ибо появилось слово «смерть». Оно потянуло за собой другое слово: «убит». Теперь эти слова — каждый день на страницах газет. Значит, ему шел уже тринадцатый год: раньше он газет не читал. То, о чем писали газеты, то, о чем говорили взрослые, стало по-иному звучать для него. А вроде бы ничего не изменилось. Они все так же гоняли в футбол на пустыре, прыгали в море с крыши баньки, зимой бегали на лыжах. Как будто и не было никакой войны. Лишь чуть хуже стало с питанием, но кто на это обращал внимание? Огромная война шла стороной. Собственная маленькая жизнь со школьными радостями и огорчениями, с дружбами и драками, с постоянным соперничеством — кто первый ученик, бегун, ныряльщик, лыжник, драчун — казалась такой значительной и важной, что застила остальной мир. Будни поглощают всего человека, повседневное требует столько сил, что уже не остается времени думать, успеть бы только жить! Одно несомненно: Кровать оставалась центром мироздания, она утоляла все печали, утешала во всех бедах, даже таких тяжких, как расквашенный на большой перемене нос.

...Воспоминания куда-то уклоняются. Это было зимой, в Вальдресе. Название звучит как «Луговина», да, наверное, так и есть: «Аудраль». Далековато от того места, где они проводили каникулы. Ну и набегался он тогда на лыжах!.. Странно: все это вспоминается, будто и не с ним вовсе происходило, а в старом, старом фильме. И не он, а кто-то другой бежал с увала на увал, зачарованный движением и неиссякаемостью простора. Да нет же, с ним это было в далекие, счастливые времена. Деревенька нежданно открылась за лесом, будто из другого, чуждого мира. Вот она купается в розоватом вечернем свете, потом свет быстро меркнет. Вокруг него дома и дворы, но он почему-то перестает понимать, где находится. И тогда возникает Кровать. Так зримо, близко, протяни руку — и дотронешься. А ведь ее и в помине нет в том домике на опушке, где они проводят каникулы. Кровать появилась, чтобы прогнать внезапный страх. Конечно, он понимал, что глупо бояться, когда вокруг дома. Но он и домов боялся. А дома почему-то боялись за него. Вот и возникла Кровать — спасе-

ние от всех бед. И Кровать подсказала: постучись в любую дверь и, когда услышишь «войдите!», смело входи. Чего не померещится городскому мальчишке в деревне! И он решился. Казалось, лучше выбрать маленький домик, совсем маленький, почти хижину. И вот такой домик. Печная труба попыхивает дымком, тесовая крыша придавила крошечное зданьице с сараюшкой, из окошек на снег падают отблески света. Собравшись с духом, он стучит.

Чем-то важным было отмечено его вступление в дом, да ведь тому лет шестьдесят. Но многое помнится, будто случилось вчера. Лица повернувшихся к нему в полумраке людей. Тепло очага, слабый запах... быть может, свежеиспеченного хлеба? Все нахлынуло разом, и трудно выделить подробности. Главное же ощутилось сразу: он в безопасности. Ликующее чувство охватило его, и слова посыпались как горох из мешка, гремя и раскатываясь. Люди понимают, что́ он имеет в виду, конечно, далеко не каждое слово, потому что сами они объясняются на каком-то незнакомом наречии. Но вот из сумрака в круг тусклого света выходит парень и говорит, что надо идти на «хутор». Последнее слово звучит ясно, звонко и как-то торжественно. И еще он упоминает о телефоне, хотя в этом домике, конечно, нет телефона. Но он говорит о телефоне много раз, оказывается, он имеет в виду «ближайший телефон». От этого говоруна все разом оживилось. Когда же он вышел, будто стихла маленькая буря. Впрочем, слова продолжают звучать в полумраке: «Поздняя ночь», «Оставайся ночевать». Много слов. Добрых, ласковых слов. Мысли его прояснились, и теперь он может разобраться в окружающем. Домик битком набит. Сколько тут детей? Трое, четверо, нет, пятеро. И двое взрослых, да парень вышел позвонить. И еще дряхлая старуха в углу на лавке, он не заметил ее поначалу. Он понимает, что домик, такой крошечный снаружи, не может быть больше изнутри. Он состоит из этой вот полутемной комнаты да помещеньица за синей полурастворенной дверью. Там, в сараюшке или пристройке, наверное, спят взрослые, а здесь, в тепле — дети. Он снова незаметно пересчитывает детей. Они осмелели и крутятся, ползают возле него: большая девочка, мальчик его лет, трое малышей. И на всех них только две кровати. И когда женщина снова сказала: «Оставайся ночевать», он сообразил, что должен набраться смелости и намекнуть на тесноту жилища. Конечно, это надо сделать тонко, чтобы их не обидеть, боже упаси! Он не настолько глуп. Он вообще не глуп. Просто он городской мальчик, заблудившийся в сельской местности, и лишь в этом его глупость. Все ясно как божий день. И столько же ясно их утверждение, что выход найдется. Впрочем, он помнит скорее тон, нежели слова. Тем более что многих слов он вообще не понимал. Но интонация говорила ему больше, нежели слова. Впрочем, слово «еда» он понял очень хорошо. Он и тогда не знал, что было в большой миске, но ничего вкуснее не ел во всю последующую жизнь.

Образы минувшего пляшут в отягощенной памяти и вдруг замирают, вновь сложившись в цельную картину. Парень, отлучившийся к телефону, возвращается, и слышно, как он стряхивает снег у порога. Он входит и произносит несколько слов с тем особым выражением, что дарит душе тепло и надежность. А потом неясный бормот в полутьме, и вдруг, как вспышка, отчетливая фраза: «Он городской, ему — кровать». И почему-то стало стыдно. Или то было чувство протеста? Что-то такое, из-за чего он охотно лег бы на полу. Но все равно он оказывается в огромной кровати, один, под звериными шкурами и непривычно жесткими одеялами. И эта кровать не похожа на его прежние кровати. Она — словно кратер, который он видел на картинке. Неровные края вздымаются над ним, покоящимся на дне

глубокой воронки. И ему хорошо. Он лежит блаженствуя и вдруг постигает еще одно чудо, которое больше уже никогда не явится ему: запах. Густой, плотный запах *многих*. Эти многие роятся во тьме вокруг него. Шаркают босые ноги по холодному полу, скрипят двери, что-то шуршит. А потом слышно, как эти многие спят.

И странно, что тут, на дне глубокого кратера, где он съежился комочком, под навалом шкур и жестких одеял, всплывает чувство Кровати, той самой Великой Кровати его городского дома, выкрашенной сверху донизу голубой эмалевой краской. Безобманное чувство означает, что в этом месте, в этой точке земного пространства, где он сейчас находится, ему хорошо. Обитатели домика, взрослые и дети, что храпят, дышат, кашляют и ворочаются во сне, раскидались по всем углам, а где и смешались в кучу на полу, только для того, чтобы он, городской мальчик, мог спать один и безраздельно властвовать над миром кровати.

Он помнит, как посинели от снега под утро оконные стекла. Помнит, что в миг пробуждения уже знал, где он, и не ощутил испуга. Вокруг него перемогало ночь целое *общество*. Это слово внезапно вспыхнуло в его мозгу. Он встречал его множество раз в газетах и школьных учебниках, но никогда толком не понимал, что оно означает, и не пользовался им. Он вылезает из кратера и крадучись, босой выходит на улицу. Он долго мочится в стылой предрассветной дымке и только потом замечает, что встал слишком близко от стены дома. Тогда он нагребает снега замерзшей босой ногой и лишь затем ныряет в тепло жилья, в доброе нутро кратера. Другой раз он просыпается от игры пламени в очаге. Все общество в движении. Потом они едят кашу — противнее нет ничего на свете. Он давится, но глотает. Его одногодка зовут Стиг, они уже успели слегка подраться из-за места за столом. Старшую сестру Стига зовут Лагерта, красивее имени нет на земле. Она занимается малышами, это все мальчики, моет и причесывает их. О, ей уже четырнадцать!..

«Картинкам» скоро придет конец. Он называет «картинками» видения, являющиеся ему там, где он сидит сейчас и ловит мелкую треску, в полукилометре от своего нынешнего жилья. Он присматривается к себе будто со стороны, с чуть тревожным удивлением. Не то чтобы он усомнился, все ли у него дома. Но почему предстающее его мысленному взору куда ясней и вещественней всего окружающего? Ведь минуло шестьдесят лет с того дня, когда он заблудился в Вальдресе, шестьдесят лет со времени Кровати. Давненько это было, что и говорить, но случившееся совсем недавно куда дальше от него. Ему ничего не стоит, сидя здесь, в лодке, ощутить уют «кратера», густой запах тесного, маленького домика посреди Аудраля, ему так легко пробудить те далекие голоса и увидеть свою маму, сияюще-белую в сумраке. Эти картины неотделимы от образа Кровати, образа великой надежности. Как рассыпалась мама в благодарностях за гостеприимство, оказанное ее сыну, глупому городскому мальчишке, умеющему лишь безоглядно вышагивать на лыжах. Способность к безоглядности сохранилась в нем навсегда, и не только на лыжах. И способность к стыду. Возможно, кто-то обмолвился тогда выражением «классовые различия», хотя поручиться нельзя. Впоследствии он очень хорошо узнал и что такое «классовые различия», и что такое «солидарность». Но тогда?.. Он помнит, как горячо благодарил хозяев домика за приют, но не за то, что важнее приюта. Как это назвать? Он и сейчас не знает. Ну, вроде бы отдать другому часть самого себя. С тех пор были другие войны и среди них одна... Вот когда особенно часто всплывали перед ним видения Вальдреса. И все не с такой отчетливостью, как сегодня, когда он сидит в лодке и

удит. Вот опять клюнуло. Обычная, некрупная треска, едва на полкило. В ведерко ее. К вечеру он наловит достаточно рыбы.

«Картинки» теперь скользят мимо. Он не может принимать их с прежним доверием. В его внутреннем взгляде появился некий критический прищур, и сразу пропала чистота воспоминания. Лучше думать о треске. О том, чтобы вернуться домой с рыбой. Минувшее стирается с зеркала памяти. Солидарность, товарищество становятся отвлеченными понятиями.

И сразу взяла крупная рыба. Наконец-то отягощено гибкое удилище. Он тащит, нейлоновая леска напрягается и вот-вот лопнет. Но теперь он уже знает, что никакая это не рыба, просто зацепился крючок. Так зацепился, что и не освободишь. Придется отрезать. Жаль, это шведский крючок, но ничего не поделаешь.

Но тут ему становится любопытно, за что же, черт возьми, зацепился крючок? До сей поры он прохлаждался в лодке. Негоже прохлаждаться, когда ловишь рыбу. Надо бросить за борт кошку-якорек. Может, удастся поднять со дна корягу или что там еще. Он кидает кошку и травит трос. В непроглядной глуби что-то с чем-то сцепляется и что-то поддается. Он выбирает трос, тянет изо всех сил, лодка накреняется и черпает воду. Но ему до зарезу хочется знать, что же там такое. И тут он пугается: а вдруг это труп?

Медленно, натужно и упорно тянет он трос. Пот оросил лоб, стекает на глаза, трос глубоко врезается в ладони. Выступила кровь. Но теперь чудовище должно поддаться, и пусть это будет легендарный морской змей.

Что-то высунулось из воды. Спинка кровати. Вся обросшая ракушками. Железная кровать. И даже не очень ржавая. Совсем целая решетка в изножии — арфа, ни дать ни взять. Но никаких блестящих шаров на столбиках. Чудовище дьявольски нагрузло, едва лишь оказалось на поверхности воды. Надо опереть его о борт. Острая ракушка рассекла ладонь. Лодка стремительно заполнялась водой. Самое правильное — отпустить трос и отправить чудовище восвояси. Но хочется еще поглядеть. Конечно, это не его Кровать. Такая штуковина не может пролететь сто двадцать километров по воздуху из Осло. Он не верит в чудеса. На свете много кроватей, иные из них лежат на дне морском. Почему бы и нет? Согнувшись, разглядывает он то, что было некогда кроватью. «Картинки» проплывают сквозь него, и теперь они словно бы светятся. На миг он оказывается в своей старой детской, а еще через миг — в Вальдресе. Освободив крючок, он отпускает трос. Жалкое подобие кровати плюхается на дно, к остальной, так сказать, мебели. «Плюп» — говорит оно.

Как все красиво отсюда, из лодки! О, вечное движение не знающего покоя мира. Ладно, надо вычерпать воду. Ну, вот и все. И пусть он что-то предал в себе, все же бодро пускается в обратный путь, всем телом налегая на шест. Он спешит. Пора в сегодняшний день, прочь из воспоминаний шестидесятилетней давности. Но зачем же предавать старую кровать? Да, да, конечно, просто сейчас ему хочется действительности. Найдет ли он утоление там, куда плывет, в своем доме? Вот он стоит на мысу, белый в вечернем солнце. А ему снова мерещится другой дом, маленькая замшелая хижина в далеком-далеком Вальдресе. Нынешний день, как ни старайся, не оторвешь от вчерашнего. Антенна на крыше дома — будто мачта корабля. Мысли начинают путаться. Он знает, что работа втащит его в трезвые будни. Но что-то в нем противится такой трезвости. И будет противиться до конца, до самого исхода. Отталкиваясь шестом, вплывает он в будни и там крепко зачаливает лодку.

Кто-то спустился к воде и кричит:
— Поймал что-нибудь?
— Да. Кровать.

Авторизованный перевод ЮРИЯ НАГИБИНА

Паспорт

Сдвинув очки на лоб, контролер стал разглядывать паспорт человека, который стоял в очереди передо мной. Затем вернул очки на прежнее место и посмотрел на самого человека.

— Но ведь это не вы,— сказал он.

Кожа на затылке у стоявшего впереди тучного человека дернулась чуть ли не как у лошади, отгоняющей мух. Мне хорошо был знаком этот затылок. Десять часов подряд он маячил передо мной в самолете. Люди сзади в очереди начали притопывать от нетерпения. Очевидно, им тоже порядком надоели затылки их спутников.

Мужчина передо мной что-то пробормотал — что именно, я не расслышал. Контролер снова заглянул в паспорт, затем перевел взгляд на человека. И снова, как и прежде, насадил на нос свои немыслимые очки в стальной оправе. Такие очки обычно в этой стране выдают служащим страховых компаний. Он повторил:

— Я сказал: это не вы.

Кто-то сзади крикнул:

— Выведите его из очереди, пусть не задерживает других!

Кто-то проворчал:

— Всего десять часов летишь с континента на континент, а тут паспортный контроль займет целый час...

Помощник контролера окинул очередь выразительным взглядом, словно спрашивая: «А нет ли и среди вас подозрительных личностей?» Очередь стихла и теперь молча топталась на месте.

Трудно описать нервозность, которая охватывает спешащих пассажиров, когда вдруг возникает задержка. Я обернулся. Казалось, очередь готова была меня растерзать. Словно виноват был я, а не тот тучный мужчина, чей затылок я возненавидел ненавистью, которая обычно столь же быстро исчезает, как и рождается. Так всегда бывает в этих поездках. Подобные путешествия не сулят радости и не вызывают приятных надежд. Это всего лишь перемещения. Они не способствуют знакомствам. С другой стороны, в них трудно не замечать соседа, книги, которую он читает, его манеры есть и пить. И уж совсем невозможно не замечать затылков. Затылок впереди стоящего мужчины был аккуратно подстрижен и ухожен. Лишь в трех местах заметны были завихрения буйной поросли да две маленькие ямки — следы так называемых «карбункулов». Наверное, ему было очень больно, когда карбункулы нарывали. Дама позади меня возбужденно щебетала. Это была маленькая женщина, чем-то похожая на мотылька,— она перелистала за время перелета целую кипу журналов. В какой-то момент стюардесса дала ей таблетку, и женщина-мотылек уснула — в уголке рта у нее пенились пузырьки слюны. Я видел это, когда шел в уборную. Мотылек словно бы вновь стал гусеницей. Выражение ее лица во сне не обещало ничего хорошего. Я вспомнил: где-то я однажды читал, что нельзя соединять жизнь с человеком, которого ты не видел спящим. Только что, когда я обернулся и вся очередь дружно пронзила меня убийственным взглядом, эта женщина

снова показалась мне гусеницей, а уж никак не мотыльком. Казалось, она готова была переступить через мой труп.

— А я говорю, что это не вы! — настойчиво повторил контролер.

Тут словно дьявол пробудился во мне.

— А вдруг это я? — сказал я и, раскрыв паспорт, протянул ему.

Котролер уставился на меня пустыми глазами:

— Что вы хотите сказать? Это вы?

— А почему бы и нет? Раз вы говорите, что это не он.

Теперь обернулся и тот, которого я во время поездки окрестил Затылком. Его взгляд не был пуст. Из глаз сочилось изумление.

— Да что вы хотите этим сказать? — тоже спросил он.

Оба вдруг ополчились на меня. В таких очередях союзы меняются быстро. Еще кто-то из стоявших позади услышал мои слова. Все трое теперь объединились против выскочки. Я попробовал было пойти на попятный:

— Я хочу сказать только одно. Взгляните на фотографию в моем паспорте. Похож я там на себя? Взгляните на фотографии других людей в этой очереди — кто решится утверждать, будто они похожи?

Это были верные и своевременные слова. Невольно все стали разглядывать свои фотографии. Кто-то рассмеялся. Человек, стоявший одним из последних, сказал:

— А ведь парень прав.

Он повторил это на трех языках, чтобы поняли все окружающие.

— Если бы пропускали по этим фотографиям...— сказал он.

— Прошу вас выйти из очереди,— сказал контролер.

Наконец-то. По очереди пробежал вздох облегчения. Затылку проштемпелевали паспорт. Меня же мягко, но решительно оттеснили в сторону. Тут только я понял, что слова контролера относились ко мне.

— По-моему, вы не в своем уме,— пробормотал я тихо. Но все же, как оказалось, достаточно громко, чтобы меня услышал помощник контролера, низенький человечек с острым носиком и редкими колючими усиками.

— Вы, кажется, сказали, что контролер не в своем уме? — спросил он.

Выругавшись про себя, я протянул паспорт. И у меня его тут же отобрали. Помощник схватил телефонную трубку и набрал три цифры. По-видимому, номер вышестоящего начальника. Теперь мимо меня порхнула женщина-мотылек, и ей тоже поставили в паспорте штамп. Затылок тем временем уже прошел таможенный досмотр. Получив обратно паспорт, женщина-мотылек взглянула на меня. Правда, теперь она уже не походила ни на мотылька, ни на гусеницу. И во взгляде ее было глубокое презрение — так смотрят на человека, который оплошал.

Желая, чтобы меня отпустили, я потянул контролера за рукав. Он быстро обернулся, словно только этого и ждал — само собой.

— Вы меня еще и за руки хватаете? — сказал он.

— Но послушайте, милейший...

— Я вам не милейший...

Теперь, войдя в раж, он штемпелевал паспорта как безумный. Мои попутчики проходили без задержки. Некоторые торопливо, стыдливо поглядывали на меня, пожимая плечами. Один, протягивая свой паспорт, рассмеялся.

— Это уж, во всяком случае, я,— сказал он.

Контролер расплылся в улыбке. Теперь они улыбались вместе.

В тот миг оба были в заговоре против меня. Пассажир-весельчак быстро повернулся ко мне:

— Или, может быть, это тоже вы? — спросил он.

Затылок, Мотылек и Весельчак исчезли в проходе. «Свободны,— подумал я.— Они свободны».

Помощник что-то бормотал в телефон. Говоря, он прикрывал рот рукою. Мне послышались слова: «Это он». Подчас приходится сомневаться, верно ли ты понял сказанное на чужом языке, даже если хорошо его знаешь. Тем более когда говорящий прикрывает рот рукой.

Тут вдруг неизвестно почему пассажиры, которым я было позавидовал, считая, что они уже «свободны», снова показались в дверях. Позади них выросли люди в мундирах. На мундирах лежал отблеск солнца, пассажиров же объяла тень. Их возбужденные голоса не долетали до меня, но было заметно, что пассажиры преисполнены негодования и гнева. Говорили на многих языках — каждый на своем, это ясно.

— Теперь займемся вами,— сказал контролер и, проштемпелевав паспорт последнего пассажира, обернулся ко мне.

— Мной?

— Да, вами. Прошу сюда.

Меня провели в комнату, которая находилась слева от зала. Впереди меня шел контролер, за мной помощник — я уже давно окрестил его Шилом. Я очутился в служебном кабинете. За письменным столом сидел усталый человек. Он зевнул и что-то сказал стоявшему рядом чиновнику, после чего тот исчез. Затем, не поднимая головы, он спросил контролера:

— Это он?

— Он,— ответил контролер с почтительностью, которой трудно было от него ожидать.

— Он? — переспросил усталый и взглянул на меня, как мне показалось, с некоторым удивлением.

Шило выступил вперед:

— Мы думаем, что это он.

Человек за письменным столом посмотрел на меня долгим, испытующим взглядом. За моей спиной снова возник чиновник и сказал:

— Я всех привел. Можно им войти?

— Пусть входят,— ответил человек за письменным столом.— Они вправе требовать, чтобы мы отпустили их побыстрей,— добавил он.

Меня вновь охватила тихая зависть. Они вправе чего-то требовать. С ними считаются. Контролер дотронулся до меня и указал на самое удаленное от двери место. Затем ввели их, всех сразу — всех, с кем десять часов подряд я летел через океан. Одни сидели передо мной, другие сзади и по бокам; они пили и ели, украдкой разглядывая своих попутчиков. Точно так же — украдкой — разглядывали они сейчас и меня.

Сейчас, во всяком случае, они разглядывали меня. По очереди их подводили к человеку за письменным столом. Я сидел слишком далеко и не мог слышать, о чем они говорили. Но после каждого вопроса они бросали на меня быстрый взгляд. Мотылек, Затылок, Весельчак и еще какие-то люди, которых я толком и не разглядел. Даже тот человек, который поддержал меня тогда в зале,— даже он теперь, покосившись на меня, словно бы что-то подтвердил. Всю эту процедуру провернули быстро. Кажется, мои попутчики единодушно твердили одно и то же. И каждого, стоило только ему ответить человеку за письменным столом и покоситься на меня, тотчас же с миром отпускали. Затем к столу подвели того, кого я окрестил Шилом. Он был

возбужден, но говорил приглушенно, и снова послышались слова: «Это он». Я подавил тревогу. «Это он» могло означать лишь, что они указывали на меня. На меня, который, по их мнению, оскорбил служащего или что там еще натворил. Оно не обязательно должно было означать что-то худшее, но если да, то что же все-таки? Что касается обыкновенных прегрешений — тут совесть у меня чиста. Я никого не убил и ничего не украл. В остальном, что бы я ни совершил, это их не касается.

Или, может быть, все же касается? Теперь они молча разглядывают меня. Право же, это их не касается — ни чужие грехи вообще, ни мои собственные, в частности. Затылок, например,— ясно, что совесть у него не слишком-то чиста. А у Мотылька все пороки полусвета написаны на лице.

Грехи? Совесть? Странно, что эти понятия всплыли в моем сознании именно сейчас. Именно здесь, в кабинете, рядом с залом ожидания аэропорта, в миле от большого города. Тысячи и тысячи людей прилетают сюда и улетают отсюда каждый день. Их наскоро проверяют, бегло осматривают багаж — и отпускают. Как-никак, здесь не ворота в рай. И город — не обитель ангелов. Я бывал здесь много раз и ни разу не встречал ангелов. Да и сам я отнюдь не ангел...

Внесли мой багаж. Его быстро перерыли. Трубку, которую я однажды купил в минуту растерянности и горя, долго разглядывали под лампой. Я вдруг заметил, что у трубки несколько странная форма. Я ведь тогда ни о чем не думал. Куклу с закрывающимися глазами — подарок любимому ребенку — рассматривали так, словно это бомба с часовым механизмом. Когда ее положили на стол и она жалобно пропищала: «Ма-ма», мундиры вздрогнули от неожиданности. Я не мог сдержать улыбку. Человек за письменным столом сказал:

— Не вижу ничего смешного.

— Не видите? — переспросил я. Впрочем, я и сам чувствовал, что смеяться тут не приходится.

Наконец дошла очередь до паспорта. Все нагнулись над столом и загородили от меня паспорт. Теперь мне вдруг стало казаться, что там могут быть странные вещи. Я никогда не изучал все эти штампы и отметки — следы поездок по многим странам. Лишь как-то раз полюбовался красивыми буквами на штемпеле, который мне поставили в Александрии. Теперь эта отметка казалась мне подозрительной. Человек за письменным столом жестом поманил меня к себе. Я уже давно про себя называл его Человеком. Остальные расступились и окружили его.

— Это ведь не ваша фотография,— сказал Человек.

— Может быть, все дело в очках,— сказал я.— Когда я снимался, на мне были очки.

Я вытащил свои очки и водрузил их на нос.

Все посмотрели на фотографию в паспорте, лежавшем на столе, потом на меня и снова на фотографию.

— У этого усы,— сказал Человек.

— Усы? Ах да, правда. В то время я носил усы. Но это было давно.

— Три года назад,— сказал он, глядя на дату выдачи паспорта.

— Что-то вроде этого,— согласился я.

— Три года,— повторил он.— Я спрашиваю: носите вы очки? А усы?

— Иногда я ношу очки. Однако теперь все реже и реже. Близорукость моя стала меньше. Что касается усов...

— И волос! — воскликнул он.

— Увы, как я уже говорил, это было давно.

— Три года назад,— повторил он.

— Да, три года назад.

— Особые приметы. Здесь в паспорте ничего не указано. Но я сразу заметил, что вы прихрамываете. Пожалуйста, пройдитесь по комнате.

Я прошелся по комнате. Я слегка прихрамывал на левую ногу.

— Автомобильная катастрофа,— пояснил я на ходу. Странное чувство охватывает человека, когда он вынужден не только объяснять, что слегка прихрамывает, но и одновременно демонстрировать свою хромоту.

— Однако еще недавно вы хромали на правую ногу,— сказал Человек.

Странно. Я остановился. Очень странно. Ведь он прав. Почему-то сейчас я прихрамывал не на ту ногу.

— Вы правы,— сказал я.— Извините.

Они переглянулись. Человек спросил:

— Что это значит? Вы что, не знаете, какая нога у вас больная?

Я почувствовал, что краснею. Но объяснить ничего не мог.

— Хромота у меня ничтожная,— сказал я.— Да она и заметна, только когда я устаю или слишком напряжены нервы. А сейчас я еще должен был ее показывать...

Он жестом подозвал к себе контролера, и они тихо заговорили о чем-то. Я видел, как контролер утвердительно кивнул. Я стоял посреди комнаты и сам теперь уже не знал, на какую же ногу я все-таки хромаю.

Человек за столом отослал контролера и обратился ко мне:

— Там, в зале ожидания, вы сказали: «Может быть, это я?» — про совершенно незнакомого вам человека. Что вы имели в виду?

Я пожал плечами.

— Я спрашиваю: что вы имели в виду, когда дали понять контролеру, что вы не тот, за кого себя выдаете. Кто же вы тогда? Во всяком случае, не тот, кто изображен здесь на паспортной фотографии.

Я ответил:

— Это довольно трудно объяснить.

— Что трудно объяснить?

— Почему я это сказал. Наверное, мы все были раздражены.

— То есть вы были раздражены. Чем же?

— Тем, что время шло, а контролер к тому же вдруг сказал Затылку, что фотография в паспорте — не его.

— Затылку? О ком вы говорите?

Они снова переглянулись. Я почувствовал это, но не поднял глаз от письменного стола. Я не мог выдержать взгляд Человека.

— Это у меня просто вырвалось,— сказал я.— Всему виной моя привычка давать прозвища незнакомым пассажирам. Мне приходится много ездить.

— Это видно,— сказал он и снова заглянул в мой паспорт.— Владелец этого паспорта действительно много ездит.

— Обычно я называю своих попутчиков каким-нибудь прозвищем, так, про себя: Затылок, Мотылек.

— Мотылек?

— Да, так я назвал даму, что была позади меня.

Все обернулись и стали искать глазами даму. Я снова почувствовал, что краснею.

— Я имею в виду даму, сидевшую позади меня в самолете.

— Да как вы смеете называть уважаемую гражданку нашей страны мотыльком?

— Я не называл ее мотыльком. Я никак ее не называл. Никак.

— Вы не заметили, что все время противоречите себе? То у вас усы, то у вас их нет, то у вас есть очки, то нет, то вы хромаете на одну ногу, а то на другую. То вы даете своим попутчикам прозвища, то, как выясняется, не даете. Не пора ли сказать хоть одно слово правды?

Человек наклонился вперед. Теперь он уже не казался усталым. Я вдруг почувствовал страх. И тут меня осенило.

— Я требую, чтобы вы связались с моим посольством,— сказал я.

Человек вяло улыбнулся.

— Уже связались,— сказал он.— Они вас не знают.

Я сказал:

— Я приехал из страны с пятнадцатимиллионным населением. Никто не может требовать...

— А мы ничего и не требуем от вашего посольства,— прервал он.— Это вы сами требуете.

— Я требую уважения моих прав и интересов.

К счастью, я почувствовал, что во мне просыпается ярость. На мгновение она прогнала весь страх.

Человек откинулся на стуле. Теперь он снова выглядел усталым, словно рассказчик, вынужденный повторять свой рассказ умственно неполноценному собеседнику.

— Когда вы говорите о ваших интересах, имеете ли вы при этом в виду свои интересы или же интересы владельца этого паспорта?

— И мои, и его. Потому что он — это я.

— И это после того, как вы недвусмысленно представились контролеру как другое лицо? — Он коротко и язвительно рассмеялся, оглядывая стоявших вокруг. Затем, с паспортом в руке, поднялся, обошел стол, бросил на стол паспорт и, вплотную подойдя ко мне, произнес: — Скажите мне наконец, кто же вы на самом деле?

Вот это «на самом деле» вдруг заставило меня по-иному взглянуть на вещи. Не потому, что он вложил в эти слова какой-то особый смысл. Но они словно бы разъедали мне душу. Хотя Человек и не смотрел на меня взглядом инквизитора, все же в голосе его звучали отвратительные следовательские нотки. Казалось, им руководит чисто профессиональный интерес. Словно он хотел сказать: «Если мы отбросим весь этот вздор и увертки и перейдем наконец к сути, тогда все еще может закончиться благополучно. Просто нам надо знать, кто же вы такой на самом деле».

Да-да, именно эта деловитость отняла у меня последние силы. Теперь я это понимаю. Внешние обстоятельства утратили вдруг всякое значение. Люди, стоявшие вокруг стола — в мундирах и без оных,— куда они делись? В тот миг я просто не обратил на это внимания. А ведь я по-своему все подмечаю вокруг и часто трачу душевные силы на то, чтобы вникнуть в суть мелочей, которые вижу и слышу. И все оттого, что я очень одинок, одинок на людях. Но в ту минуту я совсем не замечал, что творится вокруг. Я видел только этого человека. Сейчас он не был тем чиновником до мозга костей, каким до сих пор мне казался, чиновником, готовым любой ценой навести у себя в конторе порядок, чтобы, уйдя домой, тут же обо всем забыть. Возможно даже, он желал мне добра. Он хотел лишь узнать, кто я такой. Ему надо было это знать по долгу службы. И он хотел, чтобы я сам сказал ему об этом.

Чтобы получить подтверждение?

Только сейчас мне пришла в голову эта мысль. А что, если помощник контролера принимает меня за некоего субъекта, которого разыскивают, и его начальник выясняет, верно ли подозрение?

Я отогнал эту мысль. Помощника контролера рядом не было. Че-

ловек отослал его знаком руки. Когда тот сказал: «Это он», он совсем не имел в виду, что принимает меня за какого-то преступника,— во всяком случае, Человек не подозревает меня в этом. Теперь я ясно видел: его интересует нечто совсем другое. Я спросил:

— Можно сесть?

— Садитесь.

Он предложил мне стул. Затем, вернувшись на свое место, тоже сел. Только теперь я заметил, что мы одни. Я подумал: «Сейчас он посмотрит на часы. Может быть, он уделит мне минуты три».

Но он не взглянул на часы. Он глядел на меня неотвязно, как может глядеть на тебя только ребенок, пока ты и сам не начнешь думать, что у тебя что-то не в порядке. Он предложил мне сигарету, сам взял одну, затем дал мне прикурить, по-прежнему не сводя с меня глаз. И я тоже не сводил с него глаз. И тут вдруг вся ситуация резко изменилась. В его взгляде, испытующем, глубоком, проглянуло простодушие, словно это и вправду был взгляд ребенка, испытующий от природы, а не вследствие каких-то подозрений, чуть ли не невинный, вопрошающий сквозь синюю пелену сигаретного дыма взгляд. Слова, все злобные слова, брошенные мне с насмешкой, теперь развеялись, будто никогда и не были произнесены.

За окном с ревом взлетел самолет. Грохот прокатился над крышей, все предметы на письменном столе задрожали. Затем грохот удалился и замер. Голоса в зале ожидания умолкли. Захлопнулась дверь и словно отсекла все звуки.

Взгляд Человека отпустил меня. Откинувшись на спинку стула, он положил обе руки на стол, словно это были не руки, а вещи.

Руки у него были большие, красные, с рыжими волосами на пальцах. Сначала меня поразил его взгляд. Теперь — руки. В них тоже было что-то детское. Я представил их себе двумя крохотными комочками, жадно тянущимися к материнской груди. Потом — руками влюбленного, лихорадочно ощупывающими тайны белого женского тела. Все привиделось мне, чем могут быть заняты человеческие руки, пока не окончат своих житейских дел и не застынут в покое, сложенные, предназначенные обратиться в прах. Это не были руки рабочего, но и не руки конторщика. Просто руки человека, совершающего свой путь от рождения к смерти. Руки нервно дернулись. Они знали, что за ними наблюдают. Пальцы начали перебирать вещи на столе. Сначала они тронули бронзовую статуэтку Дианы. Затем куклу, мою куклу, которую я вез любимому ребенку. В пепельнице догорали наши сигареты.

— На чем мы остановились? — спросил он устало.

— Вы спросили, кто я такой на самом деле. Вот это «на самом деле»...

— Верно. Оно вас смутило. Почему?

— Оно встревожило меня.

— Вы и раньше были встревожены.

— Паспорт мой настоящий, и вы это прекрасно знаете. Почему же со мной так обошлись?

— Мы — чиновники. Все делается по правилам. Долг служащих — следить за порядком, проявлять бдительность.

— Вы хотите сказать: подозрительность? И подозрение вдруг сосредоточивается на каком-то одном человеке?

— Верно. На вас. Согласитесь, что этот паспорт совершенно вам не подходит.

— Вы хотите сказать, что все паспорта не подходят их владельцам?

— Совершенно верно. Снимки, как правило, не похожи. Спрашиваешь — отвечают не то. Наши коллеги на таможне, к примеру, сразу догадываются, кто везет с собой вещь, подлежащую обложению пошлиной, или запрещенный товар.

— И тогда все набрасываются на одного!

— Вот именно. На одного. На того, кто дает к этому повод.

Взглянув в окно на опустевший аэродром, я сказал:

— За день столько накапливается незавершенных дел, что служащий ощущает укоры совести, а это, видимо, порождает под конец дня прилив административного рвения. Ваш служащий, которого я про себя окрестил Шилом, придя сегодня домой и принимаясь за еду, наверно, объявит: «Нам снова попался нахальный пассажир — из тех, что воображают, будто им все дозволено, но уж я...»

— Весьма возможно.

— Одного не пойму — почему вы выбрали именно меня?

Он долго разглядывал меня, прежде чем ответить:

— За долгие годы службы я не раз задумывался над этой проблемой. И вот теперь, глядя на вас, я понял, что в этом есть своего рода закономерность. Некоторые люди привлекают к себе внимание.

— Как виновные, хотите вы сказать?

— Называйте как угодно. Но если вы имеете в виду владельцев фальшивых паспортов или тех, кто провозит мелкий, но опасный товар,— эти знают, как себя вести. Из них мало кто попадается.

— Так, значит, я?..

— Некоторые люди всегда чувствуют себя виновными в чем-то. Иначе всего этого не объяснишь. Надо думать, нечто подобное случалось с вами и раньше?

— Никогда!

— Значит, что-либо другое в этом роде. Например, на таможне перерывают только ваш чемодан, тогда как других, всех, кто только что сидел с вами в купе и похвалялся своими мелкими прегрешениями против правил, выпускают без проверки...

— Да, пожалуй, вы правы!..

— Люди с фальшивыми паспортами никогда себя не выдают. Те, кому есть что скрывать, скрывают.

— А мы все, безвинные, мы, значит?..

— Не все. Я же не говорил, что все.

— Только некоторые?

Он долго разглядывал меня своим по-детски испытующим взглядом, потом сказал:

— Вы сами все время употребляете такие слова, как «виновный» или «безвинный». А ведь наши клиенты примечательны не тем, кем они являются на самом деле, а тем, кем они себя ощущают.

— Послушайте, это же признание банкротства! Вы со своими подчиненными глубоко меня оскорбили. К тому же вы отняли у меня время. Я буду жаловаться и потребую возмещения убытков.

— Как вам будет угодно,— сказал он и протянул мне куклу.— А вот ваш паспорт. Как видите, в нем стоит штемпель. Но я бы рекомендовал вам получить новый паспорт.

Он медленно и устало поднялся, словно каждое движение стоило ему неописуемых усилий. Затем протянул мне свою визитную карточку:

— Здесь указано мое имя, должны же вы знать, на кого вам жаловаться. Кстати, как видите, я тоже прихрамываю. То, что мы называем «особыми приметами».

Он вяло улыбнулся.

Невольно я тоже улыбнулся в ответ:

— Не потому ли вы так быстро подмечаете чужую хромоту?

— Совершенно верно. Я уже говорил вам, что некоторые люди привлекают к себе внимание... словом, я тоже из породы тех, кого вы называете «виновными». Впрочем, я, право, не могу вас дольше задерживать. Ведь сумма возмещения убытков растет!

На этот раз он улыбнулся во весь рот. Чтобы обезоружить меня? Нет, не похоже. Казалось, это он теперь куда-то спешил. Я же по-прежнему сидел в той же позе. И даже не сделал попытки собрать свои вещи. Паспорт, кукла, дорожный несессер — эти привычные вещи смотрели на меня со стола. Но я не узнавал их. Словно они принадлежали кому-то другому.

— Но это же ваши вещи! — сказал он, отгадав мои мысли. Он сам стал собирать их, а затем осторожно сложил в мой дорожный чемодан.— Пожалуйста,— сказал он и слегка подтолкнул чемодан ко мне, все так же улыбаясь.

А я по-прежнему сидел в той же позе, сжимая в руке его визитную карточку. Почему-то вдруг я спросил его:

— Но вот вы — коль скоро вы допускаете подобные поступки,— вы-то сами кто?

— На самом деле? — спросил он лукаво. И в тот же миг вновь обрел тот облик, что я увидел вначале, прежде чем открыл в этом человеке — по взгляду его и рукам — ребенка.— Я чиновник,— сказал он устало,— и давайте на этом кончим.

Но по-прежнему он стоял, а я сидел. Казалось, мы поменялись ролями. И хотя я по-прежнему сидел там, где положено сидеть посетителям, я начал допрос, а он — да простит меня всевышний за эту мысль,— он стал мной. Теперь он стоял с моим раскрытым чемоданом в руках, с куклой, паспортом и несессером; его пальцы нервно теребили мою пижаму, торчавшую из чемодана. У меня же в руках была его маленькая Диана.

— Да, но такая визитная карточка,— сказал я, держа ее перед собой, чтобы прочесть фамилию,— ни о чем не говорит.

Он обреченно пожал плечами. Я же чувствовал, как меня захлестывает неведомая сила. Я сказал:

— Будьте любезны, пройдитесь по комнате. На какую ногу вы хромаете?

Он послушно сделал несколько шагов.

— На левую,— сказал он, прохаживаясь. Но хромал он на правую.

Тогда я сказал:

— Ошибаетесь, вы хромаете на правую ногу.

На мгновение он застыл посреди комнаты. Его лицо стало пепельно-серым. Зазвонил телефон. Я видел, как он протянул руку. Но она казалась безжизненной.

— Отпустите меня,— прошептал он.— Я ведь вас отпустил.

Я сказал:

— Ничего подобного. Вы не отпустили меня. Вы лишь утратили на миг самоуверенность чиновника. Вы потеряли себя.

В это мгновение я был на вершине могущества. Я был чиновником, он — моей жертвой. Я мог... но что, собственно, я мог сделать? Телефон все звонил и звонил. Из-за этих звонков я и совершил ошибку. Я взял трубку и протянул ему. Он подошел и взял ее. В ту же секунду произошло перевоплощение. Он выпрямился, глаза утратили стеклянный блеск. Он отвечал кому-то быстро, угодливо.

У всякого человека есть начальник. Мой Человек был спасен, я сразу это понял. Он снова стал самим собой. Он отвечал теперь ко-

ротко и точно, хотя понять, о чем шла речь, было невозможно. Покосившись на меня, он сказал:

— Да, он здесь.

Затем он положил трубку. Я встал. Он обошел стол, сел, поставил Диану на место. Фигурка придавила мой паспорт — вероятно, я сам положил его на стол.

В дверь постучали. Вошел Шило — словом, тот служащий, которого я прозвал Шилом. Он сказал:

— Они ждут за дверью.

— Хорошо,— сказал Человек.— Пусть уведут его без промедления. И не забудьте вот это,— добавил он и протянул ему мой паспорт.

Ёрун и Лильлебрур

Маленькая Ёрун была доброй девочкой. Когда случилась эта история, ей было четыре с половиной года. Маленькая Ёрун жила в городе, на втором этаже красивого дома, окна которого выходили на лужайку, поросшую травой, как в деревне. К лужайке примыкал другой двор, покрытый щебнем. За ним виднелись другие дома. В одном из них жил Лильлебрур, который не был так добр, как Ёрун.

Ёрун была ангел, а не ребенок. Тихо и мечтательно она бродила по траве, погруженная в свои мысли. Она любила фантазировать и одушевляла все окружающие предметы. Ее фантазия не знала границ. Для нее все имело особый смысл. Мусорные ящики за живой изгородью с недавно распустившимися маленькими светло-зелеными листочками были домами. Деревья у ограды, отделявшей лужайку от покрытого щебнем двора, были людьми. Одно дерево носило имя дяди Яна, которого у нее никогда не было, но который был намного добрее любого из ее дядей. Другое дерево называлось господином Хирбинсеном. Ёрун обращалась к дереву:

— Господин Хирбинсен,— и улыбалась.

Хирбинсен был остроумным и чудаковатым. Но он был мужчиной, и она не могла себе позволить третировать его, даже немножко. Однажды мама Ёрун сказала:

— Ёрун, но ведь Хирбинсен всего-навсего дерево.

И когда Ёрун увидела, что Хирбинсен — это действительно дерево, она стала еще тише. Теперь она не чувствовала ни над кем превосходства. Стоило Ёрун услышать плач ребенка, который был меньше ее,— она сразу же спешила к нему, бросалась рядом на траву и они плакали вместе.

Все взрослые единодушно считали ее ангелом.

У Лильлебрура было два велосипеда. Когда ему надоедал один, он начинал реветь, требуя, чтобы ему купили подростковый велосипед. Несмотря на свои четыре года, он был большим, толстым и довольно злым. Тогда его мать поспешно выходила с другим велосипедом и говорила:

— Лильлебрур, вот твой велосипед, возьми его.

Лильлебрур брал велосипед и успокаивался — он не был настолько уж вредным,— но вскоре тот тоже ему надоедал. Однажды он увидел Ёрун.

Не то чтобы он не видел ее раньше. Он видел ее каждый день через сетку ограды. Но по-настоящему он увидел ее впервые. Ёрун была прекрасна; темно-голубые мечтательные глаза подолгу рассма-

тривали каждый предмет, попавший в поле ее зрения. Поэтому, когда Лильлебрур увидел ее впервые, он долго не мог отвести от нее глаз. Она не была подвижной и непоседливой, как другие дети, которые стремглав срывались с места, если где-то затевалось что-нибудь интересное. Целый день стоял Лильлебрур во дворе, покрытом гравием, и наблюдал за нею сквозь решетку ограды. На другой день он сказал:

— Я плиду к тебе целез.

Сказано — сделано. Старательно просунув носочки туфелек в сетку, он медленно стал карабкаться вверх. Наконец он добрался до самого верха и на какое-то мгновение повис словно мешок. Затем разжал кулачки, шлепнулся и заревел.

Это повторялось изо дня в день, и на удивление всем маленькая Ёрун всякий раз наблюдала, как он медленно карабкается вверх, а затем кубарем летит вниз. И пока он ревел, она стояла, склонившись над ним, но при этом не плакала. Странно, это как будто доставляло ей удовольствие. И когда Лильлебрур в конце концов поднимался, размазывая по лицу слезы и всю грязь, какую только можно было собрать вокруг, она брала его под руку, плевала ему на рожицу и вытирала подолом юбки, задирая ее так, что видны были штанишки. Лильлебруру это нравилось, и день ото дня он плакал все сильнее и сильнее, падая с ограды, которая на самом деле была довольно высокой — в два раза выше его самого.

Однажды Ёрун сказала:
— Велосипед.
— Велосипед? — переспросил Лильлебрур.
Это был их первый разговор за все время.
— Велосипед,— повторила Ёрун.

Велосипеды Лильлебрура существенно отличались друг от друга. Один был зеленый и красивый, с седлом из полированного дерева. А на другом седло было из коричневой кожи на трех маленьких спиральных пружинах, в точности как на взрослых двухколесных велосипедах.

День спустя Лильлебрур пришел к Ёрун необычным способом. Он не полез через ограду, а пошел вокруг, по улице, куда ему запрещалось выходить. Он вел велосипед с коричневым седлом на трех спиральных пружинах, в точности как на взрослых велосипедах.

— Возьми,— сказал он и передал Ёрун велосипед, всем своим видом показывая, что теперь он принадлежит ей.

Ёрун долго смотрела на него. Во-первых, он не плакал при встрече, как обычно, во-вторых, она растерялась от такого предложения. Затем, протянув обе руки к велосипеду, сказала:

— Хорошо, покатаюсь и отдам.

— Насовсем! — сказал Лильлебрур и подтолкнул к ней велосипед.

— Нет, на немножко,— сказала Ёрун испуганно.

Оскорбленный, он уставился на нее в упор и решительно повторил:

— Насовсем!

Теперь они в замешательстве стояли друг перед другом. Затем она решительно села на велосипед и нажала на педали. Она впервые сидела на велосипеде. Маленькое серьезное личико медленно расплылось в такой лучезарной улыбке, что у нас, стоявших у окна и изо дня в день наблюдавших этот роман, подкатил комок к горлу.

И Ёрун произнесла уже совершенно другим голосом:

— Велосипед!

— Бери насовсем! — сказал Лильлебрур.

Некоторое время спустя мы наблюдали удивительную картину. Целый день напролет маленькая Ёрун каталась на велосипеде и по щебенке, по другую сторону ограды, и по траве на этой стороне. А за нею, как собачка на поводке, бежал Лильлебрур со счастливой улыбкой на губах, не смыкавшихся ни на минуту. Никогда еще Лильлебрур не радовался ни одному из своих велосипедов так сильно, как этому, который теперь был уже не его, и никогда еще никто не видел такой Ёрун. Ибо, как только она останавливалась немного передохнуть, что случалось крайне редко, тут же около нее появлялся Лильлебрур, который буквально вешался ей на шею. Ёрун вырывалась с рассерженным видом, но чем больше она вырывалась, тем больше это нравилось Лильлебруру, привыкшему всегда всеми командовать. Ёрун уже больше не плакала, встретив плачущего ребенка. Наоборот, теперь она была способна обходиться с ним точно так же, как все матери. То есть она могла не обращать на его слезы ни малейшего внимания. И все взрослые теперь были единодушны в том, что Ёрун уже больше не похожа на ангела. К этому времени она тоже подросла. Щеки покрылись румянцем. Еще ярче сверкали голубые глаза. Лильлебруру она казалась еще очаровательнее и красивее, и он становился все добрее и добрее.

Однако мать не была довольна происшедшей в сыне переменой,— видно, потому, что ей самой не удалось сделать его таким. Затем случилось непоправимое. Однажды мать Лильлебрура присмотрелась к велосипеду, на котором каталась Ёрун, и закричала:

— Послушай, Лильлебрур! Разве это не твой велосипед?

— Что? — в замешательстве пробормотал Лильлебрур.

— Ты прекрасно слышишь, о чем я говорю! Разве это не на твоем велосипеде катается Ёрун? Как он у нее оказался?

Говоря это, она зло смотрела на обоих детей. Но, как ему показалось, она злилась больше на него.

— Ты что, язык проглотил? — закричала она.

После короткой внутренней борьбы Лильлебрур пересилил себя и выдавил:

— Она отобрала его у меня!

— Она отняла твой велосипед? О небо! Ёрун, неужели ты способна отнять велосипед у Лильлебрура? А ну немедленно веди его сюда, мерзкая девчонка!

Несколько раз, проходя мимо, я видел этот велосипед. Он стоял под открытым навесом на приколе, и никто не пользовался им. В первые дни нам казалось, что когда Лильлебрур выходил из дверей своего дома, его тянуло к ограде. Однако он был не в силах к ней подойти. Он стоял и до крови обкусывал ногти, потом начинал плакать от гнева так, что больно было слышать его вопли. И так как никто не мог бы его успокоить, лучше всего было дать ему выплакаться.

Они никогда больше не разговаривали друг с другом. Теперь она держалась только на своей стороне, на лужайке, и всегда на достаточном расстоянии от ограды. На ее щеках уже не расцветали красные розы, и, если где-нибудь начинал плакать маленький ребенок, она плакала вместе с ним.

Все взрослые по-прежнему единодушно считают ее ангелом.

Перевод В. СМОРОДСКОГО

Литературные иллюстрации

КОБО АБЭ

Человек-ящик

РОМАН

Перевод с японского В. ГРИВНИНА

ПИСЬМЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Все, о чем я скажу ниже,— чистая правда. Вы спрашиваете меня о трупе, выброшенном на берег приморского бульвара Т. Я по собственной воле, ничего не утаивая, подробно расскажу об этом.

Имя — С.

Местожительство — (прочерк).

Профессия — практикант врача (санитар).

Дата рождения — 7 марта 1926 года.

Мое настоящее имя С. Имя, под которым я зарегистрировался на санитарно-гигиенической станции и занимался врачебной практикой, принадлежит господину военному врачу, моему бывшему командиру в годы войны, когда я служил в армии санитаром, и взято мной с его ведома.

К уголовной ответственности не привлекался, в полиции и прокуратуре в качестве подозреваемого не допрашивался.

Государственных должностей до сего времени не занимал, наград не имею, пенсии и пособия не получаю.

Холост, но если освещать мое семейное положение в деталях, то следует отметить, что до прошлого года я проживал в незарегистрированном браке с такой-то. В качестве медицинской сестры она помогала мне в работе и вела все финансовые дела. Она была законной супругой господина военного врача, именем которого я воспользовался, начав заниматься врачебной практикой. Прошу учесть, что мы жили вместе с ведома и согласия господина военного врача,— так что и здесь никаких претензий ко мне быть не может. Между мной и такой-то до недавних пор серьезных разногласий не было, но когда в прошлом году я нанял медсестру-практикантку (Еко Тояма), она возмутилась и предложила расстаться. Я согласился, и это положение сохраняется до настоящего времени.

В годы войны я отбывал военную службу в качестве санитара и, используя полученный опыт, стал заниматься врачебной практикой — отзывы пациентов были самые благоприятные, хочу также отметить, что я не пренебрегал советами и помощью господина военного врача, имевшего

Окончание. Начало в № 8.

диплом. Моей излюбленной областью, в которой я проявлял особое мастерство, была хирургия, например, оперирование аппендикса. Если вы будете осуждать меня за то, что я, в нарушение закона, занимался врачебной практикой, то я могу заявить, что глубоко сожалею о том, что незаконно присвоил себе чужое имя, обещаю отныне прекратить всякую врачебную практику и приношу всем свои искренние извинения.

Что же касается того, что связано с трупом, о котором вы меня спрашивали...

ЧТО ПРОИЗОШЛО С С

Теперь ты один.

Полутемная комната, в которой потушен верхний свет и горит лишь настольная лампа на рабочем столе. Только что ты оторвался от «Письменных показаний», которые начал писать, и глубоко вздохнул. Оставаясь в той же позе, ты слегка наклоняешь голову направо и видишь тонкую полоску света на уровне правого угла стола. Это в щель под дверью проникает свет из коридора. Если бы кто-то стоял за дверью, тень его обязательно легла бы на полоску света. Ты ждешь. Семь секунд, восемь секунд... За дверью никаких признаков жизни.

Белая дверь со следами времени, царапины и выбоины на ней не может скрыть многослойная краска. Ты задумываешься, точно проникая взглядом за дверь. Что бы означал этот звук, неожиданно привлекший твое внимание? Может быть, просто послышалось? Нет, слышал, явно слышал... Видимо, он шел не отсюда... Ты поворачиваешься к окну. У стены — кроааать, на ней передвижное жилище из гофрированного картона, точно такое же, как у человека-ящика. Может быть, тебя беспокоит то, что в конце концов придет настоящий человек-ящик? Нет, для мужских шагов они слишком мелкие. И не собака. Похоже, что это все та же курица. До чего же зловредная курица, усвоившая с некоторых пор привычку гулять по ночам. Каждую ночь приходит сюда в поисках еды. Чтобы курица гуляла по ночам — интересно, это редкое явление или не такое уж редкое? Она может одна, без всяких помех клевать насекомых, которые ночью спокойно вылезают из своих укрытий, и, значит, еды у нее больше чем достаточно, а она почему-то всклокоченная и тощая. За любые привилегии неизбежно приходится расплачиваться. (У тебя теперь появилась потребность поучать.)

Ты подносишь ко рту недопитый стакан с пивом. Но, лишь пригубив, не пьешь. Ты так подавлен, что не пьется. С тех пор как ты сел за стол, прошло больше четырех часов. Уже конец сентября, но погода пасмурная. Ватой, смоченной в спирте, ты стираешь потоки льющегося со лба пота, облизываешь липкие губы; не приносит прохлады и вентилятор. Нет, ты не можешь не услышать шагов, какими бы тихими они ни были. Ты полон сомнений.

На столе лежит толстое стекло. На нем — неоконченные «Письменные показания». «Письменные показания» о событии, которое еще не произошло и неизвестно, произойдет ли вообще. Ты отодвигаешь их в сторону и берешь тетрадь. Обыкновенная тетрадь в светло-коричневую линейку... Я удивлен. Мне и в голову не приходило, что ты даже запасся точно такой же тетрадью, как моя. Непослушной рукой раскрываешь тетрадь. Первая страница начинается такой фразой:

«Это записки о человеке-ящике.

Я начинаю писать их в ящике. В ящике из гофрированного картона, который надет на голову и доходит до поясницы.

На этот раз человек-ящик — я сам».

Перелистав страниц десять, ты открываешь чистую. Взяв шариковую ручку, приготовился писать дальше, но передумал и смотришь на часы. До полуночи еще девять минут. Последняя суббота сентября вот-вот кончится. С ручкой и записками в руках ты встаешь. Подходишь к кровати. Наклоняешь ящик и влезаешь в него. Садишься в нем на край кровати. По всему видно, что ты привык влезать в ящик и вылезать из него.

Поворачиваешь ящик так, чтобы окошко было обращено к лампе на рабочем столе. Но, чтобы писать записки, света недостаточно. Ты зажигаешь карманный фонарь, прикрепленный над окошком. Используя вместо стола заранее приготовленный лист пластмассы, начинаешь писать:

«В самых общих чертах суть события состояла в следующем. Место действия — город Т. Последний понедельник сентября...»

Ты, кажется, собираешься рассказать о событии, которое еще не произошло и произойдет лишь послезавтра, как об уже случившемся. Зачем так торопиться? Может быть, поддержкой тебе служит изрядная порция самоуверенности? Программа будущих действий облечена в форму уже случившихся — значит, ты уже нажал на спусковой крючок. И с некоторыми допусками, опередив предполагаемую траекторию полета пули, уже видишь точку, куда она должна попасть. Ты хочешь, чтобы я скорее читал дальше. Я не думаю, что конечной целью может быть что-либо иное, кроме смерти.

«...В дальнем конце приморского парка, где редко можно встретить человека, был выброшен на берег неопознанный труп. На нем был надет ящик из гофрированного картона, который доходил ему до поясницы и с помощью пояса был крепко привязан к телу. Человек-ящик, бродяжничавший в последнее время в городе, видимо, случайно свалился в канал и приливом был выброшен на берег. Никаких личных вещей не обнаружено. Вскрытием было установлено, что смерть наступила тридцать часов назад».

Тридцать часов назад... Ты решительный человек. Представим себе, что вскрытие было произведено рано утром в понедельник. Если вернуться назад на эти тридцать часов, то будет как раз сейчас. Или всего на несколько часов позже. Видимо, ты уже принял твердое решение. Неожиданно ты закрываешь тетрадь и сползаешь с кровати на пол. Задняя часть ящика, оставшаяся на кровати, оказывается выше. Содержимое ящика, сталкиваясь, производит сильный шум. Растерявшись, ты оборачиваешься, стараясь удержать ящик. Вертишь головой, прислушиваясь, что делается на втором этаже. Страх широким взмахом кисти лакирует твое лицо. И моментально высохший лак сбегается на нем мелкими морщинками. Слишком уж ты нервный. Тебе бы следовало быть реалистичнее. Сколько ни старайся, невозможно сделать больше, чем ты в состоянии сделать.

Ты поворачиваешься к двери и принимаешь решительную позу. Идешь. Вытягиваешь руки по швам, слегка сжав пальцы... Сделав три шага, обессиливаешь. Поворачиваешься и идешь к столу. Садишься и охватываешь голову руками. В одной из них тетрадь — она бесшумно падает на стол. Какое-то время ты сидишь в глубокой задумчивости, ничего не делая.

Сейчас ты смотришь неотрывно на край толстого стекла, лежащего на столе. Чистая синева, скрадывающая расстояние. Чуть тронутая зеленью беспредельно далекая синева. Опасный цвет, манящий к побегу. Ты тонешь в этой синеве. Тебе кажется, что если ты весь погрузишься в нее, то сможешь плыть бесконечно. Ты вспоминаешь, что уже не раз испытывал этот зов синевы. Синева волн, бурлящих за гребными винтами корабля... Стоячая вода на месте заброшенных серных рудников... Синий крысиный яд, приготовленный в виде желеобразной тянучки... Фиолетовый рассвет, который наблюдаешь, ожидая первой электрички, чтобы поехать куда глаза глядят... Цветные стекла в очках любви, рассылаемых «Клубом смерти в душевном покое», назову его так, если другое его название — «Общество помощи самоубийцам» — недостаточно благозвучно. Опытнейшие мастера с огромной тщательностью наносят на эти стекла тончайшую пленку, содранную с сурового зимнего солнца. Только те, кто в этих очках, могут увидеть станцию отправления поезда, уносящего в безвозвратную даль.

Может быть, ты слишком глубоко залез в свой ящик. И ящик, бывший не более чем средством, начал отравлять тебя. Мне приходилось слышать, что ящик — тоже источник появления опасной синевы.

Цвет дождя, от которого простужается нищий... Цвет времени, когда закрываются подземные магазины... Цвет невыкупленных в ломбарде часов, подаренных в память об окончании университета... Цвет ревности, разбивающейся о нержавеющую мойку на кухне... цвет первого утра после потери работы... цвет чернил на ставшем ненужным удостоверении личности... цвет последнего билета в кино, купленного самоубийцей... и другие цвета — цвет анонимности, зимней спячки, смерти как средства облегчения страданий, наконец, дыры, проеденные сильнейшей щелочью — временем.

Но стоило всего лишь на несколько сантиметров перевести взгляд — и ты уже избежал падения. Сколько ни старайся, в конце концов ты всего-навсего лжечеловекящик. И тебе все равно не удастся убить в себе самого себя. Сейчас ты рассматриваешь календарь фармацевтической фирмы, лежащий под стеклом. С двух сторон фирменной марки — каких-то латинских изречений, окружающих кремового Гиппократа,— напечатано: слева — «Сезон витамина С и кортизона», справа — «September — ослабление контроля над своими нервами» и медицинские советы на каждый месяц. Затем твое внимание привлекли, видимо, красные иероглифы в левом углу. Последнее воскресенье сентября. Как раз день назад... на следующий день... нет, сегодня, за несколько минут до того, как по твоим расчетам в отдаленной части приморского парка будет выброшен на берег этот упакованный в ящик утопленник. Как ты ни стараешься не смотреть на четко отпечатанные иероглифы, они не исчезают. Так же, как твое старомодное расписание приема больных. Ты разводишь руки на ширину плеч и кладешь их на край стола. Да, так хорошо. Если, опираясь на руки, перенести центр тяжести вперед, удастся быстро встать на ноги. После того как ты нажал на спусковой крючок, никакие меры предосторожности не спасут от мук совести.

Все-таки «Письменные показания», которые ты начал писать, никакой службы тебе не сослужат. Прошу тебя, до того как встанешь из-за стола, разорви и выбрось их. Если все пойдет согласно твоему плану, они абсолютно бесполезны и никому не нужны, в случае же провала не спасут и самые убедительные показания.

ПИСЬМЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Что же касается того, что связано с трупом, о котором вы меня спрашивали,— я с полной определенностью утверждаю, что это, несомненно, был господин военный врач, именем которого я воспользовался, чтобы начать врачебную практику. Я называю его господином военным врачом не из старых сословных предрассудков, а просто потому, что в течение многих лет я полушутя так называл его и это вошло у меня в привычку, думаю, ему это было приятно. Я давно опасался, что господин военный врач покончит жизнь самоубийством, и от всей души сожалею и глубоко раскаиваюсь, что недосмотрел и мне не удалось помешать ему. Я бы настоятельно просил, чтобы вы мне предоставили возможность дать по этому поводу подробные объяснения.

За год до конца войны я был направлен в Энский полевой госпиталь в качестве ординарца господина военного врача. В то время господин военный врач с головой ушел в исследование возможности производства сахара из древесины и почти всех больных стал лечить я. К счастью, у меня прекрасная память и, что называется, золотые руки, и под руководством господина военного врача я стал делать довольно сложные операции. Что же касается исследований господина военного врача, то, как известно, во время войны сахара было крайне недостаточно и он пользовался большим спросом. Если бы удалось найти способ производства сахара из древесины — это было бы открытием мирового значения. Господин военный врач обратил внимание на то, что овцы едят бумагу, сырьем для которой служит, как известно, древесина, и подумал, что в кишках у них

должны содержаться активные ферменты, превращающие целлюлозу в крахмал, и он дни и ночи напролет занимался тем, чтобы найти и выделить эти ферменты.

Однажды произошло несчастье — господин военный врач тяжело заболел, то ли от заражения бактериями, содержащимися в кишках овец, то ли отравившись бесконечными пробами обработанной древесины. В течение трех дней держалась высокая температура, а потом начали происходить какие-то странные явления: каждый третий день случался приступ острой мышечной боли, сопровождавшийся судорогами и помутнением рассудка. Сам господин военный врач был не в силах поставить диагноз, да и другие врачи, его коллеги, тоже оказались бессильны. Я потом много раз, как только представлялся случай, обращался к книгам, но до сих пор так и не мог установить название болезни.

Я с большим уважением относился к душевным качествам господина военного врача и не жалея сил ухаживал за ним. Болезнь его время от времени обострялась, и я до сих пор не могу простить себе, что, не в силах видеть мучений господина военного врача, уступил его настойчивым требованиям и стал постоянно делать ему уколы морфия. К концу войны он стал хроническим наркоманом. Я уже не мог бросить господина военного врача на произвол судьбы и демобилизовался вместе с ним.

После демобилизации мы вместе с господином военным врачом открыли клинику и я в качестве его ассистента стал вести дела клиники и принимать больных. Время шло, а состояние здоровья господина военного врача не улучшалось, и в конце концов он уже не мог принимать больных и лишь давал мне указания, знакомясь с историями болезней. Вы спрашиваете, почему я, зная, что занимаюсь врачебной практикой незаконно, все же не прекратил ее,— ну что ж, я готов рассказать и об этом, ничего не скрывая.

Во-первых, обстоятельства были таковы, что я должен был снабжать господина военного врача морфием. Теперь, как известно, не существует высших и низших классов, и господин военный врач, разумеется, не принуждал меня. Я делал это из дружеских чувств по собственному желанию, поскольку считал себя ответственным за случившееся. На возможный вопрос: если вы питали к нему искреннюю дружбу, не лучше ли было подумать о лечении его от наркомании? — отвечу следующим образом. Лечение от наркомании врача — дело почти безнадежное, практически процент излеченных близок к нулю. Понимая, что это медленное отравление организма, которое в конце концов приведет к смерти, я не имел мужества бросить господина военного врача на произвол судьбы.

Во-вторых, нельзя отрицать факта, что, воспользовавшись именем господина военного врача, я смог обеспечить свое существование. Однако я не использовал слабости господина военного врача в корыстных целях. Все финансовые дела были сосредоточены в руках его супруги. Позже между мной и ею установились близкие отношения, они также возникли потому, что господин военный врач, опасаясь, что я оставлю его, упорно принуждал супругу вступить со мной в такие отношения, поскольку считал их единственным средством, способным удержать меня. Такого рода психоз — явление, часто наблюдаемое на последней стадии наркомании.

В-третьих, еще одной причиной, почему я продолжал заниматься врачебной практикой, была уверенность в себе, вызванная тем, что день ото дня моя популярность росла, мастерство стало широко признаваться. Правда, объективного критерия, позволяющего точно оценить искусство практикующего врача, не существует. Видимо, поэтому почти никогда незаконная врачебная практика не осознается как преступление. Кроме того, мой интерес к медицине все возрастал, и я постоянно черпал новейшие сведения в медицинских книгах и журналах. Двадцатилетний опыт,

добросовестность и научное рвение превратились, как мне представляется, в самоуверенность, которая заслонила проблему, связанную с дипломом врача. Действительно, осматривая пациентов, лечившихся ранее в других клиниках, я нередко сталкивался с безответственным, ошибочным диагнозом, поставленным безгремотными врачами, имеющими университетский диплом. Я, разумеется, не хочу сказать, что это является оправданием преступления, совершенного мной. Ничто не может оправдать нарушение закона.

На восьмом году произошли серьезные перемены. До этого господин военный врач поручал мне присутствовать на конференциях врачей и осуществлять внешние контакты, что в конце концов вызвало неприятные разговоры, стали распространяться клеветнические слухи, будто он сошел с ума. Эти слухи доходили и до нас. В то же время количество потребляемых господином военным врачом наркотиков значительно превысило его обычную норму, и мне пришлось установить за ним строгий контроль. Я понимал, что над нами нависла серьезная угроза, и, посоветовавшись с господином военным врачом, мы решили закрыть клинику и переехать в этот город — так развивались события до последнего времени.

Из-за всех этих неприятностей психическое состояние господина военного врача стало резко ухудшаться, у него развилась мизантропия и явно обозначалось стремление покончить жизнь самоубийством. По предложению его супруги мы решили прервать всякое общение господина военного врача с внешним миром, решили, чтобы я, превратившись в господина военного врача, зарегистрировал клинику на себя. Хотя при этом формально положение изменялось, фактически же все оставалось по-прежнему, и господин военный врач охотно согласился на наше предложение. К счастью, и в этом городе я завоевал доверие пациентов и, хотя сознаю, что совершал преступления, могу с полной уверенностью утверждать, что не существует ни одного заявления о причиненном мной ущербе. Я бы хотел сказать только одно: если жертва, не осознающая себя жертвой,— не жертва, то и я, не осознающий себя преступником,— не преступник, хотя я и не утверждаю, что законы позволено нарушать. Поскольку моя жизнь и мое имущество, как гражданина нашей страны, находятся под защитой закона, я не пытаюсь доказать, что можно идти против закона.

В прошлом году я принял на работу новую медсестру-практикантку, и это явилось причиной того, что мы с такой-то, как я уже говорил, стали жить врозь. Но я по-прежнему докладывал ей о всех доходах и расходах, и мы по-прежнему взаимно признавали право совместного ведения дела — так что здесь, как мне кажется, никаких проблем не возникло. В настоящее время она открыла класс игры на фортепьяно и начала обучать детей — мне бы хотелось, чтобы вы все подробно выяснили у нее самой и убедились, что мои показания абсолютно достоверны.

Я совершенно не могу представить себе, что послужило непосредственной причиной, почему господин военный врач покинул клинику и решил умереть. Он занимал комнату на втором этаже, ложился и вставал в самое неопределенное время и часто, чтобы выйти из комнаты или вернуться в нее, пользовался лестницей черного хода — вот почему я не считаю себя ответственным за все его действия. Могу рассказать о небольшом столкновении, случившемся совсем недавно: жалуясь на тоску по своим прежним исследованиям, связанным с получением сахара из древесины, он стал утверждать, что испытывает болезненное пристрастие к сладкому, я же, боясь за его здоровье, решил ограничить его в сладком, и он страшно рассердился. Но я не думаю, что этот факт мог явиться причиной его смерти. Как известно, на покойном был надет картонный ящик, не исключено, что господин военный врач совсем не собирался умирать, а просто гулял по дамбе, скользкой от дождя, лившего вчера весь

день, в таком непривычном облачении он мог не рассмотреть как следует, что у него под ногами, и просто оступился.

Вы можете спросить, почему он надел на себя ящик из гофрированного картона,— об этом я не имею ни малейшего представления. В течение нескольких месяцев у нас здесь слонялся по городу бродяга, надевший на себя картонный ящик, его многие видели, и если бы вы спросили меня, не был ли это переодетый господин военный врач, я бы не мог категорически отрицать возможности того, что он тайно от меня устраивал подобное переодевание. Скорее всего, он убедил себя, что вместе со своим именем, происхождением, правами он передал мне и себя как личность, а сам превратился в ничто. К тому же он стал ужасным человеконенавистником, и я вполне могу понять его состояние, когда, выходя на улицу, он старался укрываться от всех в ящике. Как ясно показали результаты экспертизы, на обеих руках и на ляжках трупа обнаружены многочисленные следы от уколов. И поскольку отравление его организма приняло такие размеры, вряд ли вызывает особое удивление и эксцентричность его поступков.

Существуют люди, видевшие, как человек-ящик выходил из клиники и входил в нее, и, основываясь на их показаниях и на том, что на трупе были обнаружены следы многочисленных уколов, заподозрили связь человека-ящика с клиникой и меня даже вызывали на допрос, но и в том случае, если бы такие очевидцы отсутствовали и труп человека-ящика не был бы опознан, я должен честно признать, что мне было бы крайне неприятен даже намек на обвинение в том, что я, делая вид, что ничего не произошло, продолжаю заниматься врачебной практикой. Мы договорились, что ни я, ни медсестра не будем заходить в комнату господина военного врача, если он не вызовет нас звонком. Раньше тоже неоднократно случалось, что он по полдня и больше не звал нас, поэтому, заподозрив неладное, я зашел в его комнату лишь глубокой ночью в воскресенье. Но когда он не вернулся домой и на рассвете, я подал в полицию прошение о розыске, и хотя я понимал, что в результате может обнаружиться моя незаконная врачебная практика, с готовностью пошел на это как на неизбежное.

Больше всех противился тому, чтобы я прекратил врачебную практику, сам господин военный врач. Он подзуживал меня, расточая комплименты, и в то же время угрожал, неоднократно намекая, что покончит с собой. Всем известно, на какое коварство и безрассудство способны наркоманы, чтобы добыть наркотик. Возможность самоубийства господина военного врача действительно меня крайне беспокоила. Прежде всего при оформлении справки о смерти пришлось бы указать, что у него те же имя и фамилия, что и у меня, а мне бы не хотелось представлять в муниципалитет такой документ. И мне много раз приходилось униженно просить господина военного врача: делайте что угодно, но хотя бы пока откажитесь от самоубийства. Господин военный врач совсем распоясался: за отказ хотя бы на время отложить самоубийство он потребовал, чтобы ему увеличили дозу наркотиков, разрешили любоваться наготой вновь нанятой медсестры-практикантки (Ёко Тояма),— в результате всего этого я оказался в крайне тяжелом положении. Но я не испытываю к нему неприязни. Больной обречен на страдания, неведомые здоровому, поэтому к больному, как мне кажется, нужно проявлять особую терпимость.

Поскольку господин военный врач уже не нуждается во мне, я теперь не обязан, обманывая людей, и впредь продолжать заниматься врачебной практикой. По мнению господина военного врача, незаконная врачебная практика — это когда пациент несет материальный или физический ущерб, а если никто не пострадал, она не может рассматриваться как преступление, но я тем не менее считаю, что быть лжеврачом уже само по себе преступление, и именно с этих позиций рассматриваю свои действия. Сейчас

мне представился случай честно во всем признаться, и я решил снять многолетнюю тяжесть со своей души.

Все рассказанное мной чистая правда.

ПАЛАЧ — НЕ ПРЕСТУПНИК

...Видимо, тебя беспокоит, что в конце концов придется начать то, что ты задумал. Только что послышался тихий металлический звук — ты кладешь в стерилизатор шприц. Этот звук я услышу с какого угодно расстояния. Полевая мышь учует запах воды и за десять километров. Вот хлопнуло от сквозняка окно на лестничной площадке... Да, несомненно... Оно хлопает, только когда открывается или закрывается дверь твоей комнаты. Слышу... как ты идешь босиком по устланному пластиком коридору... Ты приближаешься медленно, со скоростью одного шага в секунду... Конечно, на тебе надет ящик... На одиннадцатом шаге слышится другой звук — будто ты идешь по сырой циновке,— теперь ты ступил на лестницу. Ты поднимаешься. Ступенька, еще ступенька, все замедляя и замедляя шаги... ты, наконец, достигаешь площадки, останавливаешься... Идешь вдоль балюстрады, ограждающей площадку второго этажа, прямо перед тобой маленькая комната. Во всю ширину узкого коридора почти сливающаяся со стеной дверь из криптомерии.

Покойницкая.

Совсем не из-за дискриминации — мол, трупы,— а просто принимая во внимание повышенную чувствительность к смерти пациентов клиники (что неоднократно проявлялось), для покойников выбрали самую отдаленную, незаметную комнату. К тому же она рядом с черным ходом, и выносить трупы тоже удобно.

Собственно говоря, я еще не труп. Живым, правда, меня тоже трудно назвать, но все-таки не труп. И не умерев, я нахожусь сейчас в покойницкой — я должен подчеркнуть это специально для тебя — не потому, что со мной обращаются как с трупом, а потому, что на этом настаивал ты. Мне нравится эта комната. Прежде всего, в ней нет окон, а это отвечает моему теперешнему состоянию. С недавних пор мои зрачки, как мне кажется, потеряли способность реагировать на свет, и днем мне так режет глаза, будто в них попал песок. Кроме того, длина комнаты в два с половиной раза больше ширины, что точно соответствует пропорциям гроба, самого уютного места для меня, человека, утратившего все виды свойственной людям защитной реакции: чувства ненависти, недовольства, злобы.

Из коридора не доносилось ни шороха — ты замер. Так же, как я сквозь дверь пытался уловить, что ты делаешь, ты сквозь дверь пытался уловить, что делаю я. Если бы дверь была наделена сознанием, она бы хохотала, держась за живот. Но и тебе свойственны колебания. Сколько бы мы ни уговаривали друг друга, тебе придется выполнить роль палача. И у тебя тяжело на душе — это естественно. Если бы мы поменялись местами, я бы, видимо, заколебался и не знал, как мне поступить. Ведь тот, кого должны убить, ясно осознает, что его убьют. Я бы, наверно, никогда не решился на то, чтобы, истязая человека, понимающего, что его убивают, непринужденно беседовать с ним. Я бы чувствовал себя гораздо спокойнее, если бы вместо непринужденной беседы обсуждал с ним проблему смерти. Нет, и такая тема, пожалуй, не годится. Это выглядело бы еще большим фарсом. Если же молча смотреть друг на друга, то нервы оголятся и произойдет замыкание — это вызовет сильнейший ожог.

Лучше всего для меня сейчас заснуть. Спокойно переселиться во сне в иной мир — что может быть приятнее? Но ведь ты тоже прекрасно знаешь, как чуток сон наркомана. Он всегда в полусне и поэтому как следует заснуть не может. А ты не настолько добросердечен, чтобы пожелать мне крепкого сна. Вот я и не сплю. Сидя на кровати, я быстро пишу. Время от времени протирая гноящиеся глаза борной кислотой — все это для тебя крайне нежелательно. Но я прошу тебя, успокойся. Еще до того, как твоя рука коснется дверной ручки... как только я услышу первый твой шаг... сразу

же прикинусь спящим. Ты, конечно, поймешь, что я прикинулся спящим, но так тебе будет спокойнее, чем если я буду спать на самом деле. Если я засну по-настоящему, то возникнет опасность, что проснусь, если же буду притворяться спящим, об этом можно не беспокоиться. Хочешь, я могу привлечь твое внимание тем, что уроню тетрадь на пол, и ты поймешь, что я совершенно сознательно притворяюсь спящим. Главный виновник моего убийства я сам, ты лишь сообщник. И тебе совсем не нужно брать всю ответственность на себя. Все равно начинать — так что начинай поскорее. Хоть прямо в эту самую минуту. Как только ты начнешь делать задуманное, это будет означать конец моих записок...

Ты не хочешь, чтобы я оставил тебе письмо, хотя бы самое коротенькое? Я не думаю, что в нем возникнет необходимость, но в случае чего тебе будет спокойнее. Привлекать к ответственности за содействие в самоубийстве глупо. Иногда, правда, случается, что из-за одной слущенной петельки распускается весь вязаный жакет. Вырежь приведенные ниже строчки (чтобы бумага не намокла, положи в полиэтиленовый пакетик) и привяжи к пальцу трупа. Постой, к пальцу не годится, нужно выбрать какое-то другое место, к которому я бы сам мог привязать... Может, свернуть в трубочку и повесить на шею? Нет, ты ведь хочешь, чтобы моя смерть выглядела как смерть от несчастного случая, и поэтому до того, как сюда доберется дотошная полиция, нужно, пожалуй, спрятать где-нибудь в этой комнате — например, в месте соединения кроватных трубок, где сразу не заметишь, а если полиция что-то заподозрит, при внимательном осмотре обязательно найдет. Вырезав приводимые строки, тетрадь, разумеется, сожги.

> Я сам выбрал смерть. Если, паче чаяния, сложилось впечатление, что я кем-то убит, то это исключительно от моей неловкости...

Нет, звучит надуманно, ясно, что я стараюсь кого-то выгородить. Так я, наоборот, посею семена подозрения. Лучше прямо, без обиняков.

> Я решил умереть. Не нужно лицемерно вселять в меня надежды. Пока сам не возьмешь в рот и не пососешь, любой леденец кажется страшно твердым. Но если возьмешь в рот, сразу же захочешь разгрызть его. А когда разгрызешь, прежней формы он уже не примет никогда.

Тебе еще жаль меня? Ты невольно обнаружил свое истинное лицо. Не нужно беспокоиться. Сколько ни жалей, жалость — это всего лишь жалость. Разум подсказывает мне, что больше я не должен жить. Все-таки очень важно, что разум у меня еще сохранился. Но и этот разум, подобно песчаному замку на морском берегу, размываемом приливом, эфемерен. Еще две-три большие волны — и он исчезнет бесследно. Как раз сейчас я, кажется, готов отступить от своих слов и начать жадно цепляться за жизнь. Я готов на то, чтобы иагло сделать ей предложение, а если она мне откажет (я и не сомневаюсь, что она мне откажет), убить ее, и это доставит мне наслаждение. Мне много раз снилось, как я пожираю ее. Вкусом она напоминала нечто среднее между говядиной и дичью. Мое чувство к ней, казалось, перекипело и выродилось в конце концов в чувство голода. Если этот голод и дальше будет усиливаться, хочешь не хочешь придется съесть ее сырой. И пока разум у меня еще сохранился, я хочу все уладить. Самоубийство принадлежит к вполне добропорядочным действиям, но поскольку оно представляет собой действие, его нельзя осуществить лишь с помощью разума и желания. Иначе любая жалость, любое чувство станут поводом для колебаний. Но пока разум мой бодрствует, я, во всяком случае, не должен делать вид, что отталкиваю протянутую тобой руку помощи. Единственная просьба — протяни мне руку, пока еще я хочу взять ее. Это и в твоих интересах, и в моих тоже.

Что с тобой? Почему ты колеблешься? Мы же договорились, что я прикинусь спящим. Ну чего ты застыл — так можно легко превратиться в камень или бревно. Неуже-

ли ты уходишь потихоньку, чтобы я не слышал? (Вряд ли. Тебе не выкрасться отсюда еще тише, чем ты пришел сюда).

«Послушай, ты здесь?.. Если здесь, ответь... Не бойся, заходи».

Это я кричу сейчас через дверь, изо всех сил напрягая голосовые связки. Ответа нет. Ни малейшего признака какого-то движения. Лишь ночная тишина, точно молотом бьют по стальному листу, болью отдается в ушах. Может быть, мне все это показалось? Возможно, и в стуке хлопающего окна на лестнице, и в скрипе половиц, будто по ним гуляет мокрая половая тряпка, виноват сухой ветер, неожиданно налетевший с гор после длившегося целых три дня дождя. Обстоятельства сложились так, что я не мог избежать поспешных выводов. В ту ночь ты прислал ее. Ее нагота — абсолютно необходимое условие в обмен на отсрочку моей смерти. С тех пор как ты стал готовить ящик (мой гроб), прошло десять дней, исчезла она — ничего не поделаешь, нужно признать, что уже все готово и мне вынесен смертный приговор. Да, да, пусть шорох за дверью — галлюцинация, но твой приход — лишь вопрос времени.

Вскоре дверь действительно тихо отворилась. Я тут же прикидываюсь спящим. Кроме тебя, никто бы не мог так тихо отворить дверь, поэтому тем более мне не следует признаваться, что я не сплю. Я продолжаю прикидываться спящим. Чтобы привыкнуть к вони, ты задерживаешь дыхание. Прежде чем снова вздохнуть, проглатываешь слюну. Застывшая в груди ледышка величиной с большой палец проваливается на несколько сантиметров вниз. Ставя на пол пластмассовую канистру для воды и вылезая из ящика, ты осматриваешь узкую и длинную комнату без окон и снова восхищаешься: действительно, точно гроб. Освещает комнату единственная лампа дневного света у потолка. С нее свисают скрутившиеся в виде розы мухоловки. А под ними, в центре комнаты, точно образуя сердцевину этой розы, стоит металлическая больничная койка. Нелепо примостившись на этой койке, тихо сплю я. При каждом вздохе я колышусь, как колышется от прикосновения пузырь с растаявшим льдом. Я похож на распластанного морского черта в витрине рыбной лавки, которого никто так и не купил. Полосатая пижама распахнута, мой живот цвета вареной спаржи прикрывает застиранное полотенце в цветочек. Свисающие из-под полотенца ноги почти без волос и влажные, как сырая каракатица, с которой содрали шкуру. Воздух я вдыхаю носом, а выдыхаю через закрытый рот, отчего губы вибрируют, как толстый резиновый клапан. На этом клапане застыли кристаллы метана или аммиака, и он сверкает, как трико танцовщицы. С каждым сном внутри у меня отмирает какой-нибудь орган. Если бы устроить соревнование на скорость разложения, я бы не уступил и настоящему трупу. Ты зажал нос, на глазах показались слезы. Глаза ест вонь от окислившегося пота. Ты больше не в силах терпеть. Но разве я еще раньше не говорил, что тебе и не нужно терпеть. Достаточно подумать о том, чтобы приостановить процесс разложения, не особенно заботясь при этом об убитом.

Ты слегка касаешься моего плеча. Я продолжаю прикидываться спящим. Ты стягиваешь мою руку резиновым жгутом. Скальпель легко проникает в руку и находит вену. Кожа на руке покрыта сплошными струпьями — игла в нее просто не вошла бы. Тело белое, кровь и не показалась. Зажав в пальцах гигроскопическую вату, берешь вену и втыкаешь в нее иглу. Черная кровь проникает в шприц. Поршень вытянут до отказа, до двадцатого деления, но в шприце всего три кубических сантиметра солянокислого морфия. Распустив жгут, ты прежде всего вводишь в вену эти три кубических сантиметра. И хотя, пока ты делал укол, я проснулся (я с самого начала притворялся спящим и просыпаться не было нужды), дыхание у меня стало прерывистым, и поэтому ты решил сделать еще один укол морфия — в общем, оправданий можно придумать сколько угодно. Прямо на глазах дыхание становится все тяжелее, осунувшееся лицо осунулось еще больше, рот провалился, как у покойника. Ты продолжаешь давить на поршень. Теперь в вену входит один воздух. Обнаженный кусок вены вспухает и начинает походить на рыбий пузырь. Ты вытаскиваешь иглу, мажешь края раны клейким составом и крепко сдавливаешь пальцами. Ты ведь собрался меня лечить, поэтому нечего было заботиться о том, чтобы избежать нагноения, так что оставим без внимания

некоторую неаккуратность, с которой ты все это проделал. К тому же я, видимо, погрузился уже в глубокий сон. Если бы отрезали мой палец, мне бы показалось, что кто-то просто откусывает сильно перченную венскую сосиску. Неожиданно у меня снова сбивается дыхание. Оно становится неровным, прерывистым, из горла вылетает кошачий хрип, и дыхание вообще пропадает. Во сне я стою перед бесчисленными уходящими вдаль светящимися арками — у входа в лишенный тени огромный город. Когда я, содрогаясь от смеха, вбегаю в них, мое тело легко взмывает в небо. Исчезает тень, и вместе с ней исчезает вес. В это мгновение я, лежа на койке, начинаю скрипеть зубами и судорожно биться (как рыба, пойманная на крючок). Скрипит зубами и кровать. Сотни пружин лопаются на разные голоса, как толстые сухие ветки в костре. Этот треск, растворяясь во сне, сливается со стоном леса арок и превращается в мой похоронный марш. Обняв колени и летя высоко в небе, я удивительно весел и сентиментален. Сделанный специально для меня крупным планом снимок ее, плачущей. Молодой сосне так идет дыхание зимы. Я вытягиваю руку и пальцем продырявливаю воздух. Из дыры вырывается злобонне. Сон темнеет и застывает Я умираю.

Ты взбираешься на мой труп. В руке у тебя канистра с водой. Сев мне на грудь, ты своей тяжестью выдавливаешь находящийся во мне воздух. Остатки воздуха выходят с легким бульканьем, точно лопаются рыбьи икринки. Сдавив изо всех сил мои легкие, ты засовываешь мне в рот огромную воронку и льешь в нее содержимое канистры. Одновременно чуть приподнимаешься, уменьшая давление на мою грудь. Канистра наполнена морской водой. В воронке пляшет крохотный водоворот. Куски водорослей забивают дырку. Когда ты их вытаскиваешь, раздается звук, точно втягивают воздух через зуб с дуплом,— может быть, это морская вода уже переполнила меня и выливается изо рта. Наверно, тебе нужно приподняться чуть больше. Когда ты совсем встал с меня, двухлитровая канистра была наполовину пуста.

Так завершилась подготовка к тому, чтобы выдать меня за утопленника.

(Ты, конечно, не мог бы обмануть всех, вплоть до судебно-медицинской экспертизы. Чтобы суд вынес определение, что человек утонул, нужно по меньшей мере, чтобы планктон был обнаружен не только в легких, но и в других внутренних органах. Оказавшаяся в легких морская вода, с какой бы удивительной ловкостью это ни было проделано, наоборот, вызовет скорее подозрение. В общем, для подозрений мой труп дает массу оснований. Пусть труп будет вздут как пузырь, переполненный водой, пусть рыбы оторвут от него куски, но на теле все равно останутся следы, которых нельзя не заметить. Вспухшие, задубевшие рубцы неправильной формы, сплошь покрывающие руки, от плеч до кистей, и ноги — от паха до колен. Наркоман, больной, в течение долгих лет постоянно употреблявший наркотики,— это ясно с первого взгляда. Не говоря уже о том, что для получения наркотиков нужны были надежные тайные каналы; в таком маленьком провинциальном городке люди, которые бы имели возможность постоянно получать столь огромное количество наркотиков, были, разумеется, наперечет. Прежде всего это мог быть либо какой-то шантажист, умело использующий слабости того или иного врача, либо сам врач. Действительно, согласно статистике, учитывающей профессиональную принадлежность наркоманов, самый большой процент составляют люди, имеющие отношение к медицине. И если установят количество использованных наркотиков, ты окажешься в безвыходном положении. По-моему, я понимаю твое состояние, когда ты начинал готовить свои «Письменные показания». Но ты опоздал. Единственное, что ты сейчас можешь,— это постараться, чтобы в дальнейших приготовлениях не было упущений. Ну, ничего, все хорошо, все идет как нельзя лучше. Я уже написал, как ты вливал в меня воду, но помешать тебе у меня нет возможности. Ты уже, должно быть, многим полицейским рассказал о бродяге, надевшем на себя ящик, но, на мой

взгляд, недопустима бессмысленная трата государственных средств на вскрытие умершего бродяги, чтобы установить причину его смерти.)

Итак, последние приготовления. Стащить меня вниз по лестнице нелегко. Тяжкий труд для такого хлюпика, как ты. К тому же, если ты взвалишь меня на спину, от давления на легкие из них фонтаном брызнет вода, которая зальет тебе затылок. Так что хорошо бы полотенцем обмотать мне голову. Потом ты возвращаешься за ящиком. Не забудь еще вылить из канистры остаток морской воды. Малейшая оплошность может привести к роковым последствиям. Затем надень на мой труп ящик и крепко привяжи шнурком у поясницы. Возможно, лучше сделать это после того, как труп будет погружен на тележку. А натянуть брюки и надеть ботинки, пожалуй, лучше до того, как наденешь ящик. На этом все приготовления будут закончены. Теперь в путь. Может, на всякий случай накрыть сверху тряпкой? Нет, белая тряпка слишком бросается в глаза. Да и опасность встретить кого-нибудь по дороге почти исключена. Если же встретишь, свернешь в сторону — и все в порядке. Дорога идет под уклон, колеса тележки хорошо смазаны, так что везти ее будет совсем не тяжело. Только бы отделаться от собаки. Хуже нет, если увяжется за тобой назойливая собака. Поэтому перед тем как отправиться в путь, не забудь посадить ее на цепь.

Теперь о месте, где бросить труп,— я предлагаю за тем самым соевым заводом, как еще раньше было договорено. Не могу сказать, что туда удобно прикатить тележку, но и преимущества этого места тоже нельзя упускать из виду — вода подходит к самому обрыву и труп сразу понесет по течению. Пока ты со всем управишься, будет уже половина второго. Самое позднее до трех часов все должно быть завершено. Иначе кончится отлив, течение в канале прекратится и вся работа этой ночи пойдет насмарку. Отложить же на завтра это отвратительное дело, только...

(Записки по неизвестной причине обрываются).

ЗДЕСЬ СНОВА, НА ЭТОТ РАЗ ПОСЛЕДНЯЯ, ВСТАВКА

Пришло, наконец, время открыть всю правду. Я хочу, сняв с себя ящик, предстать в своем истинном облике и одному тебе честно рассказать о том, кем был настоящий автор этих записок, в чем была его истинная цель.

Возможно, ты мне не поверишь, но во всем, что написано до сих пор, нет ни капли лжи. Плод воображения — да, но не ложь. Ложь призвана, вводя в заблуждение того, для кого она предназначена, увести его от правды, воображение же, наоборот, может ближайшей дорогой привести к правде. И вот мы подошли вплотную к истине — до нее теперь рукой подать. Эти последние коррективы, они совсем короткие, должны все прояснить.

Я, разумеется, не обязан раскрывать истину. Также и ты не обязан верить мне. Речь идет не о наших обязанностях, а о проблеме, тесно переплетающейся с совершенно определенными, действительными приобретениями и потерями. Мне нет никакого смысла обманывать тебя. Единственное, о чем я тебя прошу,— не воспринимай мои записки как детективный роман, в котором возможно множество решений.

Правда, мне кажется, что в последнее время в детективных романах избирают самое неподходящее решение,— это стало повальной болезнью. Я сейчас пишу об этом, и мне на ум пришла мысль о распространении системы рассрочки. Теперь уже нет и, как в прошлом, боящихся уколов, и так же редко можно уже встретить людей, не решающихся на покупку в рассрочку. Прибегать к рассрочке — значит в качестве залога, гарантирующего выплату долга, выставить напоказ и самого себя, и свою профессию, и местожительство. И поскольку людей, имеющих настоящую профессию и настоящее имя, которые используются ими в качестве залога, сейчас огромное большинство, это, естественно, приведет к сокращению количества преступников, сыщиков, охранников. В нынешний век жаждущими маски, противящимися удобству рассрочки являются партизаны и люди-ящики. Я и есть такой человек-ящик. Один из тех, кто пред-

ставляет антирассрочечников. Противясь общей тенденции, я хочу завершить свои записки правдивым рассказом.

Кстати, что ты думаешь о смерти как средстве облегчения страданий? Приведу в качестве справки судебные прецеденты, опубликованные Верховным судом Нагои в феврале 1963 года:

1. Когда при неизлечимой болезни смерть становится неизбежной.
2. Когда страдания больного невыносимы для окружающих.
3. Когда целью является пресечение страданий больного.
4. Когда больной находится в полном сознании и изъявляет свою волю или просьбу.
5. Когда это делает врач. Или когда есть достаточные основания согласиться с больным.
6. Когда средство умерщвления логически оправдано.

Если бы спросили меня, я бы сказал, что в этих судебных прецедентах слишком большое значение придается причинам физического свойства. Мне кажется, в том, что касается понимания сущности человека, они — следствие малодушия и банальности. Видимо, бывают случаи, когда душевные муки человека так же непереносимы для окружающих, как и страдания физические. Но на это не обращается никакого внимания. Когда люди находятся в таком месте, куда не доходит закон, каждое убийство можно рассматривать как смерть с целью облегчения страдания.

Подобно тому как не считается преступлением убийство на войне или приведение в исполнение палачом смертного приговора, нельзя рассматривать в качестве преступления и убийство человека-ящика. В доказательство этого достаточно прочесть приведенные выше прецеденты, заменив слово «больной» на «человек-ящик». Ты должен отдавать себе полный отчет в том, что существование человека-ящика само подобно существованию вражеского солдата или приговоренного к смерти и априори не рассматривается как законное.

Вот почему я и считаю, что наиболее быстрый способ приближения к истине — не выяснять, кто на самом деле был человек-ящик, а установить, кто не был человеком-ящиком. Человек-ящик располагает опытом, о котором может рассуждать лишь человек-ящик, опытом только человека-ящика, о котором совершенно не способен рассуждать лжечеловек-ящик.

Например, летние дни, которые впервые встречает тот, кто стал человеком-ящиком. Это и начало испытаний, с которыми сталкивается человек-ящик. Каждое воспоминание вызывает чувство удушья — хочется ногтями разодрать ящик. И если бы только от жары — это бы еще можно стерпеть. Стало невмоготу — подойди к дверям любого бара у подземного перехода, и тебя обдаст холодным воздухом работающего там кондиционера. Противнее всего липкий пот, который, не успев высохнуть, вбирает в себя уличную пыль и превращается во все утолщающийся слой грязи. Лучшей питательной среды для плесени и бактерий не придумаешь. Потовые железы, задыхающиеся под слоем прокисшей грязи, тяжело дышат высунув язык, как моллюски на отмели во время отлива. Этот зуд разрушающейся кожи нестерпимее любой внутренней боли. Человек-ящик не воспринимает, как не касающиеся его, рассказы о пытке, когда человека обмазывали дегтем, или о том, как сошла с ума танцовщица, выкрашенная золотой краской. Девственность фрукта, с которого счищена кожура, преследует человека-ящика как олицетворение чистоты. У меня много раз было желание вместе с ящиком содрать с себя и кожу, как счищают кожуру с инжира.

Но в конце концов победила привязанность к ящику. Через пять-шесть дней, может быть, оттого, что кожа привыкла к грязи, я уже не испытывал никаких страданий. Или, возможно, организм приспособился к сокращению количества потребления

кислорода, необходимого для дыхания кожи. Обильно потевший в прошлом, к концу лета я почти совсем перестал потеть. Пока человек потеет, он еще не настоящий человек-ящик.

Теперь я расскажу о том нищем со значками. Самом противном типе из всех, с которыми пришлось встретиться человеку-ящику. Это был дряхлый нищий, весь, точно рыба чешуей, увешанный значками, игрушечными орденами и медалями, на его шляпе, как свечи на именинном пироге, торчали маленькие национальные флажки. При каждой встрече он с воплями набрасывался на меня. Привыкший к тому, что меня обычно не замечают, я потерял бдительность и однажды не смог избежать его неожиданного нападения. С нечленораздельными воплями нищий взобрался на мой ящик и что-то воткнул в него. С трудом согнав его, я вытащил то, что он воткнул в ящик,— это был один из флажков, украшавших его шляпу.

Я был сильно взволнован. Еще несколько сантиметров — и спица, на которой был укреплен флажок, проткнула бы мне ухо. С тех пор я решил, хотя это было не в моих правилах, первым атаковать нищего со значками. К счастью, в то время я уже научился бросать из ящика тяжелые предметы. Сначала (если ты не левша) нужно просунуть в прорезь правую руку, согнуть в локте ладонью к себе и вместе с ящиком, не отрывая ног, отклониться влево. В тот момент, когда тело вернется в исходное положение, подняв локоть до уровня цели, резко выбросить вперед руку. Так же, как при метании диска, только без участия ног. Того, кто не способен напасть на нищего со значками, нельзя еще назвать вполне сформировавшимся человеком-ящиком.

Однако дни человека-ящика, после того как он вышел на улицу, обычно проходят спокойно. С неприятностями он сталкивается чрезвычайно редко. Смущение и робость от того, что привлекаешь всеобщее внимание, проходит в первые два-три месяца. Прежде всего, болезненно реагировать на взгляды окружающих — значит усложнять себе жизнь. Человек-ящик не может избежать того, что приходится делать человеку повседневно: есть, спать, справлять нужду. Для сна и естественных отправлений особые места выбирать не приходится — другое дело, если речь идет о еде. Когда кончаются запасы еды, приходится заниматься ее добычей. Если хочешь без денег и без особых затруднений добыть еду, нужно искать объедки. В поисках объедков направляешься в такое место, где они в изобилии и большом выборе.

Но даже для того чтобы находить объедки, надо знать секрет. В отличие от нищих и бродяг, прижившихся на свалках, человек-ящик не может питаться чем придется. И дело не в изысканности вкусов, а в элементарном понятии гигиены. Правда, было бы неверно утверждать, что объедки всегда нечистые, но все же впечатление они оставляют не самое приятное. Особенно пугает их запах. За три года я так и не смог привыкнуть к этому запаху.

Все дело в несоответствии вкуса и запаха объедков. Все имеет свой собственный запах: рыба — рыбы, мясо — мяса, овощи — овощей; человек, удостоверившись, что запахи смешиваются у него во рту в определенном соотношении, успокаивается и соглашается с таким смешением. Предвкушая жареную креветку, человек выплюнет еду изо рта, если почувствует вкус банана. Его начнет тошнить, если откушенный кусок шоколада окажется по вкусу жареным моллюском. Запахи объедков, смешанные как попало, не позволяют соотнести их с определенными продуктами, и хотя теоретически человек понимает, с чем он имеет дело, физиологически принять их он не в силах.

Первый шаг в добыче еды начинается с поиска сухих объедков, лишенных запаха. Но это невероятно трудно. Отбросы закусочных и ресторанов подразделяются на два основных вида: первый — легко теряющие форму, трудно хранимые продукты, которых больше всего. Предварительно отделив их от несъедобных предметов (палочек для еды, бумажных салфеток, битой посуды и так далее), их сваливают в огромные пластмассовые баки, которые каждое утро увозят на свиноферму. Другой вид — продукты, которые сохраняют свою форму, но, оставшись после посетителя, не могут быть

поданы другому посетителю... например, хлеб, все жареное, сушеная рыба, сыр, сладости, фрукты. Эти продукты никакой особой ценности не имеют, но стоит начать искать их — никак не попадаются на глаза. Может быть, потому, что хотя они и представляют собой объедки, но быстро не портятся и их можно использовать в дальнейшем. Действительно, хлеб высушивают и превращают в панировочные сухари, из костей жареной рыбы или курицы можно приготовить прекрасный бульон.

Однако человек-ящик, я уже писал об этом, может свободно добывать себе еду прямо с прилавка магазина. Так что ему не особенно нужно овладевать наукой выискивания объедков. Это лишь хорошая возможность привыкнуть к улице. Чтобы проводить время в лавке и тем более в качестве человека-ящика, прежде всего необходимо привыкнуть к улице. И когда человек-ящик привыкает, то где бы он ни находился, время начнет рисовать вокруг него концентрические круги. Все находящееся вдали будет быстро проноситься, находящееся вблизи — почти не двигаться, а в центре вообще замрет, и, значит, время не будет течь томительно однообразно. Тот, кому невыносимо скучно в ящике,— определенно еще не настоящий человек-ящик.

Вот теперь и подумай. Кто же не был человеком-ящиком? Кому так и не удалось стать человеком-ящиком?

ЧТО ПРОИЗОШЛО С D

Подросток D жаждал стать сильным. Он хотел любым способом стать сильным. Но не имел ясного представления, как это сделать. В один прекрасный день ему пришла в голову мысль — из фанеры, плотной бумаги и зеркал сделать нечто похожее на перископ. В верхнем и нижнем концах трубки он поместил зеркала под углом сорок пять градусов и с помощью этого приспособления мог, говоря условно, перемещать положение глаз в стороны, вверх и вниз на длину трубки. К зеркалам в верхнем конце он приделал шарниры из плотной бумаги, прикрепил шнурок и мог немного менять их угол наклона.

Первое испытание своего прибора он решил провести в закоулке между сараями и забором близлежащего многоэтажного дома. Это место он присмотрел еще с тех пор, когда совсем маленьким играл там в прятки, оно представляло собой узкий проход, который не был виден ни с улицы, ни даже из окон дома. Он присел на корточки — в нос ударил запах крыс, смешанный с запахом сырой земли. Уперев локти в колени, он прижал свой перископ к глазу. Верхний конец выставил над забором. Улица идет круто под гору, поэтому прохожие, даже высокого роста, не смогут увидеть, что делается за забором. Кроме того, на крутой дороге они чувствуют себя неустойчиво и вряд ли кто-нибудь будет смотреть не под ноги, а вверх. Так уговаривая себя D, стараясь унять волнение, но, когда улица и в самом деле отразилась в зеркале прямо перед его глазами, он от неожиданности оторопел. Ему показалось, что весь пейзаж впился в него осуждающим взглядом. Он непроизвольно отпрянул. Конец перископа стукнулся о забор и переломился, издав чавкающий звук, будто раздавили спелый мандарин. Весь потный от напряжения, D принялся его ремонтировать с помощью клейкой ленты.

Во второй раз он, уже смелее противостоя наползающему на него из зеркала пейзажу, изо всех сил старался продолжать наблюдение. И когда он устоял и не поддался этому давлению, напряжение спало. Убедившись, что ответных взглядов опасаться нечего, он успокоился окончательно, смущение постепенно исчезло, и пейзаж стал меняться буквально на глазах. Он мог ясно осознать изменение отношений между пейзажем и собой, между остальными людьми и собой. Главная цель, которую он преследовал, изготовляя свой перископ, была так или иначе достигнута.

Ничего особенно нового он для себя не обнаружил. Спокойный и в то же время обладающий огромной силой проникновения свет заливает пейзаж до мельчайших его деталей, и все кажется мягким, атласным. С выражения лица прохожих, с их осанки

начисто стерто все, что заставляло испытывать к ним чувство враждебности. Никаких злых, придирчивых взглядов. С бетонированной мостовой, с заборов, с телеграфных столбов, с дорожных знаков, со всяких выступов и неровностей, формирующих пейзаж, казалось, срезаны выпирающие острые углы. Весь мир, казалось, наполнен покоем длящегося вечно начала субботней ночи. С помощью зеркала он забавлялся с улицей. И улица улыбалась в ответ на его забавы. Как прекрасен мир, хотя бы в тот момент, когда смотришь на него. В своем воображении он заключил мирный договор с этим миром.

Почувствовав вкус к своим наблюдениям и осмелев, D, меняя места, стал осматривать всю улицу. Улица не упрекала его за это. Мир, когда на него смотрели через перископ, был безгранично великодушен. Однажды, поддавшись порыву, он замыслил маленькую авантюру. Решил подсмотреть, что делается в уборной соседнего дома. Это был стоящий в некотором отдалении флигель, в котором жила учительница физкультуры. А может быть, и не жила, а просто пользовалась флигелем с хорошей звукоизоляцией, чтобы, никому не мешая, играть на пианино. Но D тогда всего этого не знал, да и не особенно стремился узнать.

Однако, замыслив свою авантюру, он неожиданно отнесся к ней как к давно задуманной. Ему даже стало казаться, что все его усилия были направлены именно на ее подготовку. Флигель стоял в некотором отдалении от забора, почти вплотную к его крохотной комнатке для занятий, выгороженной из коридора. Поэтому шум спускаемой в уборной воды слышался гораздо ближе и явственнее, чем звуки пианино, заглушаемые звуконепроницаемой стеной. Собственно говоря, пианино и шум льющейся воды никогда не слышались одновременно, но в голове D слились, будто в этом был какой-то тайный смысл, грустная, очаровательная мелодия, которую в самом конце своих упражнений играла учительница, и шум смешанного с воздухом водоворота в белой фаянсовой посудине. Стоило ему услышать, что в соседней уборной кто-то есть, как его обжигало изнутри, точно он вдохнул пар, и привычная мелодия вызывала привычное напряжение.

На уровне пола в уборной, кажется, есть небольшая дверца, через которую выметают мусор,— когда-то он совершенно случайно обнаружил ее. Если только удастся открыть дверцу, проблемы не будет, если же не удастся, придется подсматривать через вентиляционное отверстие у потолка — другого выхода нет. Через него заглянуть трудно, особенно потому, что, после того как был вынут вентилятор (мешал, наверное), отверстие затянули металлической сеткой от насекомых. Стоило ему только представить себе, как он будет подсматривать, и глаза начинали гореть от вожделения.

По сделанным еще раньше наблюдениям учительница прерывает свои упражнения два раза — примерно в пять и в восемь часов. После чего идет в уборную — чаще это происходит в восемь часов. Это было для него очень неудобно. Обычно родители в это время дома, и незаметно выйти во двор трудно. Вот если бы в пять часов: отец еще не возвращается со службы, и матери тоже часто не бывает в это время — она ходит за продуктами для ужина. Для решительных действий самое время. Правда, еще светло и есть опасность, что учительница может увидеть его, но тут-то и поможет перископ. Наблюдая за улицей, он научился уверенно им пользоваться. Желание осуществить задуманное и заняться подсматриванием за учительницей всеми цветами радуги закрасило его нерешительность.

Вернувшись в тот день из школы, D, обеспечивая себе свободу к пяти часам, измыслил какие-то невероятные предлоги, чтобы задержать выход матери из дому. Примерно в четыре часа сорок минут упражнения закончились и вот-вот должна была начаться та самая мелодия — тогда он наконец отпустил мать. А сам, прижав к боку перископ, надел брезентовые спортивные туфли с ободранными носами и крадучись выскользнул во двор. Вопреки его предположениям, с этой стороны забора и перископ оказался бессилен. Ну что ж, ничего не поделаешь, да к тому же, если подсматривать с этой стороны забора, скорее поймают. Нужно перебраться через него — там даже менее вероятно, что его заметят, подумал он. Поскольку он не собирается оповещать учительницу, что подсматривает... то даже если она и обнаружит, что за ней подсматривают, а он сделает вид, будто не замечает, что она это обнаружила... между подсматривающим и подсматриваемой, смутно надеялся он, установится некая

близость. Ему даже в голову не могло прийти, какого осуждения достойно подсматривание — не высказанное, тайное признание в любви.

Он подлез под забор и оказался на той стороне. Там было еще более сыро, чем в его дворе. Между забором и домом не было и полуметра, и сюда, видимо, редко кто забредал — земля была покрыта густым слоем серебристого мха. Боком он протиснулся в узкую щель между уборной и забором. Ему повезло. Дверца у пола уборной была сантиметров на пять приоткрыта. Перископ, естественно, нужно будет дврржать в горизонтальном положении. Перехватило дыхание, сжало грудь. Привалившись к забору, он закрыл глаза. Наконец, передохнув, выбрал место и пристроил перископ. Первое, что он увидел,— фаянсовый унитаз. Унитаз был не белый, как он предполагал, а светло-голубой. На полу был постелен белый коврик и стояли выкрашенные серебряной краской резиновые сандалии. Как он ни изменял положение зеркал, обзор передвигался лишь вправо и влево, а то, что было нужно, в поле зрения не попадало. Успокойся, говорил он себе, перископ находится в горизонтальном положении, и, чтобы смотреть вверх и вниз, нужно повернуть трубку. Стена была фанерная, выкрашенная под дерево.

Ему казалось, что время не движется. И музыка сегодня длится бесконечно. Он весь горел, дыхание вырывалось из горла, как из флейты. У него было ощущение, что раскрылась черепная коробка и из нее, как пробка из бутылки, выскочили глаза. Мать вот-вот вернется. Торжественные звуки пианино вызывали дрожь в поджилках, как при нервном заболевании. Он еле сдерживал себя, чтобы не ворваться в дом и не разбить вдребезги пианино.

Но конец игры приближался. Знакомые заключительные аккорды... вот последний... D уговаривал себя: не нужно питать такие уж большие надежды, было бы слишком нахально надеяться, что с первого раза все удастся. Но и не надеяться тоже нельзя. D дрожал. Он тяжело дышал — воздуха не хватало. Широко раскрыв рот, он как насосом втягивал воздух.

Неожиданно у самого его уха раздался голос:

— Кто здесь? Что ты здесь делаешь? Слышишь, не вздумай убегать. Убежишь, всем расскажу.

Сжавшись, D чуть приподнялся. Он был повержен. Не было даже сил, чтобы повернуть голову и определить, откуда идет голос. Он еле дышал, дыхание его напоминало гаснущие на лету искорки, которые разбрасывает тонкая курительная палочка.

— Повернись ко мне лицом и заходи в дом с крыльца.— В голосе слышатся не угрожающие, а, наоборот, спасительные нотки.— Ну, вставай быстрей...— Голос идет, кажется, из уборной. Но никого не видно. Откуда, каким образом она меня видит? — Не забудь свой чудной прибор. Иди к крыльцу. Дверь не заперта.— Она еще пойдет в уборную потом или сейчас уже там сидит? Плохо приладил перископ.— Вижу, что собираешься делать. Убежишь, хуже будет. Не мешкай, иди к крыльцу...

Ему не оставалось ничего другого, как подчиниться. Действительно, предположим, он убежит, но это же ничего не даст. Если понимать ее предостережение — убежишь, хуже будет — в том смысле, что, если он не убежит, она ничего не расскажет в школе и родителям, то какое бы наказание его ни ожидало, лучше всего получить его здесь. D покорно, как поросенок, засунутый в мешок, прижав к груди ненужный теперь перископ, обогнул дом и направился к подъезду. Дверь, прежде напоминавшая ему податливую живую плоть, превратилась в бетонную плиту.

Сразу за дверью — большая комната с пианино. Оно так источено жучком, что при одном взгляде на него тело начинало зудеть. На полу расстелен зеленый ковер. Как только он притворил за собой дверь, открылась дверь в глубине комнаты и вошла учительница. Ей вдогонку неслся шум воды. Видимо, она шла прямо из уборной. С шумом спускаемой воды в его сознании ассоциировался ее белый зад, примостившийся на унитазе. Он не мог заставить себя поднять голову — его охватило чувство неловкости, будто он и в самом деле видит перед собой ее зад.

— Запру дверь.

Учительница обошла его — послышался звук запираемого замка.

— Тебе не стыдно?

— Стыдно.

— У тебя, я вижу, ломается голос. Мне теперь понятно, почему ты так поступил, но это же так нечистоплотно — просто противно. Я понимаю, что тебе стыдно, но мне, учительнице, еще стыднее. Самому стыдно, и меня тоже заставил пережить стыд. Что мне с тобой делать? Если я тебя сейчас отпущу, ты снова повторишь то же самое...

— Больше не буду...

— Ну что с тобой делать?

— Правда больше не буду.

— Хорошо... Все-таки я должна тебя наказать. Я сделаю так, чтобы ты испытал примерно то же самое, что заставил испытать меня.

Учительница села к пианино, пальцы ее быстро забегали по клавишам. Это были последние аккорды той самой мелодии. Но в отличие от тех, которые он слышал через стену, эти были несравненно торжественнее. Казалось, напряженное полотнище флага трепетно бьется на ветру. D все сильнее ощущал непристойность своего поступка, свою ничтожность и в конце концов не смог сдержать слез.

— Как тебе эта мелодия?

— Нравится.

— Правда нравится?

— Очень нравится.

— А кто композитор, знаешь?

— Не знаю.

— Шопен. Изумительный, великий Шопен.— Неожиданно учительница перестала играть и встала.— А теперь быстро раздевайся. Я выйду.

D не сразу понял, чего она хочет. И после того как она вышла из комнаты, какое-то время стоял неподвижно, ничего не соображая.

— В чем дело? Почему ты мешкаешь? — раздался голос из-за двери.— Я все прекрасно вижу через замочную скважину. Если ты в самом деле осудил свой поступок, то должен сделать это.

— Что сделать?

— Раздеться, разве не ясно? Ты заставил учительницу пережить точно такой же позор — так что возражать не имеешь теперь никакого права.

— Простите, пожалуйста.

— Нет. Думаешь, тебе будет лучше, если я расскажу обо всем отцу и матери?

D был повержен. У него было ощущение, будто желудок проваливается куда-то вниз и внутри образовалась пустота. Дело не в том, что ему было так уж противно раздеться догола. Ему даже казалось, что в этом у них как будто достигнуто взаимопонимание. Но он не чувствовал в себе необходимой решимости.

Ему оставалось одно — смириться. Стыдясь своего безобразия, он сбросил куртку, стащил рубаху, спустил штаны и остался голым. Но учительница никак не реагировала. За дверью была полная тишина. Не просто не доносилось ни звука — материализовавшаяся тишина присела на корточки. Ее взгляд черным лучом пронзил его через замочную скважину. Все стало одноцветным, в глазах у него потемнело. Он стиснул колени, охватил голову руками, готовый расплакаться. Но слез не было. Внутри у него вдруг все стало сухим, как песчаное побережье под утро.

— Ну как, понял теперь? — Голос учительницы из-за двери был невыразителен. Он кивнул. Он действительно все понял. Он постиг все гораздо глубже, чем подтвердил своим кивком, и даже гораздо глубже, чем казалось ему самому.— Теперь можешь идти.

Дверь приоткрылась, и на пол беззвучно упал ключ. Ключ от двери, которую изнутри можно было открыть и без ключа.

. . . . . .

Двери клиники, куда я наконец добрался,— на замке, и висит табличка, что сегодня приема нет. У черного хода хрипло поскуливает та самая добродушная собака. Я звоню. От нетерпения жму на кнопку звонка, не отнимая пальца. Кто-то

подходит. Неожиданно дверь распахивается, и меня впускает в дом она — будто с нетерпением ждала моего прихода. Что-то затараторив, она направляется в глубь дома. Я не расслышал как следует, что она сказала,— скорее всего, спутав меня с лжечеловеком-ящиком (или лжеврачом), выговаривает ему. Чем раньше я исправлю ее ошибку, тем лучше. Откашлявшись, я начинаю объяснять:

— Я не сэнсэй. Я настоящий. Повторяю: настоящий. Вчера вечером я ждал тебя под мостом. Бывший фоторепортер...

Приоткрыв рот, она быстро осматривает меня с ног до головы. Ее лицо застывает в удивлении.

— Вам не стыдно? Почему не выполнили обещания? Снимайте его немедленно. Вы, видимо, не знаете, е...

— Нет, знаю. Ты, наверно, имеешь в виду сэнсэя. Я только что встретил его на улице.

— Снимайте же, прошу вас...

— Не могу снять. Я очень торопился сюда.

— Перестаньте. Теперь уж...

— Но я голый. Совершенно голый. После того я вымылся в душе на побережье, выстирал белье и стал ждать, пока оно высохнет. Покинуть ящик можно лишь после того, как подготовишь себя к тому, чтобы его покинуть,— верно ведь? Потом я собирался разделаться с ящиком и прийти сюда. Чтобы ты сама убедилась, что я сдержал обещание. Но я заснул. Заснул так крепко, точно меня расплющило дорожным катком. И к тому же, пока я спал, все время видел сон, будто не в силах сомкнуть глаз, поэтому, хотя я проснулся совсем недавно, так и не смог выспаться как следует. Но это бы еще ничего; когда я проснулся, то обнаружил, что белье и брюки куда-то исчезли. Положение отчаянное. Мне кажется, под утро я видел сон, как ребятишки, водрузив на бамбуковый шест флаг, носятся по берегу,— видимо, это был не сон, а явь. Теперь я догадываюсь, что бегали они не с флагом, а с моими брюками. Я пал духом. Нужно было где-то, как-то раздобыть брюки. Любое старье, лишь бы достать... С этой мыслью я поплелся в город, и вдруг — как раз там, где кончается дамба,— идет точно такой же человек-ящик, как я... Теперь все пропало, подумал я... не успею достать брюки...

Она неожиданно рассмеялась. С трудом удерживая на пятках согнутое пополам тело, она вся сотрясалась от смеха. Сначала она смеялась зло, издевательски, но надолго ее не хватило, и смех ее стал просто веселым. Высмеявшись, она становится оживленной и добродушной.

— Это ничего, что голый. Договор есть договор.

— Ты уж меня прости, но мне бы и старые брюки вполне подошли, может, одолжишь на время?

— Так и быть, я тоже разденусь для вас догола. Вы же собирались меня фотографировать. Если мы обе будем голыми, стесняться нечего, правда?

— Смотреть на голого мужчину — это же ужасно.

— Ошибаетесь,— бесстрастно отвечает она и начинает быстро раздеваться. Блузка... юбка... лифчик...— До чего противный этот ящик. Я просто не могу уже выносить его.

Совершенно обнаженная, она стоит передо мной. На губах — чуть заметный вызов. Но в глазах — мрачная мольба. Обнаженная, она ни капельки не выглядит обнаженной. Ей слишком идет нагота. Но мне она не пойдет. Особенно торчащая из ящика нижняя часть тела выглядит более чем комично.

— Может, ты хоть на минутку закроешь глаза? Или отвернешься...

— С удовольствием.

В голосе ее смех. Она отворачивается и упирается плечами в стену коридора. Снимая сапоги, я чувствую, как всего меня бьет мелкая дрожь. Я тихо вылезаю из ящика и, крадучись подойдя к ней сзади, охватываю руками ее плечи. Она не сопротивляется, а я, сокращая и сокращая отделяющее нас расстояние, настойчиво убеждаю себя, что расстояние я обязан сохранять вечно.

— А вдруг сэнсэй вернется, ничего?..

— Вряд ли вернется. Да он и не собирался возвращаться...

— Как пахнут твои волосы...

— Нескладная...

— Признаюсь. Я был не настоящим.

— Молчи...

— А вот записки — настоящие. Они мне достались от настоящего человека-ящика после его смерти.

— Я обливаюсь потом...

(Вряд ли нужно предупреждать, что все в этих предсмертных записках — чистая правда, что они представляют собой искреннее признание. Умирающий всегда испытывает непонятную зависть, ревность к тем, кто остается после его смерти. Среди них обязательно найдутся маловеры, до мозга костей пропитанные досадой на дутый вексель, именуемый «истиной»,— они будут стремиться к тому, чтобы хоть крышку гроба заколотить гвоздями «лжи». Только не следует воспринимать их как обычные предсмертные записки.)

Во сне и человек-ящик снимает с себя ящик. Видит ли он сон о том, что было до того, как он начал жизнь в ящике, или видит сон о своей жизни после того, как покинул ящик...

Дом, к которому я направлялся, стоял на холме, так сказать, у выхода из города. Я проделал бесконечно длинный путь в конной повозке и вот, наконец, подъехал к воротам дома. Судя по дальности дороги, дом стоит не у выхода из города, а скорее у входа в него.

Конная повозка — я просто так называю ее. На самом же деле повозку везла не лошадь, вез человек, на котором был надет ящик из гофрированного кáртона. А если говорить совсем уж откровенно, этим человеком был мой отец. Ему за шестьдесят. Хоть в этом было нечто старомодное, отец, ни за что не желавший ломать исконную традицию города, по которой во время брачной церемонии жених должен приехать за невестой в конной повозке, впрягся в нее сам вместо лошади. Но, чтобы не позорить меня, спрятался в ящик из гофрированного картона. Он, видимо, заботился еще и о том, чтобы невеста не раздумала.

Разумеется, если бы у меня были деньги, чтобы нанять конную повозку, отец наверняка не стал бы делать этого ради меня, да я и сам, думаю, не попросил бы его об этом. Но отказаться от свадьбы только потому, что я не в состоянии заплатить за конную повозку, было бы чересчур обидно. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как прибегнуть к доброте отца.

Однако шестидесятилетний отец совсем не мог выполнять роль лошади. Он с трудом тащил повозку в гору по выбитой дороге — он не стоил и одной десятой настоящей лошади. Я, разумеется, не мог слезть с повозки, чтобы подталкивать ее сзади, и она почти не двигалась вперед. Только время летело с бешеной быстротой. К тому же еще и нещадная тряска довела до крайнего предела потребность справить нужду, и, когда мы доехали, я был совершенно зеленым.

Наконец повозка остановилась.

Отец отвязал от ящика кожаные ремни, которыми привязывают лошадь к повозке (не знаю, как они называются), и, глянув на меня из прорезанного в ящике окошка, слабо, устало улыбнулся. Я ответил ему натянутой улыбкой и медленно вылез из повозки.

Повозка, которую я назвал конной, была предназначена для перевозки грузов. Но уговора, чтобы не приезжать за невестой в такой повозке, не было — главное жениться, а там она от меня никуда не денется. Учащенно дыша, я, шаркая ногами, побежал, расстегивая на ходу брюки, к обочине дороги и, напрягши живот, почувствовал такое огромное облегчение, будто взмыл в небо и лечу над синеющими вдали горами.

— Эй, Шопен, что ты делаешь? — в растерянности воскликнул за моей спиной отец. Я допустил ужасную неосторожность. Между домом невесты и дорогой густо рос кустарник, и я был уверен, что он полностью скрывает меня. Но нашей невесте

ждать стало невмоготу. Видимо, она еще издали услышала звук приближающейся повозки и вышла на обочину встретить меня. Смутившись, я попытался спрятаться за кустами, которые так неудачно посчитал надежным укрытием. Наши взгляды встретились. Я убежден, что она все видела. Между ветвей мелькнуло белое платье, послышался легкий топот бегущих ног, стук двери, точно удар деревянным молотком по ореху. И все смолкло. Изнывая, раскачиваясь из стороны в сторону, я с неимоверным трудом перебирался по тонкой веревке, протянутой между надеждой и отчаянием, и в тот миг, когда до заветного берега было рукой подать — вот-вот вступлю на него, надеялся я,— веревка вдруг оказывается перерубленной топором. Отказаться, но отказаться немыслимо.

— Отец, ты ее опекун, прошу тебя, сделай что-нибудь.

К горлу подступают слезы. Рыдая, я продолжаю мочиться. Пробив ямку в земле, весело разливается светло-желтая лужица.

— Нет, Шопен, придется отказаться,— печально уговаривает меня отец, постукивая по ящику высунутой из дыры рукой.— Прошу тебя, не упрямься. Современная молодая девушка ни за что не выйдет замуж за эксгибициониста.

— Но я же никакой не эксгибиционист.

— Но она вполне может так подумать, и тут ничего не поделаешь. Она же все видела.

— Мне во что бы то ни стало нужно жениться.

— Веди себя как мужчина, хотя бы из уважения к доброте отца, который ради тебя даже взял на себя роль лошади. Прошу тебя. Счастье еще, что, кроме нее, никто этого не видел. В будущем, когда твоя, Шопен, биография разрастется в сотни томов, мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал об этой скандальной истории. Не годится, чтобы из биографии следовало, будто твоя судьба определилась тем, что ты не вовремя помочился. Правда? Ты ведь не совершал ничего постыдного. Виной всему предубеждение против эксгибиционистов и нерадивость городских властей, спустя рукава относящихся к строительству общественных уборных. Ну ладно, пошли. Нас ничто не связывает с этим городом. Отправимся в другой, большой город, где есть общественные уборные. Когда есть общественные уборные, в любое время можно справить нужду, и большую и малую...

Я не надеялся, что большой город излечит меня от сердечной раны. Все это так, но отец почему-то зовет меня Шопеном. Ранен не я один, подумал я и решил не донимать его. В общем, я тоже согласился с мнением отца, что нам нечего оставаться в этом городе. Как незащищен человек, когда он мочится,— эта мысль внушала мне ужасное беспокойство.

Повозку мы бросили. Но снять ящик отец решительно отказался. Он упорно утверждал, что, поскольку половина вины лежит на нем, его обязанность как отца — по-прежнему выполнять роль лошади. И я, верхом на ящике отца, покинул город, в котором прожил много лет.

Придя в большой город, мы сразу же сняли мансарду с пианино и решили ждать, пока нам улыбнется счастье. Не отдавая себе в этом отчета, я воображал, будто совершил полный круг и теперь вошел в ее дом с черного хода. Утешить разбитое сердце можно было только работой, и отец где-то достал и принес мне альбом и перо. Используя вместо стола пианино, я принялся по памяти рисовать ее. Нужно ли говорить, что по мере роста моего мастерства на портретах она становилась все более обнаженной.

— Шопен, у тебя незаурядный талант. Признаю. Но ты ведь знаешь, наши денежные дела малоутешительны. Может быть, стоит экономнее расходовать бумагу, делая рисунки поменьше...

Отец был прав. Но он имел в виду, конечно, не размер бумаги. Просто на маленьком рисунке пером легче выразить то, что хочешь. Я продолжал рисовать, все уменьшая и уменьшая листки. Уменьшив их, я быстрее заканчивал свои рисунки и поэтому стал изводить бумаги еще больше, чем прежде; тогда мне пришлось разрезать бумагу на еще более мелкие листки. Кончилось тем, что я прикреплял булавками к доске крохотные квадратики бумаги величиной с подушечку большого пальца и, глядя через лупу, выводил тончайшие линии, неразличимые невооруженным

глазом. Только в минуты, когда я весь отдавался этой работе, я мог быть вместе с ней.

Однажды я обнаружил странную вещь. Мансарда, где обычно была гробовая тишина, неожиданно оказалась наполненной людским гомоном. Почему-то я до сих пор не замечал этого. От двери до пианино стояла очередь, и эта очередь тянулась до самого конца коридора. Тот, кто был первым в очереди, клал деньги в ящик (в нем находился, разумеется, отец) и, бережно взяв мой рисунок, удалялся. Я не очень удивился. Мне даже казалось, что это длится уже довольно давно. Действительно, в последнее время еда стала у нас гораздо лучше и вместо старого пианино, служившего мне столом, теперь стоял новенький рояль. Сильно изменился и ящик отца — теперь он был не из гофрированного картона, а из настоящей красной кожи с блестящими застежками. Видимо, ничего не подозревая, я начал приобретать всеобщее признание. У меня покупали рисунки прямо из-под пера, и, сколько я ни рисовал, очередь жаждущих купить рисунок не убывала.

Однако теперь это ничего для меня не значит. На полученные деньги отец, кажется, купил настоящую лошадь, но и это не имеет ко мне никакого отношения. С тех пор я ни разу не видел, чтобы отец вылез из ящика, и даже сомневаюсь, действительно ли там мой отец. На моих рисунках она остается такой, какой была давным-давно, хотя настоящая она должна была состариться на те годы, которые прошли, и это неизбежно — вот где причина моей тоски. Стоит мне об этом подумать — и в памяти отчетливо воскресает наша горькая разлука и из глаз, которые теперь у меня всегда на мокром месте, сразу начинают течь слезы. И всякий раз отец протягивает из ящика руку и вытирает мне глаза новым шелковым носовым платком. Ведь рисунок такой крохотный, что и одной слезинки достаточно, чтобы испортить его.

Вот почему теперь нет ни одного человека, который бы не знал моего имени. Вначале вряд ли можно было встретить энциклопедию, в которой не было бы статьи о Шопене, изобретателе и создателе первой в мире почтовой марки. Но с развитием почтового дела и передачей его в ведение государства мое имя прославилось как имя подделывателя марок. В этом, видимо, и состоит причина того, что ни на одной почте не висит мой портрет. И лишь красный цвет ящика, полюбившийся моему отцу, и теперь еще кое-где принят как цвет почтовых ящиков.

ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ПОДНЯТИЯ ЗАНАВЕСА

«Теперь между мной и тобой дует горячий ветер. Бушует чувственный, обжигающе-горячий ветер. Честно говоря, я не знаю, с каких пор он начал дуть. От этой безумной жары и свистящего в ушах ветра я, кажется, потерял ощущение времени.

Но я знаю — направление ветра рано или поздно должно измениться. В один прекрасный день вместо него подует прохладный западный ветер. И тогда этот горячий ветер, точно призрачное видение, слетит с обнаженного тела, и никто о нем даже не вспомнит. Да, жара ужасающая. В самóм горячем ветре притаилось предчувствие, что вот-вот он кончится.

Почему? Если бы меня попросили объяснить, я бы, пожалуй, смог сделать это. Главное — будешь ты слушать мои объяснения или нет... Я знаю — существует театр одного актера, но не наскучу ли я тебе? Ну как?.. продолжать?.. или...»

«Пожалуйста, только не очень долго...»

«Говоришь, не очень долго, минут пять?»

«Да, пять минут в самый раз».

«Видимо, это все-таки любовь. Нечто отличное по своей сущности от того, что именуется любовью, становившееся постепенно все выше и выше, пока, наконец, не превратилось в огромную туманную башню и, застыв, не сформировалось. Любовь, возникшая, если можно так сказать, из сознания того, что она безответна... парадоксальная любовь, начавшаяся с конца. Один поэт сказал: любить — прекрасно, быть любимым — отвратительно. Любовь, возникшая из безответной, не оставляет после себя и тени. Не знаю, прекрасна она или нет, но, во всяком случае, в ее боли нет раскаяния».

«Зачем?»

«Что зачем?»

«К чему продолжать уже оконченный разговор?»

«Ничего не окончено. Она возникла из безответной любви. Сейчас как раз горячий ветер крепчает».

«Жарко, потому что лето».

«Нет, ты, кажется, не в состоянии понять. Разумеется, это рассказ. Рассказ, именно сейчас находящийся в процессе развития. Поскольку ты слушаешь, то обязана стать одним из его действующих лиц. Только что тебе признались в любви. Пусть мне это будет неприятно, пусть я буду чувствовать себя глупцом, все равно для меня было бы большим ударом, если бы мне не дали сыграть роль отверженного».

«Почему же?»

«Важно не завершение. Необходимо как-то отразить этот горячий ветер, обдающий сейчас мое обнаженное тело,— это факт. Завершение не проблема. Дующий сейчас горячий ветер — вот что важно. Уснувшие слова и чувства, будто через них пропустили высоковольтный заряд, вспыхнули синим огнем — вот что значит быть захваченным этим горячим ветром. Редкостный случай, когда человек собственными глазами может увидеть душу».

«Выдающийся человек. Если так соблазнять женщину, вполне удастся не ранить себя. Но не проглядывает ли здесь слишком уж продуманный расчет?»

«Действительно, половина — правда. Но если ты этого не признаешь, то о другой половине я лучше умолчу».

«А хочется продолжать?»

«Разумеется».

«Ты имеешь право еще на две минуты».

«Ты поступаешь глупо».

«Не нужно попусту тратить время».

«Да, временем следует дорожить. Но я не собираюсь повернуть время вспять. Насколько мое существование в тебе незначительнее твоего существования во мне. Но чтобы преодолеть эту муку, я должен медленно растворять время. Если свободно владеешь искусством соблазнять, то всегда есть надежда ухватить хоть кусочек мира и счастья. Поэтому для меня так важен этот редкостный горячий ветер, возникший из безответной любви. Изумительный лес слов, прекрасное море чувств... Достаточно слегка коснуться твоего тела — и время останавливается, наступает вечность. В этом мучительном вихре горячего ветра я не исчезну до самой смерти, мне даруют искусство перевоплощения...»

И ВОТ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЗВОНКА К ПОДНЯТИЮ ЗАНАВЕСА, ДРАМА ЗАКОНЧИЛАСЬ

Теперь-то можно сказать точно и определенно. Я не ошибся. Возможно, потерпел поражение, но не ошибся. Поражение не вызвало ни малейшего раскаяния. Значит, я не жил ради завершения.

Стук захлопнутой входной двери.

Она ушла. Теперь я уже не сержусь и не обижаюсь. В стуке захлопнутой двери прозвучало глубокое сострадание и сочувствие. Между нами не было ни ссор, ни враждебности. Видимо, она хотела исчезнуть, по возможности не пользуясь парадным ходом. Поэтому она стеснялась стука входной двери. Подожду десять минут и забью ее гвоздями. Мне нечего надеяться, что она возвратится. Я лишь подожду, пока она отойдет настолько далеко, чтобы не слышать стука молотка.

Покончу с входной дверью, и останется лишь закрыть на засов дверь черного хода на втором этаже. После того как я заделаю фанерой и гофрированным картоном окна и вентиляцию, в дом не проникнет даже луч дневного света. Тем более что сейчас облачный вечер. Дом будет полностью отрезан от внешнего мира — в нем не оста-

нется ни входа, ни выхода. После этого я покину его. Выбраться из дома сможет только человек-ящик. В конце этих записок я собираюсь рассказать, каким способом и куда я сбегу.

Прошло десять минут.

Я подошел к входной двери, чтобы забить ее. Промахнувшись, я содрал кожу у ногтя большого пальца левой руки. Выступила кровь, но боль быстро прошла.

Я вспоминаю, что за все время с моего возвращения домой и до ее ухода мы не промолвили ни слова. Осадок, конечно, оставался. Но вряд ли он исчез бы от разговора. Этап, когда слова еще играют какую-то роль, закончился. Достаточно было нам обменяться взглядами, чтобы понять все. Слишком совершенное — это всего лишь одно из явлений, возникающих в процессе разрушения.

Лицо у нее чуть напряженное. Может быть, оно кажется таким оттого, что на нем почти нет косметики. Но изменившееся выражение ее лица всего лишь частица происшедших в ней перемен — мне все равно, какое у нее выражение лица. Главное, что она одета. Какое на ней платье, в данном случае не важно. Уже около двух месяцев она жила обнаженной. Я тоже был совершенно обнаженным. У меня не было никакой одежды, кроме ящика. В доме находилось двое обнаженных. И кроме нас, не было никого. Табличка с именем и вывеска были сняты, красный фонарь у ворот потушен, никто не заходил к нам, даже по ошибке, и поэтому не было необходимости вывешивать объявление о временном прекращении приема.

Раз в день, надев ящик, я выходил из дому. Я бродил по улицам как человек-невидимка, добывал предметы первой необходимости, главным образом пищу. Если заходить в один и тот же магазин не чаще одного раза в месяц, то нечего опасаться, что тебя обругают. Нельзя сказать, что мы роскошествовали, но и нужды ни в чем не испытывали. Я был уверен, что таким образом мы проживем вдвоем не один год.

Поднявшись по лестнице черного хода в коридоре второго этажа, я снимал ящик и ботинки, а она, уже с нетерпением ждавшая моего возвращения, обнаженная взбегала ко мне наверх. Это были самые волнующие минуты. Дрожа, мы прижимались друг к другу так крепко, что между нами не оставалось и щелочки. Словарный запас у нас был поразительно беден. Ее голова доходила мне примерно до носа, и я шептал: «Как пахнут твои волосы», а она, прижимаясь ко мне еще крепче, вторила: «Как сладко». Так что дело было, я думаю, не в словах. Слова эффективны, лишь пока вас разделяет окружность радиусом в два с половиной метра и вы можете различать друг в друге разных людей. Я также не думаю, что наши отношения омрачало существование той самой покойницкой, находившейся тут же, рядом с лестницей. Мы обходили ее молчанием, а обходить молчанием равносильно признанию, что ее фактически не существует.

Потом мы размыкали объятия и шли на кухню в конце коридора. Но даже не обнимаясь, мы старались постоянно касаться друг друга. Например, она стояла у раковины и чистила картошку или лук, а я в это время, примостившись рядом на полу, гладил ей ноги. Пол в нашей кухне был покрыт тонким слоем плесени. Главная кухня была на первом этаже, а эту приспособили уже давно специально для больных, лежавших в клинике, но ею почти не пользовались, и она пришла в запустение. У нас была причина снова начать пользоваться этой кухней. Напротив нее через коридор находилась пустая комната, и было удобно выбрасывать в нее отходы после приготовления еды. Очистки овощей, рыбьи головы мы складывали в полиэтиленовые мешки, но крысы моментально их прогрызали и растаскивали отбросы по всему полу. Через полдня отбросы начинали разлагаться, и вонь вырывалась из комнаты всякий раз, как мы открывали дверь. Но даже это нас нисколько не беспокоило. Прежде всего потому, что соприкосновение с кожей другого человека полностью перестраивает обоняние. Кроме того, мы, видимо, бессознательно чувствовали, что это создает для нас благоприятные условия, позволяющие не думать о существовании покойницкой. Чтобы заполнить отбросами всю комнату, потребуется по меньшей мере полгода, предполагали мы оптимистически.

Но действительно ли мы были так оптимистичны? Мне кажется, мы просто с самого начала отказались от всяких надежд. Страсть — это импульс к тому, чтобы воспламенять. У нас было непреодолимое желание воспламенять. Мы боялись прервать воспламенение, и я даже сомневаюсь, хотели ли мы, чтобы продолжал существовать реальный мир. Мы не имели права заглядывать в такую бесконечную даль, как полгода, когда отбросы заполнят всю комнату. С утра до ночи мы непрестанно старались касаться друг друга. Очень редко мы замыкались в окружности радиусом в два с половиной метра. На расстоянии, которое обычно было между нами, друг друга почти не видно, но мы не испытывали от этого неудобства. Мы привыкли в своем воображении соединять в целое отдельные части — только так мы могли видеть друг друга, и это давало чувство огромной свободы. В ее глазах я был расчленен на мелкие части. Кроме замечаний, касающихся моей спины, она ни слова не говорила о своем мнении относительно моего облика в целом, независимо от того, нравился он ей или нет. Ее, видимо, это не особенно волновало. Слова, как таковые, стали терять всякий смысл. И время тоже остановилось. Все шло хорошо и три дня, и три недели. Но как бы долго ни длилось горение, если оно кончается, то кончается мгновенно.

Поэтому, когда сегодня я увидел, что, вместо того чтобы голой взбежать наверх, она, одетая, молча смотрит на меня, то испытал не какое-то особое смятение, а лишь уныние от мысли, что мне снова придется вернуться к своей старой, безрадостной жизни. Теперь моя нагота выглядела бесконечно жалкой. Точно за мной гонятся, я заполз в свой ящик и, замерев, стал ждать, пока она уйдет,— мне не оставалось ничего другого. Она нахмурилась и огляделась по сторонам, но сделала вид, что не замечает меня. Казалось, она хочет установить, откуда исходит дурной запах. Потом медленно повернулась и возвратилась в свою комнату. Я тоже крадучись пошел в бывшую процедурную. Если она хочет, можно начать все заново. Начинать заново можно сколько угодно. Напрягши слух, я пытался определить, что она делает. Никакого движения. Не исключено, она ждет, чтобы я предложил начать все заново. Но сколько ни начинай заново, каждый раз будет возвращаться то же место, то же время.

Циферблат часов облез.
Больше всего стерлась
Цифра 8.
Два раза в день обязательно
На нее смотрят шершавым взглядом,
И она стерлась.
Напротив нее
Цифра 2.
Глаза, закрытые ночью,
Пробегают ее, не останавливаясь,
И она стерлась значительно меньше.
Если есть человек, имеющий часы
С облезшим циферблатом,
То это он, опоздавший начать жизнь
На один оборот часовой стрелки.

И поэтому мир всегда
Обгоняет его на один оборот часовой стрелки.
То, что он, как ему представляется, видит,
Это еще не начавшийся мир.
Призрачное время.
Стрелки на циферблате стоят перпендикулярно,
Не дожидаясь звонка к поднятию занавеса.
Драма закончилась.

. . . . . .

Теперь — последний откровенный рассказ. То, что я услыхал, было на самом деле стуком двери ее комнаты. Я не мог услышать стука входной двери. Она была забита с самого начала. Я потратил немало сил, чтобы она была забита покрепче. Значит, уйти она не могла. Выход на черный ход я закрыл на засов, так что она теперь навсегда заперта в доме. И разделяет нас только эта проклятая блузка и юбка. Причем эффект одежды моментально исчезнет, стоит мне выключить свет. Если ее не будет видно — это равносильно наготе. Невыносимо, когда она одетая смотрит на меня. А в темноте она будет все равно что слепая. Она снова станет нежной. А я буду полностью освобожден от необходимости ломать голову над планом, к которому у меня не лежит душа,— как ослепить ее.

Вместо того чтобы вылезать из ящика, я лучше весь мир запру в него. Как раз сейчас мир должен закрыть глаза. И он станет таким, каким я представляю его себе. В этом доме убрано все, рождающее тень и обрисовывающее формы начиная с карманного фонаря, спичек и свечей и кончая зажигалками.

Немного подождав, я выключил свет. Не демонстративно, но в то же время и не особенно таясь, я вошел в ее комнату. Разумеется, обнаженный, сияя ящик. Представляя себе маленькую темную комнату, я растерялся от той невообразимой перемены, которая произошла с ней. Увиденное настолько отличалось от того, что я предполагал, что я не так испугался, как пришел в замешательство. Пространство, которое всегда было комнатой, превратилось в переулок с задней стороны магазинов, выстроившихся у какого-то вокзала. Через дорогу напротив магазинов стояло здание конторы по продаже недвижимости и одновременно частной камеры хранения ручного багажа. Это был узкий переулок, по которому с трудом мог пройти один человек, и даже тот, кто плохо ориентируется на местности, судя по ландшафту и расположению переулка, мог сразу определить, что он на самом деле — тупик, упирающийся в станционные здания. Если не нужно помочиться, вряд ли кто-нибудь забредет сюда.

Мотки резинового шланга... печка, переделанная из металлической бочки... сваленные кучей ящики из гофрированного картона... старый автомобиль и рядом пять горшков с засохшими карликовыми деревьями загораживали проход. С какой целью она пошла именно сюда? Если у нее была цель найти ящик из гофрированного картона, то куда она могла деться отсюда?

Разгребая хлам и продвигаясь вперед, я наткнулся на узкую бетонную лестницу, преграждавшую мне путь. Не крутая к всего пять ступенек. Спустившись по ней, я не поверил своим глазам — лестница кончалась огромной бетонной площадкой. С первого взгляда я определил, что это начали строить виадук, но работа была посредине прервана, и виадук так и остался недостроенным.

Я ступил на площадку. Неожиданно усилился ветер и донес до меня шум ночных работ на железной дороге. Видимо, в облаках отражалась неоновая реклама — небо было залито багрянцем. Еще шаг вперед, и вдруг передо мной пустота и метрах в семи-восьми железнодорожная линия. Она напоминала подъемный кран, зажатый между бетонными стенами, по которым лились слезы, похожие на птичий помет, свисающий с каркаса недостроенного здания.

Я должен найти ее. Но отсюда я не могу и шага ступить вперед. Видимо, и это в конце концов часть все того же ограниченного пространства. И все-таки куда же она исчезла? Я с опаской глянул вниз, но в темноте ничего не увидел. А что, если сделать еще один шаг? Любопытно. Наверное, там то же самое. Все то же, что происходит в пределах этого дома.

Да, чтобы не забыть, еще одно важное добавление. Самое главное при подготовке ящика — оставить в нем достаточно пустого места для своих записей. Хотя нет, пустого места всегда будет достаточно. Как усердно ни делай записи, заполнить

пустое место целиком все равно не удастся. Меня всегда удивляет, что некоторые записи значат столько же, сколько пустое место. Во всяком случае, необходимое пространство для имени всегда останется. Но если ты не хочешь верить, не верь, мне все равно.

Ящик, по виду простой, обычный куб, на самом деле, если посмотреть на него изнутри, представляет собой запутанный лабиринт с замысловато петляющими дорожками. И сколько ни мечись в ящике, он — еще один слой кожи, покрывший твое тело,— изобретает все новые и новые дорожки в своем лабиринте, в которых окончательно запутываешься.

Несомненно, где-то в этом лабиринте исчезла и она. Не убежала, нет, просто она не в силах найти то место, где сейчас живу я. Теперь я могу сказать это с полной уверенностью. Я нисколько не раскаиваюсь. Когда путеводных нитей много, то пусть существует столько правд, сколько путеводных нитей.

Слышится сирена «скорой помощи».

Литературное наследие

Вьетнамская поэзия X-XIV веков

Перевод с вьетнамского (ханвана) Л. ЭЙДЛИНА

Четыре столетия в жизни вьетнамской поэзии. Пора расцвета ее и неповторимого своеобразия. Из десятков прославленных имен выбраны тринадцать. Из сотен стихотворений отобраны двадцать четыре Составитель ограничил себя четверостишиями. Труд поистине тяжелый и сложный. Но — мне хочется сразу подчеркнуть это — при столь строгом творческом самоограничении составителю удалось открыть для читателя наиболее характерные и яркие стороны нашей поэзии на ханване.

Авторы этих стихов принадлежали к разным слоям общества: государи, полководцы, вельможи. чиновники, ученые-литераторы, буддийские монахи. В их творчестве отразился богатый эмоциональный мир вьетнамца. Любовь к родине, решимость защищать ее от врагов, трудиться и созидать на своей земле; любовь к природе, восхищение красотой полей и садов, земли и неба, гор и рек; обыденная, повседневная жизнь крестьян, буддийских монахов, ученых-литераторов; здесь и тоска по родному краю посла, уехавшего в чужедальние страны, и боль и тревога отважных мужей в суровую годину испытаний, выпавших на долю отчизны. Переводчик заставляет звучать самые сокровенные и волнующие струны нашей лирической поэзии.

Представить читателю зарубежную поэзию публикацией, подобной той, какую мы видим здесь, дело далеко не легкое. Это требует от составителя широты кругозора, основательности и глубины как в научном, так и в чисто творческом плане. Лишь строгость анализа, зрелость мысли, ясность позиции, точность отбора и твердость писательской руки могут принести успех такой работе и удовлетворить запросы читателя.

Написанная к публикации стихов статья — итог серьезного научного исследования. Автору удалось показать выдающиеся достоинства создававшейся на ханване вьетнамской поэзии эпохи Ли — Чан. Это, прежде всего, истинно национальный ее характер, проявившийся в особенных созвучиях ханвана, ставшего под кистью вьетнамца средством выражения его собственных идей, помыслов и чувств. Фонетика ханвана, его звуковой строй полностью вьетнамизировались, чтобы соответствовать слуху вьетнамца. Таково одно из важнейших положений статьи. Однако есть тут и другая сторона, заслуживающая, пожалуй, еще большего внимания,— система художественных образов, созданная в те давние времена вьетнамскими учеными-литераторами в их стихах на ханване. Именно здесь, в творческом переосмыслении поэтических средств чужого письменного языка для литературного воплощения своей, особой жизненной реальности, и кроется своеобразие таланта наших тогдашних поэтов. В отобранных и переведенных на русский язык стихах наделенный вкусом читатель легко разглядит прекрасные, неповторимые черты духовной и поэтической культуры вьетнамского общества поры средневековья.

Что еще сказать? Я думаю, что каждый читатель сам, в меру своего понимания, своей увлеченности поэзией, оценит, а может быть, и полюбит эти стихи. Мне же остается высказать профессору Эйдлину свою признательность за его труд.

Для вьетнамских писателей и ученых-литературоведов Л. Эйдлин — давний и сердечный друг. Научные труды его, посвященные китайской литературе, в частности произведениям времени Вэй — Цзинь (220—420), привлекли к себе самый благожелательный и пристальный интерес наших вьетнамских китаеведов. В последние годы Л. Эйдлин расширил круг своих исследований, обратившись к вьетнамской поэзии на ханване.

Я хотел бы сказать несколько слов о человеческом, эмоциональном содержании нашей дружбы. Л. Эйдлин стремится понять характер, духовный склад героической нации, нашедший свое отражение в ее литературной традиции. Он побывал во Вьетнаме, встречался там с друзьями и коллегами — литературоведами, историками, филологами, с нашими писателями, много времени и труда отдал изучению написанных на ханване памятников вьетнамской литературы в хранилище древних книг и рукописей ханойской Библиотеки общественных наук. В те годы, когда американские захватчики сеяли разрушение и смерть в обеих частях нашей страны, работа эта отнюдь не была простым, необременительным делом.

Через несколько месяцев после недавнего пребывания Л. Эйдлина во Вьетнаме, в нынешнюю нашу встречу в Москве, я ознакомился с рукописью только что завершенной им работы. Замыслы, которые он вынашивал все эти годы, осуществляются. Без сомнения, составленная и переведенная им антология явится существенным вкладом в приобщение массового советского читателя к литературным сокровищам вьетнамского народа, запечатленным в классической поэзии, написанной на ханване.

Профессор ДАНГ ТХАЙ МАЙ

ВАН ХАНЬ

Наставление ученику

Человеческий век как молнии блеск:
вот есть, вот уже и нет.

Десять тысяч деревьев цветут весной,
а осенью вянут вновь.

И расцвет, и упадок пускай идут —
не бойся их череды:

И расцвет, и упадок — только роса,
что на стебельках травы.

ЛИ ТХЫОНГ КИЕТ

Горы и реки Южной Страны

В горах ли, на реках Южной Страны —
владыки Юга престол,

О чем непреложные говорят
слова Небесных Письмен.

Зачем же, насильники злые, вы
пришли наш Юг захватить?

Увидите, как вы будете все
с лица земли сметены!

ЗЫОНГ КХОНГ ЛО

О сокровенном

Я гаданием выбрал «змею с драконом» —
место, где можно жить.

В необузданных чувствах с утра до ночи
радость сполна познал.

А бывает и так, что я поднимаюсь
к высям окрестных гор

И мой долгий крик с одинокой вершины
небо бросает в дрожь.

Досуг рыбака

Синей реки десять тысяч ли
и небес десять тысяч ли.

В тутовых рощах дома крестьян
и над всеми домами дым.

Старый рыбак безмятежно спит,
не окликнет его никто...

После полудня проснулся он —
его лодка снегом полна.

ДАЙ СА

Каменный конь

Этот каменный конь —
страшен лютый его оскал —

Пожирает листву,
день и ночь без устали ржет.

По большому пути
непрерывно тянется люд.

Лишь на этом коне
человек один недвижим.

МИНЬ ЧИ

Ищем отзвука

В соснах ветер немолчный,
светел облик луны в воде.

Здесь отсутствие тени,
да и вещи самой здесь нет.

Так и тело людское
неотлично от тех других:

Мы в пустотных пустотах
ищем отзвука в лад себе.

ЧАН КУАНГ КХАЙ

С государем возвращаемся в столицу

Захватили их копья
в Тионгзыонге мы над водою.

Северян мы пленили
у Хамты на речной заставе.

Для великого мира
отдадим же все свои силы,

Чтоб остались навечно
эти реки и эти горы!

ЧАН НЯН ТОНГ

На озере Донгтхиен

Такая природа
на озере Донгтхиен,

Что травы с цветами
не красят собой весну.

Всевышний владыка
унылый край пожалел —

В безоблачном небе
вдруг колокол там звучит.

Луна

Свет лампы при полуоткрытом окне;
и тесно в постели от книг.

И капли росы на осеннем дворе;
и воздух ночной невесом.

От сна пробудился, а стука валька
не слышно вокруг в тишине:

Еще над цветами деревьев мокте
начало восхода луны.

НГУЕН ЧУНГ НГАН

С посольством в Китай переправляюсь через реку Ло

На быстром коне, со знаком посольским
покинул столичный город.

Когда подскакал к одинокой беседке,
еще не садилось солнце.

Прощальная чарка вина с друзьями
вселила чувство разлуки:

Уже за рекою восточный берег —
та даль, что у края неба!

Вершина Возвращающихся Гусей

Роса на бамбуке, над соснами дым
среди лазоревых скал.

И сверху, и снизу до самых высот
клубится прозрачный пар.

Вершина горы повернула назад
осенний полет гусей.

Так с кем же теперь передам я письмо
отсюда на юг в Линьнам?

Ночью причалил в Цзиньлине

В утлом своем челне человек,
в глубокой реке луна.

Дунтинская осень, а с ней подъем,
который всё охватил.

Вот почему для души во сне
ни волн, ни тумана нет,

И ветер восточный на эту ночь
ее проводил домой.

Думаю о Цзя И

И ушел он в наставники к вану Чанша,
опальным чиновником став.

В им написанном «Плане покоя в стране»
мы видим мудрость и честь.

Но не надо вельможу винить, что его
за молодость невзлюбил.

Потому что само дарованье уже
несчастье несет с собой.

К случаю

Меж деревьев тропинку
завалило красной листвой.

На разрушенных стенах
нарастает зеленый мох.

За делами на службе
не сидят чиновники тут.

Постучаться в ворота
иногда приходит монах.

Храм в пустынном месте весенним днем

В недвижной дымке душистые травы,
их зелень густа, густа.

Обитель монаха скрыта от взгляда
на той стороне ручья.

Так занят монах, что не замечает,
когда по срокам весна,

А двор его полон листьев опавших,
в нем крики иволг с утра.

Домой

Осыпаются листья старого тута,
шелкопряды уже исчезли.

И душисто цветенье раннего риса,
и жиреть начинают крабы.

Говорят, что когда вы в родимом доме,
хороша в нем даже и бедность,

И хотя очень радостна жизнь в Цзяннани,
мне скорей бы домой вернуться!

ЧАН НГУЕН ДАН

Не засну

В управлении иней осенний застыл,
медлен ход водяных часов.

Хризантемы и сосны родной страны
где-то там на краю небес.

У меня же все время только одни
беспокоящие дела.

И болезнь отпустила, а хуже мне,
чем когда в болезни лежал.

ЧАН ФУ

Смотрю вверх на пагоду Лиеуниен в Донгшоне

У древних деревьев в тени ветвей
на час привязал я лодку.

Монашеский домик пустынно-тих
вверху в головах потока.

На будущий год в этот самый день,
кто скажет, будем ли живы.

Мне радость пока на гору взойти
проведать старого друга.

ЛЕ КАНЬ ТУАН

Сочинил на станции Монгли

Короткие весла
на чистый песок положили.

Пред нами селенье,
и клонится солнце к закату.

Как будто и нет их,
и все-таки будто пред нами

Сквозь дым очертанья
двух-трех деревенских строений.

В первый день нового года

В гостинице прежней
живет на чужбине гость,

И вслед прошлогодней
приходит опять весна.

Домой воротиться
когда же наступит день?

Состарясь, иссохли
деревья в родном саду!

В день нового года на речной станции

Расцветая, природа
день нового года встречает.

Всё в пути и без дома
мне жаль это бедное тело...

Но печали скитальца
мгновенно куда-то уносит,

Только старые очи
завидят весеннюю юность.

НГУЕН ФИ КХАНЬ

Почтенному Фáму из Донгхиеу

Небо с землею в жизни людей
лишь постоялый двор.

Как это можно покинуть мир,
уединясь от всех!

В нашей с тобою встрече сейчас
несколько чар вина

Много сильнее, чем в день иной
сотня писем ко мне.

Пишу на храме Тиензу ~храме Прогулок Бессмертных

Тхиендык, Доблесть Неба — гора и река, —
древний город далеких царей.

Это имя прекрасно и дивна земля —
малый остров бессмертных Фанху.

В человеческом мире какие места
не имеют следов старины?

Нет нужды нам у духов святых проверять
достоверность событий людских.

ТА ТХИЕН ХУАН

К случаю

Бледный рассвет — и с грушевой палкой
в сад Тхоайвьен я вошел.

В этом саду и цветы и травы
снова как встарь хороши.

Мне и поныне все же милее
персик мой в раннем цвету:

С ним каждый год, лишь весна приходит,
я молодым становлюсь.

От переводчика

Вьетнамцы — народ древней культуры. Однако дошедшая до нас вьетнамская литература существует лишь с X века. Она начинается с развитой поэзии, начинается так, словно до нее были века длительной истории, скрывающей пока от нас свои достижения.

В X веке Вьетнам обрел независимость. Вьетнамское феодальное государство устанавливалось и крепло на протяжении четырех столетий, которые принято называть временем Ли (1010—1225) — Чан (1225—1400), включая сюда и X век господства трех предшествующих династий.

Литература Ли — Чан, как мы будем ее именовать вслед за нынешними вьетнамскими исследователями, имеет свои внешние и внутренние особенности, дающие ей право на определенное место в периодизации истории вьетнамской литературы. Это литература преимущественно на ханване, то есть иероглифическая: национальная письменность ном появилась, по-видимому, не ранее XIII столетия. Заметим, что ханван не угас ни после нома, ни даже после внедреиной в XVII веке латиницы — на ханване написаны, например, знаменитые стихи Хо Ши Мина.

Что же такое вьетнамский ханввн (или японский камбун, или корейский ханмун)? Механическое ли это заимствование или глубоко национальное явление? Ответ на этот вопрос может быть найден лишь в жизни и в литературе дальневосточных народов. Китайская письменность — сама по себе удивительное творение народа — стала общей и для Вьетнама, Японии, Кореи, которые не просто пользовались ею, но и приняли в дальнейшем ее существовании участие деятельное и созидательное.

Общей стала и литература, неотделимая от этой письменности, которую литература же и принесла в упомянутые страны. Общей в том смысле, что древние китайские литервтурные памятники послужили основанием для дальневосточной культуры, как ламятники Греции и Рима — для культуры европейских стран, средневековая же иероглифическая литература могла найти и безусловно находила свое обращение в любой из страи, общавшихся между собой и пользовавшихся иероглифической письменностью. И хотя Вьетнам расположеи в Юго-Восточной Азии, он в историческом плане рассматривается как принадлежащий к дальневосточному культурному региону.

Иногда иероглифическую литературу сравнивают со среднавековой латынью в Европе. Такое сравнение напрашивается, но до конца ли оно правомерно? Латынь все-таки была неродным, другим языком, лишь отдаленно напоминающим язык отечественный. Иероглифика же имела ту особенность, что, начертаниая в поэзии для своего народа, читалась ли она про себя или вслух, но всегда по-вьетнамски, по-японски, по-корейскн (как читал написанное и сам поэт), то есть на родном языке и, значит, никогда не была чужеродным телом, е становилась прочным элементом с в о е й культуры и так и воспринималась.

Нет необходимости искать внешние (грамматические и иные) различия между поэзией на ханване и китайской поэзией. Скажем заранее, что их очень мало и не в них дело. Прочитанная по-вьетнамски, поэзия на ханване отличается от вьетнамской поэзии на разговорном языке, как и письменный язык вэньянь, на котором написаны старые китайские стихи, весьма отличен от литературного китайского языка байхуа. Вывод здесь тот, что полученную путем поисков и находок и доставшуюся нашим современникам вьетнамскую поэзию на ханване, если мы хотим исследовать и доказать ее несомненную самобытность, поэзию эту следует изучать, наблюдая выражение ею особенностей и черт народной жизни своего времени.

Уже из всего сказанного должно быть ясно, что представленные в журнале образцы вьетнамской поэзии X—XIV веков — здесь выбраны для первого знакомства четверостишия — написаны образованными людьми тех времен, людьми, владевшими нелегким письменным словом и желавшими посредством слова передать обществу волновавшие их мысли и чувства. Кто мог быть этой образованной частью вьетнамского общества, задумывающейся над задачами его и тревогами? И почему оставлено не так уж много литературных произведений, свидетельствующих вьетнамскую жизнь X—XIV веков?

Длительная история Вьетнама, в непрестанных войнах героически отстаивавшего свою независимость, не способствовала сохранению культурных ценностей. Они погибали, они рассеивались, а что сохранено, то осталось большею частью в рукописях, которые не все еще найдены. Вот почему теперь вьетнамский народ тщательно ищет и бережно собирает разрозненное свое культурное богатство. Еще придет время, когда можно будет полностью оценить по справедливости все национальное достояние вьетнамской культуры. Но и то, что перед нами сейчас, способно дать представление о жизни и борьбе многих веков, о душевной тонкости и высокой интеллигентности выразителей народного сознания, которые явились авторами дошедших до нас памятников поэзии.

На примере тринадцати вьетнамских поэтов мы можем увидеть «социальный состав» литературной части общества X—XIV столетий. Это буддийские монахи, которые по происхождению могли принадлежать и к простонародью, и к привилегированным слоям — Ван Хань (ум. в 1018 г.), Зыонг Кхонг Ло (ум. в 1119 г.), Дай Са (1119—1180), Минь Чи (ум. в 1196 г.). Это полководцы — Ли Тхыонг Киет (1019—1105), Чан Куанг Кхай (1241—1294). Это сановники, начиная от самых высоких и до вершителей судеб в уездах — Нгуен Чунг Нган (1289—1370), Чан Нгуен Дан (1320—1390), Ле Кань Туан (ум. в 1415 г.), Нгуен Фи Кхань (1355—1428), Та Тхиен Хуан (XIV — нач. XV в.). Это, наконец, государи — Чан Нян Тонг (1258—1308), Чан Фу (1322—1395).

Монахи были первыми поэтами страны. В X веке уже главенствовала буддийская школа тхиен (китайская — чань, японская — дзэн). Монахи были советниками государей, а государи и их наследники становились монахами. Стихи монахов служили буддийской проповедью и наставлением, они учили бесстрастию в этом иллюзорном мире, где перед человеком неуловимый звук ветра в деревьях, бестелесное отображение луны в воде; в иллюзорном мире с его «пустотными пустотами», в которых человек ищет отзвука, с мгновенностью пребывания человека в нем. Они также призывали к даосскому уединению в месте, «где можно жить», выбрав гаданьем по рельефу местности «змею с драконом», то есть нечто благовещее, выделяющееся из всей ординарности окружающего. Но сама поэзия, вся образная система ее влекли монаха к любованию природой и художественному осмыслению наблюдаемого им в жизни, и тогда появлялись «светские» произведения и о каменном коне, контрастно и зловеще недвижном на фоне обтекающей его толпы, и о наслаждающемся свободой рыбаке, очнувшемся от сна тогда, когда снег уже заполнил его лодку. Снег. Откуда он во Вьетнаме? Может быть, Зыонг Кхонг Ло не удержался от соблазна назвать так пронизывающе-холодный туман, а может быть, это воспоминание об увиденном им на чужбине или в живописи; да и вдобавок могло быть навеяно, по всей вероятности известными ему, стихотворениями китайского поэта Лю Цзун-юаня (773—819) «Старый рыбак» и «Снег над рекой». Так или иначе, но сама картина рыбачьего досуга поэтична и жизненна для вьетнамской обыденности.

Полководец Ли Тхыонг Киет, современник монаха Зыонг Кхонг Ло, водил войска на битвы со вторгшимися в страну полками феодального сунского Китая. Написанное им в 1076 году стихотворение, полное веры в вечное существование своего народа, остается актуальным для любых времен, как и стихотворение Чан Куанг Кхая о победе над монгольской армией, пришедшей из находившегося под владычеством монголов юаньского Китая, в 1285 году в Тионгзыонге и у Хамты. В последнем — воля народа, жаждавшего «великого мира», и наказ народу о сохранении его. Мы видим, что и в стихах монахов, и в стихах полководцев поэзия выступила совсем не сторонней наблюдательницей жизни, что стихи эти были на службе жизненной необходимости великого времени установления и защиты вьетнамской государственности.

В поэзии на ханване явственны черты средневековой дальневосточной литературы, определяемые устойчивым характером общества с его (в разных странах в разной мере) прочным переплетением буддизма, даосизма и конфуцианства наряду с внутренней борьбой между ними. Прекрасная природа Вьетнама и восприятие ее человеком, весна и осень, труд и сон, родина и чужбина, дом и храм и, конечно, канцелярия, в которой конфуцианский чиновник проводит день. Вот, грубо говоря, темы поэзии, за которыми проглядывается простая всеобщая жизнь, протянувшаяся на столетия и после смерти поэта,— я был в деревне Никхэ, на родине Нгуен Чая (1380—1442), и видел там обрабатывающих землю его потомков от четырнадцатого до двадцатого поколения. Поэты — монахи и чиновники — не были резко отделены от крестьянина, хотя и стояли над ним. Они замечали и горести притесняемого крестьянина, о которых порою говорили в своих стихах.

Средневековый поэт еще не прибегал к услугам лирического героя: он откровенно автобиографичен. Нгуен Чунг Нган пишет стихи о том, как во главе посольства в

Китай переправляется он через реку Ло (часть Красной реки у нынешнего Ханоя), пишет о начавшейся сразу же тоске по дому, а затем уже, проезжая мимо горы Хэншань, одной из пяти священных гор Китая, повторяет легенду о вершине Возвращающихся Гусей, которая задерживает диких гусей — разносчиков писем, и не с кем ему передать весточку в Линьнам, «на юг от гор», во Вьетнам. Это он, Нгуен Чунг Нган, сидит ночью в Цзиньлине, он страстно хочет покинуть Цзяннань (плодородную, богатую местность к югу от Янцзы, где находятся китайские провинции Цзянсу, Аньхой и Цзянси), для того чтобы вернуться в родимый дом, в котором, как говорят в народе — этого не мог придумать поэт,— хороша даже и бедность.

Китай по-разному присутствует в поэзии этих веков. Он рядом в жизни. Нгуен Чунг Нган в начале XIV века отправлен туда послом и тоскует по родине как знатный гость, Ле Кань Туан, а до него в 1407 году Нгуен Фи Кхань увезены были в минский Китай насильно, и оба кончили там дни свои. Китай — и источник литературных реминисценций. Его древность превратилась в общедальневосточную традицию, и когда Нгуен Чунг Нган хочет поделиться с читателем появившейся у него в связи с разными неведомыми нам житейскими обстоятельствами мыслью о том, что человек, одаренный выдающимися талантами, непременно несчастен, он использует для этого историю жизни китайского поэта и политика Цзя И (201—168 до н. э.), оклеветанного, подвергшегося опале при ханьском Вэнь-ди и умершего тридцати трех лет от роду. Нгуен Фи Кхань, говоря о храме Тиензу в нынешней провинции Хабак, откуда происходила династия Ли, сравнивает эти места с островом бессмертных Фанху из книги «Ле-цзы».

Даже крайне небольшая часть стихотворного наследия Вьетнама X—XIV веков, с которой мы знакомим советского читателя, дает нам возможность убедиться в незастойности мысли человека того времени, иной раз в свободном его взгляде на жизнь. Иначе при том почитании малого и большого отшельничества, какое мы знаем на Дальнем Востоке, посмел ли бы воскликнуть Нгуен Фи Кхань: «Как это можно покинуть мир, уединясь от всех!» Нгуен Фи Кхань был отцом великого поэта Нгуен Чая, с творчеством которого в XV веке начинается новый период истории вьетнамской литературы, следующий за временем Ли — Чан.

■

Публикуемые в журнале вьетнамские четверостишия отобраны мною из подготовленного Вьетнамским институтом литературы в Ханое сборника «Поэзия и проза Ли — Чан». Впервые в самом Вьетнаме предстает перед его гражданами собственное их достояние с такою полнотой, и это заслуга вьетнамских ученых-литературоведов, много сил отдающих собиранию сохранившихся произведений древности, средневековья и нового времени. Вслед за «Поэзией и прозой Ли — Чан» — собрание это по мере нахождения новых материалов будет, конечно, пополняться и пополняться — пойдут и другие сборники: книгохранилища и частные коллекции единого теперь уже Вьетнама должны быть широко раскрыты для мира, да и для самого вьетнамского народа, еще не окончательно познавшего свое многовековое культурное наследие.

Мне радостно вспомнить мое знакомство с вьетнамской литературой в Ханое и поблагодарить вьетнамских ученых Данг Тхай Мая, Хуанг Чунг Тхонга, До Ван Хи, Чан Ле Санга, Фам Ту Тяо, Хоанг Ле, Чан Тхи Банг Тхань, Нгуен Хюэ Ти, Ву Дык Фука, Нгуен Ван Хоана, делившихся со мною и знаниями своими, и душевным теплом, поблагодарить Вьетнамский комитет по культурным связям с заграницей во главе с Ву Куок Уи, поблагодарить вьетнамских писателей, поблагодарить неожиданных моих друзей — врачей и сестер больницы вьетнамо-советской дружбы. Так случилось, что в автомобильной поездке на Юг машина, в которой я ехал, под городом Хюэ несколько раз перевернулась при падении в канал, и дальнейшая моя деятельность проходила в больнице, сначала в Хюэ, а затем в Ханое, где навещали меня все, а Фам Ту Тяо и Чан Тхи Банг Тхань приносили для меня из института литературы недосмотренные мною материалы.

Перед моими глазами была земля, которая породила поэтов, на которой воспетые ими росли цветы и деревья, стояли дома и храмы, высились горы, протекали реки, ходили люди, внешним обликом своим, может быть, не отличавшиеся от тех, с кем я теперь жил рядом. Это был Вьетнам, и стоило лишь немного напрячься, чтобы представить себе тот, за шестьсот и за тысячу лет до нас, когда наставлял своих учеников буддийский монах Ван Хань, и пророчил близкий конец захватчикам Ли Тхыонг Киет, и навещал друга Чан Фу, и с победой возвращался сюда, в столицу, Чан Куанг Кхай. Все для того, чтобы процветал мирный Вьетнам, чтоб спокойно на полях трудился его народ. Стихи об этом. Я, глядя на мой Вьетнам, перевел их как мог и хотел бы, чтобы читатель сблизился с ними почти так, как сблизился с ними переводчик, преимущество которого в непосредственном общении с вьетнамским оригиналом.

■

Критика

Ю. БАРАБАШ,
Ю. СУРОВЦЕВ

КРИТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

На международном конгрессе МАЛК

Весной этого года в Лиссабоне проходил конгресс Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК), в работе которого принимала участие и советская делегация в составе А. А. Михайлова (глава делегации, вице-президент ассоциации), Г. Л. Асатиани, Ю. Я. Барабаша, Ю. И. Суровцева. Центральная тема конгресса была сформулирована следующим образом: «Литературная критика, гуманизм и гуманитарные науки».

По просьбе редакции Ю. Я. Барабаш и Ю. И. Суровцев обмениваются впечатлениями о работе конгресса.

Ю. И. Суровцев. «Литературная критика, гуманизм и гуманитарные науки». Тема этого конгресса МАЛК звучит, может быть, несколько академично, тем не менее она в известной степени отражает реальности современной литературной жизни — как в капиталистических странах, так и в странах социалистических. Ведь не случайно слово «гуманизм» столь часто сегодня встречается и в художественной литературе, и в научных трудах, и в политической публицистике. Известно огромное внимание, которое уделено было проблематике гуманизма в самых разных ее плоскостях на XXIV и XXV съездах КПСС.

Мы, советские критики, участвовали в заседаниях конгресса МАЛК, все время соотнося его тематику с той обновленной и по-новому сложной политической жизнью, которой ныне живет Португалия. Вопросы литературы и литературной критики, немыслимые вне проблем гуманизма, вольно и невольно накладывались в нашем сознании на общественно-политический «фон» страны. Нам было интересно не только участвовать в работе конгресса, слушать коллег, выступать самим; интересна была обстановка в Португалии, которую мы, хотя и были там недолго, смогли все-таки ощутить — в ее идейно-политической напряженности и некоторых деталях лиссабонского быта. Шла предвыборная борьба, преобразившая даже внешний облик Лиссабона. Разноцветные плакаты, демонстрации, митинги и политические дискуссии — все это можно было увидеть на улицах португальской столицы.

Ю. Я. Барабаш. Действительно, предвыборная кампания усилила накал политических страстей в стране. И вот в момент,

когда Португалия стояла перед выбором, когда речь шла о путях ее дальнейшего политического и социального развития,— в этот самый момент в одном из уютных, зеленых уголков Лиссабона, в тихом здании фонда Гульбенкяна собрались критики и литературоведы разных стран, чтобы обсудить свои, казалось бы достаточно узкие, сугубо профессиональные проблемы.

Не было ли здесь контраста, диссонанса? Отнюдь нет. Дискуссии о литературной критике оказались в чем-то созвучными страстям, кипевшим на улицах португальской столицы, созвучными общей обстановке в стране, ее политической активности и социальному динамизму. Я думаю, все дело как раз в проблеме гуманизма, которая закономерно и своевременно была вынесена в повестку дня лиссабонского конгресса.

Ю. И. Суровцев. В этом, собственно, и кроется главная причина позитивного ответа на вопрос, насколько плодотворной оказалась формулировка темы конгресса. Ну, а кроме того... Кроме того, формулировка темы подсказывается современным развитием собственно литературной критики, литературоведческой науки, хотя для нас тут было над чем задуматься. В самом деле: «Литературная критика, гуманизм и гуманитарные науки» — ведь само выделение литературной критики из гуманитарных наук может показаться спорным, не правда ли? И оно кажется таким, если почитать некоторые работы иных наших и многих зарубежных ученых.

Но, с моей точки зрения, в подобном отделении критики от науки есть свой резон. Конечно, литературная критика базируется на науке, в первую очередь на литературоведении, на эстетике, на общем искусствознании, но задачи критики комплексны, они не сводятся лишь к внедрению в сознание читающих сугубо научных представлений о литературе. Природа критики публицистична, ее гуманистическая направленность вытекает из самого публицистического существа ее задач и ее предмета. Ведь критика, имеющая дело с художественной литературой, должна обладать хотя бы некоторыми особенностями, которыми обладает литература, в первую очередь литература прогрессивная. Образность? Да нет, образность в критике — аргумент дополнительный. А вот утверждение идеалов гуманизма — это роднит критику и литературу, это их общая целенаправленность.

Что же может мешать критике, особенно на Западе, достигать этой цели?

Мне кажется, во-первых, само социально-объективное ее состояние в мире; критика в позднекапиталистических странах очень часто теряет характер общественной публицистики, перестает быть той деятельностью особого рода, что объединяет в себе как черты науки о человеке и человечности, так и собственно литературно-публицистического творчества.

Очень часто критика в условиях государственно-монополистического господства над средствами массовых коммуникаций превращается и рекламу, побудительный мотив которой вовсе не лежит в области собственно эстетического. Отсюда перед критикой встает угроза дегуманизации, и западная критика, по многим признаниям и признакам, уже в какой-то степени дегуманизируется. Нет ничего более губительного для искусства и для искусства критики, чем реклама, исходящая из чисто коммерческих интересов.

О подчинении критики коммерческим интересам, к сожалению, не так много говорилось на конгрессе МАЛК, тем не менее озабоченность этим явлением в иных выступлениях прослушивалась.

Ю. Я. Барабаш. Проблема, обсуждавшаяся на конгрессе, приобретает особую актуальность в связи с очевидным ростом влияния и авторитета современной критики, усилением ее воздействия на литературный процесс.

Этот факт признают сегодня, кажется, все, но вот интерпретируется он по-разному. Порою дает себя знать тенденция к абсолютизации роли критики, которая якобы чуть ли не оттесняет самое литературу, как, впрочем, и другие формы духовной жизни общества, на второй план.

Я полагаю, что при этом больше всего теряет сама критика. Превращаясь в своего рода «критику для критики», она с головой уходит в собственные проблемы. Парадокс заключается в том, что рост интереса к критике неожиданным образом оборачивается стремлением к замкнутости. По существу, этой так называемой «глобальной критике» отводится не очень-то завидная роль — играть, подобно герою романа Томаса Манна «Доктор Фаустус», «с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь»...

Вот почему в своих выступлениях на Лиссабонском конгрессе, рассказывая о развитии критики в нашей стране, о заметной ее активизации в последние годы, после известного Постановления ЦК КПСС, мы подчеркивали, что этот процесс коренится не в каких-либо самодовлеющих имманентных факторах, но что он связан с подъемом всей нашей многонациональной литературы, с усилением ее гуманистического пафоса, с повышением роли литературы в жизни нашего общества, в духовном и нравственном воспитании личности.

Именно здесь видим мы точки соприкосновения между проблемой гуманизма и вопросами литературной критики. Именно в этой плоскости призвана литературная критика осуществлять свои гуманистические цели.

Ю. И. Суровцев. У этой проблемы есть еще один аспект... В наших, социалистических, условиях критика есть осознающий свою специфику, свою партийность, свое

незаменимое место общественный институт. На Западе же критика, что ориентируется на сегодняшний литературный материал, критика актуальная и злободневная, еще словно бы и не сформировалась как самостоятельная часть общественной реальности. Критика либо коммерциализируется, либо заключается в академические рамки в университетах и колледжах, находится в русле малотиражных «профессорских штудий». Поэтому меня, первый раз участвовавшего в конгрессе МАЛК, поразил тот факт, что о критике говорилось, как правило, не на материале современной литературы, но на классических примерах. Критику «уводили» в литературоведение. В докладах разбирались «Макбет», «Илиада» — что угодно, но явно недостаточно говорилось о текущей литературе, скажем, о литературе французской. Между тем и чисто теоретические, методологические проблемы «анализа текста» отнюдь не «безразличны» к тому, какое время и каким образом запечатлелось в лежащих перед исследователем текстах.

Поэтому хорошее впечатление производило на участников конгресса стремление членов нашей делегации вводить в свои сообщения свежий, «оперативный» материал советской многонациональной литературы.

К принципиальному разговору о природе самой критики, о ее задачах побуждает и сегодняшнее состояние методологии литературно-критического анализа (и тут, конечно, оказывались уместны обращения к классике). Были здесь довольно интересные выступления. Например, представитель Заира Лоно Маланжи подчеркнул что «в результате развития науки критика получает новые возможности и должна стремиться к обновлению своего видения мира, своих методов и своих концепций».

Я думаю, что интерес к методологии — при всем несходстве методологических позиций участников конгресса,— стремление понять, что такое критика как особый феномен и особый вид деятельности объединяли нас, создавая дружелюбную атмосферу взаимной заинтересованности.

И хотя многие из зарубежных коллег, выступая по данным вопросам, довольно неопределенно очерчивали общие задачи критики (например, бельгиец Марсель Лобе), тем не менее этот интерес к методологической стороне был весьма характерен для конгресса и сделался, пожалуй, ядром его содержания.

Ю. Я. Барабаш. Я бы хотел еще раз обратиться к теме конгресса и выделить ее третий компонент — гуманитарные науки.

Одним из лейтмотивов большинства выступлений была проблема комплексного подхода к литературному явлению, к литературному процессу и в этой связи — к комплексной природе литературной критики. Напомню, что идея комплексного подхода ко всем сторонам жизни общества — его экономике, политике, идеологии — занимает большое место в документах нашей партии, в частности в материалах XXV съезда КПСС, и находит все более широкое применение в практике коммунистического строительства.

Эта идея глубоко современна. Она не просто давно витает в воздухе, сегодня она уже так или иначе завоевывает свои права во всем мире, обретая все более реальные очертания.

С этим обстоятельством вынуждены, между прочим, считаться и западные специалисты, когда они пытаются определить пути дальнейшего общественно-политического, экономического, культурного развития капиталистического общества. Характерно, например, что несколько лет назад в США была даже создана специальная комплексная комиссия по перспективному анализу условий жизни. Или другой факт — книга английского литературоведа Джорджа Стейнера «Экстратерриториальное», которая во многом посвящена проблеме комплексно-типологического подхода к духовной жизни человека, в том числе к искусству. Проблемы литературы, проблемы «языковой революции» рассматриваются здесь в самой тесной связи с развитием различных научных дисциплин, как естественных, так и общественных.

Стейнер подчеркивает, что, на его взгляд, подобный подход будет в ближайшее время все больше превалировать в изучении искусства. Причем он имеет в виду «сотрудничество» не только с такими дисциплинами, как лингвистика, антропология, социология, но даже с биологией.

Правда, пытаясь нащупать связь между научными и художественными структурами, Стейнер выделяет прежде всего тенденции модернистские и постмодернистские. Но это уже вопрос иной — вопрос идейно-эстетической позиции исследователя, его мировоззрения. Я в данном случае на них не останавливаюсь, а хочу лишь подчеркнуть сам факт — тенденцию, которая ясно просматривается сегодня в науке.

Я вижу логику в том, что идея комплексной природы критики была и на конгрессе МАЛК одной из главных. Необходимость такого подхода к литературе на основе интеграции достижений различных научных дисциплин, прежде всего наук о человеке и обществе, становится все более явной.

Ю. И. Суровцев. Вы, Юрий Яковлевич, справедливо подчеркнули это стремление к комплексности, характерное для литературоведов, в том числе и тех, кто стоит на отличных от наших идеологических, идейно-эстетических позициях. Наверное, можно было бы говорить в данном случае и о том, что называют системным подходом, не так ли?

Ю. Я. Барабаш. Несомненно.

Ю. И. Суровцев. Системный подход предполагает учет всех факторов, относящихся к данному вопросу, причем не только в ко-

личественном смысле. Но важно уяснить, как мне кажется, что отличает марксистский методологический подход, марксистскую системность от немарксистского, а нередко и антимарксистского подхода. Известные позитивистские и неопозитивистские идеи насчет «множественности факторов» имеют хождение и до сих пор. Наши оппоненты принципиально плюралистичны, мы же принципиально монистичны, и притом мы тоже, но по-своему настаиваем на системности, на комплексном подходе.

На конгрессе выявилось, например, что структурализм, при всем его внешнем внимании к факторам, лежащим вне понятия «текст» (таким, как «контекст», «среда» и т. д.), практически утверждает субординацию методологических принципов, противоположную той, которую отстаивает советское литературоведение.

Вопрос о том, что является для того или иного исследователя ведущим, первостепенным,— вопрос чрезвычайно существенный. Ответив на него, мы можем ответить и на вопрос, дегуманизируются гуманитарные науки или нет.

С моей точки зрения, структурализм, абсолютизируя понятие «структура», дошел в своем внутреннем развитии до высшей степени выхолощенности, и не случайно, например, Юлия Кристева (Франция) утверждает, что для семиологического литературного анализа сама литература уже не важна. Это доведение мысли до истинного абсурда. Однако такова логика данной системы, структуралистского комплексного подхода. Поэтому, когда мы слышим о комплексном подходе, необходимо прежде всего уяснить, с какой субординационной системой мы имеем дело. Замкнуть все богатство литературы в одном лишь русле «текста» — значит обречь себя на игнорирование жизненного, общественно-исторического и человеческого смысла, во имя которого писатели и пишут свои книги.

Очень интересной показалась мне реакция некоторых участников конгресса на эту, доведенную до абсурда, структуралистскую тенденцию. Молодые португальские исследовательницы нередко критиковали структурализм за элитарную замкнутость его позиции. Например, Мариа Лусиа Лепецки высказывалась против гипертрофии «технологического» анализа даже довольно резко. Близкая нам точка зрения? Пожалуй, но... Но при этом исходным пунктом в ее рассуждениях все-таки оказывалось понятие текста как замкнутой в себе структуры. Получалось, таким образом, что исследовательница порою противоречила сама себе методологически. Весьма характерным было, по-моему, и выступление Аны Хатерли. Исходя из структуралистских представлений о «тексте», она стремилась в то же время дать его марксистскую интерпретацию. Попытка связать марксизм со структурализмом, да еще добавить туда немножко и психоанализа, соединить все это тоже в некий комплекс, однако же мнимый,— такая попытка мстит за себя. Между прочим, от эклектичного стремления следовать противоположным принципам литературоведческая наука тоже дегуманизируется.

Часто в этой связи некоторые критики ставят вопрос о точности. Давайте, мол, будем учитывать множество разных тенденций — марксистскую, структуралистскую, психоаналитическую, феноменологическую и т. д., добавим сюда сведения из психиатрии, математики и кибернетики — и тем самым мы «уточним» нашу литературоведческую науку. Но почему надо исходить из утверждения, что литературоведение не есть точная наука?

Ю. Я. Барабаш. Только критерии точности здесь иные.

Ю. И. Суровцев. Да, критерии точности другие. Но в каком смысле? В том, что не все здесь можно количественно измерить? Тут позволителен важный методологический вопрос — почему только измеренное характеризует точную науку?

Мы исходим из того, что литературоведение, как и всякая гуманитарная наука, опирающаяся на конкретно-исторический подход, на марксистско-ленинскую методологию, не является менее точной дисциплиной, чем, скажем, математика. У них просто разные предметы и цели, потому — разные подходы, а оттого, далее, разные критерии точности и разный инструментарий.

Кстати, выдающиеся математики и физики довольно часто говорили о том, что математические приемы и методы не могут в достаточной мере охватить тот предмет, которым занимаются гуманитарные науки.

Ю. Я. Барабаш. Вот, кстати, что писал Нильс Бор в своей книге «Атомная физика и человеческое познание»: «Причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для систематического анализа. Можно сказать, что литературное, изобразительное и музыкальное искусства образуют последовательность способов выражения, и в этой последовательности все более полный отказ от точных определений, характерных для научных сообщений, предоставляет больше свободы игре фантазии».

Обратите внимание: не вообще точных определений, а от таких точных определений, которые характерны «для научных сообщений». Как видим, великие представители точных дисциплин понимают куда глубже, чем дилетанты, желающие показаться ультрасовременными, что искусство и литература имеют свои методы познания, свои критерии точности, свой взгляд на жизнь, на человека.

Однако вернемся к конгрессу.

Вопрос о структурализме, о структурали-

стских течениях в критике действительно занимал в дискуссиях важное место. И это не случайно, ведь в идейной и творческой жизни Запада структуралистские тенденции сегодня играют весьма видную роль.

Возможно, они несколько потускнели в последнее время, особенно после «левого взрыва» конца 60-х годов, который показал, что структуры капиталистической действительности не просто жестки, но и довольно стабильны. Недаром в мае 1968 года в одном из французских коллежей на стене появилась надпись: «Структуры не выходят на улицы». Да, на улицу выходят живые люди, а структуры — структуры сами по себе скорее консервативны... Тем не менее хоронить структурализм еще очень и очень рано. Факт остается фактом: в области литературоведения, искусствознания, литературной критики структуралистская школа, так называемая «новая критика» (во Франции — Барт, Кристева, Греймас и другие), по-прежнему пользуется сегодня на Западе большим влиянием.

Во взглядах на структурализм на Лиссабонском конгрессе были представлены две крайние точки зрения.

С одной стороны, ряд представителей традиционной литературной критики и традиционного литературоведения — того самого, которое вы, Юрий Иванович, охарактеризовали как «профессорское» — не без раздражения комментировал концепции и штудии представителей «новой критики». Один из ораторов, например, произнес страстную речь в защиту искусства от «террора новой критики», с грустью вспоминая времена, когда отношения между критикой и писателем были «куртуазными», базировались на взаимопонимании и уважении...

В такой позиции есть нечто импонирующее, ибо «новая критика» в самом деле ведет себя по отношению к литературе... как бы поделикатнее сказать... несколько бесцеремонно, что ли...

И все же я думаю, что праведный гнев не должен мешать нам видеть дальнейшие перспективы развития литературной критики. Добрые старые методы действительно хороши, проверены жизнью, но ведь сама эта жизнь, да и литературный процесс не стоят на месте, выдвигают новые требования. И эти требования заставляют нас думать о развитии методологии нашей науки, о ее обогащении, усовершенствовании.

Другая крайность проявилась в выступлениях ряда молодых участников конгресса, в основном представителей Португалии. В большинстве своем это люди, увлеченные современными структуралистскими методами. Однако наше бурное время, окружающая их революционная действительность берут свое; отсюда — попытки преодолеть свойственную структурализму замкнутость, распахнуть двери перед идеологией, совместить структуралистскую методику с марксизмом — так, как они его, разумеется, понимают... Мне показалось, что здесь не обошлось без влияния некоторых идей французской группы «Тель-кель», впрочем, без свойственных ее представителям крайностей левоэкстремистского, маоистского толка.

Характерным в этом смысле было выступление молодого критика из Португалии Марии Алзиры Сейшо. В качестве введения к своим размышлениям она привела две редакции одного и того же текста, которые обозначила как текст «А» и текст «Б». Текст «А» представляет собой интерпретацию темы конгресса, подготовленную и разработанную португальской секцией МАЛК. В этом документе речь идет о том, что новая структуралистская критика, опираясь на взаимодействие наук, обогащает современную литературу и концентрирует внимание на человеке. Таким образом, как говорится в документе, «происходит открытие языка как первичной реальности». Текст «Б» содержит те же положения, но в интерпретации, которую дали этой теме французские коллеги; он звучит примерно так: «Обогащает ли новая критика современную литературу или же, напротив, вносит элемент дегуманизации?»

Это два любопытных нюанса в трактовке одного и того же тезиса. Сейшо утверждает, что разница между двумя текстами — идеологическая, вызванная различиями в идеологии их интерпретаторов. Текст «Б» якобы выражает идеологию капиталистической демократии, «в которой понятие «гуманизм» определяется господствующим классом, утверждающим, что равенство и свобода могут осуществляться в условиях порабощения и угнетения».

Перед нами довольно типичная попытка «оплодотворить» структурализм марксизмом, идеологией, понимаемыми, разумеется, весьма и весьма односторонне. Влияние «тель-келевских» концепций ощущалось и в ряде других выступлений.

А вот что касается упоминавшегося уже выступления Марии Лусии Лепецки, то в его оценке я не совсем согласен с вами, Юрий Иванович. Думаю, дело обстоит несколько сложнее. Несмотря на спорные формулировки, которые являются своего рода «остаточными явлениями» после тех увлечений, о которых я только что говорил, несмотря на неточности терминологического характера, общий пафос этого выступления мне представляется плодотворным. Нельзя не согласиться с основной мыслью автора, что текст художественного произведения — это всегда явление человеческое, гуманистическое по самой своей природе. Он есть факт «для другого и в другом». Активно утверждая идею взаимосвязи гуманитарных наук и критики (что до меня, то я бы сказал: критики и других гуманитарных наук, ибо все же склонен рассматривать критику в ряду общественных наук, а не отдельно от них и не над ними), Лепецки старалась прежде всего подчеркнуть мысль о целостности художественного произведения, выступая против расчленения его анализом, пусть даже каким угодно современным, каким угодно модным. Выступление

это было направлено против гипертрофии «технологического» анализа, который, как подчеркивала Лепецки, ведет к утрате исторического качества текста, к утрате его значимости. Здесь налицо очевидная попытка — быть может не до конца реализованная — выйти на позиции историзма в истолковании задач литературной критики.

Ю. И. Суровцев. Это есть и у Аны Хатерли. Надеюсь, что эти ученые, которые сегодня исходят все-таки из представления о тексте как замкнутой структуре, постепенно убедятся — они и сейчас уже частично убеждаются — в том, что такой подход не годится, что нужен иной методологический подход.

Ю. Я. Барабаш. И попытаются найти такой подход на путях историзма, что заслуживает поддержки.

Однако были на конгрессе и такие выступления, где структуралистская абсолютизация текста как такового проявлялась в своей самой крайней форме. Один из участников конгресса, Элдер Маседу (Португалия), прямо заявил, что текст — это, по существу, единственный путь к пониманию смысла жизни. Казалось бы, речь идет о связи с жизнью, о постижении ее смысла, а на деле — все тот же замкнутый, имманентный подход к литературе.

Другой выступающий утверждал, что со временем гуманизм станет не только достоянием людей, но возникнет нечто еще более человечное, чем сами люди. Что же это? Оказывается, текст. «И может быть, текст,— полагает оратор,— который есть язык, есть сообщение, станет в конечном счете единственным творением, превосходящим своего творца».

Вот такие методологические гримасы время от времени давали о себе знать на конгрессе.

Ю. И. Суровцев. Вы, Юрий Яковлевич, нашли удачное выражение — остаточные явления. Действительно, на мой взгляд, структуралистская методологическая волна в целом идет на убыль. Сейчас как будто это характерно и для Франции и вообще для стран романских языков (в странах же немецкого языка это влияние никогда и не было, по-моему, столь сильным, как во Франции или в Англии и Америке с их «новой критикой», пользующейся до сих пор популярностью).

Но как бы то ни было, давайте обратимся к остаточным явлениям, судьба которых достаточно интересна и, возможно, имеет и более широкий общий смысл. Когда волна уходит, на берегу всегда что-то остается.

Ю. Я. Барабаш. Иногда это янтарь, а иногда просто мусор...

Ю. И. Суровцев. Не так ли случилось и здесь? Остался мусор, остались и маленькие янтарные камешки.

Нам, критикам-марксистам, которые не просто изучают труды своих противников, чтобы с ними спорить, но и ставят вопрос, что современно, что полезно для литературоведческого анализа, необходимо разобраться в этих остаточных явлениях.

Не случайно в нашей советской критике стали все чаще встречаться термины, выражения, даже ход мысли, характерные для ортодоксального структурализма, да и для нашей «тартуской школы», которую я бы не стал объединять, скажем, с французским структурализмом, но и не стал бы так уж резко и непримиримо от него отделять. Существует мнение, будто у нас есть и якобы нужен нам свой, так сказать, «социалистический структурализм» и что с ним надо обращаться осторожней. Грубым не надо быть ни с кем. Но давайте ясно скажем: «социалистического структурализма» как методологии у нас быть не должно, это означало бы уход в сторону от добытых истин.

А вот отдельные методологические и методические находки — эти маленькие янтарные камешки, которые остаются на берегу,— вполне возможны и в нашей аналитической работе.

В критике все чаще — к месту и не к месту — употребляются такие понятия, как «текст», «контекст», «структура», «уровень». Здесь много модничанья, но — если без него — этот терминологический аппарат, по-моему, кое-что дает для более целостного «проникновения» в художественное произведение, для лучшего понимания самого «механизма» сцепления элементов его художественной формы. Здесь мы имеем дело вовсе не со структурализмом как особой систематизированной методологией, это скорее понимание структурности как принципа организации художественной формы.

Мы говорили о докладе Лепецки. В нем я вижу как раз остаточные явления. Даже психологически. Исследователь уже может обойтись без структуралистских исходных пунктов, но он от них не отказывается, не переосмысляет, а принимает термины ортодоксального структурализма... чтобы на деле их-то и подвергнуть сомнению, не так ли?

Волна ушла или уходит. Теперь необходимо отсеять мусор и выделить янтарные блестки. Я думаю, что молодая, социально обостренная мысль португальских литературоведов и их французских коллег в состоянии осмыслить и «переварить» структуралистские концепции.

Ю. Я. Барабаш. На конгрессе явно ощущалось, что гипертрофия структуралистских методов, гипертрофия замкнутой трактовки текста грозит, по существу, дегуманизацией как литературы, так и литературной критики. Ведь от литературы, таким образом, отсекается ее гуманистический смысл, жизненное содержание.

Надо заметить, что эта тенденция не сегодня появилась на свет, и структурализм возник не на голом месте. У него есть довольно глубокие корни, есть своя традиция. Чтобы не уходить слишком далеко, обратимся лишь к концу XIX — началу XX века. Здесь можно вспомнить, скажем, Генриха Вёльфлина и Оскара Вальцеля, русских символистов (прежде всего Андрея Белого), русскую «формальную школу». Затем через Пражский лингвистический кружок эта нить ведет к неокритицизму и структурализму. Не нужно сверхъестественной проницательности, чтобы увидеть в этих, на первый взгляд, отвлеченных, «кабинетных» концепциях отражение острых противоречий современного общественного сознания, симптом кризиса буржуазной мысли, шарахающейся от крайних форм идеализма, субъективизма к неопозитивистским концепциям, к технократическим иллюзиям.

Последние дорого обходятся литературе и литературной критике, обедняют их, делают плоскими, однообразными, в конечном счете — дегуманизируют.

Что касается нашей позиции, то мы исходим из того, что сам предмет литературной критики — литература, занимающаяся человеком,— определяет изначальную степень ее гуманизма. В этом смысле, думается, у нас есть все основания называть литературную критику наукой о человеке и включать ее, как я уже говорил, в систему гуманитарных наук. Конечно, у нее свои методы, свой подход к человеку, но это тоже наука о человеке.

Ю. И. Суровцев. Я хотел бы сказать теперь еще о второй большой теме, доминировавшей на конгрессе наряду с проблемой художественного анализа. Это тема критики в соотношении ее с собственно художественным творчеством.

Даниэль Жиллес произнес страстную речь, обвинив всех критиков чуть ли не в якобинском терроризме: им, мол, наплевать на писателя, на литературу, критика выражает только сама себя.

Это, конечно, преувеличение, которое собравшихся критиков не напугало, а скорее повеселило. Но в устах писателя это преувеличение понятно. Также понятен был и наблюдавшийся в иных выступлениях крен в сторону «старого, доброго» эссеизма как проявления субъективного отношения критика-импрессиониста к литературе. Но всякий крен в общем-то вряд ли полезен для корабля, хотя как средство испытания может быть оправдан. Критика все-таки не должна забывать, что критик есть критик, а художник есть художник. Между тем маститый испанский литератор Гильермо Диас Плаха, президент испанской секции МАЛК, выразительно разделил аналитическую и синтетическую манеру литературоведческого исследования. И отдал предпочтение второй, объявив синтетическую манеру просто поэзией в критике: «Поэт может написать поэму, сюжетом которой является поэма другого поэта, и мы найдем в его произведении эмоциональную интерпретацию, которая поведет нас к ее эстетической оценке». В пример приводились статьи Виктора Гюго, литературные портреты Сент-Бёва.

Психологически вполне понятно, почему писатель хочет видеть в критике не «террориста», не структурирующего схематика, не учителя, читающего назидание, но тоже литератора, тоже писателя. Прекрасно! Но там, где есть эссеизм, где есть импрессионистичное восприятие произведений поэта, там уж тем более нет гарантии, что истина будет добыта, там важным оказывается одно лишь самовыражение. Например, «Эпилоги» Реми де Гурмона или статьи Виктора Гюго Плаха назвал поэмами. И все? И нам не будет важно различие между импрессионистом Гурмоном и романтиком Гюго? Главное, что это лично, а раз лично, значит, художественно?!

Понять такую точку зрения, повторяю, можно («террор» структуралистской безличности вызывает протест!), но согласиться с нею нельзя. Наша позиция была иной. Хочется особенно подчеркнуть, что марксистски мыслящие критики, представители социалистических стран, держались на конгрессе единым фронтом. Например, Миклош Саболчи (Венгрия) и Клаус Ярмац (ГДР) выступали в различной интонации, и различной форме — академически строгой или экспрессивной,— но это были выступления, под которыми мы все могли бы подписаться. Когда в кулуарах мы беседовали с нашими друзьями, было ощущение, что мы словно составляем единую делегацию. И это существенно. Социалистическая критика демонстрирует, при всем разнообразии индивидуальностей, единство методологического подхода, общность ответов на самые коренные вопросы, в частности на вопрос о писателе и критике.

Мы стремились утверждать нашу точку зрения, не шарахаясь в импрессионистические крайности и не превращаясь в апологетов тех тенденций, в результате которых писатель оказывается не личностью, о которой повествует критик, но как бы неодушевленным «предметом», над которым критик работает всеми своими инструментами (об этом, кстати, неплохо говорил Овидий Крохмэлничану из Румынии). Критик и писатель — в едином гуманистическом (и гуманитарном) строю, но у каждого в нем свое место, свой «фронт работ», свое дело, не заменимое никаким иным.

Ю. Я. Барабаш. Тема эта имела еще один аспект — «писатель как критик». Об этом говорили многие участники конгресса, называя в этой связи и имена классиков, например Гёте, и представителей социалистической литературы. Клаус Ярмац рассказывал об исследовательской деятельности Бертольта Брехта.

Примечательным было выступление Урбану Тавариша Родригиша. Известный португальский романист и литературный критик, он как бы воплощал в себе единство этих двух сфер литературной деятельности.

Что же касается нас, советских исследователей, участвовавших в работе конгресса, то мы, конечно, могли бы остановиться подробно (пожалуй, более подробно, чем мы это сделали) на замечательных традициях русской и советской литературы. Можно было бы начать с разговора о Пушкине-критике, Гоголе-критике, Достоевском-критике, много внимания следовало бы уделить русской революционно-демократической литературной мысли, например, Чернышевскому — и как писателю, и как критику.

В советской литературе в первую очередь можно назвать Горького. Да и среди современных советских писателей трудно назвать крупного художника — а мы ими сегодня, слава богу, не бедны,— который бы в той или иной мере не отдавал свои силы, талант и знания собственно литературно-критической деятельности. Здесь и размышления о природе литературы, о литературном процессе, о труде своих собратьев.

Ю. И. Суровцев. И очень радостно, что к такого же рода представлениям об общности задач и целей, которыми руководствуются писатели и критики — при всем различии их путей,— подходили и некоторые писатели на самом конгрессе. Например, Робер Андре, нынешний президент МАЛК, в своей речи, основывавшейся на его опыте романиста.

Речь Урбану Тавариша Родригиша была прежде всего выступлением человека-борца, выступлением писателя, который понимает идеологический смысл как своей деятельности художника, так и деятельности критика.

Из разбираемой нами «коллизии» (писатель — критик) нужно и можно выйти так, чтобы не допускать третирования критики и вместе с тем требовать уважения критика к писателю, к его индивидуальности, к его прогрессивной идейной и художественной позиции, без которой нет прогрессивной творческой личности.

Ю. Я. Барабаш. Ну что ж, для этого у нас есть все предпосылки. Ведь мы имеем свою стройную марксистскую концепцию исследования литературных явлений и процессов. При этом мы не отбрасываем с порога те положительные моменты, которые есть в эссеистском подходе, и те ценные методологические крупицы, которые можно обнаружить в структурализме.

Я думаю, мы не должны пугаться слова «структура». Это марксистский термин; ведь именно Маркс в «Капитале» впервые дал, в сущности, структурный марксистский анализ общественного производства при капитализме. Неоднократно применял это понятие и Ленин.

Все дело в самом подходе к литературе. Когда мы говорим о комплексном ее изучении, то это вытекает из самой природы литературы. Искусство, литература — явления не однозначные, они многозначны, многоаспектны, полифункциональны. Это художественные системы, обладающие множественностью функций. Такое понимание литературы ставит перед литературной критикой сложные задачи, требует поиска новых подходов, совершенствования и обогащения методологического арсенала. Вполне естествен и закономерен поэтому вывод о возможности и даже необходимости различных подходов к изучению литературных явлений и процессов, к постижению отдельных функций литературы с опорой на те или иные смежные научные дисциплины, применяя их методику и достижения.

Мне кажется, нельзя не отметить, что в марксистской литературной критике, в частности в советской, все более усиливается тенденция к взаимодействию с другими общественными научными дисциплинами.

Вы, Юрий Иванович, много занимаетесь социологией, и я думаю, согласитесь со мной, что в последнее время наблюдается явное сближение чисто литературоведческих штудий с достижениями марксистской социологии. Это означает как включение данных социологии в систему критериев критической оценки, так и конкретно-социологические исследования в области самой литературы. С другой стороны, и сам материал литературы все чаще занимает важное место в социологическом анализе общественных процессов, дает, как говорится, «информацию к размышлению». Это реальность сегодняшнего дня.

Я думаю, чем дальше, тем больше будет укрепляться связь литературной критики с психологической наукой, которая находится сейчас на несомненном подъеме. Я убежден, что это будет способствовать развитию методологии критики и литературоведения. Кто знает, быть может, именно с помощью психологии нам удастся проникнуть в тайны творческого процесса. А ведь такие тайны существуют...

На XXV съезде в докладе Л. И. Брежнева было подчеркнуто то значение, которое имеет взаимодействие наук — как общественных между собой, так и общественных с естественными. Выступая против «терроризма» математизации в литературоведческих исследованиях, не следует вместе с тем совершенно исключать возможность применения тех или иных точных, количественных методов для исследования отдельных частных аспектов литературного творчества. На определенном уровне эти методы могут быть использованы, если им не будет придаваться универсальный, всеобщий характер, если они не будут разрушать целостность монистического, марксистского подхода к литературе.

Нельзя искусственно оградить литературную критику от методов, позаимствованных из точных наук. Важно иное: трезво оценивать сферы и пределы их применения, исходя из того, что художественное произведение целостно и нерасчленимо, что литература является многосложным и диалектически развивающимся единством, вовлекаю-

щим в орбиту художественного познания все бесконечное многообразие человеческого бытия, и что только комплексная, чуждая какой-либо односторонности и механистичности интерпретация может приблизить критику к пониманию гуманистической сущности искусства, а тем самым и к достойному выполнению своих собственных профессиональных и общественных функций.

Что еще сказать в заключение о конгрессе?

Отрадно отметить, что в процессе его работы (успеху которой способствовало умное, тактичное руководство со стороны вновь избранного президента МАЛК французского писателя и критика Робера Андре) крепло ощущение, что наша ассоциация должна заниматься не только проблемами собственно литературной критики, но и становиться все более заметным фактором влияния на живой литературный процесс, активнее обращаться к актуальным проблемам этого процесса.

Советские критики давно и плодотворно участвуют в работе МАЛК. Много сделали в этом направлении недавно ушедшие от нас Б. Сучков и Г. Брейтбурд, чью память, как и память бывшего президента МАЛК И. Гондона, почтили участники конгресса.

Мы покидали Лиссабон с верой в то, что этому сотрудничеству предстоит крепнуть и развиваться.

◆

Критика

К КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

МИХАИЛ КУРГАНЦЕВ

ВРЕМЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

Этой осенью исполняется восемнадцать лет со дня открытия Первой конференции писателей стран Азии и Африки. Восемнадцать лет — время совершеннолетия, и можно с полным правом сказать, что за истекшие годы литература двух континентов шагнула далеко вперед, а афро-азиатское писательское движение стало значительным и устойчивым фактором культурной жизни современного мира.

Память уносит нас к тем дням октября 1958 года, когда в столице Узбекистана собрались литераторы из тридцати семи стран Азии и Африки, из тринадцати стран Европы и Америки. Именно тогда родилось крылатое выражение «дух Ташкента» — дух солидарности писателей всех стран во имя мира и освобождения народов. На эмблеме Ташкентской конференции в дружеском пожатии сплелись пять рук — символ единства людей пяти материков земного шара. И не случайно осенью этого года вновь, как восемнадцать лет назад, в Ташкенте собирается литературный форум: первая международная встреча молодых писателей стран Азии и Африки.

Не претендуя на полноту анализа, постараемся осветить в настоящих заметках некоторые характерные аспекты творчества литературной молодежи этих континентов.

■

В середине прошлого десятилетия в Москве вышел сборник переводов стихов алжирских поэтов. Недавно, перечитывая эту небольшую, внутренне цельную и любовно переведенную книжку, я напрасно искал хотя бы одно стихотворение, которое было бы написано не о войне. Основу сборника составили стихи из антологии «Надежда и слово», подытожившей путь алжирской поэзии за долгие и тяжелые семь с лишним лет войны за освобождение. И естественно, в ту пору поэты страны осваивали главным образом одну тему — тему борьбы с оружием в руках. Но и тогда в стихах звучало пророчество о том, что неизбежно должно прийти время свободы и мира, время иных чувств и иных стихов.

В те годы Малек Хаддад писал:

Когда пожар войны погаснет,
мы ночь зальем
огнями радости
и мы поверим линиям судьбы
на трудовых ладонях.

(Перевод М. Ваксмахера)

Это время пришло. Сегодня рядом с поэтами военного поколения встали молодые мастера стиха; их творчество, воспринимающее все краски и звуки мира, предстает перед нами и остросовременным, и глубоко национальным, сочетая в себе и память о боевом прошлом, и дыхание мирных будней.

В связи с этим у молодых литераторов «третьего мира» порой возникает вопрос: ныне, когда независимость завоевана, не миновало ли время боевой антиколониальной темы?

Нам представляется, что в Азии и Африке прошлое еще слишком сильно напоминает о

себе. О нем необходимо знать, потому что борьба не закончена: в ряде стран сохраняются расистские режимы, есть еще рецидивы колониальной политики, неоколониалистские интриги и заговоры.

Писатель не может игнорировать недавнее прошлое, ибо опыт битв за освобождение лег в основу формирования характера нового человека «третьего мира». Вчерашний колониальный раб становится хозяином своей земли и судьбы — как рассказать об этом правдиво, не возвращаясь вновь и вновь к тем годам, которые породили эту глубинную, коренную перемену в человеке?

Читая стихи молодых поэтов Алжира, убеждаешься, что, когда смолкают автоматные очереди и взрывы бомб, расцветает способность поэзии вбирать в себя и отражать радость жизни, голос поэта в мирной тишине звучит по-особому гармонично. И вместе с тем чувствуешь, что прошлое — и страдания и подвиги — не исчезает бесследно; отблеск военных лет ложится на мирные стихи, придавая сегодняшней поэзии внутреннюю собранность, чеканную строгость, благородный лаконизм.

И ныне,
когда отшумели жестокие вихри,
смерчи ненависти,
вижу корни высокого духа,
вросшие в почву,
терпеливые руки,
переворачивающие пласт целины.
А у меня — только слова,
только ключи,
чтоб открыть и прославить
мужество ваших трудов [1].

Это пишет молодой алжирский поэт Джамаль Амрани, понимая, что его сегодняшние поэтические ключи выкованы в огне вчерашних боев. Это понимают литераторы многих стран Азии и Африки: и тех, где битва продолжается — Палестины, Южной Африки, Зимбабве,— и тех, где она лишь недавно принесла победу — Мозамбика и Анголы. Знаменателен пример Вьетнама, здесь создан благородный сплав современной литературы, прошедшей боевое крещение,— литературы одновременно национально-освободительной и интернационально-социалистической.

Но и в тех странах, чей путь к независимости не был столь труден и кровав, антиколониальная тема в литературе сохраняет свою ценность — как незаменимая часть духовного потенциала, как средство, рождающее иммунитет против неоколониалистской и необуржуазной идеологии, психологии, морали, культуры.

■

Начиная творческий путь, писатель особенно часто задумывается о той роли, которую призвано сыграть в обществе его слово. Молодой — ему нет и сорока,— но уже завоевавший известность кенийский прозаик Джеймс Нгуги (Нгуги Ва Тхионго) взволнованно пишет об этом в книге «Возвращение домой». Подобно чувствительному нерву, подчеркивает Нгуги, писатель реагирует на социальные противоречия и конфликты.

Во многих произведениях и высказываниях литературной молодежи Азии и Африки звучит отказ от субъективизма и замкнутости, уверенность в том, что литература нужна народу и человеку. «Мы обращаемся к простым людям,— говорил молодой ганский поэт Атуквей Окай на Пятой конференции писателей стран Азии и Африки в Алма-Ате,— и они прислушиваются к нам. Мы завоевали их внимание, теперь мы стремимся завоевать их умы и сердца». В стихах его иорданского собрата Исама Хаммада звучит страстное неприятие так называемой «чистой» поэзии, отворачивающейся от страданий обездоленного человека:

Твои глаза не смеют любоваться
свеченьем дня, мерцанием ночей,
пока тоска, отчаянье и рабство
глядят на мир из тысячи очей.
Как можно щебетаньем птиц влюбленных
заслушиваться, глядя на луну,
когда твоих голодных братьев стоны
ночную разрывают тишину?

Осознавая общественную значимость афро-азиатской литературы, многие ее молодые мастера тесно связывают свои творческие задачи с личным участием в решении насущных задач национального освобождения и возрождения. Тридцатишестилетний малийский поэт Гауссу Диавара построил одно из стихотворений как диалог Поэта и Родины. Поэт ищет у родной земли ответа на вопрос о смысле собственной творческой жизни:

Со мною будь,— сказала мне отчизна,—
Пожертвуй всем, но мною дорожи.
Не бойся смерти. Бейся ради жизни.
За правду стой. Не поддавайся лжи.
Десятилетья пролетают мимо.
Незыблемы правдивые слова.
Бессильно зло. Добро непобедимо.
Любовь бессмертна. Ненависть мертва.
Грядущее провидя и пророча
рожденье новой радости земной,
пой обо мне, и рухнет сумрак ночи,
столетьями висевший надо мной,
и прорастет высокий День свободы —
конец многовековой маяты.
Пой обо мне — развеются невзгоды.
Пой обо мне — исполнятся мечты.

Взволнованные и искренние, эти строки звучат как программа, которую предстоит выполнить.

Это нелегко, ибо развитие литератур в «третьем мире», в особенности молодых,— процесс негладкий и внутренне противоречивый. Немало опасностей подстерегает молодого писателя развивающейся страны с первых же его шагов в литературе: отсутствие массового читателя, высокий процент неграмотных и нечитающих, существующая пока еще дистанция между народным сознанием и литературой, известная отъединенность интеллигенции, плодящая мысли об «элитарности» художественного творчества, о его недоступности «массам». Наконец, соблазн «массовой культуры», мещанского литературного ширпотреба — в его афро-азиатском, «экзотическом» варианте — и воздействие стандартов буржуазного сознания,

[1] Приведенные здесь и далее переводы стихов принадлежат автору статьи.

прокламирующих ничтожность и случайность человеческого существования, абсурдность общественного бытия, неверие в разум и волю людей, безнадежный индивидуализм.

Противостоять всему этому не просто, особенно в начале жизненного и творческого пути. Талантливые, вдумчивые литераторы молодого поколения учатся преодолевать эти трудности, ищут, ошибаются, находят верную дорогу, а главное, напряженно работают, пристально всматриваясь в жизнь и упрочивая свою связь с ней.

Они работают — их программа служения народу реализуется в новых повестях, рассказах, пьесах, поэмах, циклах стихов.

■

Угандийскому прозаику Энрико Серуме (псевдоним Г. Кимбугве) — немногим более тридцати. Одно из лучших его произведений — новелла «Продается сердце».

Африканец Джексон Мваву продает свое здоровое сердце за миллион долларов для пересадки старому американскому сенатору. Сделка состоялась. Мваву наслаждается жизнью, пока не приходит время расплаты. Словом, договор с дьяволом в современном стиле.

Энрико Серума нарисовал гротескную фигуру американского расиста, уверенного не столько в своем «белом первородстве», сколько во всесилии денег. Но дело не в этом. Чернокожий Джексон Мваву, продающий собственное сердце, совсем не похож на жертву расизма. Это — разложившийся африканский люмпен, лодырь и пьяница. Никаких национально-романтических иллюзий, никакого сентиментального умиления перед «самобытностью» истинно африканского человека у Энрико Серумы нет; его рассказ — убедительное свидетельство складывающейся в африканской прозе традиции критического реализма с явным сатирическим запалом.

В молодой прозе континента сильны гуманистические мотивы. Герой рассказа Нгуги Ва Тхионго «Ньороге» отдал все силы борьбе против чужеземцев, отнявших землю у черного человека. Ньороге ненавидит плантаторов, он перебил бы их без колебаний. Но жестокость ему чужда: «Он не может убить женщину, не может поднять руку на мать», прибегнуть к бесчеловечному средству даже во имя возвышенных целей. С этим рассказом перекликается новелла одного из самых молодых кенийских прозаиков Леонарда Киберы «У нас в Киншасе...», где с отвращением говорится о публичной казни на улице африканского города, когда «все забыли, в чем вина осужденного, и всех томила жажда крови».

Сурово и честно пишет об этом и поэт из Народной Республики Конго, 32-летний Максим Ндебека:

Неужели Свобода
для того спасла наши души,
чтобы в них опять проснулась
жажда пить
живую кровь чужака —
каннибальская древняя жажда?

■

В творчестве литературной молодежи Азии и Африки продолжается освоение темы боевой солидарности с народами мира, дружбы с Советским Союзом, социалистическими странами. Новыми, талантливыми страницами пополняется афро-азиатская Ленинниана.

В числе молодых литераторов двух континентов немало таких, кто получил высшее образование в вузах СССР, приобщился к опыту социалистической культуры. Среди них — малиец Гауссу Диавара, ганец Атуквей Окай, иракец Хассаб аш-Шейх Джафар, ливанец Никола Тавиль, нигериец Бендили Молокву, цейлонец Фикрэ Толосса, гвинеец Лунсайни Каба...

«Дружба народов СССР и Мали глубоко и радостно отразилась на моей личной поэтической судьбе»,— пишет Гауссу Диавара. Ему вторит ливанский литератор и переводчик советской литературы Никола Тавиль:

Сердце наших сердец! Из Ливана, далекого края,
Я приехал к тебе и припал к бескорыстным рукам.
Ты, Москва, словно первенца-сына меня обнимая,
Целый мир подарила моим изумленным глазам.

За последние годы усилилось тяготеиие афро-азиатских художников слова к опыту многонациональной советской культуры, возрос интерес к изучению марксистско-ленинской теории литературы и искусства, к методу социалистического реализма.

Творческая молодежь стран «третьего мира» все чаще приходит к убеждению, что главная ее задача — создание новой национальной демократической культуры, прочно связанной с жизнью народных масс,— неотделима от вдумчивого усвоения уроков и достижений культурного строительства в странах социализма, от утверждения в литературе и искусстве молодых стран идей интернациональной солидарности трудящихся.

В сегодняшней Азии уже существует, развивается, добивается творческих успехов социалистическая литература. Достаточно назвать литературы Монголии и Вьетнама, вызванные к жизни беспримерными историческими переменами в жизни их народов. Для этих литератур характерна органичность и глубина связей с советской литературой, живой и творческий интернационализм, широкая и действенная демократичность.

Известный монгольский поэт Лодонгийн Тудэв пишет: «Выбор нашей литературой метода социалистического реализма никем не был нам навязан, он явился закономерным результатом исторического развития. Метод социалистического реализма был нужен нашей литературе, так же как нужны солнце и дождь для того, чтобы цветы могли распускаться».

К КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

Воздействие социалистической культуры на передовых литераторов Азии и Африки сказывается в том, что в своих произведениях они обращаются к образу человека активного действия — борца за счастье народа, ищут своего героя среди тех, кто создает собственным трудом все ценности жизни: среди крестьян и городских тружеников, среди преданной народу интеллигенции. В двери молодых литератур стучится тема рабочего класса, тема борьбы за глубокие социальные перемены, ведущие — в исторической перспективе — к социализму...

Уходит в прошлое писательское одиночество. Наступает время писательской солидарности. Плечом к плечу с передовыми литераторами стран Азии и Африки сегодня стоят их друзья и коллеги из Советского Союза, социалистических стран. Эта дружба выкована в напряженной идейной борьбе за единство всех революционных сил и скреплена совместным активным участием наших литератур в битвах во имя обновления мира и человека. Литературная молодежь призвана вписать новые яркие страницы в историю этой дружбы.

За истекшее время прочно утвердился провозглашенный еще на Первой конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте тезис о единстве всей прогрессивной мировой культуры. Потерпела крах дорогая сердцу колонизаторов идея превосходства Запада над Востоком, хотя в недавние годы ее пытались «дополнить» измышлениями о некоем победоносном «ветре с Востока», который якобы становится все сильнее.

В идейной жизни народов «третьего мира» — пусть не сразу и не всегда целостно — прокладывает дорогу интернациональное начало. Многие — и в том числе молодые — писатели стран Азии и Африки стали решительными сторонниками расширяющегося взаимодействия культур народов разных стран, понимая, что для развития интернационального начала необходимо творчески усвоить опыт всей мировой литературы, по-своему применить его к традициям национальных литератур.

Творческое восприятие всего живого и ценного в мировом литературном опыте, приобщение к достижениям социалистической культуры важно и для самых молодых, возникших буквально в последние десятилетия афро-азиатских литератур — таких, например, как южнойеменская и ливийская в арабском мире или литературы на некоторых коренных африканских языках: сомали, волоф, бамбара.

Вместе с тем молодые писатели учатся преодолевать то консервативное, застойное, что присуще порой национальным традициям, расширяют свое художественное видение мира, усваивая все новое, передовое, способствующее идейно-эстетическому росту литературы.

■

Много лет назад Рабиндранат Тагор написал стихотворение «Люди трудятся». Сегодня эти стихи звучат с особой проникновенностью. В них говорится о разрушительности войн, о бессмысленной жестокости завоевателей, они проникнуты и оптимистической верой в то, что люди труда сумеют покончить с ужасами войны и воздвигнуть здание новой, мирной жизни на развалинах колониальных империй.

Ныне особое значение приобретает участие писателя в борьбе за всеобщий мир, за правое дело на стороне передовых революционно-освободительных сил.

Что даст «третьему миру» поворот от «холодной войны» к международной разрядке? В условиях прочного мира независимым государствам будет легче осуществлять программы не только социально-экономических, но и культурных преобразований. В обстановке разрядки — и это понимает каждый честный деятель культуры — легче добиваться ликвидации неграмотности широких масс населения, и прежде всего молодежи, расширять подготовку квалифицированных кадров, в том числе в области культуры, вести борьбу против предрассудков и суеверий, приобщать людей, вчера еще не знавших букваря, к современной культуре, к ее национальным и мировым ценностям.

Обстановка международной разрядки создает благоприятные возможности для плодотворного развития литературы. Для творческой молодежи это особенно важно. В условиях прочного мира, естественно, смогут осуществиться заветные замыслы, требующие многолетнего напряженного труда и высокого мастерства, широко раскроются таящиеся в глубинах народов юные таланты, новыми достижениями обогатятся сокровищницы национальных культур.

Протест против войны и насилия — одна из важнейших тем художественного творчества в странах Азии и Африки. Эту тему осваивает и литературная молодежь. И важны не просто стихи о миролюбии, а прямые и открытые выступления художников в защиту правого дела, справедливой борьбы народов за свои законные национальные права — в ЮАР, Родезии, Намибии, Палестине, Чили, где эти права попираются империализмом и реакцией.

Молодому деятелю культуры афро-азиатских стран есть к чему приложить свои силы, энергию, волю, талант. Сама жизнь создает новый тип молодого художника: в нем сочетаются взыскательность мастера и страсть революционера, талант и совесть, творческий порыв и гражданская активность.

Многим молодым мастерам культуры присущ глубокий оптимизм, выстраданный и исторически оправданный. Об этом хорошо сказал 33-летний индийский поэт Ашок Ваджпеи:

Умрем —
но не станем бродить среди могил,
как неприкаянные привидения,—
нашей будет радость,
ибо сделанное нами
все равно заметят, увидят, услышат:
наши золотые цветы не выцвели,
наши далекие пути не перепутались,
наши певучие слова не заглохли...

(Перевод С. Северцева)

ИМЕ ИККИДЕ

АФРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПРОБЛЕМА ПОКОЛЕНИЙ

Тему этой статьи я избрал по двум причинам. Во-первых, по мере того как африканская литература становится строгой научной дисциплиной и все шире преподается в школах и университетах, появляется необходимость в тщательном рассмотрении ее прошлого и настоящего. Я сосредоточу внимание в основном на литературе Западной Африки, однако мои заключения, думается, приложимы и к восточноафриканской литературе.

Вторая причина, хотя и менее приятная, все же дает пищу для размышлений. Недавние беседы со студентами Найробийского университета убедили меня в том, о чем я лишь смутно догадывался: во взглядах на африканскую литературу — а возможно, и литературу вообще—между моим поколением и поколением нынешних студентов образуется пропасть. Если для меня антиколониальная тема в нашей литературе представляется чем-то само собой разумеющимся, то мои студенты считают иначе. Я аплодирую Чинуа Ачебе, Монго Бети, Фердинанду Ойоно, Камара Лэю, Нгуги Ва Тхионго за то, что они писали о борьбе с колониализмом, а студенты объявляют некоторых из них скучными и старомодными. Попробуйте заговорить с ними о традиционных обычаях, общинной жизни — и они возразят вам, что все это давно забытое прошлое. Тревожное явление. С ним должны считаться преподаватели, особенно учителя средней школы, иначе в один прекрасный день они обнаружат, что рассказ о движении мау-мау интересует их учеников не больше, чем какой-нибудь эпизод древнегреческой истории.

В чем причина такого несовпадения мнений? Очевидно, объяснение следует искать в том, что мы живем в новый век, что человеческий опыт изменился. Молодым людям трудно представить себе белого монстра, потому что для них монстр уже давно черного цвета. Возможно, наша молодежь переносит свою нетерпимость по отношению к обществу на литературную продукцию, в которой не находит себя. Возможно и то, что мы, деды и отцы, восхищаемся скучными достоинствами. Если это так, следует признать, что наши дети более восприимчивы и лучше разбираются в литературе. Или, может быть, они недооценивают важнейшие проблемы? На эти вопросы отвечают поразному. И все же если одно из приведенных выше предположений верно, хотя бы частично, то какие аргументы можно выдвинуть в защиту «устаревшей» и отвергаемой антиколониальной литературы?

История антиколониальной литературы Западной Африки условно делится на четыре периода:

1) Автобиографические повествования, памфлеты, письма протеста и стихотворные проповеди потомков рабов в Англии и в обеих Америках, относящиеся к концу XVIII — началу XIX века. Среди них — произведения Олауда Эквиано, Оттоба Кугоано и Игнатиуса Санчо. Все они без исключения обличают работорговлю и нечеловеческие условия существования рабов на плантациях.

2) Ученые трактаты и исторические исследования африканских авторов конца XIX — начала XX века, в том числе труды Джеймса Африкануса Хортона, Эдварда Уилмота Блайдена, Кейзли Хейфорда и Кобины Секайи, немногочисленные произведения прозы и драматургии. Их создатели, хотя и получили западное образование и приобщились к западной культуре, подрывали колониальную систему, заявляя о культурных чаяниях африканцев, выступая против колониальной эксплуатации.

3) Движение негритюда в сороковые и пятидесятые годы нашего века, распространившееся главным образом во франкоязычной Западной Африке. К этому течению относятся поэзия и частично проза Леопольда Сенгора, произведения Бираго Диопа, Давида Диопа и Бернара Дадье, а также политические поэмы-памфлеты нигерийцев Ннамди Азикиве, Денниса Осадебея и ганца Майкла Дей-Ананга, писавших на английском языке.

Труды западноафриканских ученых и движение негритюда являлись как бы производными от взрыва «черного самосознания», который ранее потряс Гаити и Кубу, черную Америку и Ямайку и привел к созыву в 1900 году Первого панафриканского конгресса, к возникновению в США Национальной ассоциации содействия развитию цветного населения, основанной в 1910 году Уильямом Дюбуа, к развитию движения «Назад, в Африку», охватившего в 20-е годы острова Карибского бассейна.

4) Более поздняя антиколониальная литература, в которой главенствующее положение занимает художественная проза. Появляются романы Монго Бети, Камара Лэя, Фердинанда Ойоно, Чинуа Ачебе и других. Список этот можно продолжить. За десять лет, начиная с 1954 года, было создано также немало поэтических и драматургических произведений.

Этот короткий исторический экскурс показывает, что развитие литературы в Африке шло рука об руку с политическими событиями, приведшими в начале шестидесятых годов к обретению независимости рядом африканских стран. На мой взгляд, негритюд и более поздняя антиколониальная литература служили целям национально-осво-

---

К КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

бодительного движения. Не случайно многие лидеры борьбы за независимость создавали «ангажированные» художественные произведения, призванные способствовать реализации их политических чаяний.

Как это ни неприятно, следует признать, что в письменной литературе Африки и африканской диаспоры доминировала тема конфронтации с Европой. Причины этого очевидны. Как говорит Джеймс Болдуин, «каждый пишет, опираясь лишь на свой жизненный опыт...». Ачебе и Лэй — звенья в цепи антиколониальных писателей, шедших от Эквиано к негритюду, и то, что теперь нам кажется неверным в их мировоззрении, предстает в ином свете, если учесть их собственный жизненный опыт и их эпоху. Как и другие сферы человеческой деятельности, литература изменяется и развивается в соответствии с социальными переменами, изменением человеческой психики, развитием общественной мысли. Делать вывод о бесполезности антиколониальной литературы, поскольку она якобы не отражает нынешних настроений и чаяний,— значит недооценивать сущность и назначение литературы. Я еще вернусь к этому вопросу, но сначала несколько слов о негритюде.

Чтобы оценить его подлинное значение, необходимо, мне кажется, обратиться к истории этого движения. Как уже говорилось, негритюд явился продолжением более раннего и широкого «черного ренессанса» и возник в Париже в конце тридцатых годов. Его провозгласили люди большого интеллекта и культуры, тем самым бросив вызов миру, который отказывался признавать особые достоинства черной цивилизации. Ирония ситуации заключалась в том, что движение негритюда породила французская колониальная политика ассимиляции, а вторая мировая война сделала его более радикальным.

Несмотря на известное приукрашивание черной цивилизации и чрезмерное упрощение сути черного человека, которыми грешит, например, верховный жрец негритюда Леопольд Сенгор, это движение выполнило важную историческую функцию. Внимательное изучение творчества лучших поэтов негритюда показывает, как много они почерпнули из африканского мировоззрения. Тот факт, что некоторые из них вдохновлялись сюрреализмом и французской поэтической традицией, не противоречит сказанному. «Антирасистский расизм», обнаруженный Сартром в раннем негритюде, оставался его парадоксальным свойством.

Ошибка Сартра и многих других заключалась в том, что они принимали негритюд за революционное движение, тогда как он был лишь радикальным течением, но не революционным, и это заметно сказывалось и на его поэзии, и на политической практике. Отдельные представители негритюда, например Эме Сезэр, принадлежали к коммунистической партии, но на движение в целом это не оказало влияния. В наши дни многие указывают, что политические идеи и практическая деятельность Сенгора носят реакционный характер. Но ведь иными они никогда и не были. Однако это ни в коем случае не перечеркивает значения его поэзии. И разве мы не видели политических лидеров, которые в колониальные времена раздували пламя, а в наши дни боятся даже спички? Как говорит президент Гвинеи Секу Туре, «недостаточно только петь революционную песню...»

Никто не собирается превозносить здесь всю литературную продукцию негритюда. Под его знаменем было создано немало плохой поэзии, особенно поздними версификаторами, но нельзя не отдать должного самой сути движения и лучшим произведениям, вдохновленным идеями негритюда. Достаточно вспомнить «Реквием» и «Ночь Сине» Сенгора, или «Дыхание» Диопа, или лучшие стихи Эме Сезэра и Леона Дамаса...

Не следует упускать из виду, что негритюд, как совокупность идей и эстетическая система, с годами претерпевал изменения... Мы часто предпочитаем Сенгора-поэта Сенгору-теоретику, который так модифицировал свои первоначальные идеи и столько к ним добавил, что понять его нынешний негритюд невозможно... Но как бы ни были фантастичны некоторые его мысли, Леопольд Сенгор и его единомышленники своей поэзией внесли вклад в утверждение образа черного человека в мире.

Присмотримся теперь к взглядам нашей воинствующей молодежи на творчество антиколониальных писателей следующего поколения.

Раздавались, например, заявления, что Ачебе своими романами внушает читателю ощущение безысходного отчаяния; молодежь утверждает, что не нуждается в уроках прошлого, для того чтобы жить сегодняшней жизнью, что диалектический процесс развития африканского общества не укладывается в рамки допотопного сознания и что Франц Фанон[1] и Уолтер Родней[2] предложили ключ к решению и пониманию всех наших проблем...

Существует тревожная тенденция — идти от старого, механистического и абстрактного изучения литературы к методу, рассматривающему литературу и связанные с ней общественные науки не как взаимно друг друга дополняющие, а как взаимозаменяемые дисциплины, которые можно анализировать одним и тем же способом, прибегая к одним и тем же терминам. А это значит, что литературу сводят к одним лозунгам.

Литература несет социальную нагрузку, поскольку является продуктом деятельности отдельных лиц или групп, живущих в обществе, отражает человеческие страхи, надежды, существующие конфликты в рамках общества. В противном случае кто стал бы тратить время на ее изучение? Из этого следует, что понимание исторических сил,

---

[1] О Франце Фаноне, его сложной и противоречивой идейной позиции см. статью Е. Гальпериной «Величие и трудности деколонизации», опубликованную в «ИЛ» № 10, 1970. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Уолтер Родней — известный ученый, специалист по истории «третьего мира». Уроженец Гайяны, преподает в университете Дар-эс-Салама.

которые формируют писательское мировоззрение, особенно понимание господствующих в обществе политических и экономических сил, дает читателю пищу для глубоких раздумий над литературой, помогает понять и недосказанные мысли автора. И все же рассуждать о художественном творчестве при помощи терминов, заимствованных из политических теорий или же экономической статистики, на мой взгляд, столь же опасно, как и полностью отрицать возможность интерпретации художественного произведения с точки зрения его социально-политического звучания, столь же опасно, как и обращение исключительно к красотам формы и языка, изяществу размера и рифм.

Франц Фанон оставил ценное исследование колониализма и положения «отверженных», томящихся под колониальным игом, и показал, каким образом «отверженные» могут изменить свое положение. Уолтер Родней в ярко написанной книге «Как Европа сделала Африку слаборазвитой» (1972) приводит важные документальные доказательства своего тезиса, вынесенного в заглавие. Эти и другие прогрессивные мыслители могут раздвинуть наши горизонты и дать представление не только о европейской эксплуатации Африки, но и о классовой эксплуатации в других частях света, в том числе — и об эксплуатации черных черными. И все-таки ни одна из этих работ не может заменить образного описания ситуации, которое мы находим у Ойоно, Лэя, Ачебе или Нгуги. Нельзя забывать, что у художественной литературы есть свои законы содержания и формы, своя внутренняя логика.

«Недостаточно только петь революционную песню...»

Являются ли писатели, о которых идет речь, апостолами отчаяния? Нет, не являются, хотя у нас в Африке хватает причин и поводов для отчаяния. И Лэй, и Ачебе пытаются установить наличие и жизнеспособность традиционных ценностей и традиционного социального порядка в наших обществах. Бети и Ойоно настроены менее воинственно, чем Ачебе и Лэй, но при всех различиях их объединяет осуждение колониального гнета...

В романах Ачебе «И пришло разрушение» и «Стрела господня» социальный порядок и культурное единство традиционного общества рушатся под натиском колониального режима и в силу внутренних конфликтов. Главные персонажи обоих романов, хотя и существенно отличаются друг от друга, кончают трагически. Но в описании их судеб нот отчаяния нет, есть лишь определенный, я бы сказал болезненный, реализм, столь характерный для всего творчества Ачебе. Самоубийство Оконкво, героя романа «И пришло разрушение», делает его как бы мучеником в глазах народа и избавляет от унизительного конпа от руки «прокаженных» иноземцев. Но возникает вопрос: почему Оконкво и Эзеулу вообще терпят поражение? Не значит ли это, что Ачебе поддался отчаянию? И почему он дает столь обширную панораму традиционной культуры? Что это — попытка оправдать ее? За ответами на эти вопросы обратимся к самому писателю.

Ответ на первый вопрос следует искать во внутренней логике рассматриваемых книг. Было бы неверно считать Оконкво и Эзеулу невинными людьми, сокрушенными и уничтоженными лишь внешними силами. Сложная психологическая характеристика образов, особенно верховного жреца Эзеулу, исключает столь простое толкование. Оба героя, достойные и уважаемые члены своих общин, приходят в столкновение с насаждаемым колонизаторами порядком, который вносит хаос в их жизни и грозит им гибелью. Ачебе относится к обоим персонажам с глубокой симпатией и тем не менее подводит нас к выводу, что такие люди, учитывая определяющие черты их характера, все равно погибли бы. Конечно, это отнюдь не означает оправдания колониального вмешательства в их жизнь и не делает Оконкво героем греческой трагедии: он — африканец. Не означает это и стремления автора найти некую «сбалансированную позицию», чтобы усилить эстетические достоинства книг. Ачебе рисует полнокровные характеры, показывает наряду с сильными их чертами и слабости, облегчающие победу внешних сил над героями... Эзеулу, например, гибнет потому, что колониальное вмешательство подстегивает дремавшие в нем до того честолюбие и властолюбие. Таким образом, роман «Стрела господня» становится также и исследованием растлевающего подчас воздействия власти на человека, ею облеченного. Сколь актуальна сейчас эта тема для нас!

Стремление Ачебе воссоздать ценности прошлого вытекает из его убеждения в том, что прошлое Африки нередко намеренно искажалось европейскими историками и что колониальное владычество привело к трагическим результатам, оказав пагубное влияние на психику африканцев, на их представления о самих себе. Подобные мысли — с небольшими вариациями — можно найти в любой книге, написанной африканцами со времен Эквиано. Об этом же говорят и многие нынешние африканские писатели; романы и эссе Нгуги Ва Тхионго, например, буквально усеяны такого рода высказываниями. Политически и экономически они конкретнее, чем у Ачебе, отчасти потому, что колониализм в Кении носил более открытый и жестокий характер, а мировоззрение самого Нгуги более аналитично и его идейные позиции более четки. Но смысл этих заявлений, в сущности, одинаков. Вот несколько цитат из Ачебе:

«О существовании культуры африканцы услышали не от европейцев; в их обществе шла своя духовная жизнь: у них была философия, поэзия и прежде всего чувство собственного достоинства. Как раз оно-то и было отнято у африканцев в период колониального господства. Сейчас необходимо его возродить, ибо утрата собственного до-

стоинства, самоуважения — это худшее, что может произойти с народом...»

«Для меня истинная революционность заключается в том, чтобы помочь моему обществу вновь обрести веру в себя и избавиться от комплексов, приобретенных за долгие годы унижения и порабощения. В первую очередь это вопрос просвещения в лучшем смысле слова...»

Ачебе писал это десять лет назад, и, хотя сегодня может показаться, что акценты переместились, ситуация осталась, по существу, без изменений. По-моему, позиция писателя — отнюдь не признание нашей неполноценности. В отличие от приверженцев негритюда, Ачебе не идеализирует прошлое и его героев. По его собственным словам, «мы не можем обольщаться, представляя себе прошлое сплошной идиллией. Мы должны признать, что наша история, как и история других народов, имеет и светлые, и темные стороны».

В заключение еще несколько слов об истории. Мир плывет в волнах истории, наши будни складываются из событий большего или меньшего значения. Они уносят нас в годы, века и эпохи. И этот поток никогда не останавливается. То, что мы называем настоящим, есть частица прошлого, превращающаяся в будущее. Вот почему прошлое имеет для нас значение, а его влияние на настоящее и будущее несомненно. И это не новость. Пожалуй, Нгуги имел в виду как раз это, когда писал: «То, что было... неотделимо от того, что будет; наше представление о будущем, о различных жизненных ситуациях и человеческом потенциале уходит корнями в прошлый опыт».

Когда Воле Шойинка обрушивался на африканских писателей за их чрезмерное увлечение прошлым, он не отрицал важности истории, а лишь призывал рассматривать прошлое сквозь призму будущего. Он писал: «...прошлое существует теперь, в этот самый момент, как бы сосуществуя с нашим ощущением настоящего. Оно проливает свет на настоящее и объясняет будущее».

Итак, отрицать историю для нас значило бы признать незнание самих себя, свою неспособность извлечь уроки из собственных достижений и неудач.

Перевод с английского В. РАМЗЕСА

◆

Интервью

ЭРИХ КОШ: «ЭТО ПРОКЛЯТОЕ ПИСАТЕЛЬСКОЕ РЕМЕСЛО...»

В течение нескольких лет сотрудник югославской газеты «Политика» Д. Адамович ведет анкету, обращаясь к деятелям науки и искусства с одним вопросом: «Чье влияние на ваше творчество считаете вы решающим и почему?»

На этот вопрос отвечали представители разных поколений, разных творческих принципов. Откликнулся на анкету и Эрих Кош — известный югославский писатель.

Со свойственным ему — сатирику — темпераментом он страстно и бескомпромиссно защищает позиции гражданского, действенного искусства. Кош принадлежит к тому поколению югославских писателей, для которых первым самостоятельным шагом было вступление на путь революционной борьбы, а закономерным его продолжением — участие в народно-освободительном движении в годы второй мировой войны.

Первое произведение писателя появилось в 1945 году. Сейчас он автор романов, рассказов, эссе, из которых советскому читателю знакомы «Дорога», «Друзья», «Дом у моря», повесть «Большой Мак», а также роман «Сети».

По мнению Эриха Коша, писатель всегда стоит перед необходимостью «решить некую еще не получившую воплощения и нерешенную жизненную проблему или хотя бы дать какую-то основу для ее решения». Этих проблем множество. Вот как определяет их писатель в своем знаменитом эссе «К черту Кафку!»: «В каких формах сегодня проявляется добро и зло и кто их носители? Каким образом, с помощью каких средств, усилиями каких людей и по какому плану мир все же можно было бы исправить, если не совсем привести в порядок? Какие чувства терзают, разрывают или занимают нынешний мир, перед какими непосредственными проблемами он сегодня находится и какими новыми средствами выражения надо пользоваться, давая ответы на эти вопросы, чтобы они были восприняты как подлинная литература?»

В Югославии есть писатели, которые не приемлют реалистического искусства и прежде всего его обращенности к жизненным проблемам, его гражданской определенности. Предлагаемое интервью, как и художественные произведения и литературно-критические статьи Эриха Коша,— слово писателя в ведущейся с большой остротой творческой дискуссии о назначении искусства.

Д. Адамович. Трудно не писать сатиру, говорили еще древние римляне. Но и писать ее нелегко — наверное, во всех литературах сатира была и по сей день остается наиболее дефицитным жанром. У нас на одного Домановича[1] приходится по меньшей мере тысяча восторженных поэтических голосов!..

[1] Доманович, Радое (1873—1908) — знаменитый сербский сатирик. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

Среди тех, кто сейчас наиболее плодотворно работает в области сатиры, особое место занимает Эрих Кош.

Для него, старого коммуниста, в первое время после войны главными темами стали война и революция (сборники рассказов «В огне», «Записки о молодых людях», «Время: военное» романы «Il tifo», «Сети»).

Сразу же обратила на себя внимание и его сатира «Удивительная история о ките огромном, называемом также Большой Мак», озадачившая тех, кто облегченно толковал его творчество, а также «Снег и лед», «Воробьи Ван Пе» и др.— произведения, в которых писатель смелее большинства послевоенных авторов обнажал нравственные проблемы нашего общества и нашего времени. Эрих Кош — один из наиболее переводимых современных югославских писателей. Он и сам переводит Гёте, Шамиссо... Пишет он и эссе: его волнует судьба писателя, проблемы литературы и творчества вообще, о них с подлинной страстью говорит он в своей известной книге «Это проклятое писательское ремесло» (1965).

Эрих Кош — приятный человек, но к нему не так-то легко попасть. Еще был жив Иво Андрич, друг и собеседник Коша, когда мы условились об этом интервью, но оно бесконечно откладывалось. Мне пришлось проявить настойчивость. Наконец, после долгого сопротивления, удивительного и в то же время столь объяснимого, в один из чудесных осенних вечеров в гостеприимном доме Кошей наш разговор все-таки состоялся.

Эрих Кош. В молодости я и не помышлял заняться литературой. Я был единственным ребенком в семье, болезненным, чем, вероятно, объясняется то, что я рано замкнулся в себе. Много и без разбора читал. В гимназии, помню, увлекался химией, представлял себя в будущем не писателем, а химиком. Эта наука в то время таила в себе столько же неизведанного и привлекательного для юношества, как в наши дни, скажем, атомная физика.

...Однако я активно сотрудничал в школьном кружке имени Алексы Шантича[1]. И здесь впервые «вышел на аудиторию», состоявшую, разумеется, из моих сверстников: прочитал им два своих сатирических рассказа. Одновременно во мне зрело нечто, повлиявшее на мою судьбу гораздо больше, чем все тогдашние занятия: протест против застоя, против обывательской трясины. Мне хотелось вырваться из предначертанного жизненного круга, где все наперед известно учеба в институте, диплом, женитьба, дети, служба, карьера, получение чинов, неизбежное ожирение и поперек приобретенного брюшка — золотая цепь от золотых часов в виде зримого знака благополучия и преуспевания... А улица в районе Кошева, где мы жили, вела прямиком на кладбище: ежедневно наблюдал я похороны, богатые и бедные, пышные и убогие, и всякий раз спрашивал себя: значит, это и есть конец? И быть может, поэтому снова задавался вопросом: как спастись из этого болота, которое, казалось, начинало засасывать и меня?..

В то время город Сараево был маленьким (всего шестьдесят тысяч населения), жизнь в нем тянулась тоскливо — настоящая культурная провинция. Писали тогда немыслимым каким-то языком, высмеянным еще Кочичем[1] в его «Барсуке». Язык этот достался нам в наследство от австро-венгерской администрации. Чиновничество, обыватели, безоговорочно принявшие этот нелепый язык (проникший даже в тогдашние сараевские газеты!), настойчиво требовали от писателей слащавой романтики. И вот тогда-то я и «открыл» для себя Скерлича[2]. Его язык, стиль, идеи, острота мысли потрясли меня. Я учился в ту пору в шестом классе гимназии, и «открытие» Скерлича стало значительнейшей вехой всего моего развития тех лет. По-прежнему собираясь стать химиком, я обратился к критике.

По настоянию родителей я поступил на юридический факультет, хотя юридические науки абсолютно меня не привлекали. Равно как и будущность, к которой они готовили; против нее восставало все мое существо: адвокатская или судейская карьера, может быть, даже место председателя суда и далее — вверх по служебной лестнице — к роскошным похоронам. В конце концов чувство внутреннего протеста заставило меня примкнуть к прогрессивному студенческому движению. В то время я еще не был знаком с марксистской литературой. Из прочитанного мне ближе всего были утопические произведения Анатоля Франса, Чернышевского с их идеалом справедливого общества. К студенческому движению я пришел совсем не в силу классовой принадлежности: это был просто бунт против ненавистной скуки презренного обывательского прозябания. Участие в революционном движении настолько захватило меня, что одно время я ничего не читал и не писал! Единственной литературой стали для меня нелегальная пресса, листовки, брошюры.

Трижды — в 1934, 1935 и 1936 годах — я подвергался арестам, был судим, осужден, мое имя замелькало на газетных полосах, но отнюдь не в литературных рубриках. По выходе из тюрьмы стал регулярно печатать а «Прегледе» обзоры, главным образом общественно-политической, а не художественной литературы. Мне казалось, что я вступил на стезю литературной деятельности. И тогда меня обступили вопросы: о чем писать, как писать, для чего писать? И по сей день — после всего написанного — я то и дело оказываюсь перед теми же вопросами...

Война прервала литературную деятельность. В военное время, естественно, многое меняет свой привычный облик, приобретает иное значение. Порой то, что происходило

---

[1] Шантич, Алекса (1868—1924) — известный сербский поэт.

[1] Кочич, Петар (1877—1916) — сербский прозаик, имеется в виду его сатира «Барсук перед судом».

[2] Скерлич, Иован (1877—1914) — видный сербский критик, литературовед.

у меня на глазах, выглядело как законченный сюжет. В мирное время отдельные нити, гибко и плавно сплетающиеся в единое целое, не так рельефно выделяются из общего клубка. На войне все иначе...

По тогдашним военным условиям писать я не мог, но тщательно фиксировал все, что только успевал приметить. Иной раз для этого довольно было записать одно-единственное слово, подобно шифру напоминающее о каком-то событии; спустя много лет мне было ясно, о чем говорит это слово, что скрывается за ним. Когда война кончилась, я снова оказался на распутье: вернуться ли к юриспруденции или решительно с ней порвать? Химиком стать я уже опоздал — пришлось распроститься с этой великой юношеской любовью. Я был переполнен впечатлениями — и стал писать. Первый рассказ опубликовал в «Борбе» в 1945 году и так вступил на путь... этого проклятого писательского ремесла.

С моей точки зрения литература — своего рода химия: она дает анализ общества и положения в нем человеческого феномена в его психо-биологическом и социальном проявлениях. Вместе с тем литература предлагает людям и синтез — соединения, полученные в разных ретортах. Разве не так?

Я никогда не считал литературу средством самоочищения и саморазрядки, а литературный труд — забавой или игрой. Роль литературы намного серьезнее и значительнее! Наряду с наукой она всегда была для меня средством познания. Не только удивительных жизненных ситуаций, но и законов — общественных, экономических, нравственных, политических. И конечно, литература всегда была для меня возможностью воздействовать на ту действительность, которую она исследует. Искусство вообще является одной из форм общественного сознания, а литература, в частности,— исследованием условий человеческого существования.

Бесчисленное количество раз задавался я вопросом: в чем заключается задача писателя? Мне кажется, писатель, подобно химику в лаборатории, анализирует скрытые от глаз события, неизученные, но реально существующие процессы. Настоящая литература всегда раскрывает что-то новое в природе человеческих взаимоотношений.

Мой приход к сатире был закономерным следствием общественной и творческой позиции. Мне всегда претила бездеятельность и в особенности — бесплодное умствование. Сатира родилась из активного отношения к жизни, к той среде, частицей которой я являюсь. Из неприятия пассивности, из ненависти к безвольной покорности и непротивлению. Из презрения к бездеятельному благодушию, не имеющему ни принципов, ни убеждений.

Литература всегда была для меня критическим осознанием жизни!.. Главное заключается в том, что за всякой критикой, за всяким отрицанием должно стоять утверждение, а об этом весьма часто забывают. Самое важное — отправная точка. Осознание действительности предполагает непременное сравнение, а сравнение — всегда критика.

Случилось так, что я освоил несколько иностранных языков и прочел всех сатириков мира. И у всех учился. Я одинаково люблю и Свифта, и Гоголя. Хотя жили они в разное время и бичевали разные явления. Но помяни я одно имя и пренебреги другим — дух сатирика сейчас же возмутился бы во мне; перечислению этому нет конца.

Как Андрич носил с собой томик Марка Аврелия и, можно сказать, умер, не расставаясь с ним, так и я не расстаюсь с Лихтенбергом. Этот автор мало популярен у нас, хотя при жизни был известным физиком и, видимо, писателем, судя по оставленному им рукописному наследию — своеобразной сатире, напоминающей манеру Леца. Например: «Если от столкновения книги и чьей-то головы звук отзовется пустотой — не всегда виновата книга». Или: «Книга подобна зеркалу: когда в нее смотрится обезьяна, напрасно ждать, что в ней отразится ангел»... Так вот, этого самого Лихтенберга я любил, читал, перечитывал, поныне люблю и часто к нему возвращаюсь. Общение с ним для меня всегда радость. Оказал ли он влияние на меня? Вероятно, как и многие другие.

Кто не испытал на себе влияния Андрича, прежде всего — те, кому посчастливилось встречаться, разговаривать с ним и слушать его? Разве Доманович и Сремац[1] и их сатира не живут в нас? Не желая прослыть оригинальным и отрицать наличие влияний, скажу: человек подвержен влияниям точно так же, как наша планета подвержена непрерывной бомбардировке миллионов и миллионов всевозможных частиц... А Гёте сказал: «Прогулка под пальмами — и та не может пройти безнаказанно... она непременно отразится на человеке и вызовет определенные последствия...»

Взявшись за это проклятое писательское ремесло, я к тому же избрал самую опасную и едва ли не самую, так сказать, трудоемкую ниву — сатирическую. Справедливости ради следует признать, постучав по дереву, что на этой стезе я не встретил преград. Думаю, это объясняется всеобщим пониманием того, что нет предела совершенствованию действительности и что, оценивая критику, прежде всего необходимо выяснить, с каких позиций и во имя чего она ведется... Чего хотят с ее помощью достичь. Конечно, и у меня не все шло гладко, но интересно отметить, что те у нас в стране, кто глух к наказам сатиры или испытывает конформистский испуг перед возможными ее последствиями, часто, как это ни печально, оказываются наиболее рьяными и громогласными сторонниками свободы творчества и либерального отношения к литературе... Впрочем, это тема для памфлета, пока еще ждущего своего написания!

---

[1] Сремац, Стеван (1855—1906) — крупный сербский прозаик, сатирик.

Разумеется, я никогда не считал себя сатириком и только. Порой яркие жизненные впечатления уводили мое повествование в сторону моралистической прозы. Так что причисление меня к разряду сатириков даже тогда, когда я таковым не являюсь, есть тоже один из видов воздействия, бесконечно оказываемых на нас извне.

■

...А теперь несколько слов советскому читателю [1].

Должен сказать, что, к сожалению, я не имел непосредственных контактов с широким кругом советских читателей. Тем не менее, и по классической русской литературе, и по новейшей, советской,— я всегда представлял себе читателя вашей страны мыслящей личностью, чьи жизненные интересы выходят за рамки повседневности и устремляются к проникновению в суть вещей, к поискам смысла жизни, осознанию ее этических ценностей, норм общественного существования. Достаточно перечитать беседы, которые русские люди ведут на страницах произведений Достоевского, Толстого, а потом и Горького, и других советских писателей, чтобы понять, сколь актуальны для них «вечные» проблемы — отношения индивидуума и общества, нравственная оценка собственного бытия. Мне кажется, и сегодня советские читатели ищут в книгах ответы на те же самые вопросы — и с полным правом, ибо исследование их есть истинная и основная задача писателя и вообще литературы.

Находясь в Советском Союзе, я наблюдал, с каким сосредоточенным вниманием молодые и уже немолодые люди читают книги в метро. Садясь в такси и с ощущением вины отрывая водителя от недочитанной страницы, я так и ждал, что вместо обычного вопроса к пассажиру: «Куда поедем?» — он спросит меня: «Для чего и во имя чего мы живем?»

Писать для такого читателя — задача весьма ответственная, но и почетная. Что касается меня, то я всегда считал литературу одной из форм познания мира и поэтому был бы необычайно польщен, если бы кому-нибудь из советских читателей, до которых книги мои дошли благодаря отличной работе советских переводчиков, я помог найти ответ хоть на один вопрос...

Я уже говорил, что мне трудно со всей определенностью сказать о том, кто повлиял на мое творчество и мою литературную деятельность. И не потому, что влияний не было, а потому, что их было слишком много. Возможно, наибольшее воздействие оказывали именно те, которые рождали во мне чувство протеста и активного неприятия зла. Кроме Гоголя и Чернышевского я мог бы назвать имена сатириков Крылова и Щедрина, а затем и Лермонтова, Толстого, Чехова, Горького. Вспоминаю, какое огромное впечатление на людей моего поколения произвело появление антологии новейших советских писателей, вышедшей в начале тридцатых годов в нашем издательстве «Нолит». Книга поразила всех нас яркой новизной содержания, художественной самобытностью произведений таких разных писателей, как Лидин, Бабель, Шолохов.

Что я думаю о задачах литературы в наше время?

На мой взгляд, литература должна заниматься исследованием и оценкой конкретных жизненных ситуаций. Она может быть полезной людям лишь в том случае, если обращается к читателю в доступной и понятной для него форме. Думаю, что в этом и состоит существо ответа на вопрос.

Перевод с сербско-хорватского Т. ВИРТЫ

[1] По просьбе журнала «Иностранная литература» Эрих Кош дополнил интервью газете «Политика» этим обращением к своим советским читателям.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

КРИЗИС ПОЛИТИКИ — КРИЗИС КУЛЬТУРЫ

Не будет преувеличением сказать, что для итальянцев проблема соотношения культуры и политики всегда принадлежала к разряду «вечных тем». Она поворачивается различными гранями в зависимости от исторического момента и расстановки сил в обществе, но в той или иной форме присутствует всегда. Особенно ожесточенно и широко в Италии ведется борьба между светской и католической культурой. Как проявление этой борьбы то и дело вспыхивают дискуссии, которые вскрывают серьезную кризисную ситуацию, касающуюся не только культуры, но и экономики, социальных вопросов, образования, общественной морали. За кризис прямую ответственность несет христианско-демократическая партия, которая одна или во главе той или иной правительственной коалиции правит Италией последние тридцать лет.

20 июня 1976 года в стране проводились досрочные парламентские выборы, ознаменовавшие убедительную победу коммунистической партии. Достаточно сказать, что каждый третий итальянец голосовал за коммунистов. В поддержку ИКП активно выступили не только многие видные писатели, художники и ученые — обращения в поддержку ее кандидатов подписывали целые творческие, научные и учебные коллективы.

Победа, одержанная коммунистами еще на муниципальных выборах прошлого года, вызвала у христианских демократов настоящий шок. Для многих членов ХДП стало ясно, что роль коммунистов в политической жизни страны неуклонно возрастает и что прежняя линия правящих классов, направленная на изоляцию ИКП, терпит провал. Этому способствует политика ИКП, основным содержанием которой являются антифашистские и демократические преобразования. В ходе их осуществления коммунисты стремятся создать новое, демократическое, антифашистское большинство, способное вместе с ИКП взять на себя ответственность за судьбы страны. Осью этого большинства должно стать сотрудничество рабочих партий — коммунистической и социалистической, а также единство профсоюзов, то есть единство действий рабочего класса, всех трудящихся Италии, в том числе и католиков, состоящих ныне в ХДП. Следует сказать, что сотрудничество коммунистов и социалистов с христианскими демократами имело место и в прошлом. ХДП принимала участие в Сопротивлении, в выработке конституции Республики. После краха фашизма Пальмиро Тольятти в программной речи, произнесенной в Учредительном собрании, сказал:

«Мы находимся здесь... как представители великого освободительного национального движения, которое черпает свои силы в лучших традициях жизни и

истории нашей страны — в либеральных и демократических традициях. Но мы чувствуем себя здесь — мы, коммунисты, вы, социалисты, и вы тоже, коллеги из христианско-демократической партии,— мы все должны чувствовать себя здесь не только представителями этого великого движения, но и представителями трудящихся масс: рабочих, батраков, крестьян, служащих, людей из народа, людей, которые живут только своим трудом и уже десятки лет активно участвуют в борьбе за свое освобождение».

Но в Италии часто говорят, что у христианско-демократической партии две души: народно-демократическая и консервативно-реакционная. Дело в том, что в ХДП входит значительная часть трудящихся-католиков. На протяжении десятилетий это определяло борьбу различных тенденций внутри партии, однако победа неизменно оставалась за консервативно-реакционными силами, возглавляемыми крупной буржуазией. Но жизнь идет вперед, и глубокий кризис всех структур выдвигает перед ХДП и перед католической интеллигенцией очень серьезные проблемы, и среди них прежде всего отказ от слепого и иррационального антикоммунизма.

В свое время еженедельник «Ринашита», орган ИКП, отмечал, что результаты муниципальных выборов привели христианских демократов в состояние растерянности. Некоторые боссы выступили с обвинениями левых католических интеллигентов в сервилизме, конформизме и измене. Христианско-демократическая газета «Пополо» откликнулась раздраженной и грубой статьей Антонио Петруччи, озаглавленной «Политика и культура (взаимоотношения интеллектуалов с партиями в Италии)». Автор очень агрессивно нападал на «тех, кто подписывался под призывами голосовать за ИКП».

Не щадил Петруччи и своих коллег по партии. Он обвинил ХДП в инертности, пассивности, провинциализме, недооценке роли художественной интеллигенции и в том, что ХДП тем самым как бы подтвердила тезис о «превосходстве марксистской культуры над католической».

Выступлением Петруччи проблема, естественно, была только обозначена. Вскоре в ХДП сменилось руководство, была создана специальная комиссия по вопросам культуры и средств массовой коммуникации, а в октябре, «преодолев», как писала «Ринашита», «нервность и смущение», газета «Пополо» развернула большую дискуссию на тему «Культура и политика сегодня», которая закончилась лишь в январе 1976 года.

Некоторые выступления участников дискуссии на страницах «Пополо» по уровню немногим отличались от статьи Петруччи: раздраженне, комплекс неполноценности, агрессивность, черная меланхолия. Для других характерны ностальгия, краски заката и, как пишет «Ринашита»,

«обращение к давно прошедшим временам, слова о доброте человека и спасительной силе поэзии перед лицом развращающего воздействия политики».

Но были высказаны и важные мысли. Известный прозаик-католик Марио Помилио, человек, которого живо интересуют социальные и политические вопросы, был в высшей степени полемичен и не желал оставаться в рамках вопросов, которые ему задавали. Если судить по выступлению писателя, позиция ХДП в отношении деятелей культуры его не удовлетворяет. Он заявил, что многие писатели среднего возраста начали с литературы, потом на первый план поставили свои «гражданские и просто политические интересы», а затем разочаровались и замкнулись в себе.

«А вот что касается марксистских групп и в особенности ИКП — им бы я никаких обвинений не предъявлял,— подчеркнул он.— Они в своей сфере, со своей точки зрения, всегда были близки к проблемам культуры, развивали свою политику. Политику привлечения к себе писателей, если хотите, поддержки — но я никак не назвал бы это использованием писателей в партийных целях. Вообще марксисты всегда понимали, что вопрос о культуре — центральный, хотя для марксистских групп и особенно для коммунистической партии разговор о культуре носит преимущественно идеологический характер».

Это особенно важно, по мнению Помилио, в связи с тем, что у многих деятелей как светской, так и католической культуры наблюдается склонность к деидеологизации;

такова, говорит он, «участь поколения», которое сначала активно занималось политикой, а потом устало от нее.

Что касается ХДП, то она настолько консервативна, что деятелям культуры с ней практически не о чем разговаривать. Писатель даже противопоставил итальянскую христианско-демократическую партию католической церкви. По его мнению, внутри церкви есть мыслящие люди, есть священники, которые искренне и по-своему непредубежденно ищут новых путей для решения социальных проблем нашего времени.

Мы подробно остановились на взглядах Помилио, потому что он высказывал их темпераментно, резко и не страшась того, что его поймают на противоречиях. Кроме того, многие мысли, которые он изложил, близки и другим участникам дискуссии в «Пополо». Один из узловых ее вопросов — существует ли сейчас в Италии католическая культура. Большинство высказалось за то, что она все-таки есть, но... переживает кризис... нуждается в притоке новых сил... никто ее не поддерживает, она находится под постоянной угрозой.

Весьма примечательными были выступления двух духовных лиц: падре Эрнесто Бальдуччи и падре Давида М. Турольдо. Они, пожалуй, в равной мере беспощадны в своей критике партии христианских демократов. Разница, однако, в том, что падре Турольдо — один из немногих, кто полностью отрицает наличие в Италии «подлинной католической культуры». Он же, позабыв о христианском милосердии, сказал, что «ХДП находится в теперешнем своем положении потому, что пришло время платить по счетам».

Падре Бальдуччи принадлежит к левым католикам. В 1961 году он был в числе полутора тысяч участников первого идеологического конгресса ХДП в Сан-Пеллегрино. На конгресс собрались ученые, политики, деятели католической культуры. Это была эра папы Иоанна XXIII, известного реформатора, безуспешно стремившегося преодолеть косный консерватизм католической церкви в социальных вопросах. Первый конгресс в Сан-Пеллегрино можно считать наивысшей точкой в развитии итальянской католической общественной мысли XX века. Наиболее трезвые из христианских демократов хотели заново осмыслить идеологию и историю католического движения в Италии, подвергнуть беспристрастному и критическому анализу деятельность ХДП, «заглянуть в свою душу», сказать всю правду, подвести итоги и наметить перспективы.

На конгрессе левый католик Луиджи Гранелли поставил вопрос очень четко: история сложилась так, что новая итальянская реальность создана блоком сил, принимавших участие в Сопротивлении. Они совместно заложили основы современного государства. Но только два больших течения, две главные политические силы в состоянии обеспечить устойчивость нового общества.

> «Нравится вам это или не нравится,— заметил Луиджи Гранелли,— это только движение католиков и марксистское движение».

Но со времени конгресса в Сан-Пеллегрино прошло 15 лет, и теперь падре Бальдуччи, вспоминая о нем, с горечью говорит о неудавшихся попытках католиков пойти навстречу требованиям времени и интересам народных масс и демократической культуры:

> «Все это было лишь эпизодом, инициативой отдельных активных людей, никогда не входило органически в программу партии. Предпочли чечевичную похлебку власти. Если мы прибегнем к параболе, то окажется, что ХДП, которая сразу после войны включала в себя авангард итальянской католической культуры (называется ряд имен), через тридцать лет превратилась в партию, совершенно чужую тем, кто верит в живую и открытую новым веяниям культуру. ХДП стала партией, которая представляет католиков, испытывающих панический страх перед лицом исторических преобразований».

Падре Бальдуччи не скрывает, что боится «гегемонии марксистов», но признает их силу и влияние как в массах, так и среди интеллигенции. Практически он призывает католиков т о ж е бороться за души людей, преодолеть душащую ХДП инерцию, осмыслять события, не забывать о требованиях, идущих от масс.

Тот факт, что начатое в «Пополо» обсуждение оказалось столь острым, свидетельствует о глубине кризиса, поразившего христианско-демократическое движение. За два года до морального поражения на последних парламентских выборах христианские демократы потерпели крах во время всенародного референдума о разводе. Тогда уже стала очевидной все возрастающая зрелость итальянского народа, укрепление гражданского самосознания масс. Исход референдума явился и победой светской (laica) мысли над клерикальными догмами. Уже тогда отдельные католические деятели правильно оценили происшедшее. Но понадобились новые выборы для того, чтобы христианско-демократическая партия ощутила серьезное беспокойство, а католическая интеллигенция поняла необходимость глубоко разобраться в процессах, происходящих в общественном сознании.

Очевидно, что проблемы культуры, отношение к культуре — один из центральных моментов в программах и в стратегии каждой партии. Любопытно, что многие участники дискуссии в «Пополо» честно, хотя и с горечью, признавали огромную притягательную силу марксистской теории. Левый католик Марио Гоццини, который сейчас прошел в парламент как независимый по спискам ИКП и который принадлежит к числу наиболее проницательных и умеющих диалектически мыслить католических интеллектуалов Италии, с отвращением говорил об «охоте за ведьмами», когда в каждом левом видели чуть ли не воплощение дьявола, и сказал, что сейчас никто не может игнорировать

> «присутствие коммунистической партии с высокими и многообразными культурными традициями».

Тот же Гоццини, заявивший, что демократия есть нечто гораздо большее, нежели одно лишь право выражать свои собственные суждения, добавил:

> «Из самых недр нашей страны идет требование создать новую политическую культуру: речь идет о том, чтобы построить и н о е о б щ е с т в о и г о с у д а р с т в о».

Переведем эти слова как отчетливое и сознательное требование обновления. Более или менее внятно и продуманно выражали эту мысль многие участники дискуссии в «Пополо», среди которых были такие крупные писатели, как поэт Альфонсо Гатто (недавно трагически погибший) и 87-летний прозаик, поэт, драматург Риккардо Баккелли, широко известный за пределами Италии. Дискуссию можно считать симптоматичной. При всех оговорках, опасениях, предрассудках, противоречиях лучшие представители католической интеллигенции Италии все больше считаются с реальностью марксистской мысли в стране, стремятся понять ее сущность, причины, обеспечивающие ей широкую народную поддержку.

И.

«ЧЕРНЫЙ БУМ»: ИСКУССТВО И СТЕРЕОТИПЫ

«Черный бум», «новый негритянский ренессанс» — такими эпитетами определяют критики резко возросший в Америке интерес к культуре ее черных сынов. Налицо явный сдвиг. Как свидетельствует журнал «Тайм», сегодня даже специалисты с чувством изумления обнаружили, что литература черной Америки существует вот уже более двух столетий и дала немало ярких художественных произведений. Книги таких писателей, как Маккей, Хьюз, Райт, Болдуин, Эллисон, широко известные в Европе, с опозданием, но приобретают популярность у себя на родине.

Естественно, официальные круги и «большая пресса» не могут не реагировать на новые тенденции в духовной и культурной жизни страны. Реагировать по-своему, с весьма недвусмысленным расчетом.

С одной стороны, налицо откровенное заигрывание с негритянской «элитой». Его цель — «интегрировать» черную интеллигенцию в буржуазный «истеблишмент», амор-

тизировать социально-обличительный пафос негритянского движения. Весьма настойчиво популяризируемые негры — конгрессмены и послы, ученые и музыканты — призваны продемонстрировать якобы достигнутое в Америке расовое равноправие. А это, в свою очередь, должно произвести очевидный пропагандистский эффект и внутри страны, и за ее пределами, прежде всего в африканских государствах. С другой стороны, это — дань моде, уступка общественному мнению, запоздалое, неизбежное признание большого вклада, вносимого черными гражданами в культуру Соединенных Штатов.

В настоящее время «литература черных» и «культура черных» все в большей мере становятся объектом серьезных академических исследований. Создаются специальные центры по их изучению с собственными органами печати. Проводятся фестивали негритянского искусства, художественные конкурсы.

Знаменательно — и в этом также отражается рост национального самосознания негров,— что последние называют себя черными, или афро-американцами, пишут о черном, или афро-американском, искусстве. Для них слово «негр» ассоциируется теперь с оскорбительным «ниггер», с временем крайних унижений и сегрегации.

Интерес черных американцев к своей истории, культуре нашел отражение во все нарастающем потоке так называемых «блэк стадиз» — исследований, посвященных негритянским проблемам. Не остаются безучастными в многие влиятельные массовые издания Америки. Примером может служить статья Роберта Ф. Мосса в журнале «Сатердей ревью». Ее автор — преподаватель Ратджерского университета, где он читает курс по негритянской культуре. Позиция автора раскрывается в следующих словах:

> «Пять лет спустя после того, как завершились «грозовые 60-е», искусство черной Америки пребывает на распутье, тяготея то к пропаганде, то к подлинной художественности».

Роберт Мосс сетует на то, что «потенциальная интеграция черных американцев мирными средствами» была прервана в 60-е годы. Тогда, как известно, на улицах американских городов разгорелись настоящие сражения между неграми — с одной стороны, полицией и расистами — с другой. Как раз в то время наряду с писателями, которых Мосс называет «умеренными» (и которым он явно симпатизирует), появились литераторы радикальной ориентации, одним из лидеров которых стал Лерой Джонс. «Для них искусство было подобно патронам в грядущей расовой войне»,— пишет о них Мосс, перефразируя стихи Джонса. Это была литература протеста, отразившая чувства отчаяния и негодования обитателей черных гетто.

В 70-е годы острота расового конфликта по сравнению с предшествующим десятилетием несколько ослабла. Но в целом проблема расовой дискриминации остается для негритянского искусства одной из главнейших. Автор статьи констатирует это обстоятельство с явным чувством неприязни:

> «В большинстве литературных, кинематографических, театральных произведений, а также в значительной степени в живописи и танце черные продолжают вести старые битвы против расистских стереотипов, дискриминация при приеме на работу и законов Джима Кроу, когда эти битвы уже давно выиграны».

Но о том, что битвы все-таки не выиграны, говорит вся практика современной Америки. Вспомним, что писал недавно журнал «Тайм»:

> «Более чем сто лет спустя после окончания Гражданской войны и через 16 лет после решения Верховного суда об отмене сегрегации в школах в отношении американских негров все еще не достигнуты справедливость и равноправие. Такое положение создает острейшую проблему и является для Америки ее величайшим позором. Пока эта проблема не будет разрешена, над американской цивилизацией тяготеет опасность оказаться ввергнутой в пучину хаоса и насилия».

Вот почему столь нелюбимый Моссом антирасистский пафос по-прежнему определяет лицо литературы черных. В романах Джона О. Килленза, Мелвина Келли, Джона А. Уильямса и других встречаются знакомые фигуры: бедняк южанин, зараженный расизмом, белая женщина, соблазняющая черного мужчину, двуличный либерал-севе-

рянин, полицейский, не останавливающийся перед насилием, фарисействующий поборник «расового равноправия». Изменяется, однако, трактовка черного американца:

> «Вне зависимости от места, обстоятельств, исторического периода черные редко покоряются своим белым мучителям. В худшем случае они сохраняют чувство собственного достоинства, а в лучшем — наносят белому постыдное поражение, прибегая к помощи то кулака, то лопаты».

В цитируемом пассаже из статьи Мосса сквозит ирония. Приведенные образы кажутся критику очередными шаблонами, «бесплотными тенями», «детскими карикатурами». Но разве все это не отражает конкретную реальность, обретенное чувство собственного достоинства, гордость, которые характеризуют новое поколение черных американцев? И пока существуют дискриминация и угнетение, антирасистский, антиэксплуататорский пафос не может не оставаться в Америке душой истинного искусства.

Роберт Мосс в целом дает достаточно богатую картину существующего положения и не только использует в своей статье обширный фактический материал, но и порой точно подмечает отдельные характерные черты и тенденции в развитии негро-американской культуры. Взять хотя бы феномен, получивший название «блэксплотейшн» (буквально: «эксплуатация черной темы»). Речь идет о потоке «черных фильмов», выплеснутом на экраны страны. Голливуд, весьма чутко улавливающий «дух времени», движимый стремлением делать деньги на чем угодно, начал быстро осваивать ставшую модной черную тему. Последняя же, претерпев соответствующую обработку, превращается в весьма прибыльный ширпотреб.

Талантливые черные актеры, режиссеры, писатели, сценаристы, находившиеся доселе где-то на задворках киностудий, неожиданно оказались прямо нарасхват. Кинозкраны запестрели новыми, черными супергероями, нередко торжествующими над их белыми оппонентами. Появился даже первый боевик с черным вампиром, именуемым «блэкулой». Белая макулатура была срочно перекрашена в черный цвет. В трудном положении оказались некоторые негритянские актеры, режиссеры, продюсеры, получившие наконец работу, известность, но ценой приспособления к навязанным им шаблонам. В итоге родился новый стереотип, являющийся очередной карикатурой на темнокожего американца. Не случайно, что средн деятелей негритянской культуры усиливаются протесты против «блэксплотейшн». Они отмечают особенно вредное воздействие такой кинопродукции на молодежь, поскольку темнокожие американцы предстают в них, по словам Мосса, в образе «сводников, гангстеров, торговцев наркотиками, суперменов, физнчески совершенных, но начисто лишенных умственных способностей».

Надо подчеркнуть, что в работах большинства буржуазных исследователей, в том числе и Мосса, черная культура предстает как явление хотя и многообразное, но социально однородное. Между тем в ней отражается классовое и социальное расслоение внутри негритянского общества, глубокий разрыв между буржуазией, подкармливаемой «элитой», и низами. Эту ястяну с афористической силой выразила старуха негритянка в одном из глухих углов штата Миссисипи: «Пища, которой питается Ральф Банч [1], не может насытить мой желудок».

Статья Мосса привлекает внимание к спорам о так называемой «черной эстетике». На современном этапе негритянского движения развернулась острая дискуссия вокруг проблем национальной культуры, ее специфики, ее традиций. Среди вопросов, волнующих ныне черных писателей, не последнее место занимают, например, такие: на какую аудиторию, черную или также и белую, должны они ориентироваться? Следует ли им писать только о том, что сейчас волнует негроа, или обращаться к более общей проблематике? Какова природа негритянской литературы, к каким традициям, американским или чисто африканским, она восходит? Каким образом литератор-негр способен преодолеть узость своего жизненного и художественного опыта и создать произведение «универсальное», то есть обладающее общечеловеческим звучанием?

В подобных вопросах отражается сложность, противоречивость развития не только культуры черных американцев, но и всего их освободительного движения. Так, среди негритянской интеллигенции отчетливо прослеживаются две точки зрения.

---

[1] Видный американский дипломат-негр и политический деятель, удостоенный многочисленных официальных наград.

Сторонников одной из них называют «интеграционистами». Они не разделяют националистических крайностей и выступают за усвоение прогрессивных художественных ценностей не только американской, но и всей мировой культуры.

К «интеграционистам» обычно относят Болдуина, Эллисона, Хенсбери и одного из самых ярких негритянских писателей XX века — Ленгстона Хьюза. В творчестве последнего, особенно в пору «красных тридцатых», решительно звучал призыв к единству белых и черных пролетариев, всех трудящихся, вне зависимости от цвета кожи, в борьбе против общего классового врага. Чуждый этнической замкнутости, Хьюз, художник общеамериканского звучания, с одной стороны, развивал традиции Уитмена и Сэндберга, использовал опыт Маяковского, с другой — опирался на самобытно негритянские фольклорные элементы, блюзы, спиричуэлс, вводил в свои стихи ритмы джаза. Творчество Хьюза наглядно подтверждает, что «этническое» не противоречит «универсальному», что большой художник, глубоко и органично проникая в жизнь своего народа, выходит к общечеловеческим горизонтам.

Сторонники второй точки зрения, называемые иногда «сепаратистами» и связанные с Движением за создание искусства черных, выразили суть своих взглядов в лозунге: «Черное — это прекрасно». У некоторых черных писателей он приобрел экстремистскую модификацию: «Только черное — прекрасно». К этой группе относятся Лерой Джонс, Дон Ли, отчасти Эд Баллинс, которые упрекают «интеграционистов» за приверженность к художественным образцам и формам белой Америки и ратуют за создание некоей особой «черной эстетики». Смысл этого понятия до сих пор не прояснен. Для одних он означает приверженность «черной идеологии», для других — особый стиль, специфическую для негров форму выражения, ритмику, музыкальность и т. д.

Что касается Роберта Мосса, то он весьма основательно оспаривает претензии сторонников «черной эстетики», объявивших своей целью создание произведений, «совершенно новых и оригинальных», рассчитанных на восприятие лишь черной аудиторией. Если следовать логике их рассуждений, то придется признать, что «Дон Кихот» может быть до конца понят только испанцами, книги Сарояна — армянами, а «Жерминаль» — шахтерами. Так же справедливо подмечает Мосс и то, что некоторые эксперименты, объявленные образцами удачного применения «черной техники», оказываются на поверку не столь уж новы и оригинальны. Зачастую они представляют собой переработку отдельных формально-стилистических приемов уже известных художественных течений. Так, в творчестве ряда черных художников, тяготеющих к броскости, подчеркнутой выразительности, заметно влияние экспрессионистов. В фильмах, культивирующих подвиги черных суперменов, сказываются штампы, подчеркивающие «брутальность», «мужественность» и силу, которые были характерны для голливудских лент 40-х годов.

Показательна и стилистика таких поэтов-антитрадиционалистов, активных участников негритянского движения, как Лерой Джонс, Дон Ли. Их стихи отличают фрагментарность, нарочито взвинченный тон, необычное написание слов, использование грубого жаргона, а то и просто непристойностей, что вызывает очевидные ассоциации с поэзией «битников». Однако Роберт Мосс впадает в крайность, в сущности отказывая этим поэтам в оригинальности. Нельзя забывать, что их стихи, связанные с восходящими к негритянскому фольклору традициями устного рассказа, рассчитаны не столько на чтение, сколько на публичное исполнение. А в этом случае особое значение приобретают и интонация, и манера чтеца, его жестикуляция. Именно агитаторская направленность и предопределяет призывно-эмоциональное начало, вкрапление в художественную ткань лозунгов и призывов, свойственных стихам «нетрадиционалистов».

Очевидно также, что непрекращающиеся поиски какой-то особой «черной эстетики», и ее крайнем, «сепаратистском» выражении, не столько способствуют, сколько мешают культурному развитию черных американцев. Это, однако, не умаляет того факта, что большинство участников Движения за создание искусства черных — люди, искренне стремящиеся поднять духовный и культурный уровень своего народа. Это же отмечает и автор статьи:

«Те задачи, которые попутно здесь решаются, в равной мере и правомерны и вдохновляющи. Это — создание жизнеспособной черной аудитории, на которую

бы ориентировались все виды черного искусства. И этот процесс дает особо ощутимые результаты в театре, в танце, в изобразительном искусстве».

Отмечая достижения негритянского искусства Америки, Мосс характеризует его наиболее значительные фигуры, пишет о проникновении черной культуры вглубь, о приобщении к ней все более широких слоев негритянских масс.

Так, заслуженную известность приобрел Артур Митчелл, ученик известного балетмейстера Джорджа Баланчина, танцор и хореограф, руководитель Гарлемского танцевального театра, созданного в память Мартина Лютера Кинга. Митчелл, сломавший расовый барьер в области классического танца, создал прекрасный коллектив, который с успехом гастролировал в США и Европе. Осуществив постановку ряда балетов, Митчелл вырастил плеяду талантливых учеников, среди которых — Пол Рассел, Лидия Абарка, Роналд Перри. Критики называют его театр «чудом со 152-й улицы».

Яркий талант отличает и Дугласа Тернера Уорда, актера и режиссера, основателя Негритянского ансамбля, одного из самых популярных в США черных театральных коллективов. Уорд поставил более 20 пьес, в том числе и негритянских драматургов, с которыми благодаря ему стала знакомиться белая зрительская аудитория.

Реалистический в своей основе, театр, руководимый Уордом, тяготеет к интересным, плодотворным сценическим экспериментам. Его художественный руководитель сам играет во многих спектаклях, причем, по единодушному мнению критики, характеры, созданные Уордом-актером, отличаются выразительностью и подлинностью.

Сейчас в США функционирует около 150 «внутригородских» театральных групп. Кроме того, по образцу Негритянского ансамбля, возглавляемого Дугласом Тернером Уордом, созданы коллективы в Лос-Анджелесе, Чикаго, Детройте и других городах с высоким процентом черного населения.

Самобытен скульптор Ричард Хаит. Выполненные им в металле фигуры, в том числе Джона Джонса, негритянского национального героя, экспонируются на многих выставках и пользуются широкой известностью. Что же касается художников, то у них ощутимо тяготение к настенной живописи, к муралиям в духе Диего Риверы и Давида Альфаро Сикейроса; изобразительное искусство, прежде доступное лишь буржуазным кругам, теперь становится достоянием обитателей гетто. Графики и муралисты нередко отражают интересы, историю своей негритянской общины и ее «субкультуры». Создание региональных художественных центров и групп — характерная примета современности.

«Обозревая достижения черных американцев в области культуры,— пишет Мосс,— следует с полной откровенностью сказать в их адрес немало добрых слов. Можно надеяться, что откроются новые каналы, в которых найдут свое выражение художественные устремления меньшинства, угнетенного и отчужденного. В результате будут подорваны примитивные представления относительно того, на что способны и на что не способны черные в сфере искусства. А это поможет выявлению их национальной самобытности, которая значима для них отнюдь не меньше, чем для других этнических групп».

Отраден и наблюдающийся в последнее время отход некоторых черных художников от сепаратистских крайностей и перекосов. В статье в этой связи упоминается творчество таких драматургов, как Чарлз Гордон, Лон Элдер, Джозеф Уолкер, которые правдиво отображают жизнь негров в сегодняшней Америке.

Безусловно, судьбы негритянской культуры, в конце концов, будут определяться всем ходом освободительного движения черных американцев, тем, насколько органично оно сольется с борьбой всей трудовой Америки. И, конечно, «болезни роста» — экстремизм, левизна, сепаратистские перекосы,— еще свойственные некоторым произведениям негритянского искусства, будут постепенно преодолеваться.

Б. ГИЛЕНСОН

◆

Публицистика

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

ОПОШЛЕНИЕ СВОБОДЫ

В октябре прошлого года в Англии был опубликован весьма странный, даже ошеломляющий доклад так называемого Отдела экономики здравоохранения — научно-исследовательской организации, принадлежащей крупным фармацевтическим монополиям. Доклад назывался «Лекарства, которые воздействуют на сознание» и рекомендовал ввести гораздо более свободную и открытую продажу транквилизаторов и воздействующих на психику лечебных средств в качестве замены курения и употребления алкогольных напитков. Наши журналисты-медики утверждают, что это — очередная попытка крупных компаний «продать» нам такие препараты в качестве панацеи от «социальных трудностей» и «неудовлетворенности жизнью». Другими словами, кое-какие крупные фармацевтические компании хотят поставлять свою продукцию на рынок в качестве товара широкого потребления.

Нашу современную жизнь на Западе во многом программируют так называемые «потребительские товары» — товары массового спроса. И все они должны быть нам «проданы», то есть нас нужно убедить, что они нам необходимы. Зубная паста, искусство, консервированная фасоль, религия, мыло, политика, а теперь даже и лекарства. Продать — главная забота капитализма; а что и как продается, зависит не столько от сил, управляющих рынком, сколько от того, кто контролирует данный товар и осуществляет его продажу.

В процессе «продажи» любой товар, каким бы он ни был, неминуемо покрывается густым слоем пошлости. Уровень телевизионной рекламы моющих средств, шоколада яли консервированной фасоли, как правило, достаточно высок. Но она не оставляет ни малейшего сомнения в том, что ее приспосабливают к низшему общему духовному знаменателю, к наиболее примитивным, не привыкшим самостоятельно мыслить слоям нашего общества. По воскресеньям телевидение точно так же разделывается с религией. Правда, существуют программы с «серьезными обсуждениями», и все же факт остается фактом: «продавая» нам религию, церковь не брезгует прибегать к «пошлейшим» методам поп-культуры и поп-музыки. Ко всему тому, что в дни моей юности она объявляла ухищрениями дьявола. Другими словами, наши священнослужители пользуются услугами дьявола, чтобы продавать свой товар. Но в нашем ориентированном на куплю-продажу обществе это вполне нормально.

Вред, который такой дух «продажи» уже причинил искусству, литературе, кино и театру, поистине огромен. Лет двадцать пять назад, когда молодые писатели и кинорежиссеры повели энергичную атаку на старую буржуазную мораль, и в частности на сексуальную мораль, в их произведениях присутствовала определенная социальная направленность: личность в нашем лицемерном обществе наконец-то стали «освобождать». Но постепенно буржуазия начала осознавать, что до тех пор, пока «освобождается» личность, ей нечего опасаться. Одинокая личность, пусть даже и «освобожденная», не представляет собой никакой угрозы. Буржуазия боится только личностей,

объединившихся в социальную силу, а потому она сама принялась выкликать: «Да здравствует личность!» — и сама присоединилась к требованию личной сексуальной свободы, личной свободы в искусстве, личной свободы самовыражения, личной свободы совести, личной нравственной — или безнравственной — свободы. Короче говоря, буржуазия взяла это движение под свое крылышко, ибо оно ведет к изоляции личности, к ослаблению ее как общественного фактора.

В результате личность получила искомую «свободу» поступать как ей вздумается и в отношениях полов, и в морали, и в политике, и в искусстве. Как и следовало ожидать, такое сосредоточение на «свободе» личности привело к неизбежной и последовательной деградации в отношениях полов, в морали, политике и искусстве.

Такова ситуация сегодня. Несколько лет назад появилась было надежда, что сексуальное безумие как будто приближается к спаду, что увлечение насилием в кино начинает проходить, что литература вот-вот вновь обратится к социальным проблемам. Но этого не произошло. То есть произошло, но не в такой степени, которая могла бы повлиять на общее направление английской культуры. В нашей истории еще не было времени, когда насилие в такой мере господствовало бы в искусстве, в кино, на телевидении. Сексуальная аберрация кино и и телевидения достигла того предела, за которым, по мнению многих и многих, всякие пределы вообще кончаются. Один из последних американских фильмов, показанный на кинофестивале в Канне и всячески превозносимый, повествует о тринадцатилетней проститутке. Ее роль исполняла тринадцатилетняя девочка, и настолько хорошо, что о ней уже говорят как о феноменальном явлении.

Нет смысла перечислять эксцессы, до которых доходят наши кино и телевидение. Чуть какая-то «свобода» начинает приносить кинопромышленникам прибыль, как соперничающая кинокомпания тут же переходит за ее границы в расчете погреть руки на сенсации. И в литературе мы находим такую же картину: каждая новая «сенсационная» книжонка бьет предыдущую. Литература этим далеко не исчерпывается — в ней можно назвать немало прекрасных исключений,— но тем не менее так называемая «ходкая» беллетристика свелась к ожесточенной конкуренции в попытках «продать» нам что-то еще более сексуально омерзительное, более пронизанное насилием или более болезненное, чем все предыдущее.

Мы уже свыклись с этой ситуацией. Она — часть нашей «свободы», нашей «независимости». И «продажа» нам подобной литературы составляет часть самой обычной будничной торговли. Но появляется еще один, более зловещий «товар» — теперь уже наряду с сексом и насилием ходким товаром становится сама «свобода»,— правда, товаром, не приносящим прямых прибылей, но зато отлично разрекламированным. Нас убеждают, что наши «свободы» — лучшие в мире, точно так же, как наши моющие средства, шоколад, сигареты или туалетная бумага. Нам говорят, что у нас больше личной независимости, чем у кого-либо еще, больше индивидуального права на самовыражение, больше индивидуального права вести себя как нам хочется и даже больше индивидуального права убить себя, если мы того пожелаем.

Такое коммерческое отношение к «свободе» пронизывает нашу жизнь настолько, что мы этого даже не замечаем. Например, когда ангольцы сражались против южноафриканцев и завоевателей из других стран, местные организации и агенты ЦРУ завербовали в Англии около тридцати наемников; некоторые из них, совершившие зверства, попали в плен. Их судил ангольский суд за преступления против ангольского народа. Показания, дававшиеся в суде, не оставляют никаких сомнений, что эти наемники, в большинстве бывшие английские солдаты, выехали из Англии беспрепятственно и без малейших затруднений. Более того, Стивен Седли, лондонский адвокат, который по поручению Международной комиссии присутствовал на процессе в качестве наблюдателя, привез с собой в Англию явные доказательства официального содействия отъезду наемников в Анголу.

Политически английские власти замешаны в этом совершенно несомненно, но для нас тут важнее другое: в нашем свободном обществе эти наемники имели полнейшее право поступать как им заблагорассудится. Даже в сообщениях о процессе пресса и телевидение выражали озабоченность судьбой этих ландскнехтов, а не тем, что́ они делали в Анголе. Общий тон нашей прессы показывает, что, по ее убеждению, они имели полное личное право делать то, что делали, а ангольцы не имеют права их судить. Заключение, вполне логичное для нашего запутавшегося общества — создателя мифической «личной свободы», которая практически отрицает идею какой бы то ни было социальной ответственности и общественной дисциплины.

Взять хотя бы недавний наградной список, который сэр Гарольд Вильсон подал королеве, выходя в отставку. По обычаю, английский премьер-министр, уходя в отставку, представляет к самым высоким наградам тех, кто оказал наибольшие услуги стоящей у власти политической партии. А потому мы ожидали увидеть длинный список столпов лейбористской партии, награждаемых титулами рыцаря или пэра. Однако 90 процентов из тех, кого сэр Гарольд Вильсон счел достойными столь великой чести, были законченные индивидуалисты, азартные игроки на бирже. Даже «Таймс» назвала их полной противоположностью тому, что подразумевается под «социализмом», капиталистами, «острящими зубы и когти», тиграми и дикими собаками. Они — характерный продукт нашего высоко индивидуализированного общества, идеальные индивидуалисты, высшее воплощение нашей личной «свободы».

Такова еще одна закономерная и логичная для нашего общества ситуация. Мы можем говорить, что хотим, и делать почти все, что хотим,— как отдельные личности. Но стоит нам попытаться использовать нашу свободу организованным путем, применить ее в серьезных целях — и суть вопроса о нашей свободе сразу меняется.

Недавно случилось так, что «Тейм телевижн» заказала серию телефильмов, демонстрирующих, каким образом средства массовой информации, включая газеты и телевидение, воздействуют на нашу жизнь. По мнению Питера Леннона, телевизионного критика «Санди таймс», задача этой программы заключалась в том, чтобы «помочь детям разобраться в методах промывания мозгов, к которым прибегает реклама, продемонстрировать им неизбежную предвзятость всех материалов, подготовленных в системе средств массовой информации. Один из фильмов объяснил детям — и совершенно справедливо,— что непредубежденных сообщений быть не может, что даже те, кто выбирает «нейтральную» позицию, тем самым уже выражают определенную склонность или идиосинкразию». Другими словами, методы нашей «объективной» и «свободной» прессы были разоблачены как средство заставить нас думать то, что им нужно.

Но что произошло с этой серией? Телевизионные власти ее запретили. В нашем обществе нам разрешается частным образом вопить, что такая-то газета или телевизионная компания прогнила насквозь. Но если вы попробуете показать, почему она прогнила, попробуете сообщить об этом широкой аудитории, ваша свобода вопить будет сразу же ограничена. И ваша «свобода личности» мгновенно превращается в миф.

г. Лондон

Чем больше наши средства массовой информации и власти предержащие твердят нам о нашей «личной свободе», тем больше мы утрачиваем ощущение реального смысла этого понятия, тем больше оно опошляется и превращается в ширму. Мало-помалу за этой ширмой «личной свободы» нашу истинную свободу ограничивают все жестче и жестче. Вот так фокусник заставляет нас смотреть на свою правую руку, а тем временем монетка исчезает в его левом рукаве.

Мы живем в атмосфере непрерывного подчеркивания личной свободы и индивидуальной свободы, однако оно затуманивает их подлинное значение, затуманивает тот факт, что завоеваны они были ценой долгой и тяжелой борьбы. И завоеваны они для нас не отдельными личностями, дравшимися в одиночку, а великим социальным движением, обеспечившим защиту личности от тех самых людей, которые теперь громче всех хвастают нашей «индивидуальной свободой».

Господа из фармацевтических монополий, которым хочется продавать свои препараты на открытом рынке для облегчения нашей «неудовлетворенности», действуют рука об руку с теми, кто превращает нашу свободу в пошлый обман. Примите таблетку — и вы свободны. Этот элемент нашего общества настолько силен, что его нельзя игнорировать. Кризис западного мира слишком глубок, чтобы от него можно было отмахнуться, как от шутки. Опошление идеи свободы будет чревато большой опасностью до тех пор, пока деятели наших политических партий — в частности, те, кто претендует на научность своего подхода к политике,— не поймут этого. Пока они не увидят, что стоит за этим извращением высоких понятий, нам будет неизменно угрожать потеря и той свободы, которая у нас еще есть.

Перевод с английского Г. И.

◆

К. СЕЛЕЗНЕВ

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯВ ПЕРО...

Немецкие писатели-антифашисты в годы войны

Страницы воспоминаний

В годы Великой Отечественной войны я служил в Главном Политическом Управлении РККА, в отделе (позднее — Управлении), который был призван вести пропагандистскую работу среди войск и населения противника, а также среди военнопленных. Помимо того, отдел ведал постановкой этой работы на фронте, в частях Действующей Армии. Деятельность его была многообразной, от каждого офицера она требовала не только теоретической подготовки, пропагандистского опыта и литературного мастерства, но и хорошего знания стран, ведущих войну против СССР, их языка и культуры, облика их армий. Особенно важно было хорошее знание страны главного нашего врага — фашистской Германии. Помимо политработников были привлечены специалисты-страноведы: историки, экономисты и литературоведы, художники и инженеры, а также журналисты и литераторы, хорошо знавшие немецкий язык и Германию.

Сразу после начала военных действий к нам в отдел начали прибывать захваченные нашими войсками трофеи и среди них — множество немецких газет, документов командования вермахта, личные документы солдат и офицеров. Все это надо было изучить, осмыслить, использовать для нашей пропаганды, чтобы построить ее на конкретном материале и придать, таким образом, нашим листовкам и звукопередачам бо́льшую убедительность и оперативность.

И тут нам существенную помощь оказали немецкие писатели-антифашисты, которые после захвата власти нацистами вынуждены были покинуть родину и жили в Советском Союзе в качестве политических эмигрантов. Они пришли к нам по зову сердца, не дожидаясь приглашения, считая себя мобилизованными для борьбы с нашим общим врагом — фашизмом, Гитлером.

Коммунистическая партия Германии, самая сильная из числа секций Коммунистического Интернационала, действовавших в странах капитала, имела в своих рядах видных деятелей культуры, связанных судьбой с революционным движением пролетариата. Она распространяла влияние на многих прогрессивных писателей и поэтов, художников, ученых, работников искусства. Тесное сотрудничество с Советским Союзом являлось давней традицией не только германских коммунистов, но и широких кругов прогрессивной германской общественности.

В первый же день войны, 22 июня 1941 г., Секретариат Исполко́ма Коминтерна опре-

делил задачи компартий в связи с нападением фашистской Германии на СССР и особо подчеркнул ответственность коммунистов Германии и других стран—участниц фашистского блока — за выполнение ими своего патриотического и интернационального долга — борьбы за поражение нацистской Германии в этой войне, за свержение фашистского режима в стране.

В тот же день многие немецкие политэмигранты, находившиеся в СССР, коммунисты и беспартийные, стали обращаться в бюро ЦК КПГ, в Исполком Коминтерна с просьбой направить их в ряды Красной Армии. Некоторые товарищи обращались непосредственно в военкоматы столицы, приходили туда с сыновьями, требуя отправить их вместе на фронт.

К нам тотчас же начали поступать первые пополнения из этого важного резерва. Сыновья писателей добровольно вступали в ряды сражавшейся Красной Армии и отправлялись на фронт. Сын Фридриха Вольфа, Конрад, стал армейским политработником, сын Вилли Бределя, Виктор, работал диктором окопной громкоговорящей установки («ОГУ») в 42-й армии. Ян Фогелер, сын известного немецкого художника-антифашиста, сперва был политработником одной из фронтовых частей, а после захвата немцами Крыма его перебросили в партизанскую бригаду, действовавшую там в тылу врага.

Само собой разумеется, что отцы и не думали отставать от сыновей, они также нашли свое место в строю, в борьбе против общего нашего врага.

Я хочу рассказать о деятельности немецких писателей и поэтов, с которыми мне довелось работать лично,— Эрнха Вайнерта, Иоганнеса Бехера, Фридриха Вольфа, Альфреда Куреллы, Вилли Бределя и других.

Именно эти пять названных мною товарищей — выдающихся революционных немецких писателей — были теснее всего связаны с нами в годы войны. Фридриху Вольфу тогда было уже 53 года, остальные его соратники — Эрих Вайнерт, Иоганнес Бехер, Альфред Курелла и Вилли Бредель — были моложе.

Всех их объединяло чувство ненависти к фашизму, преданность идеалам социализма, интернациональной солидарности. Но жизненные пути их сложились по-разному, в известной мере определив характер их творчества.

Вилли Бредель — потомственный рабочий, токарь из Гамбурга, старый коммунист — имел опыт пропагандистской и организаторской работы. За свою революционную деятельность он был в Германии арестован фашистами и заключен в концлагерь, но сумел вырваться оттуда и эмигрировал в СССР. В Испании он сражался в рядах борцов интернациональной бригады.

Эрих Вайнерт был в молодости драматургом, художником-графиком. В годы первой мировой войны служил в армии, был унтер-офицером. В 1918 г. основал в Лейпциге «политическое кабаре» «Реторта». Истинного расцвета творчество поэта достигло после его вступления в ряды КПГ. Он был автором множества скетчей для «агитпропгрупп» комсомола и партии, писал острые сатирические стихи, революционные песни, принесшие ему широкую известность в годы Веймарской республики. Он не только печатал свои стихи на страницах «Rote Fahne» («Красное знамя») и других коммунистических газет, но и выступал на массовых демонстрациях и митингах. Как и Бредель, он сражался в Испании.

Альфред Курелла еще в гимназические и студенческие годы был участником популярного в те годы в Германии движения «Перелетные птицы», вожаком первых организаций германского комсомола. Он участвовал в создании Коминтерна молодежи, работал в международном коммунистическом юношеском движении, в 1919 и 1921 гг. встречался с В. И. Лениным по поручению КПГ и КИМ. Став видным публицистом и писателем, А. Курелла перевел на родной язык многие произведения советской и французской научной и художественной литературы. В работавшей с нами группе немецких писателей он был, пожалуй, наиболее политически подготовленным. Чаще всего его выступления носили публицистический характер.

Врач по образованию, Фридрих Вольф был широко известным левым драматургом и писателем. Его пьесы «Цианистый калий» (1924) и «Матросы из Катарро» (1930) ставились на многих сценах Европы, а принадлежащая его перу драма «Профессор Мамлок» (1934) была переведена на многие языки, в том числе и на русский, она была неоднократно экранизирована. Сразу после захвата власти Гитлером Вольф по указанию партии перебрался в Швейцарию, а в 1934 г.— в Москву.

Иоганнес Бехер, подобно Курелле, был родом из Мюнхена. Вырос в состоятельной семье, получил блестящее образование — учился в Мюнхене, в Берлине и в Иене, где занимался философией, а также медициной. Писать стихи начал еще в юности: первая книга его стихотворений вышла в 1913 году. Позже он стал одним из замечательных лириков, выдающимся представителем экспрессионизма. Решительно порвав с родительским домом, Бехер сблизился с левой немецкой интеллигенцией, сочувственно встретил победу Октябрьской революции в России и последовательно отстаивал в своем творчестве идеи гуманизма. Весьма одаренный художник, он в ту пору стоял, пожалуй, дальше названных выше писателей и поэтов от революционного рабочего движения. В 1933 г. он эмигрировал за границу и в 1934 г. был лишен гитлеровцами германского гражданства. С 1935 г. жил в Москве и редактировал немецкое издание литературно-художествен-

---

К. СЕЛЕЗНЕВ
К ШТЫКУ ПРИРАВНЯВ ПЕРО...

ного журнала «Интернациональная литература».

Работали с нами также Адам Шаррер и Фриц Эрпенбек, Гейнц Вильман и австрийский поэт Гуго Гупперт. В первый же день войны к нам пришла Фрида Рубинер — эрудированная деятельница теоретического фронта КПГ, видная пропагандистка. Можно сказать, что революционная германская литература отдала нам тогда лучшие силы.

Лично я ближе всего соприкасался с их работой среди военнопленных, поскольку первоначально ведал этим участком. Я ведал также изучением противника и влияния нашей пропаганды и потому имел возможность следить за действенностью выступлений наших германских друзей на фронте. Что же касается их работы среди солдат на фронте, то с ней я был связан меньше. Почти не сталкивались мы с их работой на Инорадио. В моем рассказе поэтому неизбежны пробелы.

К сожалению, многих немецких писателей и поэтов, работавших вместе с нами в годы Великой Отечественной войны, уже нет в живых. Не все из них успели написать об этом знаменательном периоде в их жизни и деятельности. Известны, правда, воспоминания Эриха Вайнерта «Memento Stalingrad», вышедшие в 1951 г., а также статья Г. Вильмана «Советский народ был всегда нашим другом» [1], воспоминания Артура Пика [2] и некоторые другие публикации. Однако они далеко не исчерпывают всего, что можно и нужно рассказать. В биографических очерках о писателях и поэтах, о которых идет речь, фронтовая их деятельность освещена очень скупо либо совсем обходится молчанием. Хочу надеяться, что мои воспоминания в какой-то мере помогут восполнить пробел и представят известный интерес для читателей, а также принесут пользу исследователям, литературоведам, историкам.

«Что это за люди? Мы не узнаём немецкую молодежь!»

Это было спустя несколько дней после начала войны. Нас, группу работников Главного Политического Управления РККА, во главе с начальником нашего отдела полковым комиссаром М. И. Бурцевым, пригласили в Исполком Коминтерна к товарищу Г. М. Димитрову. На совещании присутствовали также товарищи Д. З. Мануильский, П. Тольятти, В. Пик, В. Ульбрихт, А. Паукер, М. Ракоши, Я. Шверма. Обсуждался вопрос о дополнительной помощи, которую мог бы оказать Коминтерн нашей работе. Нас попросили изложить свои нужды, на что мы единодушно ответили: «Нам нужны люди!»

Просьбу учли, и уже на другой день к нам стало прибывать пополнение — работники братских партий, в том числе и КПГ. Первым пришел один из старейших членов КПГ, активный участник пропагандистской работы партии Артур Пик, сын Вильгельма Пика. Он был зачислен в ряды Красной Армии, получил воинское звание и был назначен инструктором нашего отдела.

Еще до войны предполагалось, что в случае нападения на нашу страну Политуправления фронтов будут выпускать газеты на языке противника, которые с помощью авиации и наземных средств будут забрасываться в расположение вражеских войск. И вот уже на третий день войны такие газеты стали выходить. На Волховском фронте выпускалась газета «Soldatenfrontzeitung» («Солдатская фронтовая газета»), на Западном — «Wahrheit» («Правда»), на Брянском фронте — «Soldatenstimme» («Голос солдата»), на Юго-Западном — «Soldatenwahrheit» («Солдатская правда») и на Южном фронте — «Soldatenzeitung» («Солдатская газета»). Кадров журналистов, владевших немецким языком в совершенстве, у нас было очень мало, и газеты выходили с огорчительными погрешностями... И первое поручение, которое получили прибывшие к нам немецкие писатели и поэты, было такое: оказать помощь редакциям фронтовых газет. Поступавшие от них рукописи мы посылали редакциям. Некоторым писателям случалось выезжать на фронт, а один из них, Иоганнес Бехер, был даже назначен штатным литературным сотрудником редакции газеты Западного фронта «Wahrheit». Когда линия фронта приблизилась к Москве, то вся группа писателей, находившихся в нашем распоряжении, приняла непосредственное участие в работе по заявкам политорганов Западного фронта. На страницах газет стали появляться стихи, фельетоны, короткие рассказы, очерки.

Было бы, однако, неверно думать, что работа писателей для фронта с первых дней пошла легко, без затруднений. Трудности были, и притом значительные. Непривычна была для них прежде всего сама обстановка лихорадочной спешки, необходимость немедленно выполнять заявки фронтов. Правда, для Эриха Вайнерта и Вилли Бределя такая оперативная работа была делом более привычным, им доводилось в течение многих лет участвовать в массовой партийной агитации, выступать на митингах и демонстрациях, на фронтах в Испании.

Иначе обстояло дело, например, с И. Бехером. Он не был журналистом, не имел навыков газетной, оперативной работы. Редакция помещалась в поезде, стоявшем на запасном пути в лесу. Бехер, погруженный в глубокие раздумья, уходил, бывало, с утра в лес и бродил там в одиночестве, не замечая, как бежит время. Он брал с собой пепельницу, чтобы, как он говорил, не засорять землю. В редакции с нетерпением ждали его стихов, но он возвращался, не написав ни одной строчки, хотя

[1] „Im Kampf bewährt", B., 1969.
[2] „Die freie Welt", 1967, H., 25—31.

всем было видно, что напряженная работа его мысли ни на минуту не останавливалась.

Что же тревожило так Иоганнеса Бехера и других немецкнх писателей и поэтов, посвятивших себя делу помощи фронту? Они, как и мы, советские люди, политработники, плохо представляли себе умонастроения и психологию солдат фашистского вермахта, не могли понять, что ими движет. Немецкие товарищи, разумеется, переживали это чрезвычайно остро и глубоко. Выросшие на германской земле, всегда тесно связанные с массами, хорошо, как им казалось, знавшие настроения этих масс и психологию различных слоев немецкого народа, они, столкнувшись лицом к лицу с солдатом вермахта, были обескуражены и останавливались в недоумении, увидев хладнокровного убийцу, грабителя, насильника. Они увидели молодых немцев, слепо повинующихся преступным приказам своих военачальников, одурманенных фашистской демагогией, готовых на все ради завоевания «жизненного пространства», утверждения «превосходства нордической расы». Глядя на этих «молодчиков» — летчиков и танкистов, даже в плену не терявших своей наглости и дерзости, немецкие товарищи с недоумением восклицали:

— Что это за люди? Мы не узнаем немецкую молодежь!..

Отсюда — потрясение наших немецких друзей. Находясь в Германии, они вращались преимущественно в среде левой интеллигенции и передовых рабочих и плохо знали мир лавочников, ремесленников, люмпенов. Они не посещали собраний национал-социалистов и сборов штурмовиков, членов «Стального шлема», не видели, с помощью каких уловок и маневров, какой социальной демагогией вербовали немецкую молодежь в штурмовые отряды. Немалую роль сыграло и то, что за годы пребывания в эмиграции наши немецкие друзья сохранили в памяти прежние представления о своей стране и народе, о политической позиции различных слоев населения. Они не представляли себе масштабов и пагубных последствий многолетней дезинформации народа, влияния лживой фашистской пропаганды, разжигавшей в немецкой молодежи самые низменные инстинкты, растлевавшей ее самыми бредовыми идеями и расовыми предрассудками.

К тому же в ту пору еще не были известны факты, говорившие о том, что деморализация немецкого народа не затронула передовых его сынов, продолжавших мужественную борьбу с фашизмом. Их, правда, осталось немного, но они были и с первого дня войны усилили свое сопротивление Гитлеру в глубоком тылу. Назову только некоторые из этих фактов, теперь уже известных и представляющих большой интерес.

С момента нападения на Советский Союз активизировали борьбу подпольно действовавшие в Германии отдельные антигитлеровские группы. В Берлине действовала группа подпольщиков, руководимая Урихом, Шульце-Бойзеном, Харнаком и Зефковом. С сентября 1941 г. там начала выходить нелегальная газета «Die innere Front» («Внутренний фронт»). С октября 1941 г. в Мангейме возобновилось издание газеты «Der Vorbote» («Предвестник»). Ежемесячная газета «Nachrichtendienst» («Служба информации») осенью 1941 г. выдвинула лозунг: «Защита Советского Союза есть первая заповедь каждого социалиста». На военных заводах и в воинских частях появлялись антифашистские листовки. «Солдат, поверни винтовку! Уничтожай своих мучителей! Братайся со своими товарищами в России! Борись за свободу Германии!» — таково было содержание листовки, распространенной близ завода «И. Г. Фарбениндустри» в Премнице. По данным гестапо, в июле 1941 г. количество листовок антифашистского содержания выросло почти в восемь раз, а к октябрю — в двадцать раз. На предприятиях участились случаи саботажа.

Антифашистская борьба грозила принять еще более широкий размах, но фашисты, успевшие еще до нападения на Советский Союз создать разветвленный аппарат слежки и политического террора, нанесли по подполью тяжкие удары. 13 августа 1941 г. шеф службы безопасности Гейдрих доносил своему начальству: «В начале германо-советской войны на территории Германии и оккупированных ею областей были молниеносно арестованы все коммунистические элементы»[1]. В этом заявлении немало, конечно, хвастовства, но партия действительно понесла большие потери. Удар оказался весьма чувствительным.

Всего этого в начале войны ни мы, ни наши немецкие друзья не знали, и поэтому их так удручала встреча с фашистскими фанатиками, с одурманенными геббельсовской пропагандой солдатами вермахта.

В еще меньшей степени эмигранты-антифашисты могли реально представить себе, какое развращающее действие оказала на германский народ, особенно на личный состав вооруженных сил, серия «блестящих побед», одержанных вермахтом в первые годы второй мировой войны. Такое же влияние оказали и успехи, достигнутые немецко-фашистской армией в первые месяцы войны на советско-германском фронте, хотя это уже была отнюдь не «военная прогулка».

Надо было на ходу перестраиваться, отыскивать новые слова и аргументы, чтобы наши обращения и призывы были более убедительными и доходчивыми. Не сразу произошла эта перестройка, не скоро был найден нужный тон и наиболее действенные пропагандистские аргументы, ибо трагические перемены в облике немецкого народа лишь угадывались, а надо было их по-

[1] Цит. по: В. Блейер, К. Дрекслер, Г. Ферстер, Г. Хасс. Германия во второй мировой войне (1939—1945), М., 1971, стр. 138—139.

К. СЕЛЕЗНЕВ
К ШТЫКУ ПРИРАВНЯВ ПЕРО...

нять и осмыслить. Хочу в этой связи напомнить, что даже секретарь ЦК КПГ Вальтер Ульбрихт, располагавший наиболее обширной информацией о положении в Германии, почувствовал себя в трудном положении перед лицом новых фактов. Об этом он сам рассказывает в своих воспоминаниях; о том же он не раз говорил и мне. Вскоре после начала войны он выступал перед преподавателями и слушателями Военной академии им. М. В. Фрунзе, которым он не смог объяснить, почему рабочий класс в стране Маркса и Энгельса, во главе которого стояла партия Тельмана, не сумел добиться единства своих рядов и остановить Гитлера, не допустить его нападения на Советский Союз.

Немецкая антифашистская эмиграция верила, что рабочий класс Германии не подчинится преступным приказам Гитлера. Старая немецкая коммунистка Фрида Рубинер, пришедшая на работу в наш отдел, начала свою первую листовку, обращенную к немецким солдатам, такими словами: «Стой! Здесь страна рабочих и крестьян!» Помню, нам эта листовка показалась очень убедительной и ее немедленно распространили на фронте. Однако опрос военнопленных показал, что солдаты вермахта остались к ней равнодушны...

То же произошло с изданной нами иллюстрированной открыткой «Heil Beil!» («Да здравствует топор палача!»). На ней был изображен Гитлер, с упоением рубящий головы немцам — борцам против фашизма. И снова опрос военнопленных показал, что наша пропаганда отскакивала от их сознания как от стенки горох. Солдаты вермахта, оказывается, ничего не слышали о борцах-антифашистах, Гитлер же для них представал в ореоле спасителя и вождя нации.

Как-то раз я провел в одном лагере для военнопленных анонимную анкету, с помощью которой хотел узнать, какие листовки «дошли», а какие нет и почему. Каждому пленному выдали пачку листовок, которые он должен был прочитать и ответить на заданные вопросы. С полным одобрением отозвались о наших листовках лишь немногие — это были сознательные рабочие, коммунисты-перебежчики, давние друзья СССР. Их агитировать, в сущности, и не надо было, они и без того были противниками Гитлера и развязанной им войны. Но их было тогда немного.

Разумеется, мы должны были с самого начала провозглашать свои идеи открыто, не смущаясь тем, что на первых порах они как бы наталкивались на глухую стену и наша апелляция к классовому сознанию немецких рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели, тогда еще не встречала понимания. Но, выдвигая лозунги *действия*, нам следовало трезво учитывать уровень солдатской массы. Призывы, например, к созданию солдатских комитетов не находили отклика.

Главная задача нашей пропаганды состояла в том, чтобы воздействовать на массу, на миллионы, переубедить одурманенных — тех, кто был основательно заражен нацистской идеологией, или хотя бы поколебать их устойчивость, посеять в их умах сомнение в возможности победить Советскую страну. Но и эта задача была, однако, нелегкой. Поэтому самым насущным делом стало для нас и для немецких писателей и поэтов, работавших вместе с нами, постичь «душу» рядового солдата вермахта.

Наши немецкие друзья, как и мы, использовали малейшую возможность заглянуть в эту «душу» поглубже. Мы изучали сами трофейную гражданскую и военную прессу, приказы, письма и дневники и предоставляли возможность знакомиться с ними и нашим зарубежным друзьям. Выезжая на различные участки фронта, подолгу беседуя со «свежими», только что взятыми в плен, еще не пришедшими в себя солдатами, терпеливо читая трофейные письма и дневники, они постепенно убеждались в том, что политико-моральное состояние войск противника — величина непостоянная и неоднозначная. Она была неодинакова у молодых и у семейных, у солдат разных родов войск на разных участках фронта; она была разной до боя и после него, зависев от его исхода, от сложившейся на данном участке боевой обстановки. Нельзя было сбрасывать со счетов и пропаганду, которую вели в среде своих войск фашисты с помощью ротных «бесед», солдатских газет, кинофильмов и радиопередач. Пришлось самым внимательным образом изучать содержание и методы идеологической обработки личного состава войск вермахта, ее аргументы, улавливать изменения в ней. Писателям и поэтам изучение трофеев, этих «человеческих документов», давало возможность глубже познавать судьбы людей, их психологию, вскрывать реальные жизненные конфликты тогдашней Германии.

Уязвимые места в «моральной броне» противника

Понадобилось время, и немалое, чтобы немецкие писатели и поэты, как и мы, армейские политработники, научились нащупывать самые «узкие» места в «моральной броне» солдат противника. Они постепенно овладевали искусством выбирать для своих выступлений наиболее точные, «разящие» темы, разрабатывать аргументы, способные дойти до сознания оболваненных и отвыкших самостоятельно мыслить гитлеровских солдат. Вместе с тем возросло и пропагандистское мастерство немецких поэтов и писателей. Их стихи и рассказы, фельетоны и очерки, написанные на живом и конкретном материале, становились все более безупречными по мысли, совершенными по стилю. Авторы обращались к адресату, которого знали гораздо лучше, чем прежде.

Выступления немецких писателей и поэтов стали заметно эффективнее, приносили все более ощутимый результат.

Видоизменялись и формы нашей работы. Довольно скоро выяснилось, что, например, газеты, созданные в первые дни войны, в сложившихся конкретных условиях оказались неоперативной и непрактичной формой печатной пропаганды, не позволявшей быстро, без задержек реагировать на изменения военной обстановки. Газеты почти не имели, разумеется, «корреспонденций» от своих читателей, находящихся по ту сторону линии фронта. Да и формат практически не позволял разбрасывать их с воздуха. Их трудно было читать в окопе, не попавшись на глаза унтер-офицеру или фельдфебелю, не было у них читателей и в прифронтовом тылу.

Наиболее подходящей формой печатной пропаганды среди солдат противника оказалась листовка. Правда, это был и наиболее трудный жанр; написать короткую листовку не легче, а сложнее, чем статью, очерк или фельетон для газеты — при предельной лаконичности здесь требуется предельная целеустремленность, четкость структуры, «однотемность», отточенное литературное мастерство.

В октябре 1942 г. издание газет на немецком языке было прекращено. Это не значит, конечно, что опыт издания газет прошел бесследно. Они сыграли свою, и немалую, роль. Они явились первым каналом фронтовой пропаганды. В ходе их издания сложились и приобрели опыт журналистские кадры. В конце войны, когда военные действия переместились на территорию Германии, этот вид пропаганды оказался весьма эффективным в работе среди населения.

Политорганы перешли повсеместно к изданию листовок. Выпускались также «информационные листки» в виде миниатюрных тематических газет: целыми сериями выходили «Известия с фронта», «Международная информация», «Что происходит на родине?», «Правда об СССР» и «Как живут военнопленные в Советском Союзе». Однако главной стала *тематическая* листовка. Важнейшие из таких листовок были посвящены крупным военно-политическим темам и распространялись на всем протяжении советско-германского фронта, от Белого моря до Черного, а также на морских базах противника. Кроме того, издавались и так называемые «оперативные» листовки, посвященные положению на том или ином участке фронта или даже в определенном соединении и части и обращенные к солдатам этого соединения, части и даже подразделения.

Нередко литературный текст сопровождался рисунком, фотографией, остроумной карикатурой. Такие листовки бросались в глаза, они действовали не только на разум солдата, но и на его чувства.

Над каждой листовкой приходилось работать много и упорно. Еще в 1915 г. В. И. Ленин, сам блестящий публицист, писал, что «...листовки — вещь очень ответственная и из всех видов литературы *самая* трудная. Поэтому обдумывать тщательнее и совещаться коллективно необходимо»[1]. Речь шла о листовках, с которыми большевики обращались к рабочим и солдатам России, то есть к аудитории, привыкшей с доверием относиться к партии. Сколько же труда и искусства требовала листовка, адресованная человеку предубежденному, настроенному к ней недоверчиво и враждебно!

За годы войны Главное Политуправление РККА выпустило более 2,5 тысячи наименований листовок, а политорганы Действующей Армии — более 20 тысяч названий. К сожалению, полной коллекции выпущенных образцов не существует, и поэтому трудно установить, какая часть из них была написана немецкими писателями. Конечно, в общей массе агитационных документов, изданных политорганами РККА в годы войны на немецком языке, листовки, принадлежащие перу немецких писателей, составляли сравнительно небольшую долю. Но многочисленные опросы военнопленных неоднократно подтверждали, что самое сильное впечатление на них производили, помимо документов советского командования, листовки, написанные в художественной форме, они буквально врезались в память. Такие листовки создавали наши немецкие товарищи, писатели и поэты. Особенно действенной, получившей широкую известность среди солдат противника оказалась листовка «Мертвые говорят живым». Она была написана в апреле 1943 г. и посвящалась урокам Сталинградской битвы.

Содержание листовок, созданных немецкими писателями, определялось основными идеями, пронизывавшими всю нашу пропаганду среди войск противника: разоблачение несправедливого характера войны, развязанной фашизмом, противопоставление ему возвышенной цели войны, которую ведет Советский Союз, показ роста сил СССР и мощи его вооруженных сил и всей антигитлеровской коалиции, их растущего превосходства над фашистским вермахтом, показ успехов движения Сопротивления в оккупированных Германией странах и на временно захваченных гитлеровцами территориях, разоблачение внутренней непрочности фашистского строя и всего фашистского блока, антинародной сущности фашистского режима, пропаганда правды о Советском Союзе, рассказ об источниках его могущества, единстве фронта и тыла. Пропаганда устрашала вражеские войска неудачами, какие они терпели на советско-германском фронте, огромными потерями, которые они несли, мощью советских войск на фронте и неистощимыми их резервами в тылу, индустриальным потенциалом Совет-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, стр. 155.

ской страны. Солдатам вермахта подсказывался путь выхода из войны — капитуляция целых частей и добровольная сдача в плен группами и в одиночку.

По-разному доносили авторы листовок эти идеи до солдат вермахта. Широко использовались неопровержимые факты действительности, отчасти уже известные солдатам вермахта, и из них извлекались неумолимые логические выводы. Приводились примеры из истории войн, предостережения немецких военных авторитетов против военных действий в бескрайних просторах России, против войны на два фронта. Немалую роль играло и использование юмора и сатиры, в том числе уже ходивших в среде солдат горьких и язвительных шуток, направленных не только против бездарных командиров, но и против правящей гитлеровской клики.

Воздействуя на сентиментальные настроения солдат вермахта, на такие чувства, как боязнь смерти, тоска по дому, беспокойство за судьбу родных в тылу, ревность, наша пропаганда также подтачивала тем самым их боевой дух. Не имея справедливой, возвышенной цели в этой войне, фашистский солдат не в силах был устоять перед тяжкими испытаниями, каким она его подвергала, перед грозной мощью огня, перед страхом смерти.

Авторы листовок не ограничивались подробным разъяснением перечисленных выше главных положений. Они указывали немецким солдатам путь к спасению, выходу из войны, призывая бороться против гитлеровской клики, не выполнять гибельные приказы командования, складывать оружие и капитулировать.

Одна из главных наших задач состояла в том, чтобы побудить солдат противника к добровольной сдаче в плен. Листовки рассказывали о том, как живут немецкие офицеры и солдаты в плену, и с помощью убедительных фактов, доводов и фотографий ослабляли чувство страха перед участью в плену, какое настойчиво внушала солдатам гитлеровская пропаганда. Немецкие писатели принимали участие в разработке аргументации и текстов листовок, прежде всего нацеленных на разоблачение фашистского строя, в «сентиментальной» пропаганде, в сатирических выступлениях и в создании листовок, рассчитанных на преодоление страха перед советским пленом.

В моменты затишья между боями они выезжали на передний край и, чаще всего на рассвете, выступали перед микрофонами «МГУ» и «ОГУ» звуковещательных станций (мощных окопных громкоговорящих установок), а то и с помощью мегафонов и обычных рупоров, расположившись как можно ближе к окопам противника.

Они писали также тексты программ для звуковещания, которые затем нами размножались и рассылались для дикторов на все участки фронта.

Особенно часто выступали на передовых позициях, лежа с микрофоном в руках, Эрих Вайнерт и Вилли Бредель. Оба они имели за плечами опыт боев в Испании, а Вайнерт, кроме того, испытал все горести солдатской жизни в годы первой империалистической войны. Сохранились фотографии, запечатлевшие эти их выступления на переднем крае, но тексты их коротких, взволнованных обращений к обманутым соотечественникам, вероятно, не уцелели, а может быть, и не были записаны. Вальтер Ульбрихт, Эрих Вайнерт и Вилли Бредель вели устную и печатную пропаганду на Сталинградском и Донском фронтах в конце 1942 и в начале 1943 года.

Мастер политической поэзии

Большой, неоценимый вклад внесли немецкие писатели и поэты в печатную пропаганду на фронте. Особенно существенной оказалась в нем доля Эриха Вайнерта. Мастер политической поэзии, пламенный и гневный сатирик, народный трибун, он будто волею судьбы был предназначен на роль глашатая суровой правды, для работы в самом пекле войны, под грохотом разрывавшихся бомб и снарядов. Он был подготовлен к такой работе многолетней деятельностью в рабочих центрах Германии, активным участием в классовых схватках и мощных массовых демонстрациях.

За два первых года войны Эрих Вайнерт написал так много стихов, столько рассказов, воззваний и обращений, что их анализу стоило бы посвятить специальное исследование. У солдат вермахта собиралась целая коллекция его стихотворений, которую они порой хранили, многим при этом рискуя. Наиболее известными стали стихотворения Эриха Вайнера «Родина зовет», «Присяга», «Ни одного выстрела более, солдат!», «Ворота в жизнь открыты», «За какую Германию?»[1].

Поэт создал цикл маленьких листовок, «сентиментальных» по тону и глубоких по смыслу, прекрасно учитывавших психологию солдата в окопах. Одна из таких листовок называлась «Подумай о своем ребенке!». Привожу ее текст полностью[2]:

Есть у тебя дитя!
Подумай же о нем!
И пусть твоя душа от боли содрогнется.
...Настойчивей и горше
С каждым днем звучит вопрос:
«Когда отец вернется?»

Есть у тебя дитя!
И как оно грустит!
И ты ему всегда
Ночами снишься.
Что будет с ним

[1] См. их подборку в книге: „Zur Geschichte der deutschen antifaschistischen Wiederstandsbewegung 1933-1945". Eine Auswahl von Materialien, Berichten und Dokumenten. B., 1957.

[2] Перевод этого и последующих стихотворений, цитируемых в статье, выполнен Ириной Грицковой. *(Прим. ред.)*

И кто его взрастит,
Коль ты с войны
Живым не возвратишься?

Как радовался сын,
Как улыбалась дочь—
Твоим теплом,
Заботою согреты.

Теперь они вздыхают
День и ночь:
«Скорей вернись, отец!
Но где ты? Где ты?»

Подумай же о них,
Или в конце концов
Придется им потом
Тебя всю жизнь стыдиться:
«Сражался наш отец за подлецов
И кровью должен был
За это поплатиться».

Коль ты взаправду
Любящий отец,
Не можешь причинять
Ты детям боль и горе.
Подумай же о них!
Опомнись наконец!
Коричневой чуме конец настанет вскоре!

Развеян будет в прах
Фашистский гнет.
Свободно наша родина вздохнет.
Так сделай первый шаг!
Ты слышишь стоны эти:
«Вернись живым, отец!»
К тебе взывают дети!

На обратной стороне листовки напечатан фотомонтаж: над телами погибших солдат плачет ребенок, восклицая: «Отец мой убит!» Под монтажом подпись: «В этом повинен Гитлер! Он сделал это!» Написанное со страстью и болью, стихотворение это не могло оставить равнодушным даже самого обольваненного солдата, особенно если он в самом деле оставил дома жену и детей. Листовка не в лоб, а как бы исподволь внушает такому солдату мысль, что, только выйдя из войны и сдавшись в плен, он сохранит себя для своей семьи.

Листовка эта неоднократно переиздавалась на протяжении всей войны.

В том же ключе была написана Эрихом Вайнертом листовка, озаглавленная «Кто в силах смотреть на такое?». Вот ее текст:

Неужто этот страшный крик
Ребенка, что один остался,
В твое сознанье не ворвался
И пред тобою не возник
Твой собственный, родной малютка-сын,
Который горько плачет: «Я один!»?

Неужто этот страшный плач
Не заставлял тебя ни разу
Подумать, по чьему приказу
Ты сам — грабитель и палач.
И на кого оставил ты семью?
Зачем, за что погибнешь ты в бою?

Настанет час, и ты поймешь,
Что обольвален и обманут,
В войну неправедную втянут,
Живым с которой не уйдешь.
Ты кровь свою прольешь за подлецов
Тех, что пируют в роскоши дворцов.

Да неужели ты и впредь
За них, что скаредны и лживы,
В угоду им, для их наживы
Готов послушно умереть?
Ступай назад, не то сынишка твой
Заплачет горько, ставши сиротой.

В этом стихотворении поэт с большим мастерством, тонко и логично тему семейного, личного счастья и благополучия увязывает с политическими выводами, он апеллирует не только к чувству солдата, но и к его разуму, убедительно доказывая, что его жизнь приносится в жертву не во имя счастья его семьи, а в угоду грабителям, которые купаются в роскоши и заставляют ради собственного благополучия и наживы проливать моря солдатской крови.

Солдаты, несомненно, задумывались над такими стихами. Об этом говорит тот факт, что в карманах убитых, среди их бумаг и писем находились и эти листовки.

В качестве еще одного примера мастерства Эриха Вайнерта как автора политических памфлетов, его неутомимого и вдохновенного творчества мне хотелось бы привести листовку, в которой поэт с беспощадной силой обличает главаря фашистской шайки—Адольфа Гитлера, развенчивает его и обвиняет в гибели миллионов людей, сыновей и отцов, сложивших головы на чужих землях, вдали от родины. Стихотворение так и называется «Я обвиняю!». В нем слышится голос одного из павших в бою, солдата, выступившего от имени тех, кто уже не вернется домой:

Мой крик не заглушит рев канонад.
От имени мертвых немецких солдат,
Которые в затхлых могилах лежат,
Которым домой не вернуться назад,

Я обвиняю
Злейшего изверга и подлеца,
Имя которого ГИТЛЕР!

Убийца,
Разбойник,
Насильник и вор —
На родину нашу навлек он позор!
Предал ее!
Запятнал ее честь.
И всех злодеяний его не счесть.
Ублюдок, выродок и шут,
На смерть наметил он нам маршрут.
Руки его
По локоть в крови.
Я ОБВИНЯЮ ГИТЛЕРА!

Он опорочил нашу страну.
Он развязал мировую войну.
Я обвиняю его!

Итак, о чем тут еще разговор?
Ему приговор.
И требую лишь одного:
Во имя всех немцев —
УБЕЙТЕ ЕГО!

На обороте листовки был помещен рисунок — немецкий солдат на поле боя кричит исступленно: «Я обвиняю Гитлера!» Полной уверенности в том, что такой лобовой удар по Гитлеру повлияет на солдат вермахта, разумеется, не было. Имелась, однако, надежда, что в умах думающих и колеблющихся он может посеять сомнение, дать пищу для размышлений, заставить потускнеть ореол, который окружал имя фюрера. Капля, как говорится, камень точит. А перед нами был отнюдь не камень.

Как уже упоминалось, в декабре 1942 г. Эрих Вайнерт вместе с Вальтером Ульбрихтом и Вилли Бределем находились на Сталин-

---

К. СЕЛЕЗНЕВ
К ШТЫКУ ПРИРАВНЯВ ПЕРО...

градском фронте, где принимали участие в пропаганде среди солдат окруженной 6-й армии, которой командовал фельдмаршал Паулюс. Положение солдат этой армии было безвыходным, они были обречены, но, слепо повинуясь приказам и посулам, продолжали цепляться за свои позиции. На этот раз Эрих Вайнерт решил обратиться к окруженным с призывом не в стихах, а в прозе. Проза поэта была такой же доходчивой и страстной, как и стихи его,— она подкупала своим доверительным тоном, ясностью мысли и аргументов, умением «войти в положение», как бы побывать самому в шкуре солдата, взглянуть на ситуацию его глазами. Листовка, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы привести ее полностью в переводе на русский язык:

К СОЛДАТАМ ОКРУЖЕННЫХ ДИВИЗИЙ

«Я нахожусь перед вами в блиндаже у русских. Я такой же немец, как и вы. Но я не военнопленный. Я — свободный немец и могу говорить то, что думаю. А вы этого сделать не можете. Рядом со мной сидят несколько бывших солдат вермахта: им война настолько надоела, что они добровольно сдались в плен к русским. И лишь сейчас, когда им представилась возможность говорить со своим соотечественником совершенно свободно, непринужденно, им стало ясно: гитлеровская война — грязное и дурное дело. И тот, кто выберется из нее целым и невредимым, должен будет благодарить бога.

Теперь, осознав совершенно отчетливо, что война, затеянная Гитлером, будет наверняка проиграна, они вновь загрустили и задают себе естественный вопрос: что же будет теперь с Германией?

Да, этот вопрос волнует всех нас до крайности. Вы боитесь, что повторится 1918 год. А возможно, будет еще хуже? Все это может произойти только в том случае, если наш народ позволит событиям и дальше развиваться так, как сейчас.

Почему нам было так плохо в 1918 году? Потому что сам народ не взял в свои руки власть и позволил управлять собой тем же, кто тогда развязал войну и наживался на ней.

Те же самые враги народа и теперь наживаются на его страданиях. Им понадобилась эта война, чтобы грабить не только Германию, но и всю Европу. Они и сегодня льют кровь нашего народа. И этих жирных стервятников — Круппа, Феглера, Рехлинга и других — Гитлер называет сегодня «фольксгеноссен» [1].

Я никогда не думал, что наш народ позволит вторично обмануть себя!

Счастье Германии зависит от воли и решимости самого нашего народа раз и навсегда покончить с паразитами и их коричневой охранной гвардией. Как и вы, я хочу вернуться в свободную и чистую Германию, в которой наш народ станет хозяином, когда ни внутренние, ни внешние враги не смогут вмешиваться в наши дела. Однако такую Германию надо еще завоевать. Первый шаг к этому должны сделать вы. Вы должны покончить с нынешней пагубной войной, уже поглотившей миллионы немцев. Но чем дольше вы воюете, тем труднее будет убедить мир, что наш народ не заслуживает того презрения, которое навлек на него Гитлер...

Я часто слышу теперь от наших товарищей, оказавшихся в плену, такой вопрос: «Что может сделать одиночка? Они каждого, кто выступит против, поставят к стенке!»

Да, черт возьми! Но таких одиночек насчитываются сотни, они думают точно так же. Тысячу раз они доказали свое мужество и смелость в бою против танков и пушек. Среди них найдутся и такие, которым хватит смелости подать сигнал к совместным действиям, чтобы расправиться со всеми вашими палачами и шпиками. Из котла Сталинграда никто не уйдет живым, если вовремя не сложит оружия! Помощи не ждите! Здесь вы можете помочь себе сами! А это будет означать: спасти жизнь десяткам тысяч немцев для Германии.

Вы обязаны сделать это во имя нашего народа, ради ваших матерей, жен и детей!»

Нетрудно представить себе, какое моральное воздействие могли оказать на солдат эти откровенные, беспощадно правдивые слова хорошо им известного немецкого поэта.

В том же 1942 году Вайнерт написал полные сарказма стихи «Каннибал-вегетарианец, или Две стороны медали» и «Сказки Геббельса из 1001 ночи».

В карманах оставшихся на поле боя гитлеровских солдат мы продолжали обнаруживать среди личных документов и дневников записи анекдотов, сатирических стихов и загадок, проникнутых оппозиционным духом и выписанных из распространявшихся нами листовок или услышанных в тылу во время отпуска. Вайнерт очень интересовался такими солдатскими выписками и записями — солдатским фольклором.

Одну из таких записей — песенку «О десяти маленьких критиканах и их печальной судьбе» — поэт переделал на свой лад, придав ей более острый полемический характер и отчетливую антигитлеровскую трактовку. Она была издана отдельной листовкой и иллюстрирована фотомонтажом: Гиммлер на фоне гигантской тюрьмы, по форме своей (в плане) напоминающей свастику.

Язвительное восьмистишие Эрих Вайнерт посвятил «уткам» Геббельса. Оно было помещено в листовке под карикатурой, изображавшей Геббельса, выступающего перед микрофоном, из которого целой стаей, одна за другой, вылетают утки.

[1] Соплеменники, собратья *(нем.)*.

Наступало рождество 1942 года—особенно чтимый у немцев праздник. По этому поводу Эрих Вайнерт написал в стихах «письмо жены», якобы отправленное солдату на фронт полевой почтой. Оно напоминало мужу о приближении праздника и обвиняло его в малодушии, в боязни предстать перед полевым судом, намекая на возможность спасти свою жизнь дезертирством и сдачей в плен русским. Стихотворение называлось «Обвинение» и в трогательных, берущих за душу словах оно напоминало солдатам о традиционном празднике, когда вся семья собирается у нарядной елки, радуясь подаркам, преподнесенным друг другу.

Листовка с этими стихами была издана большим тиражом. На обороте ее был помещен рисунок, изображавший одиноко грустящую женщину, замерзающего в снегу солдата и еловую ветку с горящей свечой.

А к новому, 1943 году были выпущены свежие листовки со стихами Эриха Вайнерта: в одной из них говорилось о судьбе солдата, вернувшегося домой калекой, в другой—тяжело раненный солдат пишет предсмертное письмо жене, в третьей рассказывается о солдате, решившем сдаться в плен и уверенном, что вернется к семье живым и невредимым. Недостаток места не позволяет привести все эти стихи полностью, но одно из них — о солдате, уходившем на фронт здоровым и веселым, а вернувшемся к родному пепелищу на костылях,— мне бы хотелось все же процитировать:

Торопясь на фронт, уходил солдат...
Целовал детей и жену.
А когда калекой пришел назад,
Не узнал свою сторону.

Лишь зола кругом, адский дым и чад.
«Где же дети мои, где жена?»
...Торопясь на фронт, уходил солдат.
...Обманула его война.

Сила воздействия этих стихов на солдат определялась и тем, что они, собственно говоря, были тонкой и умной перефразировкой широко известной народной песни. Уже одно это вызывало в солдате особое душевное волнение, воспоминания о семье и доме, заставляло задуматься о том, что в самом деле ждет его впереди. Накануне нового, 1943 года у него уже были основания об этом задуматься, был собственный горький опыт, опыт тех, кто возвращался без ног, без рук к разрушенному дому, и тех, кто уже никогда не вернется...

После битвы на Волге

К великому моему сожалению, среди бумаг и документов, накопившихся в моем архиве, почти не сохранилось листовок, написанных Вилли Бределем, который работал вместе с рядом других немецких товарищей на Сталинградском фронте. Между тем он написал, помнится, немало интересных по содержанию и удачных по форме листовок. Одну из них, написанную 12 декабря 1942 года и подписанную всеми тремя участниками немецкой фронтовой бригады — Вальтером Ульбрихтом, Эрихом Вайнертом и Вилли Бределем, мне все же удалось обнаружить. Она также была обращена к солдатам вермахта, окруженным под Сталинградом и находившимся в отчаянном положении.

Как и все другие листовки, она указывала немецким солдатам единственно разумный и правильный путь к спасению своих жизней — сдачу в русский плен. Главный аргумент: этот шаг позволит сохранить себя для семьи, для родины, для ее нового будущего.

Вилли Бредель активно сотрудничал в 1942—1943 гг. в газете для военнопленных (о ней — ниже) и опубликовал на ее страницах много произведений в самых различных жанрах — рассказов, очерков, фельетонов. Исследователю творчества писателя стоит поработать над этим богатым материалом.

Несколько подробнее хочется остановиться на работе в годы войны Альфреда Курелы — литератора, революционера, крупного партийного деятеля. Он был в числе постоянных сотрудников нашего «редакционно-издательского отделения», в дальнейшем — Отдела пропаганды на Германию, участвовал и редактировании множества листовок и в подготовке текстов передач, предназначенных для вещания на переднем крае. Он и сам написал немало хороших листовок, глубоких по содержанию и блестящих по форме. Так, им были написаны изданные летом 1942 года саркастические антигитлеровские стихи «Драгоценная жидкость Майкопа» (о нефти и о пролитой ради нее крови).

Всем нам, работавшим вместе с ним, надолго запомнилась листовка, написанная по свежим следам великой битвы на Волге, где, как известно, из 331 тысячи окруженных солдат 240 тысяч погибло, а 91 тысяча человек сдалась в плен. Об этой крупнейшей катастрофе вермахта надо было рассказать солдатам противника на всех фронтах. Это было тем более важно, что геббельсовская пропаганда долго скрывала от армии и народа правду о том, что произошло на берегах Волги. Необходимо было помочь солдатам и офицерам вермахта сделать выводы, извлечь уроки из катастрофы, постигшей армию фельдмаршала Паулюса.

Задача эта была не из легких. Особенно важно было найти емкую и острую форму, чтобы правда о битве на Волге воздействовала не только на разум, но и на чувства солдат. Шли поиски подходящей художественной формы, приема для листовки, которая была бы доходчива, лаконична и впечатляла своей необычностью.

К. СЕЛЕЗНЕВ
К ШТЫКУ ПРИРАВНЯВ ПЕРО...

Был проведен своеобразный «конкурс» среди наших литераторов на лучший вариант такой листовки, в который включились и немецкие товарищи — писатели, поэты, опытные пропагандисты. Победителем оказался Альфред Курелла, его вариант листовки был всеми признан наилучшим. Листовка называлась «Мертвые говорят живым». К солдатам вермахта обращались «тени Сталинграда», те, кто остался навеки лежать в снегах, на подступах к городу, кто был погребен под его развалинами. Вот полный текст этой листовки в русском переводе:

МЕРТВЫЕ ГОВОРЯТ ЖИВЫМ

«Где бы вы ни были, сотоварищи, в доте или в блиндаже, на отдыхе или на посту, днем и ночью мы —

ТЕНИ СТАЛИНГРАДА —

следуем за вами по пятам.

Нас было 240 тысяч! 240 тысяч таких же солдат, как и вы. Теперь мы в могиле. Но и здесь нет нам покоя. Бессмысленна была наша смерть. Придайте же ей последний смысл — выслушайте наше предостережение и запомните его:

НЕ ВЕРЬТЕ ТОМУ, ЧЕМУ ВЕРИЛИ МЫ!

Мы верили, переходя летом 1942 года в наступление: русские настолько ослаблены предыдущими боями, что нас наверняка ждет победа. Но Красная Армия развернула огромные резервы, о существовании которых мы и не предполагали. Каждый километр нашего продвижения был густо полит немецкой кровью. А потом нас погнали назад, и мы понесли еще большие потери.

Не верьте же, если вам говорят теперь, что зимнее наступление русских истощило их силы. Летом 1943 года вам предстоит пережить еще более ужасные неожиданности, чем те, которые пережили мы прошлым летом.

Мы верили, пробиваясь летом 1942 года через донские степи, что если мы, не считаясь ни с чем, напряжем силы, то борьба будет короткой. Но наши усилия лишь затянули войну до ужасной зимы.

Не верьте же, если вам говорят теперь: «Тотальная война — это самая короткая война!» Проигранная война затянется для вас, как и для исстрадавшейся нашей родины, лишь на новые месяцы, но победы вам все равно не видать.

Мы верили, ожесточенно сражаясь и держась в сталинградском котле, что наша жертва якобы может спасти Восточный фронт. Но, несмотря на наши жертвы, Гитлер потерял все и даже больше того, что было нами завоевано летом 1942 года.

Не верьте же, что новые жертвы, которых требуют от вас, могут спасти Восточный фронт. Поражение Гитлера предопределено, и ваша смерть тут не поможет.

ВЕРЬТЕ ЖЕ ТОМУ, ЧЕМУ НЕ ВЕРИЛИ МЫ!

Мы не верили, когда наши товарищи, попавшие в плен, сообщали, что русские оставили их в живых и хорошо обращаются с ними. Это неверие стоило нам жизни. А наш главнокомандующий генерал-фельдмаршал Паулюс вместе с 23 генералами и 2500 офицерами в последний момент сдался в плен. 90 тысяч наших счастливых товарищей находятся сейчас вместе с ними в безопасности в русском плену. Теперь вы слышите призыв с той стороны: «Плен — ваше спасение!»

ВЕРЬТЕ ЭТОМУ, ТОВАРИЩИ!

Мы не верили, когда внутренний голос нашептывал нам: «Один Гитлер виноват в этой злосчастной войне! Это он хотел ее, это он хочет нашей смерти!» Наше неверие стоило нам жизни. Но Сталинград изобличил Гитлера как врага Германии, а его стратегия — это невежество и авантюризм, приведшие нас в могилу. И вам внутренний голос говорит: «Освобождайтесь от Гитлера, и война кончится!»

ВЕРЬТЕ ЭТОМУ ГОЛОСУ, ТОВАРИЩИ!

Так говорят вам тени Сталинграда».

На лицевой стороне этой листовки был нарисован солдат, который, как призрак, парит в ночном небе над группой солдат вермахта, пробирающихся сквозь проволочное заграждение.

Как агитационный документ эта листовка заслуживает пристального изучения. Она написана с большим мастерством человеком, имевшим за плечами большой опыт работы в массах, опыт пропагандиста и агитатора. Ее пронизывает одна главная мысль, и эта мысль служит стержнем листовки. Апеллируя к фронтовому опыту каждого солдата, она настойчиво и в высшей мере убедительно буквально «вколачивает» в сознание читателя главную мысль, выстраивая отдельные, хорошо известные ему факты в четкий логический ряд, в цепь неопровержимых доводов. Она написана простым и ясным языком и сразу привлекает к себе внимание необычным, несколько «мистическим» зачином. Начав читать такую листовку, солдат не выбросит ее, а перечитает не один раз. В этом мы убедились, когда разговаривали с пленными: редко попадался солдат, который не знал бы о ней.

«Советы врача»

Активное участие в печатной пропаганде среди войск противника принимал и старейший из этих писателей, врач по образованию, Фридрих Вольф — автор многих обличительных пьес, направлявший свои удары по фашистской идеологии, по расистским воззрениям. Уже в самом начале войны он написал воззвание «Немецкий солдат!

Соотечественник!». Оно было напечатано в виде факсимиле — написанного от руки текста — привычным для старшего поколения немцев готическими знаками. Писатель обращался к уроженцам Рейнской области, откуда он был родом, и советовал им всеми способами уклоняться от участия в войне.

Фридрих Вольф был большим выдумщиком и все время искал новые, оригинальные формы разговора с солдатами вермахта. Им была, например, написана серия небольших драматических сценок, в которых участвовали два солдата — рассудительный Финк и недоверчивый скептик Флидербуш. Они разговаривали языком простолюдинов, пересыпая свою речь идиомами и прибаутками. Обсуждая проблемы мировой политики и ход войны, они приходили к выводам, прямо противоположным тем, какие пыталась внушить солдатам геббельсовская пропаганда. Всего было издано восемь листовок с текстом бесед Финка и Флидербуша, ставших весьма популярными среди солдат вермахта.

Придумки Фридриха Вольфа всегда были интересными, но одна из них оказалась особенно действенной и обрела необычную судьбу. В беседах с военнопленными писатель уловил любопытную деталь: страшась советского огня, многие немецкие солдаты норовили под любым предлогом улизнуть перед боем с передовой в тыл и, симулируя какую-нибудь болезнь, попасть в госпиталь. Врачи подчас выводили таких симулянтов на чистую воду. Солдат это пугало, и они прибегали к более изощренным формам симуляции, не останавливаясь даже перед членовредительством, «самострелом». Об этом, между прочим, говорилось в трофейном документе — секретной директиве начальника санитарной службы одной из пехотных дивизий полковым врачам. В ней подробно перечислялись приемы, к каким прибегают симулянты, инсценируя разного рода болезни, вплоть до появления на теле язв.

Фридрих Вольф предложил издать этот документ листовкой в виде «Инструкции дивизионного врача», снабдив ее фотокопией подлинной инструкции. Во-первых, солдаты увидели бы из этой инструкции, насколько упал боевой дух в войсках вермахта, а во-вторых, она могла бы быть использована как своего рода «наставление к практическим действиям» тем, кто уже сам подумывал о симуляции болезни, чтобы таким путем сохранить себе жизнь. Инструкция была бы в этих случаях незаменимой «подсказкой» для симулянтов, могла бы научить их, как надо действовать, чтобы обвести вокруг пальца даже и недоверчивых врачей. Будучи сам врачом, Фридрих Вольф расширил перечень приемов, описанных в трофейном документе, включил в него ряд новых хитроумных способов, с помощью которых можно было ввести в заблуждение даже опытного медика.

Заброшенная в расположение войск противника, эта листовка наделала много шума, солдаты буквально охотились за ней, досконально изучали ее. Офицеры, попавшие к нам после этого в плен, рассказывали на допросе, что количество больных, поступавших в госпитали, заметно увеличилось. Подтверждение этому мы нашли и в новых трофейных документах, оказавшихся в наших руках. В них, между прочим, говорилось и о том, что возросло и число разоблаченных симулянтов, которых тут же предавали военно-полевому суду. В одном из своих бюллетеней, издававшихся для армии, командование вермахта горько жаловалось на примененный нами прием пропаганды и называло его «аморальным». Но им ли было говорить о морали, им, давно поправшим всякую мораль, потерявшим совесть!

Неповторимый почерк Иоганнеса Бехера

Много интересного может раскрыть изучение поэтического творчества Иоганнеса Р. Бехера в годы войны, его стихотворений, напечатанных во множестве листовок, изданных в 1941—1942 гг.[1]. Обращаясь в своих стихах-листовках к солдатам, поэт старался достигнуть наибольшей доходчивости. Но кажущаяся простота формы этих стихов в действительности была результатом немалого труда, свидетельством его удивительного мастерства и диапазона творческих возможностей поэта. В каждой строчке стихотворений, чему бы они ни были посвящены и как бы «просто» они ни были написаны, легко узнавался его неповторимый почерк.

Иоганнес Бехер избирал для своих стихов-листовок сложные, «ключевые» проблемы, такие, скажем, как мнимое «национальное единство» всех немцев, их «братство по крови». Поэт обратился к этой проблеме не случайно: вера в «национальное единство немцев» была одним из главных внутренних устоев вермахта и его глубокого тыла, она цементировала фундамент, на котором возводилось здание нацистской пропаганды, была основой относительной политико-моральной устойчивости войск и тыла фашистской Германии. И поэт поставил своей задачей нанести удар именно по этой цементирующей вере, и если не сразу подорвать ее, то во всяком случае посеять сомнение в ней. В стихотворении «Песня об одних и о других» он страстно и убедительно обнажает глубокие противоречия между правящей нацистской кликой и немецким трудовым народом. Поэт не навязчиво, а как бы исподволь заставляет солдата усомниться в существовании этого «национального единства немцев», в общности его целей с целями Гитлера, Геринга,

[1] Фронтовая деятельность поэта на время была прервана в середине октября 1941 г., когда он работал в Ташкенте над драмой «Битва за Москву».

К. СЕЛЕЗНЕВ

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯВ ПЕРО...

Геббельса и всей нацистской клики. Вот ее полный текст:

Одни — всю жизнь от пуза жрут,
Довольны и богаты.
Другие, словно мухи, мрут.
Ну что ж! Они — солдаты.

Одни плотней набьют карман
И кошельки тугие.
Меж тем корежатся от ран
И гибнут те — другие.

Одним бы — все к рукам прибрать,
Всю землю заграбастать.
Другим за это умирать.
«Марш на войну!» — и баста.

В Британию смотался Гесс.
Обратно не вернулся.
И говорят, «попутал бес».
Мол, он... того... свихнулся.

Хотя народ, конечно, сброд
И пушечное мясо—
Кричат солдатам: «Марш, вперед!
Вы избранная раса!

Для пользы рейха не жалей
Ни сил своих, ни жизни.
Подохнешь средь чужих полей —
Всё впрок родной отчизне!»

Одни не ведают нужды.
Все есть у них на свете.
Другие стонут: «Пить! Воды!» —
В смердящем лазарете.

Одним — лишь прибыль от войны.
Другим — лишь смерть в России.
Так в чем едины, в чем равны
Одни и те — другие?

Этот неторопливый, раздумчивый монолог таил в себе огромную взрывную силу. Основной идейный смысл его был не только в том, чтобы раскрыть пропасть между правящими классами и массами трудящихся, но и в том, чтобы призвать угнетенных расправить плечи, сбросить ярмо со своей шеи, не мириться бездумно с бесправием и уготованной для них участью, не погибать далее за чужие интересы.

Главной мишенью почти всех стихотворений Иоганнеса Р. Бехера, обращенных к солдатам вермахта, было чувство раба, заставляющее его слепо подчиняться начальству, безропотно, как баран, идти на бессмысленную смерть. В «Балладе об исцеляющем надрезе» поэт сравнивает фашистскую клику, захватившую власть в стране, и слепую верноподданность и покорность солдата приказу—с раковой опухолью, угрожающей гибелью всему телу. Он зовет немецкий народ отсечь эту опухоль, а солдат—не выполнять преступные приказы.

Та же идея лежит в основе написанного с большой силой стихотворения «Поджигатель» (о Гитлере).

Несколько метких и чувствительных ударов нанес Иоганнес Р. Бехер в своих листовках и Геббельсу. Одна из таких листовок была написана по некоему конкретному поводу и высмеивала шутовской призыв Геббельса: развернуть соревнование в Берлине за звание «самого вежливого берлинца», сохраняющего приветливость, «несмотря на бремя войны». Можно себе представить, до какого накала дошли раздражительность берлинцев, их нервозность и грубость в отношении друг к другу, если Геббельсу понадобилось призывать немцев к вежливости, «несмотря на бремя войны». (Впрочем, замысел Геббельса имел более далекий прицел. Выдвижением подобного лозунга он хотел создать впечатление, будто никаких других, более серьезных причин для беспокойства у берлинцев, помимо случаев «грубости в общественных местах», не было. Между тем город подвергался все более ожесточенным налетам и бомбежкам, все чаще приходили известия о гибели близких на фронте, все труднее становилось добывать хлеб насущный.) Сатирическое, клеймящее стихотворение Иоганнеса Бехера называлось «Вежлив, как никогда». В нем изрядно досталось одному из главарей гитлеровской камарильи, однозной фигуре Геббельса. Высмеяна была его неумная попытка «благотворительствовать» народную беду.

В листовке «Оберплутократ лжи» поэт призывал солдат не верить лжи Геббельса о русском плене.

Это стихотворение Бехера также отвечало главным целям нашей пропаганды. Призыв к сдаче в плен был одной из самых важных составных частей всех наших обращений к солдатам вермахта. Однако надо признать, что внушить им эту мысль было делом трудным — немецкие солдаты испытывали сильнейший ужас перед русским пленом, со страхом думали о том, что их там ждет. Нацистские пропагандисты сумели запугать солдат, распространяя всяческие небылицы и утверждая, что русские «вообще не берут в плен», а расстреливают каждого после короткого допроса. В массе своей солдаты вермахта долго верили этому и относились к нашим призывам недоверчиво. «Раз Иван зовет нас в плен,— рассуждали они,— значит, ему это выгодно. Но то, что выгодно врагу, не может быть выгодно мне».

Шли кровопролитные бои, враг нес большие потери, а наши листовки, содержащие призывы к сдаче в плен, даже самые удачные из них, на первых порах почти не оказывали действия.

Мы были серьезно озабочены этим обстоятельством и привлекли самых сильных наших литераторов к разработке более глубокой и доходчивой аргументации. Мы изучили природу тех колебаний, тех «Hemmungen», которые тормозили принятие солдатом противника решения о сдаче в плен и осуществление им этого решения. Помимо «технических» трудностей преодоления нейтральной полосы, минных полей и заграждений, опасений угодить под случайную пулю, а то и получить пулю в спину солдата и особенно офицера смущало и многое другое. Он чувствовал себя связанным присягой. Он не хотел прослыть трусом. Он боялся, что его семью подвергнут репрессиям, что он сам не вернется из плена домой.

Наши товарищи нашли немало удачных способов ослабить эти колебания, преодолеть сомнения, укрепить решимость к сдаче в плен. Активное участие в этих поисках принимал и Иоганнес Бехер. Он создал целый цикл стихотворений-листовок, в которых последовательно и настойчиво, умно и аргументированно внушал солдатам вер-

махта мысль, что сдача в плен отвечает именно их интересам, интересам их семей и всей германской нации. Поэт стремился развеять страх перед русским пленом, призывал их сделать этот смелый и спасительный шаг. Этой теме были посвящены такие стихотворения, как «Не верь лжи Геббельса», «Листовка», «Как дать отпуск самому себе?» и другие.

В стихотворении «Листовка» поэт трогательно и доверительно говорит о судьбе маленького белого листочка, упавшего на землю рядом с солдатом. Долго раздумывает солдат над тем, что сказано в этом листке, всколыхнувшем в душе его воспоминания о доме, о семье, он размышляет и о том, как, не выдавая себя, дать знать родным и близким о своем намерении сдаться в плен.

«Как дать отпуск самому себе?» — эта листовка, написанная Иоганнесом Бехером, напоминала солдатам об отмене Гитлером отпусков и указывала выход из этого положения: «Перейди линию фронта, и ты уйдешь в отпуск до конца войны, предъявив листовку как пропуск». Надежду остаться живым и увидеть свою семью внушала солдатам вермахта и листовка «Ободрение», написанная Иоганнесом Бехером. И в ней поэт напоминает, что наиболее верный путь домой лежит через русский плен. Листовка возвращала солдату надежду, которую отняли у него война и безжалостный приказ Гитлера.

В доходчивости и популярности этих листовок мы убеждались воочию: нам предъявляли их пленные, их находили в карманах, среди документов и личных вещей убитых на фронте. Перебежчики рассказывали, какое смятение вносили в души солдат стихи поэта.

В беседах военнопленные обнаруживали неплохое знакомство с именами поэтов и писателей-антифашистов. Если попадался военнопленный из Гамбурга, он нередко вспоминал первый роман Вилли Бределя «Машиностроительный завод Н. и К°». Но особенно широкой популярностью пользовалось имя Эриха Вайнерта. Однажды произошел, например, такой, удививший всех нас, случай. Солдат вермахта ефрейтор Альберт Дане попал в плен. Некоторое время спустя он, получив возможность поразмыслить, примкнул к движению немецких антифашистов и выразил готовность активно бороться против Гитлера. Вместе с бригадой антифашистов-агитаторов он выехал на фронт, чтобы непосредственно на переднем крае, на самом близком расстоянии от немецких окопов вести пропаганду среди солдат вермахта, рассказывать им правду о том, как ему живется в русском плену. Во время одной из таких передач между ним и солдатами, сидевшими в немецких окопах, завязался прямой разговор. Один из них крикнул, обращаясь к Альберту Дане:

— Ты знаешь стихи Эриха Вайнерта?

— Да, знаю! — ответил Альберт Дане.

— Я тоже,— продолжал солдат с той, немецкой стороны.— У меня есть друг, который меня просвещал. От него я и узнал вот эти стихи.

И он прочитал стихи Эриха Вайнерта «Скоростной судья», «Если у тебя есть мать». Вслед за этим и другие солдаты заговорили, обращаясь к Альберту Дане:

— Мы все знаем некоторые его стихи... У нас есть одна просьба к тебе: передай Эриху Вайнерту добрый привет от нас и скажи ему, что есть еще много честных немцев...

Вряд ли можно придумать лучшую награду поэту, чем этот короткий диалог немцев, сидевших в разных окопах. Он был свидетельством того, что немецкие писатели и поэты, работавшие рядом с нами на фронте и «к штыку приравнявшие» свое перо, достигали цели.

Стратегия дальнего прицела

Я уже говорил о том, что работа политорганов РККА среди войск и населения противника была многообразной, велась в нескольких направлениях и преследовала не только цели сегодняшнего дня, немедленного эффекта и результата, но подразумевала и перспективы будущего — это была стратегия, если можно так выразиться, дальнего прицела, рассчитанная на годы и десятилетия вперед. Я имею в виду нашу деятельность не только на переднем крае или в прифронтовом тылу противника, но главным образом работу с военнопленными в лагерях и среди населения освобожденных Советской Армией районов Германии. О ней более подробно будет рассказано позже, а сейчас мне хотелось бы кратко коснуться работы среди населения, находившегося в глубоком тылу фашистской армии, в самой Германии.

На первом этапе войны, по понятным причинам, она была очень затруднительна — враг продвигался по нашей земле на восток, и значительная часть советской территории была им временно оккупирована. Тем не менее уже в августе 1941 г. наша советская дальняя бомбардировочная авиация начала совершать рейды на Берлин и другие немецкие города. При этом она не только бомбила военные объекты, но и сбрасывала множество листовок, предназначенных для немецкого населения. Среди них были, разумеется, и листовки, написанные немецкими поэтами и писателями — антифашистами.

Правда, рейды такого рода были эпизодичны, связаны со многими трудностями, и

К. СЕЛЕЗНЕВ
К ШТЫКУ ПРИРАВНЯВ ПЕРО...

добраться до широкой аудитории в глубоком немецком тылу мы практически не могли. Поэтому главным средством пропаганды среди немецкого населения было в ту пору вещание по радио. Оно велось советской государственной радиостанцией и «Немецкой народной радиостанцией», созданной немецкими антифашистами. В редакциях этих станций активно работали немецкие антифашисты — поэты, писатели, политические деятели, режиссеры и артисты. Мы были с ними тесно связаны. Особенно запомнилась мне деятельность Густава фон Вангенгейма и Максима Валлентина. Однако обе эти станции не являлись армейскими, и рассказ о них не входит в задачу данной статьи.

Армия имела свои передатчики, по которым иногда также велись передачи на немецком языке, предназначенные для слушателей на фронте и в прифронтовой полосе. Они были оперативными, приспосабливались к обстановке, которая складывалась в данный момент.

Широко развернулась работа армейских политработников среди немецкого населения на заключительном этапе войны, когда наши войска вступили на территорию Германии. Теперь наши немецкие друзья — поэты и писатели-антифашисты — были не только авторами листовок и дикторами звуковещательных установок, но много и часто выступали как ораторы на митингах и собраниях немецкого населения, вели непосредственную агитацию среди населения в занятых Советской Армией пунктах — призывали жителей восстанавливать дороги и мосты, возвращаться к нормальной жизни, обезвреживать военных преступников, выполнять распоряжения советских комендатур. Нелегкая это была работа, но наши немецкие товарищи вели ее с большим подъемом.

Огромной по масштабам и сложной по содержанию и форме была работа, которую мы вели среди военнопленных на сборных пунктах и особенно в лагерях. Она имела и ближайшие, и более далекие цели. Первая задача заключалась в том, чтобы определить уровень боевого духа частей противника, выявить наиболее уязвимые места в политико-моральном состоянии его войск. Это позволяло нам лучше планировать свою работу, намечать наиболее актуальные темы для пропаганды, оттачивать наши аргументы. Детальный опрос пленных и перебежчиков — особенно тех, кто недавно побывал в Германии,— вооружал нас множеством сведений о положении в фашистском тылу, о результатах воздушных налетов, о признаках недовольства войной и об активных выступлениях немцев и иностранных рабочих против режима Гитлера. Эти сведения мы также могли использовать в нашей пропаганде.

Далее, мы приобретали возможность использовать собранные нами данные для усиления нашей агитации за сдачу в советский плен.

Мы выпускали листовки, в которых помещали фотографии перебежчиков, сдавшихся в плен солдат, их рассказы о том, как у них созрело решение сдаться, как они его осуществили. В других листовках подробно рассказывали о жизни военнопленных в лагерях, о распорядке дня в них, о рационах и медпунктах, о клубах, библиотеках, кружках и вечерах самодеятельности, в которых участвовали и которыми руководили сами военнопленные. Опросы новых пленных показывали, что именно эти подробности, конкретные описания повседневного быта военнопленных производили большое впечатление на солдат, так же как и перечисление имен находившихся в плену солдат вермахта. Под заголовком «Нет ли твоего знакомого среди них?» мы помещали в листовках фотографии больших групп военнопленных. Эти списки военнопленных оказались также очень эффективным средством воздействия на германский тыл, мы печатали их в листовках и передавали по радио. Такие листовки давали часто реальный и практический результат. Нами были добыты данные о том, что сотни немецких семейств в тылу получали с фронта или от жителей других городов анонимные письма, в которых сообщалось, что их сын, брат, муж или жених жив и находится в русском плену в полной безопасности. При этом всегда указывалось, что эти сведения были услышаны по радио или получены благодаря звукопередаче на фронте или почерпнуты из листовки, поднятой на переднем крае, а то и найденной в глубоком тылу...

Но особое значение имела целеустремленная политическая работа среди самих военнопленных, направленная на их перевоспитание, на создание кадров будущих строителей антифашистского демократического строя на освобожденной германской земле. При этом мы помнили, что большинство среди них составляли рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели. Им надо было помочь разобраться в том, что происходит в мире и на их родине, вытравить из их сознания следы фашистской обработки, бредовые идеи нацизма, научить правильно видеть и оценивать факты жизни. В дальнейшем раскрылись и другие, еще более важные возможности, которые заключала в себе работа среди военнопленных. Оказалось, что успешное их перевоспитание создает предпосылки для вовлечения самих военнопленных в антифашистскую пропаганду среди солдат вермахта на линии фронта и даже за линией фронта, для их возвращения уже сейчас, в ходе войны, в Германию и участия в антифашистской борьбе. Это и есть работа, которую я называл стратегией дальнего прицела.

Помимо того, что мы старались освободить их от фашистских идей, мы стремились вернуть им утерянное — возможность честной, трудовой жизни, помочь им усвоить идеи мира и дружбы между народами, демократии и социального прогресса, идеи социализма. И в этом смысле вклад немецких антифашистов — писателей и поэтов — был тоже весьма ощутим.

В лагеря для военнопленных были направлены политработники на постоянную рабо-

ту. При этом нам также очень помогли кадры антифашистов-политэмигрантов, в том числе и некоторые писатели и журналисты.

Военное поражение Гитлера было неизбежным. День краха третьего рейха приближался. Германские коммунисты, тревожась и заботясь о будущем своего народа, уже разрабатывали обширную программу глубоких демократических преобразований в стране. В массе военнопленных они видели будущих участников этих преобразований. Поэтому они не жалели сил и энергии для перевоспитания своих соотечественников, для подготовки их к будущему. Советские люди видели свой интернациональный долг в том, чтобы помогать им в этом трудном, но важном деле. Мы были заинтересованы, чтобы Германия никогда больше не представляла опасности для Советского Союза и других стран мира и стала нашим добрым соседом.

Еще в июле — августе 1941 г. в лагеря для помощи антифашистам были посланы советские политработники. Там были созданы библиотеки, имевшие немецкую классическую художественную литературу, а также книги современных немецких писателей и поэтов-антифашистов, запрещенные и сожженные на кострах гитлеровцами. Были там и политические, и философские книги на немецком языке, ранее им не доступные. Было что почитать, над чем подумать...

Особую роль в формировании взглядов военнопленных сыграла созданная для них на немецком языке газета «Das freie Wort» («Свободное слово»). Ее издавало Главное Политическое управление РККА с ноября 1941 года. В течение первого полугодия мне довелось быть ее редактором совместно с членом Политбюро ЦК КПГ товарищем Антоном Аккерманом. Газета выходила два-три раза в месяц, на четырех полосах и рассылалась по всем лагерям военнопленных. Она освещала обстановку на советско-германском фронте и других фронтах, сообщала о событиях во всем мире, о положении в Германии и в оккупированных странах, освещала жизнь советского тыла, жизнь и труд немецких военнопленных в лагерях, публиковала художественные произведения. Немецкие писатели и поэты-антифашисты принимали в работе газеты самое активное участие — почти в каждом из 57 номеров газеты было напечатано какое-либо оригинальное художественное произведение. Между прочим, некоторая их часть поступила от самих военнопленных из лагерей, где обязательно имелся корреспондентский пункт и актив читателей. Но более 40 произведений принадлежало перу профессиональных писателей и поэтов-эмигрантов. Среди них были короткие рассказы, новеллы, стихи и даже одноактные пьесы.

«Запевалой» здесь выступал Эрих Вайнерт. На страницах газеты «Das freie Wort» было напечатано одиннадцать его произведений. Среди них назову стихи: «Довольно горя и позора», «Как еще долго это будет длиться?», «Дважды Первое мая», «Скоро настанет Май и в Германии», «Старый берлинец толкует с мамашами за чашкой кофе» (написанное, кстати, на берлинском диалекте). Кроме того, перу Эриха Вайнерта принадлежат стихи «Знаете ли вы, что защищаете?», «Вправе ли я как немец отворачиваться?», «Слова утешения одной жертвы тотальной мобилизации» и «Баллада о напившемся ловкаче, улизнувшем от расплаты». Печатали мы и рассказы поэта «Маленький партизан» и «Редкая встреча».

По совету Эриха Вайнерта редакция подготовила несколько специальных полос газеты, посвященных творчеству великих немецких писателей и поэтов — Гёте, Шиллера, Гейне. Сам Эрих Вайнерт написал статью «Генрих Гейне, немецкий поэт, певец свободы». Неиссякаемая творческая сила его, темперамент коммуниста и борца, пламенного пропагандиста никогда не забудутся. Его литературная деятельность в годы войны против Гитлера еще ждет своих исследователей.

Практически в газете «Das freie Wort» сотрудничали все уже не раз упоминавшиеся немецкие поэты и писатели. Но, просматривая сохранившийся у меня микрофильм, я нахожу много имен, о которых я еще не говорил, а также ряд произведений, подписанных псевдонимами. Вместе с Фридрихом Вольфом и Иоганнесом Бехером, Вилли Бределем и Альфредом Курелла в нашей общей работе и в газете принимал участие Адам Шаррер. Он прислал нам рассказ «Сельский почтальон Винкерер». Шеррер жил в СССР с 1935 г. и написал ряд романов из жизни немецких рабочих и крестьян. Сотрудничал с нами человек удивительной судьбы и незаурядного таланта Фриц Эрпенбек. Слесарь по своей первоначальной профессии, он стал потом актером, режиссером и драматургом, наконец, редактировал журнал политической сатиры «Roter Pfeffer» («Красный перец»). В 1933 г. он вынужден был эмигрировать, а в 1939 г. вышел его роман «Эмигранты». В газете был напечатан его рассказ «Наследник Гротхузена».

Упомяну также известного австрийского поэта Гуго Гупперта, автора сборника стихов «Родина», прекрасного переводчика стихотворений В. В. Маяковского на немецкий язык. В нашей газете он поместил свое стихотворение «Слово австрийца».

Вилли Бредель принес нам четыре рассказа: «Отпуск домой», «Новогодняя поездка д-ра Бимзена», «Пионер труда» и «Тетушка Эмма надорвала животик от смеха». Все они были напечатаны.

Живой интерес читателей неизменно привлекали к себе рассказы и сценки Фридриха Вольфа. Среди них — «Скандал в Большом доме», «Лило — студентка из Штутгарта», «Комиссар и пленный гитлеровский солдат», «Письмо», «Елка», «Новогодний оракул».

Альфред Курелла напечатал у нас рас-

К. СЕЛЕЗНЕВ
К ШТЫКУ ПРИРАВНЯВ ПЕРО...

сказ «Еще семь, и тогда конец!» и статью «От солдатского товарищества — к солидарности». Кроме того, он подготовил для наших литературных страничек, посвященных немецкой и русской классической литературам, очерк «Тарас Шевченко — певец Украины» и перевел несколько стихотворений Шевченко.

От И. Бехера мы получили стихотворение «Нацистский рай» и «Балладу об ОКВ»[1].

Просматривая свой микрофильм, я нахожу на страницах газеты много интересных материалов, написанных с литературным и журналистским мастерством, но подписанных явно псевдонимами. Попытаюсь разгадать некоторые из них. Так, например, в № 2, 6 и 40 газеты «Das freie Wort» напечатаны три рассказа: «Макс и Отто», «Вдова Болле» и «Младший сын» за подписью «Роберт Хаммер». Мне думается, что название второго рассказа раскрывает имя их автора — Гейнца Вильмана, бывшего в 1928—1933 гг. редактором популярной иллюстрированной «AIZ» в Берлине, а в 1941 году ставшего постоянным автором Радиокомитета в Москве. В сборнике «Im Kampf bewährt», вышедшем в 1969 г., среди других напечатаны воспоминания Гейнца Вильмана, где он рассказывает, что однажды предложил внести в программу передач на Германию выступления некоей «фрау Болле», жительницы Берлина, которая комментировала бы текущие военно-политические события, высмеивая лживые измышления Геббельса. Тексты этих выступлений писал сам Вильман, а читала их перед микрофоном артистка Лотта Лёбингер. Однажды она, выступая в качестве «фрау Болле», сообщила, что узнала о гибели своего мужа на фронте... В дальнейшем эти передачи начинались так: «А теперь говорит вдова Болле». Вряд ли можно сомневаться, что рассказ «Вдова Болле» («Монолог вдовы берлинского сапожника») в № 6 газеты «Das freie Wort», как и остальные названные мною рассказы «Р. Хаммера», принадлежат перу Гейнца Вильмана.

В № 25 газеты был помещен рассказ Л. Паттель «Маленькая история о портном, автомобиле и наилучших надеждах на будущее». Как сообщила недавно литературовед Т. Мотылева, под этим псевдонимом выступала с переводами на страницах журнала «Internationale Literatur» Лили Бехер, жена поэта, известная партийная деятельница и редактор. Предстоит еще раскрыть имена авторов ряда других напечатанных в газете материалов: рассказа «Вы правы» (№ 38), подписанного Ф. Штельман, стихотворения «Мать» (№ 8), подписанного Эрхардом Винцером, рассказов «На родине», (№ 12), «Итог» (№ 23) и «Заочная свадьба» (№ 35), подписанных Лили Руф.

Сорок произведений, напечатанных на страницах газеты «Das freie Wort» и написанных с антифашистских позиций, давали правдивую картину германской действительности военных лет, разоблачали антинародную политику гитлеровской клики, показывали бедствия народных масс, давая обильную пищу для размышлений солдатам вермахта, оказавшимся в плену. Произведения эти становились предметом оживленных споров, которые подводили споривших к порогу истины, поводом для долгих раздумий в бессонные ночи. Решающую роль в освобождении солдатской массы от гитлеровского дурмана и фашистской идеологии сыграли, разумеется, тяжкие поражения вермахта на поле боя, свидетелями которых они были и ужасы которых пережили. Сама жизнь — провал «блицкрига», а затем и коренной перелом в ходе войны — заставила их убедиться в справедливости наших утверждений о том, что война, затеянная Гитлером, будет им неминуемо проиграна, что мы победим, а все их иллюзии развеются как прах, как мираж в пустыне. Но немалое влияние на формирование новых, антифашистских убеждений в среде военнопленных оказала и антифашистская литература, и в частности произведения писателей и поэтов — немецких эмигрантов, появившиеся на страницах газеты «Das freie Wort». Пережив душевный кризис, солдаты внимательнее прислушивались к военно-политической информации, которую они черпали из наших публикаций и в личном общении с советскими людьми,— они начинали все больше верить нашим сообщениям.

Единый фронт против Гитлера

Девяносто одна тысяча солдат и офицеров, взятых в плен под Сталинградом, принесли с собой в лагеря огромный заряд справедливой ненависти к виновникам бедствий немецкого народа и его сыновей, истекающих кровью в ожесточенных боях. Заметно возросла решимость сквитать, наконец, счеты с Гитлером. В среде военнопленных солдат, офицеров, а затем и генералов начала получать поддержку идея образования единого патриотического фронта всех немцев, стремящихся к выходу Германии из самоубийственной войны, свержению гитлеровской клики.

В этой обстановке германские коммунисты сочли, что настало время созвать конференцию с участием делегатов всех немцев-антифашистов, находящихся в СССР,— как военнопленных, так и эмигрантов. Такая конференция была созвана и работала 12 и 13 июля 1943 г. в Красногорском лагере под Москвой. На конференции был создан национальный центр антифашистской борьбы против гитлеровского режима — Национальный комитет «Свободная Германия». Несколько позже был создан с той же целью Союз немецких офицеров,

[1] О верховном главнокомандовании вооруженными силами фашистской Германии.

признавший платформу Национального комитета.

И в этом историческом движении немецкие писатели и поэты играли весьма активную роль. Об их популярности в массе военнопленных и о доверии к ним убедительно говорит тот факт, что президентом Национального комитета «Свободная Германия» был единодушно избран Эрих Вайнерт, а среди членов комитета оказались Иоганнес Бехер, Вилли Бредель, Фридрих Вольф, Густав фон Вангенгейм.

Национальный комитет начал издавать свою собственную газету «Freies Deutschland» («Свободная Германия»), создал собственную редакцию для вещания по радио. Комитет направил своих уполномоченных на каждый фронт, их помощников—в каждую армию; были посланы доверенные лица в каждую стрелковую дивизию. Время от времени комитет посылал оперативные группы для проведения специальных кампаний на фронте и в лагерях. Группы и уполномоченные отправлялись и за линию фронта, в советские партизанские отряды[1]. Вполне естественно, что немецкие писатели и поэты сосредоточили свои силы на агитационно-пропагандистской работе, проводившейся от имени Национального комитета «Свободная Германия», и с этого времени стали принимать уже меньшее участие в разработке агитационных документов, выпускавшихся политорганами РККА.

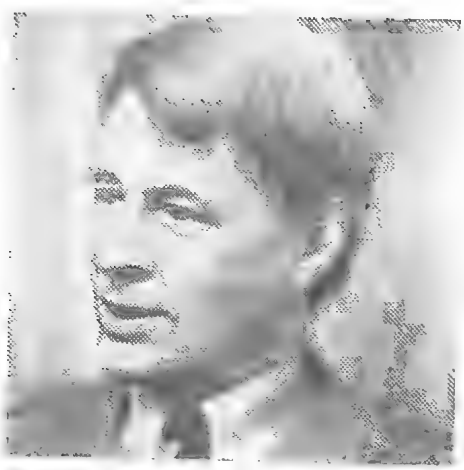
Деятельность немецких писателей и поэтов на фронтах Великой Отечественной войны была весомым вкладом в общую работу советских людей и немецких антифашистов, распространявших правду о войне, о фашистском режиме, о Стране Советов. Эта памятная страница истории второй мировой войны никогда не забудется.

Прочная дружба, объединившая советских и германских коммунистов, трудящихся наших стран еще в предвоенные годы, приобрела в период суровой войны еще более глубокое содержание, советские и немецкие коммунисты бок о бок сражались против общего ненавистного врага. В этой борьбе приняли горячее участие деятели советской и немецкой литературы. Наша дружба с германскими интернационалистами, окрепшая в годы военных испытаний, превратилась ныне в нерушимое единство двух социалистических стран и народов—СССР и ГДР.

Литературная обработка Г. ВАЙСА

[1] См. об этом подробнее: В. Вольф. На стороне Красной Армии. М., 1976 (перевод с немецкого).

Наши гости



СТЕФАН ХЕРМЛИН

(ГДР)

Стефан Хермлин — известный поэт и прозаик Германской Демократической Республики — рассказывает о своей последней работе «Немецкой хрестоматии», которую он подготовил по заданию Немецкой академии искусств.

— Этой книгой мне хотелось продолжить традицию Гуго фон Гофмансталя, который пятьдесят лет назад под таким же названием издал хрестоматию немецкой прозы 1750—1850-х годов. Уже подзаголовок моей книги — «От Лютера до Либкнехта» — показывает, что в ней представлены не только писатели. Карл Либкнехт не был профессиональным поэтом, но писал тем не менее прекрасные стихотворения. В хрестоматии есть вещи, написанные великими музыкантами: письмо Моцарта отцу, завещание Бетховена, эссе Шумана. Я хотел построить книгу как перекличку больших немецких художников-гуманистов последних пяти столетий, обратить внимание на некоторые волновавшие их мысли, которые, как мне представляется, сохраняют актуальность и для современности. Шуман, например, пишет о двтском композиторе-романтике Нильсе Гаде и приветствует в его лице пробуждение молодых национальных музыкальных культур Европы в 40—50 гг. XIX века. Мне кажется очень важным и поучительным это эссе Шумана, объективно направленное против известного шовинизма в искусстве, который встречается везде, но которым особенно отличалась Германия. Ведь в своей хрестоматии я обращаюсь прежде всего к немцам, им в первую очередь хочу напомнить некоторые поучительные примеры. Кроме того, в хрестоматию попали вещи, раскрывающие до сих пор малоизвестные стороны жизни и деятельности великих личностей. Возьмем, к примеру, Э. Т. А. Гофмана, который был гениальным писателем и 200-летие со дня рождения которого мы недавно отмечали. Я не включил в хрестоматию ни одного рассказа Гофмана — как писатель он и так достаточно известен, но поместил в ней его статью об инструментальной музыке Бетховена, ибо мне хотелось показать, что Гофман был превосходным композитором и выдающимся музыкальным теоретиком.

И еще несколько замечаний, поясняющих эту хрестоматию. Я не считал целесообразным публиковать отрывки из произведений и поэтому отказался от попыток представить в ней драматургию. По этой причине в «Немецкую хрестоматию» не попали некоторые великие немцы, например, Г. Гауптман. Проза Гауптмана не подходит по объему, а стихи его представляются мне малозначительными. Что же касается, например, Шиллера, то мне не хотелось помещать общеизвестные его вещи: драмы, прозу, баллады. Но я считаю, что Шиллер недооценен как лирик. Поэтому я поместил в хрестоматию несколько его стихотворений, которые сейчас мало известны...

Мы благодарим нашего гостя за интересное сообщение, подчеркиваем актуальность подготовленной им публикации, напоминаем о том, что стихи, рассказы и очерки Хермлина неоднократно публиковались в СССР и его имя хорошо известно советскому читателю. Присутствующий на встрече Г. Ратгауз читает свои переводы баллад С. Хермлина. Мы просим гостя рассказать о новых произведениях немецких авторов. Хермлин высоко отзывается о творчестве А. Андерша и подробно характеризует последний роман западногерманского писателя П. Вайса «Эстетика сопротивления».

— Эта книга приятно удивила меня. Я хорошо знаю Петера Вайса, и он рассказывал мне о своих замыслах. Признаться, я сомневался, что ему удастся их осуществить. Однако получилась, на мой взгляд, интересная, новаторская книга, в которой автор в очень своеобразном ракурсе рассматривает проблему соотношения искусства и революционного движения.

По форме это — вымышленная биография. Изображается молодой рабочий, который участвует в антифашистской борьбе в нацистской Германии, потом уезжает в Испанию. В романе, наряду с вымышленными героями, выступают многие действительные участники изображаемых событий, некоторые из них хорошо известны, еще живы и активно работают.

Вообще я считаю Вайса значительным писателем. Некоторые его вещи приводили меня в восторг, о других я не особенно высокого мнения. Мне не нравятся, например, его последние пьесы. Думается, что марксизм, за изучение которого Вайс принялся довольно поздно, не стал органической составной частью его мировоззрения и творчества, что ослабляет художественное и общественное значение ряда его произведений. Но я очень ценю в то же время его первые романы и пьесу о Марате.

Из современной литературы ГДР Хермлин особо выделяет близкое ему творчество Гюнтера Кунерта и Кристы Вольф. Очень значительными современными поэтами ГДР он считает Фолькера Брауна и Сару Кирш.

— Должен признаться, что сейчас читаю гораздо больше классическую литературу. Мне кажется, что молодые люди в ГДР до последнего времени недостаточно знали свою национальную классику, хотя государство и проводит большую культурную работу в этом направлении. Мне хотелось, чтобы моя «Немецкая хрестоматия» способствовала пробуждению интереса молодых людей к нашему классическому наследию.

Хермлин рассказывает, что в детстве с увлечением читал не только немецких классиков, но и многие произведения русских писателей XIX века.

— Но у меня есть еще и пробелы в этой области. Сейчас, например, я читаю Писемского. Так получилось, что я до сих пор его не читал. В последние годы,— продолжает писатель,— интерес к классике, к истории культуры заметно оживился во многих странах мира. Что касается ГДР, то здесь с большим подъемом отмечались юбилеи Гёльдерлина, Клопштока и — совсем недавно — 150-летие со дня смерти Жан-Поля Рихтера.

Интересно, что и в ФРГ 12-томное издание произведений Жан-Поля было распродано в течение нескольких недель, что вовсе нельзя назвать типичным по отношению к классике в этой стране. Особенно поразил меня массовый интерес к творчеству талантливого немецкого живописца Каспара Давида Фридриха, 200-летие со дня рождения которого отмечалось в 1974 году в ГДР и ФРГ. К. Д. Фридрих — величайший художник-романтик, пейзажист, певец одиночества и грусти. Основная часть его картин находится примерно в равном количестве в ГДР и ФРГ, некоторые произведения хранятся в Копенгагене и в Ленинграде. К юбилею многие картины были собраны на большой выставке, которая сначала проходила в ФРГ, а затем в ГДР. В течение многих лет я не наблюдал таких колоссальных очередей на художественные выставки. Это — новые явления, особенно для Запада. В Советском Союзе, насколько мне известно, интерес к классике более устойчив и не подвержен воздействию моды.

А. ГУГНИН

◆

Среди книг

Издано в СССР

БУНИН-ПЕРЕВОДЧИК

Золотой диск. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ивана Бунина. Составитель и автор предисловия Н. Любимов. Москва, «Прогресс», 1975.

После смерти крупного художника раио или поздно наступает момент, когда присущие ему одному черты становятся общезначимыми и составляют неотъемлемую часть общей культуры народа. Наследие Ивана Алексеевича Бунина в этом смысле не представляет исключения. На наших глазах оно становится, уже стало достоянием нашей культуры. Бунинское начало нетрудно разглядеть у самых молодых наших литераторов.

Горький назвал Бунина «первым поэтом наших дней», Блок отводил ему «одно из первых мест в русской поэзии». Обе формулировки при всем их отличии достаточно высоки и весомы.

Теперь, когда обозрима панорама долговременного творчества Ивана Бунина, мы можем оценить по достоинству и то, что его творчество противостояло моде и словесной эквилибристике. Ревнивый хранитель традиции, Бунин в стихах и в прозе никогда не заботился о постороннем блеске, о специальной расцветке слова. Показное мастерство было ему чуждо. Его кариатиды подпирают действительные тяжести, и образ у него несет большую смысловую и психологическую нагрузку.

Девять томов собрания сочинений Ивана Бунина — перед иами. К ним примыкают два тома «Литературного наследства». И в прозе и в стихах мы ощущаем атмосферу, в которой происходит действие, в которой вибрирует мысль, мы ощущаем воздух, который делает хорошо видимыми и горные вершины, и отдельный, косо падающий с дерева лист. Звук у Бунина зрим, а линия его поет. Видеть, и слышать, и воплощать в слове виденное и слышанное было для этого художника наивысшей наградой за мучительность литературного труда. Созданное Буниным на протяжении многих лет было камертоном для художников, учившихся по бунинским произведениям наиболее емким и верным способам изображения. И все принципы, выработанные Буниным как оригинальным художником, применимы и к его переводческому творчеству.

Книга избранных переводов Ивана Бунина вышла в давио полюбившейся читателю серии «Мастера поэтического перевода» и названа «Золотой диск» по одноименному стихотворению Леконта де Лиля. Основу книги составляет «Песнь о Гайавате», которая, безусловио, принадлежит к числу совершеннейших созданий русского переводческого искусства. До Бунина «Песнь о Гайавате» переводил Д. Михайловский. Этот перевод сейчас может заинтересовать только специалистов. Бунин же перевел поэму так, что после него никому не приходит в голову предпринять попытку нового перевода. Вот когда хочется сказать, что перед нами ие переводчик, а автор перевода. Читатель должен уловить важный оттенок смысла в этих двух определениях. «Автор перевода» звучит более властно и полногласно, чем «переводчик». Перевод Бунина с живостью и точностью воспроизводит переливы чужого, далекого от нас эпоса. Приближает его к нашему сердцу и разуму. Еще в детские годы мы читали это произведение, и нам казалось, что оно звучит иа чудодейственном языке поэзии, что это вовсе не переложение, а оригинал.

В русскую речь перевода естественно и просто вплетается музыка индейских имен, иазваний, фольклорность этой поэмы. Гайавата возникает перед нами во весь рост, во всех красочных подробностях своей жизни, вписанной в жизнь его народа.

В своем переводе Бунин широко использовал четырехстопный хорей с его женским окончанием. Этот четырехстопный хорей может быть плясовым, хороводным, песенным, а может нести и мощную эпическую нагрузку, как показала «Песнь о Гайавате». Мелодика этой поэмы столь притягательна, что мы забываем о других прототипах традиционного русского размера. Известно, что четырехстопный хорей с женским окончанием вслед за Буниным использовали и некоторые другие переводчики эпических сказаний. Четырехстопным хореем Бунин передает и картину, и колыбельную песню, и характеры и воспроизводит битву. Этот размер может показаться однообразным, но он однообразен столь же, сколь однообразна русская равнина, где кажется все одинаково, но пристально в нее вглядываешься — и видишь не только глазами, ио и душой: то мельницу, то речную излуку, то облака, то человека, то куст — одним словом, многообразие.

Дело, разумеется, не в стихотворном размере, а в интонации, в музыке стиха. В поэзии решает дело точность интонации. Интонация «Гайаваты» точна, естественна, убедительна. Мастер эпитета, Бунин в переводческой работе показывает, как остро и четко он характеризует предметы и явления. Блеск солнца у него «дремотный», луна — «ночное солнце», вьюга «шипит и свищет», пирога Гайаваты — «словно желтый лист осенний, словно желтая кувшинка». Чувствуется око русского художника, перо русского поэта. Это же видно на всех страницах поэмы. Гайавата «запустил стрелу-певунью». То, что стрела поет,— не самый главный ее признак. Но поет она потому, что пущена могучей рукой... Картина и впечатление от нее передаются и расстановкой слов, и их верной посадкой в определенные ритмические гнезда.

«То березовая лодка, опускаясь-поднимаясь...» — читаете вы и чувствуете, как эта лодка опускается, поднимается плавно и ритмично.

Изображавший охоту Иван Бунин (который сказал о звере с неописуемо чудесными рогами: «Он красоту от смерти уносил») в «Гайавате» дал классическое изображение погони за оленями:

За ольховыми кустами
Сел и выждал он оленя,
Увидал два глаза в чаще,
Увидал над ней два рога,
Ноздри, поднятые к ветру,
Увидал и морду зверя
Под листвою, в пятнах света...

Как зазывно и магически сцепляются русские слова с индейскими:

Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза,

Переводчик мастерски ввел примечания в состав текста поэмы, тем самым украсив ее, приблизив к оригиналу.

Песенно-героический размах поэмы читатель ощущает по интонации строфы, по ее повествовательной поступи. Но «Песнь о Гайавате» — это и лирика, нежная и проникновенная:

Загрустишь ли ты, родная,—
И мое темнеет сердце,
Как река, когда над нею
Облака бросают тени!

Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.

Картинно изображено струение дыма, который сперва идет «темною полоской», после — «гуще, синим паром», наконец, коснувшись неба, раскатывается волнами. Трубка Мира стала давно поэтическим символом, а слова — «созывая все народы к совещанью» — вобрали в себя чаяния человечества о долговременном и прочном мире на земле.

В сборник «Золотой диск» помимо «Песни о Гайавате» вошло известное стихотворение Альфреда Теннисона, которое иногда называют поэмой,— «Годива», стихи французов — Леконта де Лиля и Франсуа Коппе, один из сонетов Петрарки и три сонета Адама Мицкевича. Для того чтобы переводить последнего, Бунин выучил польский язык. Мицкевич не только повествователен и патетичен. Он мастер словесной живописи, пластика стиха — это его владение. Бунин, идя за оригиналом, опасается нарочитости аллитераций, но его строфа умело оркестрована, она свободно дышит. Из «Крымских сонетов» Бунин выбрал три: «Аккерманские степи», «Алушта ночью», «Четырдаг».

Из Лонгфелло, вслед за «Гайаватой», Бунин перевел еще и «Псалом жизни», и «Золотую легенду», и «О Христе и дочери халифа». В «Золотой диск» эти переводы не включены.

За пре́делами книги, к сожалению, остался Байрон: две мистерии («Каин», «Небо и земля») и драматическая поэма «Манфред». Эти работы безусловно имели воздействие на современную манеру перевода драматической поэзии. Известно, что МХАТ в 1920 году осуществил постановку «Каина» в переводе Бунина. Жаль, что в книге не приведены даже отрывки из этих переводов, хотя о речи Люцифера из «Каина» убедительно пишется в предисловии. Читатель вынужден искать Люцифера не в этой книге, а в других изданиях. Если в «Песне о Гайавате» проявилась эпическая сила таланта Бунина, то в переводах Байрона запечатлен поэт, прочитавший великого романтика в духе пушкинской традиции.

В книге мы не находим также стихов польского поэта Адама Асныка (1838—1897), в поэзии которого Бунина, вероятно, привлекла законченность форм, музыкальность строфики, точность в воспроизведении оттенков чувств и настроений.

СРЕДИ КНИГ

Из французских поэтов отсутствует Мюссе. Собственно, это даже не перевод Бунина, а стихотворные вариации на темы второй главы романа «Исповедь сына века».

Но и вошедших в книгу произведений достаточно, чтобы судить о мастерстве поэта. Внимательный читатель поймет: в переводческой лаборатории вырабатывался и стиль оригинальной поэзии Бунина, равно как оригинальная поэзия служила переводческим задачам его.

Сборник предварен предисловием Николая Любимова, тонко чувствующего поэзию Бунина, оригинальную и переводную, сумевшего в небольшой статье сказать многое и заметить не замеченное другими. Дана не только общая суммарная характеристика переводчика и его книги, приведены важные наблюдения над стилем Бунина, над его языком.

В одном из стихотворений своих поэт сказал:

Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана.

В этом утверждении — весь Бунин. Слову, в данном случае его слову, «жизнь дана», и добавлю: большая жизнь.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

ПАНОРАМА ИРЛАНДСКОГО РАССКАЗА

Пробуждение. Рассказы ирландских писателей. Перевод с английского. Составление М. Шерешевской и Л. Поляковой. Предисловие М. Шерешевской. Ленинград, «Художественная литература», 1975.

Современная ирландская новелла. Перевод с английского. Составитель и автор предисловия А. Саруханян. Москва, «Прогресс», 1975.

Два сборника рассказов и новелл ирландских писателей, вышедших на русском языке, восполнят тот пробел, который ощущался до сих пор в наших представлениях об этом жанре в ирландской литературе XX столетия.

Ирландские рассказы привлекают внимание читателя жизненностью содержания, национальным колоритом, художественной выразительностью. Знакомясь с ними, наглядно убеждаешься в способности малой формы вмещать значительное и волнующее содержание, создавать вереницу живых, надолго запоминающихся характеров. Лучшие ирландские прозаические миниатюры способны взволновать и привлечь нас, как привлекает порой небольшой женский портрет, полный очарования. Проникновенный, вдумчивый взгляд может запомниться на всю жизнь, тогда как иные большие полотна оставляют нас равнодушными.

В своем становлении и развитии ирландская новелла восходит к традициям народного творчества, к ирландским сагам, легендам, устным рассказам, широко бытовавшим в народных глубинах. Сохраняя черты самобытности, ирландские писатели вместе с тем не отгораживались глухой стеной и от демократической английской литературы и шире — от литературы европейской, включая русскую литературу с ее великими художественными открытиями.

Из калейдоскопически чередующихся картин, то драматичных и печальных, то забавно-потешных, складывается обширная панорама, воскрешающая облик обездоленной, униженной, но не покоренной Ирландии. Ясно вырисовываются образы рассказчиков разного повествовательного стиля.

Сборник «Пробуждение» открывается рассказом Уильяма Батлера Йитса «Рыжий Ханрахан». Поэт и драматург У. Б. Йитс мастерски сочетает здесь тщательно выписанный во всех бытовых подробностях реальный и сказочно-фантастический, ирреальный планы. Ясно ощущается поэтический лад повествования, с повторами как в стихе.

Автор удачно передает постепенное изменение драматической атмосферы рассказа. Думается, не случайно действие развертывается в канун языческого ирландского праздника самайна. В деревенском сарае собралось несколько человек, и среди них причудливый незнакомец — старик с колодой карт. И вот появляется рыжий Ханрахан — молодой и высокий учитель, странствующий с томиком Вергилия в кармане. Мастер на песни, шутки и выдумки, рыжий Ханрахан узнает здесь добрую весть: его ждет не дождется Мери Лавелл — его «милая». Ханрахан знает, что должен спешить, но что-то сковывает его волю. Он точно во сне: не в силах противиться просьбам старика, начинает с ним карточную игру, а затем вслед за старцем вовлекается в фантастическую «великую охоту». Реальный план повествования постепенно принимает сказочно-фантастические очертания. Ханрахан устремляется туда, где слышен лай собак, мчащихся вслед за зайцем. «Сколько времени он бежал, он не помнил, куда идет — не понимал, но в конце концов дорога привела его на высокую голую вершину, где рос только колючий вереск и ничего не было слышно, даже лая собак». Изнемогая от усталости, Ханрахан опускается на вереск... Изнуренному от странствий скитальцу Ханрахану так и не удалось напасть на след Мери Лавелл. Маленькое счастье навек ускользнуло от него — так возникает трагедийная тема крушения человеческих надежд.

Рассказы Эдит Сомервил и Мартина Росса («Святой остров» и «Апрельская рыбка») рисуют жизнь Ирландии с совершенно иной — комедийной стороны.

Появление сборника Джорджа Мура «Невспаханное поле» (1903), навеянного знакомством с «Записками охотника» Тургенева, было крупным событием в развитии ирландской новеллы, в приближении ее к реалистическому воссозданию драматических судеб ирландского народа. Джордж Мур очень близко знает скудную жизнь и нищенское

существование ирландского крестьянина и пишет о нем с глубочайшей симпатией («Прихожане», «Театр в глуши»). Художник творчески воспринял уроки художественного метода Тургенева. «...И в замысле этой книги и в особенностях ее построения,— справедливо отмечал академик М. П. Алексеев,— в портретных характеристиках и, наконец, в пейзажной технике «Невспаханного поля» Мур был действительно многим обязан «Запискам охотника».

О том, сколь остро дают себя знать социальные контрасты в ирландской действительности, свидетельствуют рассказы Джеймса Стивенса, особенно «Голод», где герой, столкнувшись лицом к лицу с удручающей нищетой и голодным прозябанием людей, почувствовал «на своих плечах всю усталость и горе этого мира».

Джеймс Джойс представлен в сборнике ранним рассказом «Мертвые» — пожалуй, самым сильным и психологически проникновенным из цикла «Дублинцы».

Здесь акцент сделан на изображении чистого, светлого, бескорыстного чувства, которое может владеть душой цельного человека. Самый глубинный интерес таится не столько в живописном описании праздничного веселья в традиционный сочельник — с веселым оживлением гостей, изобилием яств, песнями и музыкой, сколько в изображении того важного открытия, которое делает герой рассказа — писатель Гэбриел Конрой. Человек скорее эгоцентрического, нежели альтруистического, склада, драматически отрешенный от всего, что его окружает, даже от родной страны (которая, по признанию Гэбриела, ему до смерти надоела), он узнает о том, что самый близкий ему человек — жена Грета — долго и бережно хранила в своей душе, как самое заветное и святое, «романтическое воспоминание» о той безграничной и бескорыстной любви, какую питал к ней умерший друг юности. Важна та переоценка ценностей, которую делает герой: он вынужден строго, иронически взглянуть на себя со стороны. С горечью и слезами Гэбриел сокрушается о том, что он не испытал в жизни властного и светлого чувства.

В критике отмечалось наличие чеховских веяний в «Дублинцах» Джойса, хотя их автор утверждал, что не читал Чехова, когда писал свои ранние рассказы. Популярность Чехова в Европе действительно была большой, и не исключено, что иронические чеховские начала могли быть восприняты, как это бывает в истории литературы, не прямым, а опосредствованным путем.

В пестрой мозаике, созданной ирландскими рассказами, наряду с бытовыми жанровыми сценками («Пробуждение» Дэниела Коркери, «Похороны» Ирвина Сент-Джона, «Рыжая Барбара» Лайэма О'Флаэрти), картинами вынужденного исхода из родной страны на поиски счастья в «новом свете» («В изгнание» Лайэма О'Флаэрти) настойчиво выделяются драматические мотивы и героические образы борцов национально-освободительной борьбы ирландского народа, запечатлены нравственные победы и горечь поражений («Прыгающая форель» Дэвида Хогана, «Горная таверна» Лайэма О'Флаэрти, «Разбитый мир» Шона О'Фаолейна, «Гости ирландского народа» Фрэнка О'Коннора).

Сборник «Современная ирландская новелла» открывается новеллой Шона О'Кейси «Под цветной шапкой» — о судьбах детей дублинских трущоб,— живо напоминающей красочную манеру создателя шеститомной автобиографической эпопеи. Писатель дает нам прочувствовать, как велика волшебная сила детской мечты, изобретательности и фантазии, скрашивающей однотонную жизнь детворы дублинских кварталов, и как болезненно воспринимаются первые тяжелые утраты, первые столкновения с реальной действительностью.

Шон О'Фаолейн, как и ряд других новеллистов (Фрэнк О'Коннор, Мери Лэвин, Уолтер Мэккин), представлен в двух книгах. Советский читатель знает Шона О'Фаолейна как автора замечательного романа «Гнездо простых людей». Отзывчивость и подлинную человечность Шон О'Фаолейн ищет и находит среди простых людей (новеллы «Не бойся солнца знойного», «Умник»). В саркастическом тоне пишет он о ревнителях религиозных предписаний, чьи догмы находятся в явном противоречии с живыми человеческими чувствами и побуждениями.

Из обширного наследия Фрэнка О'Коннора взяты две новеллы психологического строя — «Вариации на тему» и «Коркерн», отличающиеся сердечностью и теплотой, умением в самом будничном человеческом поступке обнаружить душевную щедрость.

Естественность и простота стиля, мягкий юмор и лиризм характерны для Уолтера Мэккина — романиста и рассказчика, вводит ли он читателя в юношеский мир («Поцелуй») или показывает столкновение различных взглядов, различных точек зрения на жизнь и искусство. Яркие характеры крестьян он рисует в момент остро конфликтной ситуации («Действующие лица в порядке их появления»). В литературе, как в зеркале, по мысли писателя, должна отразиться жизнь во всей ее сложности и противоречиях. Художник, подобно хирургу, призван вскрывать язвы и выставлять их на всеобщее обозрение для того, чтобы врачевать общественные недуги.

Драматург Брендан Биэн широко известен как выразитель революционных устремлений ирландского народа, прошедший суровую школу подпольной борьбы. Биэну-новеллисту хорошо удаются образы простых людей со свойственным им оптимизмом и неисчерпаемым душевным богатством («Костюм для конфирмации»). Несмотря на драматизм обстоятельств, в каких протекает жизнь его героев, Биэн твердо верит в их нравственную стойкость и силу духа.

Иная тональность, более пессимистическая и трагедийная, присуща новеллам молодого ирландского писателя Джона Бенвилла. Герои его — потерянные люди, утра-

тившие точку опоры и безнадежно пытающиеся ее найти («Ночной ветер», «Знаменитость»).

Сборники ирландских рассказов в целом создают впечатляющую картину жизни Ирландии XX века, раскрывая жестокость и лицемерие буржуазного мира, темную власть клерикалов, пытающихся в зародыше подавить всякие проблески свежей мысли. Они отражают и жизнестойкие начала, которые художники открывают в народных глубинах: неискоренимый оптимизм и волю к сопротивлению — словом, все, что ярко характеризует лучшие черты ирландского национального характера.

П. БАЛАШОВ

«...ВДОХНОВЕНЬЕ НЕ БУДЕТ ВРЕМЕНЕМ СМЕТЕНО!..»

Ли Цин-чжао. Строфы из граненой яшмы. Переводы с китайского Михаила Басмановв. Москва, «Художественная литература», 1974.

Настоящего любителя поэзии — а у нас их год от года становится все больше — на поэтической мякине не проведешь. Годами обременяют прилавки книжных магазинов груды сборников разных «поэтиков и поэтцев» (М. Е. Салтыков-Щедрин), настоящая же поэзия расхватывается моментально.

К числу таких книг следует отнести и новое издание стихов китайской поэтессы Ли Цин-чжао «Строфы из граненой яшмы» [1].

Китайская и — в большей мере — японская литературы имеют одну характерную особенность: в этих литературах произведения, созданные женщинами, стали высокой классикой и украсили не только национальную, но и мировую литературу.

Так, японская литература хэйанского периода (IX—XII вв.), справедливо именуемого «золотым веком» литературы и искусства, создавалась — и в прозе и в поэзии — главным образом женщинами. Обольстительная Оно-но Комати (IX в.), закончившая, по легенде, свои дни опустившейся старухой, не знает себе равных в жанре танка; придворная дама Мурасаки Сикибу создает знаменитый роман «Принц Гэндзи», который до сих пор считается вершиной японской классической литературы; а ее «Дневник Мурасаки Сикибу» также стал образцом для всех, пишущих в этом жанре. Сей Сенагон, современница Мурасаки Сикибу, прославилась своими «Записками у изголовья» — непревзойденным шедевром в области эссе. Эти и многие другие поэтессы надолго отодвигают в тень литераторов — представителей сильного пола.

Такова и китайская поэтесса Ли Цин-чжао. Она родилась в 1084 году, когда блестящая сунская империя (960—1279) стала клониться к упадку. Будущая поэтесса росла среди людей, любивших литературу и искусство и понимавших в них толк. Ее отец — крупный чиновник — занимался на досуге литературой, и его труды хвалил великий Су Дун-по, один из «бессмертных» китайской литературы. Ее мать получила — по тем временам — прекрасное образование. Ли Цин-чжао рано стала сочинять стихи, которые были тепло встречены в литературных кругах.

В стихах молодой поэтессы — созерцание неповторимых красот природы, воспоминания о безмятежной юности, навеянная разлукой с мужем грусть, радость встречи с ним. Вот характерный пример:

Всюду в доме моем тишина,
И душа паутиною грусти
Крепко-крепко оплетена.

Вот и снова уходит весна:
Лепестки под дождем облетают,
И опять я на башне одна.

Где же тот, кто лишил меня сна?..
Поросло все высокой травой,
И дорога ему домой
В гуще зелени не видна.

Поэтесса не только любит и точно видит красоту родной природы, но и умеет мастерски перенести ее в строфу. Ли Цин-чжао всегда рисует такой пейзаж, отбирает такие детали, которые лучше всего передают ее душевное состояние.

Поэтесса грустит:

Над горною вершиной облака —
Они торопят сумерек приход.
Зыбь по траве прошла от ветерна,
Кропит дождем померкший небосвод.

Цветущей груше холода страшны.
Боюсь, цветам не пережить весны.

Она радостна и счастлива:

Вижу снова простор голубой,
Над беседкою тихий закат.

Мы совсем захмелели с тобой,
Мы забыли дорогу назад.
...И в смятении чайки вдали
Улетают с песчаной косы.

И снова грусть:

Прошла пора цветенья нежных слив,
Речные склоны поросли травой.
Плывет пушок с ветвей плакучих ив,
А ласточка все не летит домой.

И сумерки. И дождик без конца.
И мокрые качели у крыльца.

А вот как входит пейзаж в почти эпикурейские строки:

В пору, когда еще тихо
Дремлет природа под снегом,
Вести приходят из сада,
Первые вести весны.
Там мэйхуа пробудилась:
По воскрешенным побегам —
Россыпи розовой яшмы
С солнечной стороны...
Дружно янтарные чарки
Сдвинем, любуясь цветами,
И до последней капли
Выпьем хмельное вино
За мэйхуа, что, красуясь,

[1] См. рецензию Л. Эйдлина на предыдущее издание, «Иностранная литература» № 6, 1972.

Благоухает над нами!
С ней совершенством сравниться
Прочим цветам не дано.

В начале XII века в Китай, сминая все на своем пути, хлынули кочевые племена чжурчженей. В 1127 году пала столица сунской империи Бяньцзин (ныне Кайфын), погрязший во всех пороках «сын неба» и весь его двор попали в плен. Многие сотни тысяч людей бежали на юг, спасаясь от ненавистных захватчиков. Среди беженцев была и Ли Цин-чжао.

Стихотворения, созданные в этот период, полны скорби, печали и безысходной тоски. Невзгоды и скитания, полное одиночество в чужом краю после смерти мужа — основные мотивы последнего периода творчества Ли Цин-чжао.

Приведем несколько строк, характерных для поэтессы в эти печальные годы:

Грусть в сердце. И смятенье дум.
Тревожит каждый звук.
Холодный мир вокруг угрюм,
И пусто все вокруг.

Я у окна чего-то жду,
И скорбь меня гнетет,
А тут еще, как на беду,
Дождь без конца идет.

Утун, промокший до корней,
И сумеречный свет.
И в небе, как в душе моей,
Просвета нет и нет.

Последние годы жизни Ли Цин-чжао провела в одиночестве в столице южносунской династии Цзянькане (ныне Нанкин). Умерла она в 1151 году, когда ей было шестьдесят семь лет.

Поэты Востока во все времена отдавали «форме щедрую дань», знали цену точному образу, элегантной рифме. Такова была и Ли Цин-чжао. Она долго и упорно гранила свои строки и строфы. Она писала о трудном поэтическом труде:

Вся моя жизнь — постиженье
Трудного дела поэта.
Но совершенных так мало
Мною написано строк!..

Но даже в самые лихие времена поэтесса не утрачивает веры в нетленность истинной поэзии:

Жизненный путь бесконечен,
Все исчезает в веках.
Но вдохновенье не будет
Временем сметено!..

До нашего времени дошло около пятидесяти стихотворений Ли Цин-чжао и несколько эссе о поэзии и театре. И тем не менее эти несколько сот строк — заметный вклад в богатейшую сокровищницу китайской поэзии. На протяжении веков многие стихотворения Ли Цин-чжао входили в различные антологии и стали хрестоматийными. Искренность, всем понятные радости и печали, точные образы — все это привлекало и привлекает читателя к поэзии Ли Цин-чжао.

Переводчику М. Басманову многое удалось. Доктор Дюбур, друг и переводчик В. Франклина, любит повторять: «...значительные произведения следует переводить со смирением, благоговением и точностью». Думается, что М. Басманов именно так и обращался с текстами Ли Цин-чжао.

А. ТИШКОВ

Издано за рубежом

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ КОВАЛЕЙ

Jan Łysakowski. Kowale. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975.

Поиски современной тематики в прозе последних лет убеждают, что достижения в этой области вовсе не столь незначительны и скромны, как у нас в Польше принято считать. Мы дождались даже обширных полотен, в которых с эпическим размахом изображены судьбы поляков в военные и послевоенные годы. В первую очередь я имею в виду дилогию Халины Аудерской «Птичий тракт» (1974) и «Бабье лето» (1975), а также вышедший в свет несколько раньше роман «Судьбы» Романа Братного (1973). Минувший год принес нам сразу два прозаических цикла: четыре тома еще не завершенного романа Владислава Махейка «Жду последнего слова» и трилогию Яна Лысаковского: «Солдаты», «Партизаны» и «Кузнецы»[1]. Каждый из этих циклов имеет свою специфику, обусловленную социальной принадлежностью его героев, но основа у них общая — факты, составляющие новейшую историю Польши.

Во всех упомянутых романах перед нами проходят судьбы двух, а то и трех — как у Лысаковского — поколений поляков, живущих интересами своей страны, «кующих» ее историю. Поэтому какова бы ни была наша оценка отдельных произведений, как бы мы ни отнеслись к изображению и интерпретации описываемых в них событий, к их художественным достоинствам, одно можно сказать наверняка — перед нами книги, которые никого не оставят равнодушными и которые нужны нам как подлинные свидетельства нашего времени.

Мне хотелось бы остановиться здесь более подробно на третьей части трилогии Лысаковского — «Кузнецы», охватывающей годы существования народной Польши. На

[1] В название романа вынесена фамилия героев — Ковали, что по-польски означает «кузнецы».

мой выбор повлияло еще и то обстоятельство, что роман этот можно рассматривать как вполне самостоятельное произведение. Кстати, «Кузнецы» получили первую премию на открытом конкурсе, объявленном в связи с тридцатилетием Польской Народной Республики. Книга Лысаковского обладает двумя особенно ценными качествами: она честна по отношению к изображаемой действительности и глубоко партийна по своей сути. Благодаря этому автор смог правдиво представить сложнейшие проблемы послевоенной жизни народной Польши и показать подлинные достижения минувших лет. Выполнить эту задачу ему помогают три поколения Ковалей, не мыслящих себе другой Польши, кроме той, которая есть, которая создана ими и существует для них. Их родины, чьи поражения оборачиваются их собственными неудачами, чьи успехи — их личные достижения. Недаром они сознают, что пронесли на своих плечах все тридцать хотя и нелегких, но плодотворных лет. Пройденные годы воспринимаются ими как единое целое, как итог прожитого. Правда, что-то можно было сделать лучше, иначе, и многие вопросы не дают им покоя — они чувствуют себя в ответе за все как коммунисты, как члены руководящей партии. Той самой партии, с которой семья Ковалей связала свою судьбу еще в довоенные времена.

В ту пору, когда по примеру Великого Октября в Мехуве и в других польских городах стали возникать Советы депутатов и отряды Красной Гвардии, среди рабочих деятелей находился и Тадеуш Коваль — отец, а позже дед этой все увеличивающейся семьи. Во время фашистской оккупации и в послевоенные годы старый Коваль занимал пост секретаря уездного комитета Польской рабочей партии. По-разному сложились в войну судьбы его сыновей. Самый старший Антони служил в 1-й Армии, Юзеф сражался в партизанских отрядах Гвардии Людовой, Мечислав — в рядах Армии Крайовой. Когда же после Освобождения нужно было охранять молодую народную власть, все три брата как один встали на ее защиту.

Приведенная здесь родословная имеет немаловажное значение. У нас не так уж много романов о рабочем классе, особенно если иметь в виду произведения, не ограниченные рамками описания коллектива, связанного местом работы и спецификой производства. Проблемы, затронутые Лысаковским в «Кузнецах», гораздо важнее. Автора занимает прежде всего то, как сказываются на формировании человеческого отношения к жизни всевозможные коллизии — политического, профессионального или морального характера. Он стремится раскрыть во всей многообразной сложности суть переживаний и поступков своих героев.

Действие романа начинается в конце 60-х годов. Старого Коваля уже нет в живых. Антони собирается на пенсию. Главную линию романа поведет Юзеф Коваль — секретарь уездного комитета партии. С головой погруженный в текучку повседневной партийной работы, Юзеф приближается к тому возрасту, когда в мыслях все чаще возвращаются к прошлому. Особенно когда беспокоит начинающее сдавать усталое сердце, а дом, куда приходишь после целого дня работы, встречает тебя пустотой, и столько еще не продуманных до конца, неразрешенных вопросов. Вопросов самых что ни на есть личных. Недалек час, когда подрастающий сын спросит, что же все-таки произошло между родителями. Как ответить ему, чтобы тот не утратил уважения к матери,— ведь Мария ушла с ребенком, когда Юзеф был незаконно арестован. Мария поверила тогда в виновность мужа.

И сыну придется самому определять свое отношение к жизненным позициям родителей. Потому Юзеф с такой тревогой и нетерпением ожидает момента, когда мальчик дорастет до определенных вопросов и ответов, когда сможет понять не только суть конфликта между родителями, но и осознать его причины. Такой момент наступает в конце романа — между отцом и сыном возникает настоящий контакт, глубокое взаимопонимание. Это и есть награда за столь трудное для Юзефа отцовство.

Описание взаимоотношений между самыми близкими людьми соседствует в романе Лысаковского с интересным изображением среды партийных работников — людей, наделенных властью и ответственных за происходящее в стране. Примечательно, что не только бурные исторические события, но и мирные дни подвергают людей постоянной проверке их политических и просто человеческих качеств. Лысаковский показывает, как благодушие способно демобилизовать и деморализовать вполне заслуженных работников и как, в свою очередь, чувство неуверенности, рожденное потребностью в новых решениях, может сломить людей, которые прежде не раз выказывали сильный характер и личное мужество. Общечеловеческие проблемы всегда привлекают Лысаковского неизменно от того, является ли объектом наблюдений писателя личная жизнь героя, его общественная или профессиональная деятельность.

Здесь самое время упомянуть о третьем тематическом пласте романа, о проблемах, связанных с трудом. В среду профессиональных рабочих вводят читателя Мечислав Коваль и его сын Зыгмунт. Особенно заслуживает внимания линия Зыгмунта — благодаря ему мы знакомимся с проблемами молодого поколения, которое начинает свою взрослую жизнь с совсем другой исходной точки, чем поколение его родителей, по-иному видит и оценивает окружающий мир.

Столкновение воображаемого с действительностью стало для Зыгмунта источником разочарования, неудовлетворенности, крушением честолюбивых надежд, хотя настоящих причин для страданий у него нет. Реакция Зыгмунта — взрыв юношеского эгоцентризма, нетерпения, горячности, вос-

стающих против необходимой в работе большого коллектива дисциплины. И все-таки это столкновение способствовало в дальнейшем созреванию юноши, подготовило его к совместной работе с людьми, пробудило чувство ответственности за доверенное дело.

На примере семьи Ковалей видно, как быстро совершается передвижение из одной социальной группы в другую. Все три брата были в молодости рабочими. Один из них становится офицером, второй — партийным работником, третий — экономистом с высшим образованием. Впрочем, образование досталось ему ценой немалых жертв, ведь учебу приходилось совмещать с работой. Зато их детям уже ничто не препятствует учиться и получить желанную профессию. Однако случается, что эта молодежь, вместе с институтским дипломом приобретая и новый образ мыслей, отрывается от рабочей среды, как это произошло с Зыгмунтом, несмотря на его пролетарские корни. О том, насколько интеллигентски-умозрительным было отношение молодого Коваля к рабочим, можно судить хотя бы по тому, что рабочие поначалу представлялись ему газетными героями великих строек, а после первого близкого соприкосновения показались безликой массой, не понимающей ни своей роли, ни своих задач. Лишь последующие события заставляют Зыгмунта переменить мнение. Он приходит к убеждению, что эта самая «масса» способна думать и оценивать происходящее, что у нее есть свои взгляды и свое достоинство, которые она умеет защитить.

Даже столь беглого разбора достаточно, чтобы увидеть, какое множество наблюдений собрано автором на страницах романа. Прямо-таки широкая картина польской современности. Роман получился убедительным и захватывающим, хотя порой ему не хватает стилистической отточенности. Перед нами повествование, автор которого стремился разговорным, неприхотливым языком верно передать увиденную, а не придуманную действительность. И определяя жанр книги, лучше всего будет назвать «Кузнецов» социальным романом.

АННА БУКОВСКА

г. Варшава

ФРАНЦИЯ: ПРЕМИИ ГОДА

ДВЕ ПРИТЧИ О СОВРЕМЕННОСТИ

17 ноября прошлого года на площади перед парижским рестораном «Друан», где по традиции заседает Академия Гонкуров, присуждающая самую почетную литературную награду Франции, царило необычное оживление. Интерес «большой прессы» к этому событию вызывался не только традиционным ожиданием литературных сенсаций, но главным образом острым желанием разгадать «тайну» Эмиля Ажара, чей роман «Жизнь впереди» был выдвинут сразу на две премии — Гонкуровскую и Ренодо. Когда Эрве Базен, президент Академии Гонкуров, объявил, что премия присуждена Эмилю Ажару за роман «Жизнь впереди», журналисты бросились разыскивать лауреата, но нигде не могли его найти. Эмиль Ажар, прозванный газетчиками «писателем-призраком», бесследно исчез.

Настоящая сенсация вспыхнула на другой день: Эмиль Ажар сообщил, что отказывается от Гонкуровской премии. Писатель мотивировал свое решение стремлением сохранить творческую независимость от рекламной шумихи.

Следует отметить, что сенсация сопровождала Эмиля Ажара с момента выхода в свет его романа, который имел небывалый успех у читателей и критики (его предыдущая книга такого интереса не вызвала). Всех интересовало, кто же скрывается под псевдонимом «Ажар»? Об авторе «Жизнь впереди» в «литературном» Париже распространялись самые неожиданные слухи. Одни утверждали, будто бы книга представляет собой ловкую мистификацию, и среди ее возможных авторов даже называли имена Рэмона Кено, Ромена Гари, Луи Арагона. Другие считали, что рукопись книги, поступившую в издательство «Меркюр де Франс», «переписал» его литературный директор Мишель Курно. Третья версия была совсем фантастической: роман этот будто бы «написала» электронно-вычислительная машина, в которую заложили все известные до сих пор — безотказные — рецепты по «изготовлению» бестселлеров.

Однако вся эта сенсационная суета вокруг присуждения Гонкуровской премии и ее загадочного лауреата не меняет сути дела: современная французская проза, несомненно, обогатилась талантливым произведением. Прояснилась и «тайна» Эмиля Ажара. Корреспонденту еженедельника «Пуэн» удалось получить у писателя интервью. Эмиль Ажар (его настоящее имя Поль Павлович) действительно существует. «Я никак не реагирую на успех,— заявил он.— Но я счастлив, что у меня есть читатели». Стоящий в стороне от модных литературных поветрий, Ажар руководствуется убеждением, что писать надо лишь тогда, когда художнику есть о чем сказать людям.

Прежде всего знаменательна в его книге ссылка на «Отверженных» Виктора Гюго. Арабский мальчик Мохаммед, которого все зовут просто Момо, неизменно видит в руках «старого мосье Хамиля» эту книгу «мосье Виктора Гюго». «Однажды я тоже,— говорит он,— напишу отверженных». Роман Ажара — это лирическая поэма в прозе, проникновенный монолог Гавроша наших дней.

Эмиль Ажар рисует уголок жизни современной Франции, точнее — сегодняшнего Парижа. Топография романа ограничена кварталом Бельвиля, примыкающим к улице Золотая Капля, где обитают представи-

тельницы первой древнейшей профессии и пестрый разноплеменный иммигрантский люд: негры, арабы, евреи. Но здесь, как солнце в капле росы, отражаются многие проблемы настоящей, невыдуманной жизни.

Неиспорченными глазами смотрит на мир Момо, привыкший к зрелищу, если сказать словами М. Горького, «свинцовых мерзостей жизни». «Я никогда не был ребенком,— печально признается он,— у меня в голове всегда были другие заботы». Момо — с его чуткой, поэтической, легко ранимой душой — остро ощущает несправедливость буржуазного мира, его враждебность подлинной человечности.

«Обычно я испытываю страшный страх без всякой причины» — эти слова в устах ребенка звучат подлинным обвинением. Момо действительно преследует страх попасть в сиротский приют, страх перед голодом и одиночеством, страх не найти вокруг себя хотя бы искорку участия и тепла. Но, подобно Гаврошу, он никогда не теряет присутствия духа. Момо жаждет лишь одного — человеческого к себе отношения, и ему не нужно ничего, кроме радости чувствовать себя необходимым другому существу.

«Жизнь впереди» наполнена горькой и мучительной правдой, но в этой книге нет сентиментальности и благодушной снисходительности к «маленьким людям», которых обошла судьба. Сила таланта Ажара заключена в его искреннем, глубоком гуманизме. Характерно, что именно этот аспект романа послужил мишенью для нападок французской эстетствующей критики. «Ребенок, которого автор выводит на сцену,— писал один из рецензентов,— не обладает ни подлинной жестокостью детей, ни их нежностью». Критику не понравилось, что в романе автор избегает нарочитой жестокости, которая захлестнула сегодня значительную часть литературы и искусства «общества потребления», что в книге дышит благородная поэзия человеческого братства.

Сам автор назвал свой роман притчей, и у него были к этому веские основания. «Жизнь впереди», написанная колоритным языком и наполненная сочными, реалистическими деталями, действительно может быть прочитана как притча, в которой недвусмысленно выражена мысль о необходимости изменения буржуазного общества на основах справедливости, гуманизма и любви.

В современной западной прозе — французская литература не является здесь исключением — к притче прибегают писатели самых разных направлений. Емкая, лаконичная форма притчи используется не только для того, чтобы глубже, масштабнее прояснить, даже заострить идейный смысл изображаемого жизненного материала, как это сделал в своем романе Ажар. Правомерен и другой подход, когда художник обращается к притче, ставя такие проблемы современности, которые пока не нашли или — может случиться и так! — еще нескоро найдут ясные, «однозначные» решения. Выразительным подтверждением тому служит роман Жана Жубера «Житель песков», удостоенный авторитетной премии Ренодо.

Отмеченный незаурядным стилистическим мастерством, роман «Житель песков», по мнению критика еженедельника «Ле нувель литтерер» Клода Бонфуа, представляет собой притчу о противоречиях буржуазного мира.

Рассказчика увлек когда-то величественный проект архитектора Симона Дюрбэна — построить где-то на юге прекрасный город будущего Каллаж. Во многом этот замысел напоминает «лучезарный город» Ле Корбюзье.

Дюрбэн, одержимый своей творческой мечтой, не похож на мелких, бескрылых технократов. Человек действия и сильной воли, он сурово судит свою эпоху и общество, в котором усматривает только поверхностность и отсутствие больших целей («Благодаря деньгам и товарам пытаются замаскировать пустоту...»).

Жан Жубер, описывая строительство Каллажа, дает массу точных, верных деталей, и все-таки роман, будто туманом, окутан дымкой иносказаний и многозначительных недоговоренностей. Неясно даже, когда происходит действие — в наше время, в недавнем прошлом или отдаленном будущем.

Ряд французских критиков рассматривают роман Жана Жубера как своего рода поэтический отклик на проблемы экологического кризиса. В «Жителе песков», по мнению обозревателя еженедельника «Экспресс» Матьё Галея, «звучит тревога по поводу быстрой деградации окружающей среды, похоже, что речь в нем идет о ее неизбежной гибели». Конфликт между девственно прекрасной природой и урбанистической цивилизацией действительно содержится в романе, хотя автор не предлагает путей его решения. Именно поэтому притча Жана Жубера обладает многозначностью мифа и позволяет вычитывать в ней самые различные интерпретации. Книгу можно счесть аллегорией непримиримости поэзии и действительности, воплощением борьбы мечты с реальностью, олицетворением вечного конфликта между творческим порывом человека и неодолимым ходом времени...

«В этой прекрасной, серьезной, сдержанной и целомудренной книге,— утверждает М. Галей,— нет ничего абстрактного». Суждение это звучит парадоксально, но его подкрепляет вся смысловая насыщенность и актуальность притчи Жана Жубера, создавшего интересный и тонкий роман.

Сезон премий — это не только подведение итогов литературного года, это и открытие новых тенденций, перспектив французской прозы. Роман Эмиля Ажара, который до сих пор фигурирует в списках бестселлеров, и книга Жана Жубера продолжают оживленно обсуждаться французской критикой. Вниманию читателей журнала мы предлагаем статьи Андре Стиля и Алена Боске, посвященные этим произведениям. Но уже близок сезон премий нынешнего года, когда во Франции учащеннее забьется пульс литературной жизни, будут открыты новые лауреаты и новые книги.

Главное, однако, не в очередных сенсациях, а в том, что во французском романе идут интенсивные художественные поиски, которые с полным основанием позволяют сделать вывод: подлинный успех писателя ждет лишь на путях постижения современности и подлинной жизни.

ЛЕВ ТОКАРЕВ

«ОТВЕРЖЕННЫЕ»

Emile Ajar. La vie devant soi. Paris, Mercuree de France, 1975.

Роман «Жизнь впереди» Эмиля Ажара привлекает прежде всего манерой письма. Начальную фразу цитировали многократно — она просто создана для этого: «Первое, что я хочу вам сказать, так это то, что жили мы на шестом пешком, и для мадам Розы с ее килограммами, которые она носила всего на двух ногах, это было основным содержанием забот и трудностей повседневной жизни». Книга даже не усыпана, как пирог сахарной пудрой,— она вытканна из подобных выражений, стоящих рядом с привычными, заготовленными на все случаи жизни формами языка, которые, оказывается, надо лишь немного сдвинуть с места, чтобы они вдруг обрели комический, а то и трагический смысл. В результате рождается фраза: «Мосье Валумба — негр из Камеруна, который приехал во Францию, чтобы ее подмести».

Манера изложения зависит от того, кто ведет повествование. В книге — это Мохаммед, рассказывающий о своем детстве, проведенном в квартале бедняков недалеко от имеющей дурную славу улицы Золотая Капля. Поэтому «на шестом пешком» или «чтобы ее подмести» — не просто забавные, «удачно найденные» выражения, они воспринимаются здесь как прописные истины этого ребенка, живущего в мире немыслимых невзгод. Для него невзгоды — привычная, хоть и неприятная действительность; и от смакования убожества, от сентиментальной картинности человеческого «дна» книгу спасает именно эта ошеломляющая естественность, с которой рассказчик в подобных условиях умудряется ловить мельчайшие микробы счастья, спокойно относиться к самым гнусным проявлениям бедности, просто отгоняя их от себя, как надоедливых мух.

Мохаммед, которого, «чтобы сделать покороче», зовут просто Момо, был подобран бывшей проституткой, «мадам Розой», когда она вернулась из Освенцима, поскольку она, как сказал бы этот ребенок, «ко всему прочему еще и еврейка». Момо не один у мадам Розы. Вместе с ним у нее живут дети и других женщин, зарабатывающих свой хлеб на панели, чьи денежные переводы поддерживают доброту мадам Розы. Дело здесь, следовательно, не только в любви, но, поскольку в жизни действительно необходимо любить, пусть это будет вещь или живое существо, вывод книги — «надо любить». Его можно одновременно понимать и как «должно любить», и как «необходимо любить», чтобы переносить подобную жизнь. Так или иначе, Момо не упускает ни одной из скупых соломинок благотворительности, ласки, милосердия, которые выпадают на его долю. Недаром автора влекло другое заглавие, игра слов, связанная с названием улицы, упоминающейся в книге: Момо — «Золотая Капля», Момо, отыскивающий во всем и во всех вокруг себя добро, настоящая жемчужина среди людской мерзости.

В книге автор пытается выполнить данное когда-то самому себе обещание написать «своих отверженных». Схожесть жизни Момо с жизнью Козетты у Тенардье бросается в глаза сразу. Но мадам Роза — антипод Тенардье, она полна добра и обаяния. Она скорее заставляет вспомнить чудесную Наташу в одном из лучших романов Эльзы Триоле «Душа», хотя и невероятно далека от нее. К мадам Розе тяготеют другие «мадам» и «мосье»: «мосье Н'Да Амеде, сутенер, которого зовут также сводником», мосье Хамиль, алжирец, проститутка мадам Лола, зарабатывающая на жизнь в Булонском лесу, доктор Кац и мосье Шарметт, отставной железнодорожник — все они так напоминают персонажей великого Гюго. Но ирония прозвищ очень быстро исчезает: видишь, что это маленькое общество, при всем своем убожестве, способно куда на большее, нежели то Общество, которое мы пишем с прописной буквы,— оно зловеще и, как петля шею осужденного, сдавливает это маленькое общество со всех сторон. И смерть мадам Розы в заброшенном подвале дома предстает символом многих других невзгод и ужасов в мире, где даже собаку нелегко сделать счастливой.

АНДРЕ СТИЛЬ

г. Париж

ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ ЖАНА ЖУБЕРА

Jean Joubert. L'Homme de sable. Paris, Bernard Grasset, 1975.

Несмотря на то что Жан Жубер выпустил два романа — «Седые леса» (1969) и «Добрый дикарь» (1972),— в которых суровые тона сливаются с лирическими, а также полдюжины поэтических сборников, заслуживших восхищение специалистов, он еще не открыт широкой публикой. Но этот человек — не дикарь и не озлобленный ворчун. С публикацией романа «Житель песков», получившего премию Ренодо, наконец представился случай приветствовать талант, создавший произведение, в котором все продумано, многозначительно и немного таинственно.

Герой романа Марк Феррьер, от имени которого ведется рассказ, возвращается в места, где прошла его молодость. Когда-то, перед войной в этом забытом богом уголке земли он работал над осуществлением проекта честолюбивого архитектора Симона Дюрбэна, которому различные заинтересованные круги поручили строительство необычного города — Каллажа. Пирамиды, жилые дома причудливой формы, порт, не имеющий себе подобных, прочная коммуна должны были возникнуть на земле, похожей на добиблейский кусок суши. Поначалу энтузиазм, желание творить, способность к самопожертвованию вершили чудеса. Но достаточно ли только энтузиазма, чтобы создать определенное состояние умов? Очень скоро и авторы идеи, и руководители строительства столкнулись с непредвиденными трудностями.

Сама природа не хотела уступать ни пяди: ветры, дожди, пески, болота как будто тайно сговорились отвоевать свое. Рассказчик к тому времени познакомился с несколькими местными жителями, которые всеми способами старались утвердить свое превосходство над слишком конкретными и слишком преждевременными решениями талантливого архитектора. Рассказчик вспоминает их таинственные диалоги, странные жесты, смущенные улыбки.

И вот пришел день, когда тысяча разных сил объединилась против Каллажа. Один за другим последовали несчастные случаи, пожары, резче стала проявляться враждебность местных жителей. Столичные власти под давлением противников строительства и напуганные нагромождением препятствий отказали руководителям стройки в денежных средствах. Надо было бежать. Кроме того, приближалась война и следовало спасать что-то еще кроме этого химерического города. От Каллажа остались только красивые развалины. Живые и лихорадочные воспоминания придают действительности очертания мечты. Нарисованные автором фигуры неточно воспроизводят образы уже исчезнувших персонажей. Давно похороненная любовь становится прекрасной лишь потому, что оживает в воспоминаниях. Симон Дюрбэн умер в конце войны, и какой смысл пытаться узнать, что стало с его семьей? Построят ли на развалинах Каллажа другие столь же нелепые монументы? Но природа с ее порывистыми ветрами и внезапными затишьями по-прежнему сильна и безжалостна в своей красоте и сейчас кажется более вечной, чем когда-либо. Этот прекрасный в стилистическом отношении роман звучит как притча о противоборстве воли и инстинкта, пейзажа и бетона, света и тьмы, искаженного памятью прошлого и окрашенного безразличием настоящего. С одной стороны, перед нами здесь люди, снедаемые сугубо индивидуальной и честолюбивой мечтой построить новый город, не задумывающиеся о том, нужен ли этот город людям, а с другой стороны — местные жители, способные на глубокие, сильные чувства и тесно связанные с землей, на которой они обитают. И знаменательно, что в конце концов побеждает именно это единство с живой природой и вековым прошлым.

АЛЕН БОСКЕ

г. Париж

ТУРЕЦКИЙ ТЕАТР ЗА 50 ЛЕТ

Metin And. 50 Yilin türk tiyatrosu. Istanbul, Baha Matbaasi, 1973.

Из всех жанров в турецкой литературе драматургия — самый молодой. Ей немногим более ста лет, хотя театр в Турции существовал, кажется, всегда — столько же, сколько и сам народ. Вид зрелища под названием «Орта оюну» (игра посредине), берущий свое начало от мистерии дервишей, был известен еще в древности. Посреди площади или двора ставилась небольшая деревянная палатка, и строго ограниченное число традиционных персонажей (глупый старик, юноша, паломник, легкомысленная женщина) показывало бытовые, сатирические сцены.

В средние века на ярмарках и в кофейнях Анатолии шли представления кукольного теневого театра, где главный персонаж — человек из народа Карагёз (черноглазый), напоминающий нашего Петрушку, на вид простоватый, но умный и лукавый — ставил своими вопросами в смешное положение собеседника, напыщенного болтуна Хадживатá, представителя духовенства. Управлял куклами один человек, он и исполнял все роли. До недавнего времени в городах Турции можно было увидеть сказочника — меддаха (это был своего рода театр одного актёра), импровизирующего на светские и политические темы. «Орта оюну», Карагёз и меддахи являлись, таким образом, провозвестниками современного турецкого театра. Однако в этих театрах еще не существовало зафиксированного драматургического текста.

Тяга турецкого зрителя к театру была настолько сильной, что первым произведением новой турецкой литературы европейского образца была пьеса (1859), а первый роман появился лишь в 1872 году. В Турции, при сплошной неграмотности населения, театр играл значительную роль в общественной и культурной жизни народа. И сегодня, когда неграмотные составляют около сорока процентов, театр является важнейшим средством просвещения, действенным подспорьем в воспитании масс. Этим и объясняется то значение, которое придают исследователи литературы в Турции проблемам театра и драматургии. Издаются фундаментальные труды о театре, все крупные газеты и журналы регулярно публикуют рецензии на спектакли.

Особого внимания заслуживает книга известного турецкого театроведа Метина Анда «Турецкий театр за 50 лет», прослежива-

ющая основные линии развития театра и драматургии Турции со дня провозглашения ее республикой 29 октября 1923 года по 1973 год. Хотя в книге говорится и о прошлом турецкой драматургии, главное внимание автор уделяет современности, а такие главы, как «В поисках драматурга» и «На пороге новых свершений», посвящены проблемам завтрашнего дня турецкого театра.

Из помещенного в конце книги обширного списка спектаклей, осуществленных за пятьдесят лет в Турции, читатель узнает, что за эти полвека в турецких театрах поставлено свыше пяти тысяч пьес, что в репертуаре турецких театров большое место занимали и продолжают занимать пьесы русских и советских авторов — от Л. Толстого и Ф. Достоевского до М. Горького и В. Катаева. В последнее время ставятся пьесы В. Маяковского. Отмечается влияние режиссерских школ Станиславского, Вахтангова, Таирова, Мейерхольда. «Опыт Наталии Сац, создателя русского детского театра, вдохновил нас открыть в Турции театр для детей»,— пишет М. Анд.

Неоднократно приезжал в Советский Союз известный театральный деятель Мухсин Эртугрул, который учился у Станиславского, видел постановки Мейерхольда, работал вместе с Вахтанговым. М. Эртугрул являлся бессменным руководителем городских театров Стамбула; актером, режиссером, критиком, преподавателем. Выступление его в главных ролях становилось событием. Турецкие писатели посвящали ему свои пьесы. Такие пьесы Назыма Хикмета, как «Череп», «Дом покойника», «Всеми забытый», шли в Стамбуле в постановке Мухсина Эртугрула. «История турецкого театра — это Мухсин Эртугрул», — пишет М. Анд.

Вспоминается эпизод, связанный с Назымом Хикметом. «В 1928 или 29-м, точно не помню,— вспоминал Н. Хикмет,— я лежал больной у себя в доме в Стамбуле. Товарищи мои находились в тюрьме. Настроение было подавленное, к тому же я был без гроша. Открылась дверь, вошел Мухсин Эртугрул. «Есть ли у тебя готовая пьеса?» — спросил он. «Есть»,— сказал я, хотя на самом деле не было. «Если дашь в течение недели, я ее поставлю»,— сказал Мухсин. «Хорошо»,—ответил я. И не удивился, что в той атмосфере антикоммунизма он захотел поставить мою пьесу в лучшем театре Стамбула. Он был моим другом. Я верю в дружбу. Когда Мухсин ушел, я подумал, что же я смогу написать за неделю, и тут вспомнил о пьесе «Череп», которую полиция отобрала у меня при обыске...»

Анализируя важнейшие тенденции современной театральной жизни Турции, Метин Анд уделяет особое внимание народным домам, открывшим «одну из лучших страниц в истории турецкой культуры». Созданные в 1931 году по инициативе Кемаля Ататюрка народные дома сыграли важную роль в становлении театра республики. Эти дома имели театральные труппы, которые ездили по стране и давали представления, пропагандируя политические принципы Ататюрка. Пьесы для народных домов должны были воспитывать любовь к нации и стране, воскрешать «славное прошлое» турецкой истории и воспевать храбрость. Народные дома много сделали для преодоления унаследованной от султанского прошлого отсталости, в том числе и для подготовки общественного мнения в пользу участия турчанки в социальной, культурной жизни страны.

Анализируя важные вехи в истории современной драматургии Турции, автор считает крупным достижением тот факт, что начиная с 20—30-х годов наряду с пьесами европейских писателей — Шекспира, Мольера, Толстого, Ибсена, Чехова, Горького, Стриндберга, Пиранделло и других — все чаще стали появляться в репертуаре пьесы турецких авторов. Развитие драматургии в такой стране, как Турция, во многом зависит от политического режима. При жизни Ататюрка, когда страна переживала период перестройки, драматургия, как и другие жанры литературы, находила государственную поддержку. При реакционном режиме Меидереса в 50-х годах, когда преследованиям подвергалось всякое прогрессивное начинание, она переживала упадок. После государственного переворота в 1960 году и принятия в 1961 году новой конституции драматургия возобновила свое дальнейшее развитие.

Тема национально-освободительной войны турецкого народа по сей день занимает центральное место в турецкой драматургии. Борьба против иностранных оккупантов, обличение религиозного дурмана, жизнь анатолийской деревни после завершения национально-освободительной войны, нищета, бесправие — вот темы, занимающие внимание драматургов и театров. Авторы пьес показывают, что революция не разрешила коренные вопросы города и деревни. В драме Ведата Недима «Безработные» один из участников освободительной борьбы, Ахмет, вернувшись с фронта, не может получить работу и спасти свою семью от голодной смерти, иначе как продав свою красивую сестру богатому ростовщику.

Участь Ахмета разделяет герой пьесы Джевдета Кудрета «Живые и мертвые», также столкнувшийся с миром эксплуататоров, разбогатевших на людском горе, и герой пьесы Назыма Хикмета «Череп», вынужденный пойти на уступки сильным мира сего.

Общественно-политическая жизнь страны, многопартийные выборы, бюрократизм, взяточничество, продажность чиновников — все эти явления современного турецкого буржуазного общества становятся объектом бичевания в пьесах сатирического плана. Сатира как жанр, издавна популярный в Турции и любимый народом, сегодня занимает наряду с пьесами эпического характера главное место в репертуаре турецких театров. Не случайно такие пьесы, как «Факир на час» Халдуна Танера, «Яшар то ли живет, то ли не живет» Азиза Несина, «Класс Хабабам» Рифата Ильгаза и другие,

ставятся во многих театрах и годами не сходят со сцены.

60—70-е годы, по словам Метина Анда, стали наиболее продуктивным и значительным периодом в развитии турецкой драматургии. Были осуществлены также постановки пьес, запрещенных в 50-х годах по политическим мотивам.

...В затерянном горном селении, отгороженном от остального мира сильным снегопадом, работает каймакам — уездный начальник. Он весьма энергично проводит реформы: запрещает женщинам носить чаршафы под страхом заключения их мужей в тюрьму, арестовывает местных спекулянтов, требует, чтобы ага (помещик) возвратил незаконно захваченные земли. Ага и местные богатеи безуспешно пытаются его скомпрометировать и даже подсылают убийцу. Но вот начинается ледоход и восстанавливается прерванная с внешним миром связь. Прибывшие из центра начальники убирают каймакама, объявив его сумасшедшим, сбежавшим из больницы. «Столько умных было, а никто доброго дела не совершил. Оказывается, для этого надо сумасшедшим быть»,— говорит одна из героинь. Но богатеи довольно потирают руки: на «доброго» каймакама надели смирительную рубаху. «Эй, люди! Может, опять дороги заметет, тогда я снова вернусь»,— кричит он, и эти слова зал встречает аплодисментами. Так рассказывает очевидец, посмотревший в Анкаре пьесу Джевата Башкута «Перед ледоходом».

Для драматургии 60-х характерным является также изучение, осмысление и интерпретация переломных периодов в истории турецкого народа, художественное использование легенды, мифа. Обращаясь к истории страны, к легендам, драматурги стремятся показать, как борьба за личное счастье перерастает в борьбу за счастье народное, борьба против кастовых предрассудков — в борьбу против социальной несправедливости. По мотивам народных былин-дестанов — создаются оперы («Кер-оглы» композитора Аднана Сайгуна, при участии известного советского дирижера Ниязи); в переработке современных авторов обретают новую жизнь пьесы классиков («Родина или Силистрия» и «Акиф-бей» Намыка Кемаля); на основе известного стихотворения Назыма Хикмета «Как Керем», о легендарном герое Кереме, сгоревшем от любви, создан спектакль, звучащий своевременно и актуально.

Сравнивая отдельные периоды развития турецкой драматургии, Метин Анд подчеркивает, что одновременно с количественным ростом пьес, создаваемых турецкими авторами, повышался их художественный уровень. Только за три года (1970—1973) оригинальных пьес было поставлено больше, чем за десять лет в 40-х годах. Автор отмечает как отрадный факт, что драматурги все чаще обращаются к проблемам современности. Многие пьесы отображают духовный кризис героев, взаимоотношения личности и общества, уродливые формы буржуазной действительности, все расширяющийся бюрократизм. Примером может послужить пьеса Васифа Онгорена «Как спаслась Асия»[1].

Автор с удовлетворением замечает, что пьесы турецких драматургов широко переводят на другие языки и ставят в разных театрах мира. Международную известность получили пьесы Азиза Несина «Не придете ли сюда?», «Сделай что-либо, Метl», которые переведены на русский, французский, немецкий, польский, чешский и другие языки, а пьеса «Торосский хищник» шла в театрах Советского Союза, Югославии, Болгарии. «Дестан об Али из Кешана» Халдуна Танера увидели зрители Англии и Чехословакии. Почти все театры мира обошли пьесы Назыма Хикмета «Легенда о любви», «Всеми забытый», «Чудак», «Дамоклов меч», «Иосиф Прекрасный». После тридцатилетнего перерыва пьесы Назыма Хикмета ставят и театры Турции.

70-е годы знаменуются рождением нового в истории Турции театра — «театра действия», или, как его называют в народе, «передвижного театра», который вобрал опыт классического турецкого народного театра «Тулуат», театра импровизаций, «Орта оюну», а также советских театров 20-х годов и драматургии Брехта.

Сегодня в стране существуют десятки передвижных театров. Почти в каждом городке, на улицах, на заводах и фабриках, на спешно построенных подмостках, актеры играют пьесы известных и неизвестных авторов, тут же на ходу импровизируя и добавляя злободневные реплики. У театра нет ни своей сцены, ни постоянной аудитории. И зритель, не имеющий никакого представления о спектакле, который он сейчас увидит, сам превращается в его участника — отсюда и название театра: «театр действия».

Фундаментальный труд Метина Анда, включающий богатый фактический материал, отражает историю турецкого театра за пятьдесят лет, поддерживает все лучшие тенденции и намечает перспективы его дальнейшего развития. Книга М. Анда пронизана верой в богатые возможности тех деятелей театра, которые служат своим искусством интересам турецкого народа.

К. КЯМИЛЕВ

[1] Перевод пьесы был опубликован в «Иностранной литературе» № 4, 1972.

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ И ЕГО ПОСЛЕДНИЙ РОМАН

По мнению английских критиков, последний роман известного английского писателя и литературоведа профессора Малькольма Брэдбери «Историк» (издательство «Секкер энд Уорбург») принадлежит к числу лучших книг минувшего года. «Историк», третий роман Малькольма Брэдбери, как и первый его роман «Кушать людей — нехорошо» (1959), представляет собой сатиру на академическую жизнь Англии. Центральный персонаж «Историка» профессор социологии Ховард Кирк, по мнению рецензента литературного приложения «Таймс» Х. Сперлинга,— типичный продукт нашего времени. Ему противостоит студент Джордж Кэрмод, который, как считает рецензент журнала «Спектейтор» П. Акройд, словно пришел в наш век из другой эпохи. Рецензенты единодушны в оценке мастерства, с каким Малькольм Брэдбери воссоздает университетскую атмосферу и анализирует противоречия английской системы образования.

В интервью представителю журнала «Букс энд букмен» Майклу Барберу, Малькольм Брэдбери объяснил, почему действие во

Сезон 1976 года Королевский шекспировский театр в городе Стратфорд-он-Эйвон открыл новой постановкой «Ромео и Джульетты». Как пишет рецензент «Морнинг стар» Гордон Парсонс, «в этой постановке ощущается молодая, буйная энергия главного режиссера Тревора Нанна». Тревор Нанн рассматривает «Ромео и Джульетту» не как лирическую, романтическую трагедию, а как столкновение любви и ненависти, светлой радости и насилия. Он анализирует разрушительные силы, действующие в обществе, в семье и в душе человека.

С первой же сцены, в которой сверкают мечи слуг, становится ясно, что Верона — порождение порочного, прогнившего общества и по своему духу она очень похожа на города современного Запада.

На снимке: Иэн Маккелен (Ромео) и Франческа Эннис (Джульетта), игра которых очень высоко оценена критикой.

(Газета «Морнинг стар»)

всех его романах происходит в университетской среде: это мир, наиболее знакомый ему по личному опыту.

Отвечая на вопрос корреспондента о своих дальнейших творческих планах, Малькольм Брэдбери сказал, что хотел бы создать пьесу, анализирующую сложную идеологическую ситуацию семидесятых годов, когда в среде молодежи стала пробуждаться политическая сознательность.

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БЕНИН

«ВНОВЬ ПРИБЫВШИЙ»

Так называется первый полнометражный художественный фильм, снятый в этой африканской стране. Его поставил преподаватель классической филологии Государственного университета Ришар де Медейрос. Все роли в фильме исполняют бенинские актеры.

В заметке о новом фильме в журнале «Жён Африк» указывается, что искусство кино интересует Ришара де Медейроса давно и он уже снял три короткометражных фильма, два художественных («Король умирает в изгнании» — о последнем повелителе бенинцев до завоевания страны французами и аллегорическая сказка «Молчание и огонь джунглей») и цветной киноочерк о танцах бенинцев. Тема фильма «Вновь прибывший» — конфликт между поколениями сегодняшней Африки.

БОЛГАРИЯ

СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ «СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ»

«Сестра милосердия» — новый художественный фильм, над которым совместно работают Софийская студия игровых фильмов и студия «Мосфильм», посвящен 100-летию освобождения Болгарии от турецкого ига.

На снимке: Стефан Данаилов в роли Николая Корабелова в фильме «Сестра милосердия».

(Журнал «Фильмови новины»)

Сценарий фильма написан Стефаном Цанёвым и Семеном Лунгиным. Главный оператор — Вадим Юсов.

В основе сюжета — жизнь баронессы Юлии Петровны Врвевской, женщины яркой и необычной судьбы. Молодая знатная вдова с большими связями при дворе, она тяготится светской жизнью и предпочитает ей общение с передовой интеллигенцией. Она близко знакома с Тургеневым, Золя, Мопассаном, Жорж Санд, Листом, Шопеном. Юлия Врвевская уехала в Болгарию рядовым бойцом за свободу, скромной сестрой милосердия и здесь обрела свое «я», ощутила, говоря словами И. С. Тургенева, «блаженство самопожертвования».

Многие действующие лица фильма — собирательные образы. Например, доктор Павлов, воплощающий черты мужественных русских медиков, или Василий Васильевич, прототипом которого послужил замечательный русский художник Верещагин, создатель прекрасных полотен, посвященных русско-турецкой войне. Таков и главный герой фильма болгарский революционер Николай Корабелов, его играет популярный болгарский актер Стефан Данаилов. В новом фильме занято немало советских актеров. Так, роль Василия Васильевича исполняет Адомайтис, а роль доктора Павлова — Солоницын, запомнившийся болгарским зрителям по фильму «Андрей Рублев». Одну из ведущих ролей играет Ролан Быков.

«СЛОВАРЬ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА»

Значительным событием в культурной жизни Болгарии явился выход в издательстве «Болгарски писател» второго издания «Словаря болгарского языка» (первое издание вышло восемьдесят один год назад).

Составитель словаря — поэт и дипломат Найден Геров. Вместе с единственным помощником, Тодором Панчевым, он в течение полувека собирал, изучал и систематизировал языковой материал.

Идею словаря Найден Геров сформулировал так: «Я хочу оставить памятник, который показывал бы, каким был народный болгарский язык перед началом новой болгарской письменности».

Словарь содержит около 70 000 слов, 26 000 фразеологических и 4000 идиоматических оборотов, 16 000 пословиц, 5000 отрывков из народных песен, более 2000 имен собственных. Это не просто толковый, но и один из первых энциклопедических болгарских словарей. Он содержит много сведений о природе Болгарии и быте болгарского народа, богатейший фольклорный материал. Многие болгарские слова в нем объясняются и через их русские синонимы.

Болгарская печать уделила выходу словаря большое внимание. Еженедельник «Литературен фронт» посвятил ему целую полосу. Серьезная и обстоятельная статья Ивана Бурина «Великая сокровищница болгарской речи» заканчивается так: «...словарь болгарского языка Найдена Герова будет всё сильнее влиять на языковое, поэтическое и патриотическое воспитание новых поколений».

ВЕНГРИЯ

КРИТИКИ ОБСУЖДАЮТ

В венгерской печати широко обсуждается новый роман известного писателя Дюлы Чака «Вечнозелёное», в котором ставится проблема сохранения духовной связи с народом в среде интеллигенции, вышедшей из народных недр.

В центре романа — судьба двух братьев, родившихся и выросших в крестьянской семье. Старший брат с детства мечтал вырваться из «оков» крестьянского быта, стать интеллигентом. Но получив высшее образование, став обладателем заветного диплома врача, он начинает с пренебрежением смотреть на крестьян и на деревенскую жизнь.

Младший брат верен семейным традициям и остается работать на земле. Поведение «господина доктора», старшего брата, глубоко возмущает его. Конфликт между двумя братьями, двумя жизненными позициями и является содержанием романа.

Критик Имре Бата на страницах газеты «Непсабадшаг» сравнивает роман Д. Чака «Вечнозелёное» с поэмой классика венгерской литературы Яноша Араня «Миклош Толди», в которой образ Толди олицетворял высокую нравственность трудящихся на земле людей.

Обозреватель литературного еженедельника «Элет эш продалом» Вильмош Фараго видит силу романа в его «социальной направленности».

Все критики единодушно отмечают тесную связь нового романа Дюлы Чака с его известным лирико-социографическим произведением «Глубинное течение» и указывают, что художественные достоинства книги проистекают из глубокого анализа проблем современной жизни.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

В Венгрии начал выходить новый литературно-художественный иллюстрированный журнал «Уй тюкор».

В состав редколлегии журнала вошли известные литераторы: Имре Чанади (главный редактор), Ласло Бенямин, Шандор Фекете, Дердь Кальмар и другие.

В первом номере журнала опубликованы рассказы Габора Пако, Дюлы Круди, Марчелло Вентури, Эндре Веси, а также первая часть нового романа Эмиля Гранд-пьерре-Коложвари. Помещены подборки стихов Дюлы Ийеша, Иштвана Паколица, Андраша Шимора, Сергея Есенина и репортажи Шандора Шомоди-Тота. Литературное наследие представлено новыми материалами о поэте эпохи Просвещения Даниэле Бержени и родоначальнике венгерской социалистической поэзии Аттиле Йожефе.

Разнообразен отдел критики — здесь дискуссионные статьи, литературные портреты и интервью.

ГДР

СИМПОЗИУМ ВОСТОКОВЕДОВ

«Революция и литература» — под таким заголовком сообщила газета «Нойес Дойчланд» о работе III Международного симпозиума по теоретическим проблемам литератур Азии и Африки, происходившего в Веймаре. В нем приняло участие свыше ста двадцати делегатов, в том числе из СССР.

Важной особенностью симпозиума, на котором было заслушано семьдесят два научных доклада, явилась его ориентация на современность. Особое внимание было уделено критике маоистских концепций и анализу воздействия буржуазно-националистических идей на литературный процесс в странах Азии и Африки.

Принятая участниками симпозиума резолюция отмечает, что изучения требуют в первую очередь такие проблемы, как соотношение революции и литературы, классики и современности, традиций и новаторства, а также вопросы межлитературных связей». Признано необходимым исследовать «роль культурного наследия в современной жизни стран Азии и Африки и его воздействие на современную идеологическую борьбу».

«НОВОЕ В ИСКУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ»

Такова тема специального номера еженедельника «Зонтаг», посвященного новым произведениям писателей, художников, скульпторов, композиторов, режиссеров, сценаристов. Кроме статей и интервью, отрывков из нового романа Герберта Отто «История с Марией» и из новой пьесы Райнера Керндля «Дикая банда» в номере помещена анкета «Над чем вы работаете?», на которую ответили многие писатели.

«Я пишу сейчас новый рассказ,— сказала Аниа Зегерс.— Он должен выйти отдельным изданием вместе с рассказом «Каменный век», опубликованным ранее в журнале «Зинн унд форм».

Криста Вольф завершила работу над романом «На примере одного детства», который выйдет в издательстве «Ауфбау». (См. «ИЛ» № 3, 1976.)

Курт Давид подготовил книгу рассказов «Медведь с птицей на голове» (на основе своих монгольских записей) и собирает материал для биографической книги о Винсенте Ван Гоге.

Гюнтер Гёрлих участвует в создании телевизионного фильма по своему роману «Возвращение в чужую страну» и работает над романом о событиях пятидесятых годов.

Иоахим Кнаппе пишет третий том большого цикла «Береза там, наверху».

Армин Мюллер пишет пьесу, действие которой происходит в наши дни.

Поэт Уве Бергер опубликовал новые стихи и теперь задумал книгу очерков о Германской Демократической Республике и Советском Союзе.

ГРЕЦИЯ

Режиссер Андреас Димитри с исполнителем главной роли Христосом Шопахасом и молодым болгарским оператором Николаем Лазаровым.

УСПЕХ МОЛОДОГО РЕЖИССЕРА

Высокую оценку кинокритики получил демонстрировавшийся в Греции фильм молодого кипрского режиссера, выпускника ГИТИСа Андреаса Димитри «Утренние выстрелы ие были последними». Он посвящеи борьбе демократических сил Греции в послевоенный период.

Особое вниманиe в фильме уделено событиям, происходившим в период семилетнего правления «черных полковников». В основу фильма положены документальные матерналы, а также автобиографическая повесть П. Коровесиса «Стражи людей». Отмечая идеологическую зрелость режиссера, смелость и профессионализм его первой большой работы, критик газеты «Та иэа» Костас Стаматну рекомендует своим чнтателям запомнить это имя.

ДАНИЯ

«ПУШКИН В ПРОФИЛЬ»

Вышло в свет первое датское исследование творчества А. С. Пушкииа — «Пушкни в профиль». Его автор — литературовед Каспар Линвад. Газета «Ланд ог фольк» замечает, что среди великих русских классиков Пушкии особенно трудеи для перевода, о чем, в частности, свидетельствуют два иеудачных перевода «Евгения Онегина», сделанных, впрочем, ие с оригинала. Большое достоинство работы Ливвада рецензент видит не только в анализе творчества и жизиенного пути Пушкииа, но и в переводах ряда ранее ие известных датскому читателю произведений. Особенно удачно, по мнению рецензента, Линвад перевел «Медного всадника».

«ДЕРСУ УЗАЛА» — ГИМН ЧЕЛОВЕКУ

В одном из крупнейших кинотеатров Копенгагена «Александра» состоялась премьера советско-японского художественного фильма «Дерсу Узала», поставленного японским кинорежиссером Акиро Куросава. Датская печать восторженно отозвалась о фильме — особо выделяя талантливую и самобытную игру артиста Максима Мунзука. Рецензент газеты «Ланд ог фольк» писал, что ему еще не доводилось видеть такого блистательного в своей простоте произведения искусства: «Это гуманистический гимн человеку и дружбе между людьми». Об успехе фильма у датских зрителей свидетельствует тот факт, что первые две недели его демонстрации дали самый большой кассовый сбор за всю многолетнюю историю киотеатра.

ЕГИПЕТ

«ФЕДРА» РАСИНА И СОВРЕМЕННЫЙ ЕГИПЕТСКИЙ ТЕАТР

В связи с постановкой египетским Национальным театром трагедии Расина «Федра» (стихотворный перевод «Федры» на арабский язык осуществлеи египетским поэтом Фаруком Шушей) издающаяся в Багдаде газета «Ас-Саура» опубликовала статью египетского писателя Джамаля аль-Гайтани под названием «Действительно ли спектакль «Федра» является выходом из тупика?».

Как пишет автор статьи, постановка на египетской сцене «Федры» встретила одобрение критиков и горячий прием у публики. «Зал Национального театра на площади Эзбекийе каждый вечер до отказа заполняется зрителями, представляющими самые различные слои египетского общества. И это происходит иепрерывно в течение двух месяцев».

Все это, говорит автор статьи, заставляет отнестись с уважением к египетскому зрителю, вкус которого не смогли испортить десятки низкопробиых пьес, заполонивших сцены театров с 1966 года, когда владельцы частных театральных трупп начали ставить развлекательные поделки, ссылаясь на «иеразвитый вкус публики».

Французский режиссер, приглашеииый для постановки спектакля, заявил на пресс-конференции, что, ставя трагедию в Египте, он

«пытался показать картину социального и психологического гнета, который испытывает женщина в восточном обществе».

Однако аль-Гайтани считает, что «хотя постановка «Федры» и представляет собой большое художественное достижение, этот спектакль все же далек от современной жизни Египта с ее тревогами и заботами. Он отнюдь не знаменует собой начала театрального возрождения, которое привело бы к расцвету театра подобно наблюдавшемуся в пятидесятых годах... Нам нужно, чтобы на сцене ставились египетские произведения, живо и правдиво отражающие заботы и тревоги обыкновенного человека в Египте. Только тогда мы сможем сказать, что египетский театр стал снова жизнеспособным».

ИНДИЯ

КОММУНИСТЫ ИНДИИ И ЛИТЕРАТУРА

Укрепляются связи Компартии Индии с писательской общественностью, усиливается ее влияние среди литераторов, пишущих на различных языках страны. Убедительным свидетельством тому служат встречи с писателями, организованные в последнее время Национальным Советом КПИ.

Как сообщает индийская пресса, в «Аджой-бхаване» (штаб-квартире КПИ в Дели) состоялось чествование писателей — представителей различных индийских литератур, удостоенных национальных премий. В числе гостей были бенгальский драматург и актер Биджон Бхаттачарья, получивший премию Академии музыки и танца, известный прозаик хинди Бхишам Сахни, удостоенный премии Литературной академии, и поэт-композитор Джьетириндра Мойтра, которому была присуждена премия Совета музыкального искусства.

В приветственном слове секретарь Национального Совета КПИ Н. К. Кришнан напомнил собравшимся о той большой роли, которую играла в период борьбы за независимость и в годы становления свободной Индии Ассоциация прогрессивного театра Индии (АПТИ), среди организаторов и активных деятелей которой были и нынешние лауреаты национальных премий. Их искусство, вобравшее в себя лучшие черты народного театра и обогатившее его новым содержанием, поднимало массы на борьбу против империализма, за независимость и целостность страны. Напомнив собравшимся о необходимости крепить единство прогрессивных сил перед лицом правой опасности, Н. К. Кришнан призвал собравшихся возродить в новых условиях славные традиции АПТИ.

На встрече, которая была также организована в «Аджой-бхаване» редакцией газеты «Хаят» — органа КПИ на урду, — присутствовали многие прогрессивные писатели и поэты литературы урду: Кайфи Азми, Али Сардар Джафри, Исмат Чугтаи, Камар Раис, Ахтар Саид и ряд других. Обращаясь к собравшимся, один из руководителей КПИ, ветеран партии доктор Гангадхар Адхикари отметил, что движение прогрессивных писателей Индии является важной составной частью фронта тех сил, которые ведут борьбу против реакции и империализма. Подчеркнув необходимость единства деятелей литературы, на каком бы языке они ни писали, оратор заявил, что Компартия Индии будет оказывать всяческую помощь сплочению творческой интеллигенции.

Х. К. Вьяс — редактор газеты «Джан юг», органа КПИ на хинди,— говорил о выдающейся роли, которую сыграла Ассоциация прогрессивных писателей Индии в борьбе против империализма за независимость страны, и отметил, что Ассоциация постепенно набирает силы и приобретает все большее влияние.

Выступив на приеме от имени собравшихся пишущая на урду новеллистка Исмат Чугтаи подчеркнула ту роль, которую на всех этапах движения прогрессивных писателей играла Компартия Индии как объединяющая и мобилизующая сила.

ОРУЖИЕМ САТИРЫ

Издающаяся в Дели газета «Джан юг» поместила интервью с популярным писателем-сатириком, пишущим на языке хинди, Харишанкаром Парсаи. Известный своими прогрессивными взглядами, писатель оружием сатиры борется против реакции. Его выступления против правых навлекли на него ненависть всех, кто хотел бы столкнуть страну с пути прогрессивных социальных преобразований.

Сатира — это мощное оружие, но все зависит от того, в чьих руках оно находится и против кого направлено, сказал писатель. Вот почему так важно мировоззрение тех, кто берется за перо сатирика. «Без правильного мировоззрения,— заявил он,— повседневный опыт может натолкнуть на неверные выводы».

Указав на неразрывную связь сатиры с формами устного народного творчества, такими как сказка и анекдот, Х. Парсаи подчеркнул, что в современных условиях объектом осмеяния стали пережитки прошлого (кастовая система, религиозный фанатизм), а также коррупция и социальная несправедливость.

Подлинной сатире, считает писатель, всегда свойствен гуманизм. «Сатира — не зубоскальство,—сказал он.— Критически оценивая поступки и побуждения, она проникает в самые глубины жизни. И поэтому вовсе не обязательно должна вызывать смех. Если сатира пробуждает совесть и заставляет человека задуматься, значит, она достигла цели».

ИНДОНЕЗИЯ

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

Критик Лииус Суради поместил в газете «Компас» обширную рецензию на

опубликованную недавно третью книгу стихов «Кроичонг мотингго» ведущего представителя современной индонезийской «зашифрованной» поэзии Субагио Састровардое. В рецензии отмечается, что значительная часть стихов, вошедших в новый сборник и отражающих самую суть мировосприятия поэта, доступна пониманию лишь узкого круга специалистов. По мнению критика, большинство новых стихов поэта представляет собой «блюдо, приготовленное в основном из философской соли и лишь слегка дополненное овощами, произрастающими на черной земле реальности». Лишь отдельные стихотворения не укладываются в рамки холодных философских построений, обретают непосредственность чувства и жизнеощущения. Таковы «Когда день переходит в ночь», «Вдохновение», «Лорелея» и заглавное стихотворение книги, название которому дали популярные в Индонезии с конца прошлого века своеобразные городские романсы — крончонг.

ИРЛАНДИЯ

ДВЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ АНТОЛОГИИ

«Ирландская поэзия. 1924—1974». Эта антология, составленная Дэвидом Маркусом, вышла в издательстве «Пэн» и заслужила высокую оценку рецензентов. В сборнике представлены ведущие поэты Ирландии: У. Б. Йитс, Остин Кларк, Патрик Каванах, У. Р. Роджерс и другие.

Независимость Ирландии была провозглашена в 1921 году, но гражданская война в стране закончилась только в 1923 году. Поэтому, как пишет Дерек Стэнфорд, опубликовавший большую рецензию на сборник в литературном ежемесячнике «Букс энд букмен», итоги пятидесятилетнего развития современной ирландской поэзии «можно подвести именно в 1974 году. Пятьдесят поэтов, вошедших в антологию, представляют ирландскую поэтическую традицию за полстолетия».

Заслуживающей внимания Дерек Стэнфорд считает также антологию «В трауре», вышедшую в этом году в Белфасте (издательство «Блэкстаф пресс»). Ее составитель, Падрэйк Фиакк, собрал произведения более шестидесяти поэтов Северной Ирландии, а также десяти английских и американских поэтов, писавших о гражданской войне в Ирландии.

Дерек Стэнфорд пишет: «Задача этой в высшей степени актуальной антологии — показать восприятие ирландских событий разными людьми, не только ирландцами, и показать войну с разных точек зрения».

ИСПАНИЯ

ПРЕМИЯ — ФРАНСИСКО УМБРАЛЮ

Премия «Надаль» — одна из крупнейших литературных премий страны, отмечающая лучший роман года.

В прошлом году на рассмотрение жюри было представлено 119 романов. Победителем в последнем туре конкурса стал известный писатель и публицист Франсиско Умбраль. Он получил премию «Надаль» за свой последний роман «Нимфы», построенный на воспоминаниях о годах детства, прошедшего в маленьком провинциальном городке.

ИТАЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН БЕРНАРИ

Газета «Унита» публикует обширное интервью своего корреспондента с известным писателем Карло Бернари, многие произведения которого знакомы советскому читателю. Бернари рассказал о своем новом романе, носящем парадоксальное название: «Революция, которая пока не произойдет». Книга выдвинута на соискание премии Неаполя (все творчество Бернари тесно связано с этим городом), и, по уставу, заключение о ней должны дать не только члены жюри, но и триста рабочих неаполитанских заводов.

Это история молодого интеллигента Элио Денито, который продался владельцу крупного предприятия и по его указанию ведет среди рабочих в провокационных целях «революционную» деятельность. Хозяин заинтересован в поддержании напряженной обстановки на своем предприятии, ибо это позволяет ему принимать «чрезвычайные меры» и легче справляться с недовольством рабочих и служащих. Элио же находит в своей деятельности «нравственное удовлетворение»: деньги, которые он получает от предпринимателя Лео, дают ему возможность заниматься литературным трудом. Он сочиняет роман, в котором описывает все то, что с ним происходит, рассчитывая таким способом «разоблачить» тайную игру владельца предприятия. Но и хозяин, оказывается, пишет роман, замысел которого почти полностью совпадает с замыслом Элио. Герои обеих книг настолько схожи между собой, что временами почти идентичны. В реальной жизни Элио тоже начинает как бы дублировать Лео — он вступает в сожительство сначала с его секретаршей, потом с женой.

Элио понимает, что запутался, что разоблачить игру Лео ему не удастся и что сам он тоже постепенно становится частью «системы». Он уходит от Лео, но сразу попадает в зависимость от дельца — перекупщика подержанных вещей, лозунгом которого служит надпись, обычно украшающая фургоны старьевщиков: «Покупаю все, очищаю подвалы и чердаки». Эта фигура приобретает в романе символическое звучание: в обществе потребления все покупается, продается и перепродается — в том числе и писатель Элио, раз уже продавшийся «системе», каки-

Пьеса Эрнеста Хемингуэя «Пятая колонна» ставится в Италии не впервые. Еще в 1945 г. к ней обращался крупнейший мастер итальянского театра и кино недавно скончавшийся Лукино Висконти. В настоящее время «Пятая колонна» появилась на голубых экранах страны (режиссер Джузеппе Фина). В главной роли снялся один из популярнейших актеров, француз Филипп Леруа, создатель образа Леонардо да Винчи в телепостановке, осуществленной Ренато Кастеллани и признанной одним из шедевров мирового телевидения (летом 1974 г. демонстрировался в СССР).
На снимке: Филипп Леруа в роли Филипа Ролингса и Паола Баччи — в роли Дороти Вриджес в телеспектакле «Пятая колонна».

(Газета «Паэзе-сера»)

ми бы высокими целями он это ни оправдывал.

Критик Армандо Ла Торре, бравший интервью у Бернари, называет его роман лабиринтом, пробираясь сквозь который читатель ищет истину. Писатель ставит много вопросов, на которые не дает ответов. В целом идею произведения можно определить как анализ взаимоотношений между интеллигенцией и правящим классом в буржуазном мире. «То, о чем я начал разговор в своей книге, должно закончиться вне ее»,— говорит Бернари.

«ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ НАСИЛИЕ»

Так называется последняя книга Нанни Баллестрини— прозаика и поэта, известного своей склонностью к экспериментам (одно время, работая над стихами, он даже прибегал к помощи счетно-вычислительных машин, поставив себе целью покончить с привычными формами художественного выражения, которые объявил безнадежно устаревшими). На этот раз Баллестрини в прозаическом опыте использует технику киномонтажа и коллажа. Писатель «монтирует» различные отрывки из газетных статей и сообщений, фрагменты литературных произведений, материалы судебных процессов, другие официальные документы. Иногда он прибегает к параллельному монтажу материалов об одном и том же факте, событии или человеке, помещая порой прямо противоположные высказывания. Все эти формальные приемы (сопоставление различных авторов, версий, источников, сталкивание их между собой) должны служить, по замыслу Баллестрини, разоблачению лжи, мистификации, обмана, которые слагаются в своего рода моральное и политическое насилие со стороны средств массовой информации.

Однако, отмечает в своей рецензии в газете «Унита» критик Витторио Спинаццола, практическое значение книги в разоблачении методов и всей практики правой печати ослабляется тем, что симпатии автора отданы крайним, экстремистским политическим силам. В своем недавнем нашумевшем романе «Хотим все», пишет Спинаццола, Баллестрини был очень искренен, эмоционален, отказался от авангардистских изысков, здесь же он вновь возвращается к формальной изощренности, характерной для его произведений прошлых лет.

КОНЧИНА ВИДНОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Прогрессивная литература Италии понесла тяжелую утрату: умерла Рената Вигано, автор известного романа «Аньезе идет на смерть», переведенного на 14 языков мира. Эта книга была первым произведением новой итальянской антифашистской литературы, изданным в Советском Союзе после падения режима Муссолини (в русском переводе роман называется «Товарищ Аньезе»). Роман, рассказывающий о партизанской борьбе в области Эмилия, во многом автобиографичен — Вигано и ее муж, писатель Антонио Мелуски, были одними из инициаторов и организаторов партизанской войны против гитлеровцев и местных фашистов. Вместе с партизанами — крестьянами Эмилии они прошли весь тяжкий путь вооруженной борьбы и подполья. Образ крестьянской женщины Аньезе, ставшей партизанкой, мудрой и заботливой матерью всего отряда,— один из самых значительных женских образов во всей послевоенной итальянской литературе. В 1949 году роман был удостоен крупной итальянской литературной премии «Виареджо». Перу Вигано принадлежат также роман «История девушек», сборник рассказов «Прилетает аист» и дру-

гие. Много лет писательница активно выступала в прогрессивной печати, в том числе в журнале ИКП «Ринашита», журнале «Иль Понте», а также в газетах Рима и Болоньи.

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН

ДВА ВАЖНЫХ СОБЫТИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ

В Адене начал выходить еженедельник «Ат-Тарбия аль-джадида», посвященный вопросам культуры и просвещения. Председатель совета министров и министр просвещения НДРЙ Али Насер Мухаммед в статье, открывающей первый номер журнала, указывает, что «Ат-Тарбия аль-джадида» — «политический и культурно-просветительный журнал, идейная основа которого — политический курс Национального фронта, курс научного социализма».

Новому журналу отводится важная роль в прогрессивных мероприятиях, которые правительство Йемена осуществляет в области культуры, таких как ликвидация неграмотности и коренная перестройка системы народного образования.

По сообщениям арабской печати, в Адене открыт первый в стране университет. На его факультетах обучаются не только йеменские юноши и девушки, но и студенты из других арабских стран.

КАНАДА

«ИДУЩИЙ ПО СНЕГУ»

Канадская критика высоко оценила сборник рассказов Фарли Моуэта «Идущий по снегу». Нравится он и читателям — книга Моуэта прочно удерживает одно из первых мест в списке бестселлеров. Она повествует о жизни эскимосов Канады, об их прошлом и настоящем.

Писатель глубоко проникся духом эскимосских преданий, он умело вплетает в текст легенды, обрядовые песни, использует мифологические образы, один из которых дал название заглавному рассказу сборника. «Идущий по снегу» — имя духа, символизирующего чистоту и мужество,— человек, который наперекор стихиям идет вперед через снега.

Однако главная тема сборника, отмечает рецензент журнала «Кеиздиен форум», это прежде всего реальная жизнь канадских эскимосов. В рассказах Моуэта эскимос противостоит белым, и писатель ему явно симпатизирует. Красота и поэтичность образа жизни эскимосов были уничтожены, растоптаны грубым вторжением белых — вот основная идея сборника Моуэта.

КУБА

ФИЛЬМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЧИЛИ

Одним из выражений братской солидарности Кубы с чилийским народом стал фильм кубинского режиссера Умберто Соласа «Кантата о Чили». Умберто Солас, известный у нас своими фильмами о недавней истории острова Свободы («Мануэла», «Лусия», «Симпарале»), на этот раз обращается к Чили, к периоду борьбы против испанского колониального владычества и проникновения в страну сначала английского, а затем американского империализма.

Главная цель, которую поставил перед собой режиссер,— показать истоки фашизма в чилийской олигархии и в армии. Когда в эпизоде стычки рабочих-забастовщиков и хозяев селитровых рудников появляется фигура генерала Сильвы, то сама собой напрашивается аналогия с нынешними чилийскими фашистами. Показ в фильме массового расстрела рабочих и членов их семей в Икике живо напоминает зрителям о трагедии чилийского народа.

Кубинская критика отмечает в картине прекрасную актерскую работу известного чилийского актера Нельсона Вильягры. Советскому зрителю он знаком по главным ролям в лентах Мигеля Литтина «Шакал из Науэльторо» и «Земля обетованная». Музыку написал кубинский композитор Лео Брауэр. Оператор картины Хорхе Эррера.

КУВЕЙТ

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «АЛЬ-БАЯН»

Исполнилось десять лет со времени выхода в свет первого номера ежемесячного журнала «Аль-Баян», издаваемого Ассоциацией писателей Кувейта. В связи с этой датой редакция журнала выпустила специальный номер, на страницах которого широко представлена поэзия и новеллистика как Кувейта, так и других арабских стран, произведения поэтов и прозаиков Ирака, Сирии и Египта.

Среди литературно-критических материалов, помещенных в номере,— большая статья декана факультета литературы и педагогики Кувейтского университета доктора Мухаммеда Джавада Риды о творчестве крупнейшего современного иракского поэта аль-Джавахири. Журнал печатает также интервью с аль-Джавахири и статью критика Хильми Мухаммеда Кауда об иракском поэте Абд аль-Ваххабе аль-Баяти.

В юбилейном номере опубликованы в переводе с русского рассказы И. С. Тургенева и А. П. Чехова, а также — интервью с известным итальянским кинорежиссером Антониони.

В информационном разделе номера помещены рецен-

зии иорданского критика Бассама Мухаммеда Джаррара на сборник стихов живущего в Израиле арабского поэта Наифа Селима, информация о культурной жизни арабов-палестинцев в Израиле и заметки марокканского публициста Ахмада Муслиха о литературной жизни Марокко.

ПЕРУ

НОВЫЙ РОМАН МАРИО ВАРГАСА ЛЬОСЫ

Известный перуанский писатель Марио Варгас Льоса, автор романов «Город и псы» (1962), «Зеленый дом» (1966), «Разговор в Соборе» (1970) и «Панталеон и посетительницы» (1974), рассказал о своих творческих планах в интервью, которое дал мексиканскому журналу «Сьемпре»:

«Я намерен написать, то есть уже пишу, роман, в основу которого положена судьба реального человека. Прототип героя, драматург, работал на радио и каждый день с 8 утра до 10 вечера писал радиопьесы. В конце концов он не выдержал и сошел с ума».

Однако, продолжает Льоса, радиобизнес требовал все новых и новых пьес, а потому сумасшедший автор продолжал усердно поставлять их до тех пор, пока его постоянные радиослушатели не заметили, что его персонажи ведут себя как-то странно: одни, убитые в прошлой пьесе, воскресают, другие перекочевывают по желанию автора из пьесы в пьесу, третьи — вмешиваются в чужие роли или говорят и совершают поступки, не соответствующие замыслу передачи. Слушатели обратились с письмом в редакцию, и бедняга автор был уволен. «Меня потрясла эта необычная история»,— сказал писатель.

Многочисленные поклонники таланта Марио Варгаса Льосы с нетерпением ожидают выхода в свет его новой книги.

ПОЛЬША

«ПОДНИМИ МЕНЯ, БОЛЬШАЯ ПТИЦА!»

Так называется сборник рассказов молодого писателя Марека Харного. По профессии он химик, сейчас работает редактором многотиражки на химическом комбинате в Тарнобжеге. Эта его первая книга сразу обратила на себя внимание критики и была отмечена двумя литературными премиями — Центрального совета профсоюзов и имени С. Пентака. В еженедельнике «Литература» рецензент отмечает, что «хотя книга Харного посвящена поколению тридцатилетних и затрагивает проблемы «отцов и детей», она вовсе не претендует на то, чтобы служить манифестом этого поколения, она отличается от книг других дебютантов

Во вновь открытом в Варшаве Театре на Воли, которым руководит актер и режиссер Тадеуш Ломницкий, поставлен спектакль по пьесе Леона Кручковского «Первый день свободы». Это тридцатая постановка спектакля. Первая была осуществлена в 1959 году Эрвином Аксером, в ней Тадеуш Ломницкий играл роль Яна. Теперь Ломницкий сам поставил спектакль, который, по свидетельству рецензента журнала «Театр», существенно отличается от постановок других режиссеров. Используя технические возможности новой сцены, Ломницкий ввел в спектакль события, о которых в пьесе только упоминается. Действие спектакля разыгрывается на двух площадках: на традиционной сцене и на просцениуме, который глубоко вдается в зрительный зал и окружен с трех сторон креслами зрителей, которые становятся как бы участниками действия. Ломницкий использует в спектакле и киномонтаж, который передает стремительность разворачивающихся событий.
На снимке: молодые актеры Кшиштоф Кобасюк в роли Яна и Гражина Шаполёвская в роли Инги.

(Журнал «Театр»)

своей конкретностью. Писатель не оперирует псевдосимволикой или псевдоиронией, он честно говорит о том, что считает нужным. Это книга о возмужании молодого человека, его нравственных исканиях, его раздумьях о своем предназначении». Особенно удачным рецензент считает рассказ «Последние будут первыми».

Большую рецензию на сборник «Подними меня, большая птица!» поместил журнал «Нове ксёнжки», в которой рецензент, в частности, пишет: «Я с радостью отмечаю желание молодых писателей более широко отображать действительность — совсем не так, как это было свойственно «малому реализму».

Януш Термер в газете «Трибуна люду» тоже высоко оценивает первый сборник молодого прозаика. В своей рецензии, озаглавленной «Важный дебют», он пишет: «Мы имеем дело с писателем, чей талант, чувство времени и смелость в постановке жгучих проблем современности служат залогом того, что в недалеком будущем мы встретимся с его новыми произведениями».

СЛАВНОЕ 30-ЛЕТИЕ

В 1976 году исполняется 30 лет издательству «Людовой спулдельни выдавничей». За время своего существования оно опубликовало 3200 наименований общим тиражом 45 млн. экз.

Значительное место среди них занимают произведения классиков польской литературы.

Большой популярностью пользуется «Библиотека крестьянских писателей», которая знакомит читателей с поэзией и прозой самобытных народных писателей. Кроме этой серии «ЛСВ» издает сборники народных песен, стихов, пословиц. Единственное в своем роде издание — двенадцатитомная «Библиотека поэтов», подготовленная специально для деревенского читателя,— включает произведения как польских, так и зарубежных авторов.

Большое внимание издательство уделяет современной прозе о деревне. Широкое признание читателей и критики получили книги Редлинского, Новака, Мысливского.

Помимо художественной «ЛСВ» издает также литературу документальную, общественно - политическую, мемуарную. Рецензент газеты «Трибуна люду» отмечает среди других книгу Сильвестра Лечиневича «Татрская конфедерация» о борьбе польского народа с оккупантами во время второй мировой войны.

РУМЫНИЯ

В сезоне 1975/76 года на сценах румынских театров было представлено много советских пьес: «Транзит» Л. Зорина, «Четыре капли» В. Розова, «А зори здесь тихие...» Б. Васильева, «Валентин и Валентина» М. Рощина, «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова. Особенно пользуется успехом у зрителей пьеса «Транзит» Л. Зорина в постановке режиссера В. Моисеску на сцене Театра им. Лучии Стурзы Буландры. Как отмечает критик Мариус Робеску в журнале «Лучафэруле», заслуга режиссера в том, что он сумел передать поэтическую атмосферу пьесы, очень удачно выбрав для исполнения главных ролей двух талантливых актеров. На фото: Илиану Предеску (Татьяна) и Виктор Ребенчук (Владимир).

(Журнал «Лучафэрул»)

СИРИЯ

ЗАКАРИЯ ТАМЕР — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает журнал «Аль-Джадид», председателем Союза арабских писателей Сирии стал известный сирийский писатель-новеллист Закария Тамер, чьи произведения переведены на различные языки мира.

З. Тамер остается главным редактором литературного журнала «Аль-Маукыф аль-адаби» и детского журнала «Усама».

США

ЗАВЕРШЕНИЕ ТРИЛОГИИ

Известный прозаик Гор Видал опубликовал новый роман «1876», завершающий его трилогию (советским читателям известен последний том — роман «Вашингтон, округ Колумбия», напечатанный в «ИЛ» № 11, 12, 1969). Первый том, «Бэрр», увидел свет в 1973 году. По замыслу, трилогия должна показать характерные черты политической жизни США за двести лет.

Видал считает, что 1876 год, когда отмечалось 100-летие США, был «самой низкой точкой на кривой нашего общественного развития». Экономический спад, предшествовавший юбилейным торжествам, привел к массовой безработице и разорению тысяч мелких собственников. Коррупция правительственных чиновников и беспомощность администрации тогдашнего президента страны генерала Гранта перед лицом наглых спекулянтов и новоиспеченных богачей привели к острому политическому кризису. В интервью, данном журналу «Тайм», писатель сказал, что свою задачу он видел в том, чтобы правдиво воспроизвести атмосферу эпохи, отмеченной социальными контрастами, острыми общественными конфликтами, безостановочной борьбой за власть и растущим разоча-

рованием рядовых американцев в идеалах, провозглашавшихся основоположниками американского государства.

Главный герой книги журналист Чарльз Скайлер, «переходящий» в новый роман из «Бэрра», возвращается в Америку из Европы после почти сорокалетиего отсутствия, чтобы поправить свои пошатнувшиеся финансовые дела. Он попадает на юбилейные торжества, а потом становится активным участником предвыборной кампании, отмеченной грубейшими нарушениями американского законодательства. Роман написан в форме дневника Скайлера: работая над книгой о демократическом кандидате Тилдене, герой оказывается свидетелем борьбы за президентское кресло и предвыборных махинаций, в которых сам же принимает деятельное участие. Среди персонажей книги — политические лидеры тогдашней Америки, известные общественные деятели тех лет, промышленники, актеры, ученые, писатели (в частности, Марк Твен и Генри Джеймс). По мнению критиков, Марк Твей и выражает главную идею книги, когда в беседе с Чарльзом Скайлером признается: «Теперь я уже не в состоянии писать сатирические рассказы. Мне хочется вооружиться ломом, дубиной, топором и сокрушить все вокруг».

Гор Видал широко использовал исторические труды, мемуары, архивы, политическую и светскую хронику 70-х годов прошлого века. Он стремится добиться максимальной верности картины, и все же многие рецензенты не обнаруживают ее в книге. Дж. Каплан в «Сатердей ревью» находит видаловский монтаж фактов односторонним и неубедительным. Дж. Монаган в «Нью-Йорк таймс бук ревью» упрекает Видала в том, что он, сосредоточившись на изображении перипетий борьбы за власть, не сумел показать повседневную жизнь средних американцев в эпоху, которую Твен назвал «позолоченным веком».

В настоящее время Видал заканчивает работу над сценарием фильма «Калигула», который должен ставить Федерико Феллини. «Однако,— сказал писатель в интервью «Тайму»,— я по-прежнему все время думаю о своей стране. Америка и все, что с нею связано,—моя единственная тема».

«ПОЭЗИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ»

В издательстве «Лайврайт» вышел сборник стихов крупнейшего негритянского поэта США Роберта Хейдена (1913—1970) «Угол возвышения»; он составлен из произведений, написанных Хейденом в последние годы жизни. Советским читателям творчество Хейдена известно по антологиям «Негритянская поэзия США XX века» (1971) и «Современная американская поэзия» (1975).

Хейден более двадцати лет прожил на американском Юге, преподавая в провинциальном университете. Однако, как признавался сам поэт, он так и не сумел приспособиться к господствующему там «климату насилия». Как и другие книги Хейдена, «Угол возвышения» рассказывает о расизме, бесправии, психологических травмах, неизбежных для каждого черного американца. Однако поэзии Хейдена чужды мотивы обреченности и отчаяния. Она полна веры в духовные силы негритянского народа Америки, в его способность отстоять подлинно гуманистические идеалы и нормы жизни. Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» М. Харпер называет стихи Хейдена «поэзией героического действия». В сборник включены баллады о героях освободительной борьбы негритянского народа Фредерике Дугласе, Нате Тернере, Гарриет Табмэн, о выдающихся негритянских художниках и музыкантах, чье творчество питалось историей народа, его легендами и преданиями, его устремлениями и мечтами.

На протяжении всей своей творческой деятельности, продолжавшейся более сорока лет, Хейден выступал как наследник и продолжатель лучших эстетических традиций черной Америки, обогащая их своим индивидуальным художественным виденнем. Хейден много экспериментировал в жанре баллады, стремясь синтезировать поэтику негритянско-

В мае—июне 1898 года некий фотограф в Даусоне, близ Клондайка, сделал воспроизводимый здесь снимок неизвестного и, между прочим, неудачливого золотоискателя, который спустя два месяца возвратился из Аляски в Окленд с кожаным мешочком золота общей стоимостью в ... 4 доллара и 50 центов. Этим золотоискателем оказался Джек Лондон. Через полтора года журнал «Атлантик мансли» опубликовал «Северную Одиссею» Джека Лондона, за которую он получил гонорар в 120 долларов, и американская критика провозгласила его «Киплингом ледовых земель».

(Газета «Эль насьональ»)

го фольклора и технику современного свободного стиха. Его искания сегодня продолжают лучшие молодые негритянские поэты США.

ТУРЦИЯ

«ГОРЬКИЕ ЛОМТИ ПЕРЕЖИТОГО»

Так назвал свою последнюю книгу очерков недавно умерший публицист, активист молодежного прогрессивного движения Карун Караденнз. Последняя книга Карадеинза посвящена событиям 12 марта 1971 года, когда военные ввели в 11 крупнейших районах страны осадное положение, разогнали свыше трехсот демократнческнх организаций и объединений, в том числе Рабочую партию Турции, бросили в тюрьмы сотнн передовых писателей, художнников, студентов и журналистов. Очерки Каруна Караденнза — одного из тех, кто был арестован, подвергся пыткам и допросам в охранке, — занимают среди многочисленных произведений на эту тему особое место.

«С красным цветком граната в руке я иду по Багдадскому проспекту» (в Стамбуле. — Ред.) — этой фразой открывается книга. И тут же мы узнаем, что цветок в руке в те дни был достаточным поводом, чтобы схватить на улнце любого прохожего и посадить его в тюрьму. «Красный цветок— ведь это же пароль? — допрашивал автора книгн следователь.— С кем ты должен был встретнться? Отвечай, мерзавец».

А вот разговор с прокурором: «Ты отрицаешь свое преступленне и, может быть, сумеешь оправдаться. Но за несовершенное преступление ты все равно поиесешь наказание». «Пронзведение Каруиа Караденнза,— пишет в своей рецензии поэт Кемаль Озер,— ценно тем, что абстрактные категорин всеобщего зла под пером автора превращаются в конкретное лицо современного фашизма».

УРУГВАЙ

НАСТУПЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ

В Уругвае продолжается широкая кампания, проводимая властями против национальной культуры. Закрыты прогрессивные издательства «Пуэблос унидос» и «Антео». Совет национальной безопасности, пишет корреспондент кубинского журнала «Боэмия», объявил уже о закрытии Уругвайско-советского института культурных связей.

Из национальных библиотек изымаются произведения Энрике Аморима, Хуана Карлоса Онетти, Марио Бенедетти и других прогрессивных писателей. Как сообщает «Боэмия», уничтожено свыше полумиллиона книг, квалифицированных властями как «подрывные». Закрыты не только орган компартии — газета «Эль популар», но и газета «Сивисмо», издававшаяся известным уругвайскнм общественным деятелем, сенатором Карлосом Хулио Перейрой, а также еженедельник «Телеграфо» и другие.

В театрах, на радио и телевидении свирепствует жесточайшая цензура. Власти запретили гастроли известной аргентинской актрисы Инды Ледесмы. Спектакль с ее участием «Хождение по огню», поставленный в театре «Сиркулар», имел грандиозный успех, но он был запрещен как «возмущающий общественную нравственность». Известной уругвайской актрисе Коисепсьон Сорнлье запрещено играть в театре и выступать по телевидению. Кинематографическая цензура не позволяет демонстрировать в стране фильмы социалистических стран и многие фильмы прогрессивной мировой кинематографии.

В результате многие деятели культуры покидают Уругвай. Как сообщает мексиканская газета «Эль диа», по политическим мотивам уже эмигрировало около 300 тысяч человек, в основном представители интеллигенции.

ФРАНЦИЯ

ЖИВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИСТОРИИ

Большой интерес у широкой публики, специалистов-литературоведов и историков вызвал вышедший недавно во Франции альбом пятидесяти лучших работ известнейшего французского фотографа прошлого века Надара.

Гаспар-Феликс Турнашоп, позднее взявший себе псевдоним «Надар», быстро добился успеха и признания. В 19 лет он уже был редактором журнала «Ливр д'ор», в котором сотрудничали такие прославленные писатели, как Александр Дюма, Теофиль Готье, Жерар де Нерваль.

Он пнобретает известность как талантливый художник и карикатурист. Затем его увлекает фотография. Большую часть фотонаследия Надара составляют портреты современников. Широко известен его портрет Шарля Бодлера.

Портрет Шарля Водлера, сделанный Надаром.

(Еженедельник «Экспресс»)

Жанна — Мартин Шевалье, Анри — Поль Барж в фильме «Первый снег».

(Газета «Юманите»)

МОПАССАН НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

Начиная с 1973 года кинорежиссер Клод Сантелли экранизировал для телевидения пять новелл Ги де Мопассана — «Правдивая история», «История девушки с фермы», «Мадам Батист», «Порт» и «Отец Амабль».

Новеллы объединены общей темой — социальное положение и духовный мир женщины в буржуазном обществе XIX века.

Французское телевидение показало шестой фильм этого цикла — «Первый снег», сюжетно напоминающий роман Мопассана «Жизнь». Молодая девушка Жанна, наивная и мечтательная, воспитанная в пансионе, выходит замуж за мелкого помещика, человека грубого, недалекого, с которым у нее нет ничего общего.

Клод Сантелли так объясняет замысел фильма: «Это, по сути дела, исторический фильм, рассказывающий о буржуазии XIX века, об ее ограниченности, эгоистичности, о среде, где женщина постоянно была жертвой грубого насилия».

В настоящее время Клод Сантелли пишет сценарии для пяти своих будущих фильмов. Их темой также будет положение женщины, но уже в современном обществе. Первый фильм этой серии он планирует поставить в мае, главную роль в нем будет исполнять Сюзанна Флон.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ РЕКЛАМА?

«Юманите» в статье, анализирующей телепередачи о фильмах, спектаклях, выставках, указывает, что телевидение из средства информации превратилось в орудие рекламы. Голубой экран, по мнению деятелей телевидения, призван лишь оповещать зрителей о новых фильмах, пьесах, книгах, а не давать им оценки.

«Ни для кого не секрет,— пишет «Юманите»,— что телевидение в своих программах уже давно избегает какой бы то ни было критики».

Изучив многочисленные передачи и программы, посвященные новостям кино, критик «Юманите» приходит к выводу, что почти все они сводятся к рекламе недавно снятых или снимающихся фильмов и их цель — заинтриговать зрителя, пробудить в нем желание посмотреть эти фильмы на большом экране. О качестве этих фильмов нет и речи. «Да и что можно показать и рассказать за 2—3 минуты, которые телевидение отводит на такие передачи? — спрашивает автор статьи.— Для серьезного разговора нужно гораздо больше времени. Телевидение наравне с прессой и радио должно стать трибуной для обсуждения произведений искусства, в котором принимали бы участие и авторы, и критики, и зрители».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

РОМАН О ЯНЕ АМОСЕ КОМЕНСКОМ

Жизнь и деятельность великого чешского педагога и мыслителя Яна Амоса Коменского продолжает привлекать внимание не только историков, но и писателей Чехословакии. Выдающемуся сыну чешского народа посвятила свою трилогию Леонтина Машинова, о нем

В пражском Театре на Виноградах прошли гастроли Югочешского театра из Чешских Будейовиц, показавшего пражанам оперу советского композитора Александра Холминова «Анна Снегина».
На снимке: артистка Ш. Граникова в роли Анны.

(Газета «Руде право»)

написал книгу «Свет во мраке» Франтишек Кожик.

Недавно в издательстве «Чехословенски списовател» вышел биографический роман известного чешского прозаика, народного художника Милоша В. Кратохвила «Жизнь Яна Амоса». Эта книга, в отличие от предшествующих, уделяет значительно больше внимания философским и педагогическим воззрениям Коменского.

Видный чешский критик Витезслав Рзоунек считает этот роман произведением документального жанра, хотя в нем содержится некоторая доля вымысла. Жизнь великого чешского педагога настолько драматична, пишет он, что позволяет нарисовать увлекательную картину развития и становления личности Коменского. К вымыслу же автор прибегает только в тех случаях, когда необходимо восполнить отсутствие документальных материалов. Но вымышленные эпизоды всегда настолько логично вытекают из фактических событий, что их вероятность не вызывает сомнений.

Милош В. Кратохвил сумел сделать философские обобщения из фактографического материала, раскрывая перед читателем исторический смысл происходящего, показывая величие личности Коменского и его идей.

По мнению Витезслава Рзоунека, такой роман о Яне Амосе Коменском можно было создать только теперь и только на основе марксистского мировоззрения.

ШВЕЦИЯ

КНИГА О МОЛОДЕЖИ

Роман Пера Гуннара Эвандера «Последнее приключение» вышел двумя изданиями — в издательстве «Ферфаттарферлагет» в 1973 году и два года спустя в популярной серии «Дельфин» издательства «Альдус».

Внутренне неподготовленный к жизненным испытаниям, молодой герой романа Джимми Матссон воспринимает любую неудачу, любой нравственный компромисс как непоправимую катастрофу. Он не находит в себе мужества принимать самостоятельные решения, преодолевать те нравственные и психологические ловушки, которые подстерегают на каждом шагу молодых людей его поколения. Его преследуют страх и неуверенность. Не складываются его отношения с окружающими — близкими, друзьями, приятелями.

Трагичен финал романа — с тяжелым нервным расстройством Джимми попадает в психиатрическую лечебницу.

Роман имеет свою предысторию — незадолго до выхода в свет книги Пер Гун-

---

На сцене Стокгольмской королевской оперы состоялась премьера балета «Онегин», созданного известным западногерманским балетмейстером и хореографом Ёном Кранко, использовавшим музыку Чайковского.
Для постановки «Онегина» в Стокгольм была приглашена группа западногерманских режиссеров и артистов, работавших над постановкой этого балета в Штутгарте под руководством Е. Кранко (он умер в 1973 году). В спектакле выступают попеременно западногерманские и шведские танцовщики.
На снимке: постановщица спектакля на шведской сцене балетмейстер Анна Воолиямс с исполнителями партии Онегина — солистом балета королевской оперы Вернером Клавсеном и Гейнцем Клаусом, солистом Штутгартского оперного театра, и исполнительницами партии Татьяны—Астрид Стрювер и Герд Андерсон.

(Газета «Дагенс нюхетер»)

нар Эвандер сделал телепередачу о талантливом молодом художнике Еране Норсреме, внутренний кризис которого привел к психической болезни. Писатель стремился обнаружить экономические, социальные и моральные факторы, обусловившие трагедию Норсрема.

Книга Эвандера доказывает, что никакие сверхсовременные лекарства не могут излечить душевные недуги, основная причина которых — отсутствие подлинных человеческих контактов, гуманности, чуткости, взаимопонимания. Вот почему с такой симпатией написан образ доктора Алека, который в каждом своем пациенте прежде всего уважает самостоятельную человеческую личность.

«Романы Эвандера очень актуален,— пишет рецензент книжного обозрения «Букревю»,— во-первых, потому, что тема сложных нравственных и этических исканий молодежи всегда актуальна. Во-вторых, потому, что в последнее время в шведской печати остро ставится вопрос об усовершенствовании системы социального и медицинского обслуживания.

Роман далеко не оптимистичен, но он пронизан верой в могущество человеческой доброты, исцеляющей любые недуги».

ЯПОНИЯ

«Огни еще живы» — так называется новый фильм, который совместно с польскими кинематографистами снимает режиссер Нобито Абэ. Оператор фильма Ян Ласковский. В фильме снимаются известные польские актрисы Люцина Винницкая и Божена Дыкель.
На снимке: Божена Дыкель и Юро Кавараски.

(Журнал «Кино»)

Авторы этого номера

В подборке стихов «Молодые поэты Анголы» представлены:

НИКОЛАУ СПЕНСЕР — NICOLAU SPENSER (1939—1971).

Член Исполнительного комитета партии «Народное движение за освобождение Анголы» (МПЛА). Геройски погиб в бою в районе Луанды 26 октября 1971 года. «Служба культуры» МПЛА готовит к изданию сборник стихов Н. Спенсера.

Стихотворение «Когда» было напечатано в сборнике «Ангольские поэты» («Poetas angolanos». Serviços de cultura. Серия «Homem novo», Замбия, 1973).

МУТОМБО НЕГРО — MUTOMBO NEGRO (род. в 1953 г.).

Стихотворение «Что делать» взято из сборника «Ангольские поэты».

ЖОАН ГАРСИА БИРЕШ — JOÃO GARCIA BIRES (род. в 1941 г.).

Член Исполнительного комитета организации «Молодежь МПЛА», один из основателей и руководителей Союза ангольских студентов. Окончил юридический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стихи Ж. Г. Биреша в русском переводе публиковались в «Комсомольской правде».

Стихотворение «Повстанцам Четвертого февраля» прислано автором в рукописи.

РУЙ ДЕ МАТОШ (РУЙ ГИЛЬЕРМЕ КАРДОЗУ ДЕ МАТОШ) — RUI GULHERME CARDOSO DE MATOS (род. в 1943 г.).

По профессии скульптор; был командиром партизанского отряда, член партии МПЛА.

Стихотворение «Война» взято из сборника «Ангольские поэты».

ГАЗМИН РОДРИГИШ (САЙДИ МИНГАШ) — GAZMIN RODRIGUES (SAIDI MINGAS) (род. в 1946 г.).

Получил образование на Кубе. Был представителем МПЛА в Швеции. В настоящее время — государственный секретарь по вопросам финансов. Пишет стихи на португальском и испанском языках.

Стихотворения «Я не умею плакать» и «Коль нету дороги...» были напечатаны в сборнике «Ангольские поэты».

Публикуемые переводы взяты из готовящегося в издательстве «Прогресс» сборника «Поэзия борьбы», куда вошли стихи поэтов Анголы, Мозамбика, Островов Зеленого Мыса и Сан-Томе.

■

ВОЛЬФГАНГ МЮЛЛЕР — WOLFGANG MÜLLER (род. в 1941 г.).

Немецкий писатель (ГДР). Прежде чем стать писателем, переменил много профессий — был продавцом, кочегаром, крановщиком, сельскохозяйственным рабочим, помощником режиссера. В прессе ГДР публиковались его рассказы.

Предлагаемый читателю рассказ «Прошел!» взят из первой книги В. Мюллера «Речные истории» («Flußgeschichten». Rostock, Hinstorff Verlag, 1974).

ФРИЦ РУДОЛЬФ ФРИЗ — FRITZ RUDOLF FRIES (род. в 1935 г.).

Немецкий писатель, очеркист, переводчик (ГДР). Учился в Лейпциге, изучал романскую филологию. Известность получил сборник его рассказов «Телевизионная война» («Der Fernsehkrieg», 1969). Затем вышли книги «Северная мозаика» («Seestücke», 1973), отрывки из которой публиковались в «Иностранной литературе» (№ 10, 1974), и «Воздушный корабль» («Das Luft-Schiff», 1974).

Публикуемые рассказы Ф. Фриза взяты из второго, расширенного, издания сборника «Телевизионная война» («Der Fernsehkrieg». Rostock, Hinstorff Verlag, 1975).

ХЕЛЬГА ШУБЕРТ — HELGA SCHUBERT (род. в 1940 г.).

Немецкая писательница (ГДР). Получила медицинское образование, работала психотерапевтом. С 1973 г.— аспирантка Берлинского университета имени Гумбольдта.

Печатается с 1973 г. в журналах и газетах, в антологиях.

Публикуемые рассказы взяты из ее первой книги «Повсюду жизнь» («Lauter Leben». Berlin, Aufbau-Verlag, 1975).

ИОАХИМ НОВОТНЫЙ — JOACHIM NOWOTNY (род. в 1933 г.).

Немецкий писатель (ГДР). В юности работал плотником, затем изучал германистику в Лейпциге. С 1967 г. работает в Литературном институте имени Иоганнеса Р. Бехера. Автор книг для детей и юношества «Охота в Каупице» («Jagd in Kaupitz», 1964), «Якоб уходит от меня» («Jacob läßt mich sitzen», 1965), повести «Костер ведьм» («Hexenfeuer», 1965), сборников рассказов «Половодье в деревне» («Hochwasser im Dorf», 1963), «Лабиринт без ужасов» («Labyrinth ohne Schrecken», 1967) и др.

Творчество И. Новотного неоднократно отмечалось литературными премиями.

На русский язык переведена повесть «Великан в лесу» и несколько рассказов, в том числе в «Иностранной литературе» рассказ «Пимпуш» (№ 10, 1969).

Рассказы И. Новотного «Малепартус», «Грета» и «Грог с ромом» были напечатаны в сборнике «Воскресный день среди людей» («Sonntag unter Leuten», Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag, 1971).

ПАСКАЛЬ ЛЭНЕ — PASCAL LAINÉ (род. в 1942 г.).

Французский писатель. Окончил Педагогический институт в Сен-Клу. Преподает философию. Его первое литературное произведение — повесть «В. как Варрава» («B. comme Barrabas», 1967) — прошло незамеченным. Вторая повесть «Ирреволюция» вышла в серии произведений молодых авторов, выпускаемых издательством «Галлимар» и была отмечена в 1971 году премией Медичи. Повесть переведена на русский язык.

«Кружевница» («La Dentellière». Paris, Gallimard, 1974) — третья повесть Паскаля Лэне, за которую писатель был удостоен Гонкуровской премии.

КУДРЯВЦЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

По профессии артистка балета Большого театра Союза ССР. Литературными переводами с французского занимается с 1968 года. В ее переводе вышел роман И. Гандона «Господин Миракль» и рассказы Б. Клавеля, М. Дрюона, И. Гандона, Ж. Кесселя, Л. Фор, публиковавшиеся в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

ФУДЭ ФУДЗИБАРА И ТОСИО ТИКАНО

Молодые японские поэты, члены литературного общества «Поэтический конгресс».

Стихотворение Фудэ Фудзибара «Ты не должен молчать!» взято из сборника «Лицом к ветру» (Токио, 1969).

Стихотворение Тосио Тикано «С войной я близко не знаком...»— из сборника «Земля, на которой живем» (Токио, 1971).

ВЕРЖИЛИУ ФЕРРЕЙРА — VERGILIO FERREIRA (род. в 1916 г.).

Португальский писатель — романист и новеллист. К наиболее значительным его произведениям относятся романы «Видение» («Aparição», 1959), удостоенный премии имени Камилу Каштелу Бранку, «Последняя песня» («Cântico final», 1960), «Зов ночи» («Apelo da noite», 1963), «Короткая радость» («Alegria breve», 1965), сборники рассказов «Окровавленное лицо» («A face sangrenta», 1954), «Всего лишь люди».

Вержилиу Феррейра широко печатается в литературных журналах: «Вертисе», «Сеара нова», «Колокиу» и других. Его романы переведены и изданы в ряде европейских стран.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Всего лишь люди» («Apenas homems e outros contos», Editorial inova limitada, 1972).

ФЕРНАНДУ НАМОРА — FERNANDO NAMORA (род. в 1919 г.).

Португальский писатель — поэт, романист, новеллист. Лауреат многих литературных премий. Произведения Фернанду Наморы популярны не только на родине, но и за ее пределами, в частности в Бразилии. Он возглавляет португальский Институт культуры и языка.

Наиболее известны его романы: «Шахты С. Франсиско» («Minas de S. Francisco», 1946), «Ночь и рассвет» («A Noite e a Madrugada», 1950), «Пшеница и плевелы» («Trigo e Joio», 1954), «В воскресенье вечером» («Domingo à tarde», 1962).

Советские читатели знают Фернанду Намору по переведенным на русский язык роману «Живущие в подполье» и сборнику «Рассказы врача».

Рассказ «Саботаж» взят из книги «Безлюдный город» («Cidade solitária». Lisboa, Arcádia, 1959).

ЖОЗЕ ГОМЕШ ФЕРРЕЙРА — JOSÉ GOMES FERREIRA (род. в 1900 г.).

Португальский поэт, президент Ассоциации португальских писателей. Автор поэтических сборников «Горные лилии» («Lirios do Monte», 1918), «Вдали» («Longe», 1921), «Поэзия I» («Poesia I», 1948), «Поэзия II» («Poesia II», 1950), «Поэзия III» («Poesia III», 1962) — удостоен «Большой поэтической премии Союза писателей Португалии»,— «Поэзия IV» (1970), «Поэзия V» (1973).

Наряду с поэтическим творчеством занимается публицистикой и выступает как прозаик. Его перу принадлежат сборник рассказов «Тайны Лиссабона» («Os segredos de Lisboa», 1962) и сатирический роман-аллегория «Чудесные приключения Жоана Смельчака», переведенный на русский язык.

Рассказ «Серебряные руки», впервые опубликованный в 1971 г., взят из сборника «Семя в словах» («A semente nas palavras», Novos Pioneiros, 1973).

МАРИУ ДИОНИЗИУ — **MARIO DIONISIO** (род. в 1916 г.).

Португальский искусствовед, литературный критик, новеллист. Известен своим трехтомным трудом «Палитра и мир» («A paleta e o mundo»). Его перу принадлежат также роман «Нет конца, нет начала» («Não ha morte nem principio», 1969) и сборник рассказов «Серый день и другие рассказы» («O dia cinzento e outros contos», 1944), откуда взят рассказ «Бег».

ЮХАН БОРГЕН — JOHAN BORGEN (род. в 1902 г.).

Норвежский писатель. Сын адвоката. Литературную деятельность начал как журналист в 1925 г. Автор более десяти романов, нескольких сборников новелл и восьми пьес. Сборники очерков «Наблюдения и возражения» («Betraktninger og anfektelser», 1932, опубликованные под псевдонимом Мумле Госегг) и «60 Мумле Госегг» («60 Mumle Gåsseg», 1936), направленные против буржуазного лицемерия, принесли ему репутацию одного из крупнейших юмористов Норвегии. Во время второй мировой войны эмигрировал в Швецию, где вел антифашистскую деятельность. Романы «Лета нет и не будет» («Ingen sommer», 1944) и «Тропа любви» (1946) повествуют о настроениях норвежской интеллигенции во время оккупации. Трилогия Юхана Боргена — «Маленький лорд» («Lillelord», 1955), «Темные воды» («De mørke kilder», 1956) и «Теперь он в наших руках» («Vi har ham nå», 1957) — стала литературным событием послевоенной Норвегии. На русский язык переведен его роман «Маленький лорд» и несколько рассказов.

Предлагаемые читателю рассказы были напечатаны: «Кровать» в сборнике «В этой комнате» («I dette Rom». Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1975), «Паспорт» и «Ёрун и Лильлебрур» в сборнике «Новеллы» («Noveller», Foreningen Norden, 1967).

ДАНГ ТХАЙ МАЙ — DANG THAI MAI (род. в 1902 г.).

Один из видных вьетнамских литературоведов. Автор многочисленных монографий, научных статей, книг, в том числе «На пути исследовательской деятельности» («Trên duong hoc tâp va nghiên cuu», 1959), «О революционной поэзии и прозе начала XX века» («Van tho cach mang dâu thê cy XX»).

Данг Тхай Май в течение долгих лет был директором Вьетнамского института литературы, в настоящее время Председатель Ассоциации литературы и искусства Вьетнама.

Вьетнамские поэты X—XIV веков:

ВАН ХАНЬ — VAN HANH, ЛИ ТХЫОНГ КИЕТ — LY THUONG KIET, ЗЫОНГ КХОНГ ЛО — DUONG KHONG LO, ДАЙ СА — DAI XA, МИНЬ ЧИ — MINH TRI, ЧАН КУАНГ КХАЙ — TRAN QUANG KHAI, ЧАН НЯН ТОНГ — TRAN NHAN TONG, НГУЕН ЧУНГ НГАН — NGUYEN TRUNG NGAN, ЧАН НГУЕН ДАН — TRAN NGUYEN DAN, ЧАН ФУ — TRAN PHU, ЛЕ КАНЬ ТУАН — LE CANH TUAN, НГУЕН ФИ КХАНЬ — NGUYEN PHI KHANH, ТА ТХИЕН ХУАН — TA THIEN HUAN.

Подробнее об этих поэтах см. в послесловии Л. Эйдлина.

Стихи взяты из сборника «Поэзия и проза Ли — Чан», подготовленного к изданию Вьетнамским институтом литературы.

ЭЙДЛИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ (род. в 1910 г.).

Советский литературовед и переводчик, доктор филологических наук, профессор. Среди многих принадлежащих ему работ о китайской литературе и театре и переводов китайской классической и современной поэзии — книги «О китайской литературе наших дней» (1955), «Тао Юань-мин и его стихотворения» (1967), «Китайская классическая поэзия» (1975); выходившие отдельными изданиями стихотворения Тао Юань-мина, Бо Цзюй-и. В журнале «Иностранная литература» публиковались статьи «Когда поэт переводит... (Восток Анны Ахматовой)», «Идеи и факты. Несколько вопросов по поводу идеи китайского Возрождения», переводы из китайских и вьетнамских поэтов и др.

БАРАБАШ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1931 г.).

Советский литературовед, доктор филологических наук, профессор, директор Института мировой литературы имени М. Горького. Автор книг «Довженко» (1968), «О народности» (1970), «Вопросы эстетики и поэтики» (1973) и многочисленных статей по вопросам советской литературы, теории литературы, методологии литературоведения и критики.

СУРОВЦЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1931 г.).

Советский критик и литературовед, главный редактор журнала «Литературное обозрение». Автор книг «О поэтах и поэзии» (1962), «Юхан Смуул. Очерк творчества» (1964), «Поэзия Миколы Бажана. Критический очерк» (1970), «В лабиринтах ревизионизма. О взглядах Э. Фишера» (1972) и многих статей по проблемам советской многонациональной литературы, теории литературы и эстетике.

ИМЕ ИККИДЕ — IME IKIDDEH (род. в 1938 г.).

Нигерийский литератор, критик, профессор кафедры африканской литературы в университете города Ифе (Нигерия).

Автор ряда пьес, сборников стихов, эссе о современной африканской литературе. Занимается также изучением фольклорного наследия, чему посвятил несколько работ. Име Иккиде написано предисловие к известной публицистической книге Нгуги Ва Тхионго «Возвращение на родину» (рецензию на эту книгу см. в «ИЛ» № 9, 1973 г.).

Статья «Африканская литература и проблема поколений» была напечатана в кенийском журнале «Джолисо» («Joliso», № 2, 1974 г.).

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.).

Английский писатель, публицист и общественный деятель, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Творчество Джеймса Олдриджа хорошо знакомо советским читателям: в разные годы в русском переводе вышли его романы «Дело чести», «Морской орел», «Дипломат», «Охотник», «Герои пустынных горизонтов», «Последний изгнанник». В нашем журнале напечатаны романы «Не хочу, чтобы он умирал» (№ 11, 1959), «Сын земли чужой» (№ 3—6, 1968), «Горы и оружие» (№ 1—3, 1975) и несколько эссе.

Статья «Опошление свободы» получена в рукописи.

СЕЛЕЗНЕВ КОНСТАНТИН ЛЬВОВИЧ (род. в 1906 г.).

Советский историк, партийный работник, доктор исторических наук. С 1939 по 1969 г. был научным консультантом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В годы Великой Отечественной войны — начальник отдела Главного Политического Управления РККА. Автор многих работ по истории и историографии марксизма и международно-

го рабочего движения, а также истории военно-политической пропаганды. Опубликовал ряд воспоминаний о работе политических органов Советской Армии в 1941—1945 гг. и о сотрудничестве с деятелями зарубежных коммунистических партий.

■

АННА БУКОВСКА — ANNA BUKOWSKA (род. в 1930 г.).

Польский литературный критик, эссеист. Окончила филологический факультет Варшавского университета. С 1952 года выступает как критик в польской периодической печати. Автор работ «Метаморфозы времени. Литературные эскизы» («Przemiany czasu. Szkice literackie», 1967), «Сент-Экзюпери. Парадоксы гуманизма» («Saint-Exupéry czyli Paradoksy humanizmu», 1968).

Статья «Три поколения Ковалей» перепечатывается нами с небольшими сокращениями из польской газеты «Культура» (февраль 1976).

■

АНДРЕ СТИЛЬ — ANDRE STIL (род. в 1921 г.).

Французский писатель, публицист, общественный деятель. Автор многих романов и сборников рассказов, значительная часть которых переведена на русский и другие языки народов нашей страны, среди них «Первый удар», за который писатель удостоен Государственной премии СССР, «Мы будем любить друг друга завтра», «Обвал» («ИЛ» № 4—5, 1961), «Последняя четверть часа», сборники рассказов «Сена» вышла в море», «Боль» и др.

Статья «Отверженные» перепечатывается из газеты «Юманите» (ноябрь 1975).

■

АЛЕН БОСКЕ — ALAIN BOSQUET (род. в 1919 г.).

Французский поэт, романист, эссеист. Автор пяти романов, многих сборников стихов, эссе о поэзии и живописи. Книга стихов «Жизнь ушла в подполье» («La vie est clandestine», 1945) отразила участие поэта в борьбе против фашизма. Стихи Алена Боске неоднократно переводились на русский язык; в нашем журнале напечатан цикл стихов из книги «Второе завещание» (№ 10, 1975). Статья «Призрачный свет Жана Жубера» взята из газеты «Монд» (октябрь 1975) и публикуется нами с дополнениями, сделанными автором для «Иностранной литературы».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц

Сдано в набор 5/VII 1976 г. А01680. Подписано к печати 9/VIII 1976 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л. 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. 27,48 уч.-изд. л.
Тираж 585.000 экз. (2-й завод: 350.001—490.000 экз.). Заказ № 758.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская площадь, 5, в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

Н. С. Бендре. Рабочий

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В 1977 году редакция журнала «Иностранная литература» предполагает опубликовать следующие произведения художественной прозы:

АЛЬФРЕД АНДЕРШ (ФРГ).
Винтершпельт

ЭРВЕ БАЗЕН (Франция).
Анатомия развода

КРИСТИАН БАРНАРД.
ЗИГФРИД СТАНДЕР (ЮАР).
Нежелательные элементы

АНДЖЕЙ БРАУН (Польша).
Испытание огнем и водой

ГОР ВИДАЛ (США).
Бэрр

ГЕРМАН ГЕССЕ (Швейцария).
Степной волк

ВЛАДИМИР ЗАРЕВ (Болгария).
День нетерпения

ДЮЛА ИЙЕШ (Венгрия).
В ладье Харона

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР (Куба).
Средство от метода

ДОРИС ЛЕССИНГ (Англия).
Летом, перед наступлением темноты

Р. К. НАРАЙАН (Индия).
Мои дни